

НАШ СОВРЕМЕНИК

Журнал писателей России



№ 1 2015

МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ



ВОЛЧЬЕ ПОЛЕ

ИСТОРИЯ

I. Книга земного сна

Пишут историю люди,
Раскапывают мертвеца.
Пишут о битой посуде,
Не помнят ни глаз, ни лица.
 Ни Бога, ни блага, ни страха
 В развалинах не сыскать.
 Но мало земного праха —
 В небо идут копать.
Синий копают воздух,
Раскапывают века.
Ищут в сгоревших звёздах
Райского червяка.
 Пишут историю люди,
 Темную песнь конца.
 Наёмники, слуги, судьи —
 Славят, как хор, мертвеца.
Рвутся пути земные,
Буйствуют племена,

ШЕЛЕХОВ Михаил Михайлович родился в 1954 г. в деревне Пешки Берёзовского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет, Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. Поэт, прозаик, переводчик, публицист, сценарист. Лауреат нескольких творческих премий. Автор ряда книг поэзии, а также повестей и романов. Живёт в Минске.

Правя лишь запятые
В книге земного сна.
Царственно и пустынно
Пишет за род людской
В книге Отца и Сына
Набело Дух Святой.

II. Песня битой посуды

Пишут историю люди. Празднуют мертвеца.
Верят битой посуде, а не своим отцам.
Выроют бисер славы, угли былых идей,
Рваные бусы яви, желтые кости дней.
Пишут историю дети. Закапывают отцов.
Нету начал на свете. Нету во тьме концов.
Пишут слепые хроники. Закапывают живых...
И превращают в сонники историю для слепых.

Просто земное дело. Краток лукавый век.
Метаморфозы тела празднует человек.
Но ни любви, ни страха в ямах не отыскать.
Мало земного праха — вечность идут копать.
Режут лопатой сущее, раскапывают эфир.
Безумного бога-случая тащат царем на пир.
Выроют ветошь сплетен. Просеки, пни и сны.
Рыбьи скелеты песен. Челюсть первой войны.

Космос копают синий. Клекочет орлом рука.
Среди мировой пустыни — ни Бога, ни червяка.
Пишут историю люди. Долгую песнь конца.
Ангелы, слуги и судьи закапывают мертвеца.
Не победят раскопки могильщиков страшных сил.
Матери зоркой штопки — всюду заплаты могил.
А над землею чёрною пишет стилем креста
Собственную историю Страшная высота.

СМЕРТЬ ЧАСОВ

Не заводи часов, мой друг.
Пусть на руке умрут со мною.
Пусть из могилы тихий стук
Вспугнёт воров ночной порою.
Мои часы умрут с тоской.
Но у часов в запасе крылья.
Они кузнечиком за мной
Переместятся в звёздной пыли.
Туда, где ты — и тишина
Висит на плечиках растений,
Где ручкой маленькой весна
Часы заводит откровений.

ЕВРАЗИЯ

Повременю я, пока не ушёл, —
Молча, один, навсегда.
Сила могилы — и лёгкий Эол.
А между ними — вода.
Между Востоком и Западом я

Точно возник меж людьми
И раздирающий сон бытия
Сбил, как гвоздями, костями.
Мясо пространства давно бы с костей
Сшиб метеор и ледник —
Кровью упорных и в смерти людей
Сшит, как ладя, материк.
Сшит он крестами, как шьют моряки
Парус морской седины.
Есть там мои золотые стежки —
Старой Евразии сны.

ВОЛЧЬЕ ПОЛЕ

Жуки гремели в майское стекло.
Зимою выла дикая баллада.
Лицом на волчье поле детство шло
У школьного запущенного сада.
 Забор тенист, он явно мне не в масть.
 Есть, правда, лаз по краешку колодца.
 Но что так сердце ошалело бьётся —
 У шатких ног моих хохочет пасть.
Утопленные вёдра в глубине
Происли цинком, старческие пломбы.
Гнилой оскал показывает мне
Из речки изгнанный на берег омут.
 Его я перешагивал — и в сад
 Скакал бесстрашно зорким ирокезом.
 Червивый сад не щебетом дриад
 Встречал меня, а дряхлостью помпезной.
За ним стоял военный гарнизон
С шагистикой и треском самоволок.
И старый дальше спал аэродром,
С навозом стад и редкостью двустволок.
 А дальше — волчье поле, волчий мир.
 И волчьи посеребренные тропы
 Кроили для души моей мундир
 И синим льдом трезвили первый опыт.
В колодце грязный обретался гость.
Но не с тремя, как Кербер, головами,
Не змеями усыпан, вроде звёзд,
Полузаброшен мусора дарами.
 Валялся там разбухший дохлый пёс.
 И через вонь убитого колодца
 Я прыгал в сад — и наступал на хвост
 Лежащего визгливого уродца.
Так постигал я это слово — рай,
Как пышное бесплодное явление,
Где выродились в мелочную явь
Достоинства, породы, поколенья.
 У сада дом стоял, а в доме том
 Жила, как и понятно, дочка Грома.
 Она была при всём в уме своём,
 Хотя порой не ночевала дома.
Есенина, запретные для дев,
Она читала ночью сочиненья.
И искушала чей-то страшный гнев.
И Гром ворчал в несильном отдаленье.

С той дочкой Грома я хотел в саду
Вдруг очутиться, но она бежала
На танцы, предавая простоту.
Лишь волчье поле глаз не предавало.
Оно за домом до чужих морей
За горизонт тянуло сизый опыт.
И тысяча дорог страны моей
Слились и превратились в волчьи тропы.

СЛАВА КРЫШИ

На Олимп засмотрелись поля,
Где Геракл и весёлая Геба.
Все столпы схоронила земля,
Но не падает вечное небо.
Приковал его, что ли, Гефест
Золотыми гвоздями к эфиру.
Или взял на плечо своё крест
На полвремени, данные миру.

АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ



НАДПИСЬ НА СТЕНЕ

ПОВЕСТЬ

Смерть! подумайте, слово-то ведь какое!

М.Е. Салтыков-Щедрин.
“Самоотверженный заяц”

Сколько лет будет она бросаться в глаза тем, кто приезжает в Липы или пролетает в поезде мимо; сколько ещё лет будет она наполнять тоской, пусть минутной, сердца людей, которым известно её значение, или весело удивлять непосвящённых? Это чувство весёлого удивления испытал и я, когда впервые приехал в Липы и, сойдя с электрички, увидел на зелёной стене станционного помещения белую надпись, красиво выведенную масляной краской. “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, — прочёл я и улыбнулся. Мне представился смешной лохматый парень, среди ночи малюющий на стене, чтобы завтра утром день Кире начался с пожелания счастья. Какой-нибудь дурашливый влюблённый губошлёп.

В Липах мне поначалу не понравилось — около станции сильно пахло карамелью, — видимо, здесь была кондитерская фабрика. На площади перед станцией царил какой-то строительный хаос: всё перерыто, перекопано, набросано как попало. Но постепенно, удаляясь от станции, я всё более переставал испытывать чувство неприязни. Карамельный запах мало-помалу уменьшался, из ядовито-острого стал нежным, а затем и вовсе исчез; вслед за магазинами и стеклоприёмными пристройками, неряшливостью деловой

СЕГЕНЬ Александр Юрьевич родился в 1959 году в Москве. Доцент Литературного института им. А. М. Горького. Прозаик и киносценарист. Автор книг: “Похоронный марш”, “Страшный пассажир”, “Державный”, “Русский ураган”, “Поп”, “Господа и товарищи”, “Митрополит Филарет” и “Алексий II” (серия ЖЗЛ) и многих других. Живёт во Внуково.

части всех наших придорожных посёлков пошли симпатичные, уютные дворики, прибранные, с ухоженными домами, утопающими в зелени кустов и деревьев. К тому моменту, когда мне надо было сворачивать с улицы Советской на улицу Достоевского, мне уже решительно нравилось в Липах.

На Достоевского меня обаяли собаки, но зато здесь вовсе была идиллия — с серыми, ноздреватыми колодцами, с детьми, библикающими в подзаборных кучах песка, с петушиным пением и квохтанием кур. Наконец, я дошёл до Чистого Просека и сразу понял, что сухонькая женщина в синем платье, стоящая у калитки с номером 3, и есть моя будущая хозяйка, Любовь Никитична.

Сашка оказался прав: флигелёк, который он тут снимал, а теперь сосва-тал мне, действительно был очень хорош: маленькая терраска со столиком, шкафчиком, тремя стульями и газовой плитой и небольшая комнатка с кроватью, платяным шкафом и этажеркой. Самое главное — ни в чём не было пошлости: светло-серые обои, занавески в светло-голубых и тёмно-голубых полосах, на кровати — синее покрывало, мебель вся одних тонов, тёмно-коричневая, а под потолком — люстра с голубовато-серыми плафонами.

— Что же, мне очень нравится, — сказал я. — Когда можно въезжать?

— Хоть сегодня. Вы один будете жить?

— Один. На три месяца. Сегодня у нас четвёртое? До первого сентября — почти ровно три месяца. Деньги могу заплатить сразу.

— Это хорошо. К вам кто-нибудь приезжать будет?

— А что?

— Желательно, чтоб немного. Ну, родители, жена — это я не против. А если друзья приедут, то чтоб не очень много.

— Из друзей ко мне может только один приятель приехать, родители мои в Питере, и я сам к ним в июле на недельку съезжу, а с женой я развёлся. Полгода назад.

— Развелись? Сколько ж вам лет?

— Мне двадцать семь, жене двадцать шесть.

— А дети есть?

— Слава Богу, нет.

— Слава Богу. С вас-то чего, утекло и забылось, а вот детей жалко. Ну, ладно. Значит, когда въезжать думаете?

— Да прямо завтра и въеду, должно быть.

— Вот, возьмите ключи. И что же — добро пожаловать, как говорится. У нас в Липах хорошо, отдохнёте как полагается.

В тот вечер, уезжая из Лип, я уже не помнил странной надписи на стене станционного помещения, тем более что она находилась с той стороны, куда подъезжают электрички из Москвы. Со стороны же поездов, следующих к Москве, на стене станционного помещения фигурировали обычные надписёнки: ЖИХАРЬ — КОЗЁЛ, ВОВАША — ИНТЕЛЕГЕНД ВШИВЫЙ, всякие отметки о том, кто здесь был и когда был, кто с кем плюсуется, а также всплески нецензурных эмоций.

На другой день я приехал в Липы на такси — привёз вещи, кое-какую посуду, книги, телевизор. Только через неделю моё внимание вновь привлекла странная надпись. Понадобилось съездить по делам в Москву. Вечером я с огромным удовольствием возвращался в Липы. За неделю силы мои окрепли, я загорел, чувствовал себя превосходно. Я ехал, предвкушая сладкий запах карамели, который по мере приближения к Чистому Просеку сменится живым запахом лип, расцветших как раз в первую неделю моего пребывания в Липах, словно спеша доказать мне право посёлка на своё наименование. Я вышел из электрички, и в лицо мне вновь дохнула трогательная надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”. И я вновь улыбнулся ей и запаху карамели, который теперь не был таким сильным, поскольку стужались сумерки и карамель, уже, наверное, готовая, остывала. На площади перед станцией я почерпнул сведения о том, сколько весит обычный, средней упитанности голубь — там стоял лоток, с которого, видимо, ещё недавно что-то продавали и не успели убрать весы; на этих-то весах и сидел сизарь обыкновенный,

а стрелка показывала 330 граммов. Идя по Советской, я снова начал гадать об авторе счастливого пожелания. У ворот местного парка культуры “Молодость” толпились парни и девушки — там продавали билеты на танцплощадку, с эстрады доносились звуки настраиваемых электрогитар. Может быть, это какой-нибудь липовский ухаждёр встречал свою девушку откуда-нибудь из соседней Доиловки и, желая усугубить приятность ожидаемого танцевального вечера, расстарался и написал ей приветствие? Смешно и в своей наивности очень мило. Правда, чего-то в этом “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” не хватало. И я понял. Не хватало восклицательного знака. Действительно, почему он не поставил его? Он не мог его не поставить, рука, не задумываясь, начертила бы. Сама наивность надписи заставляла автора усилить, выказать свою восторженность восклицанием, а то и двумя-тремя, чтобы Кира не усомнилась в горячности его чувства.

Я вдруг ощутил какую-то тревогу, подумал о том, что значение надписи могло быть не только наивно-оптимистическим, но и печальным. Возможно, в этом анонимном пожелании звучала горечь разлуки? Кира вышла замуж за соседнего доиловца или покровца, а то и за москвича, и бывший её ухаждер, Витька или Валерка, в сердцах намалевал ей на дорожку, чтоб она почувствовала, какой он хороший и как горько ему отдавать её в чужие руки. Может, это даже “козёл Жихарь” или “вшивый интелегенд Воваша”?

Но я шёл по Достоевского, и внезапно поселившаяся во мне тревога, отразившая, должно быть, мои собственные недавние горести, подсказывала мне, что за словами “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” стоит нечто даже более печальное и, возможно, даже более нелепое, чем мой развод. И более страшное, чем смерть моей жены, когда её новый мужчина, за которого она собралась замуж, не справился с управлением своего роскошного автомобиля.

В тот же вечер я в общих чертах всё и узнал. У хозяев испортился телевизор, а Любови Никитичне ужасно хотелось посмотреть последнюю серию лихого теледетектива из западной жизни под названием “Мираж”, и они с мужем пришли ко мне.

— Что у вас в Липах за Кира такая, что ей лозунги пишут? — спросил я, наливая хозяевам чай.

— Кира-то? — живо откликнулась Любовь Никитична, и было заметно, что ради Кире она без особого сожаления отвлекается от телевизора. — Да была у нас такая. Не пришей кобыле хвост. Повертела дай Бог.

— А что за чудак на станции в её честь расстарался?

— Да уж, чудак. Я бы ещё покрепче слово сказала, какой чудак на букву “мэ”. Наломали они тут с этой Кирой дров.

— А что такое?

— Что такое? Под поезд бросился, вот что такое. А матери-то каково! Об матери не подумал. Это, конечно, ему себя показать хотелось, мол, вот какая любовь у меня. Кирке-то. А ей на него, дурака, “тьфу”, да и всё.

— Насмерть?

— Конечно, насмерть. Под скорый — это тебе не под велосипед.

— Она что, на него внимания не обращала?

— Она-то? Поначалу вроде нос драла — они в одном классе с Серёжкой учились, он ей цветы покупал, на день рождения духи один раз, не то французские, не то арабские, какие-то дорогие. А она тогда с каким-то из Покровки мотоциклистом гуляла. Потом с мотоциклистом врозь — и будто как бы у них с Серёжкой было что-то между собой. Видели, говорят, что он к ней в окно лазил, да и вообще... Но замуж она за него ни в какую. Он хоть и шалопутный по молодости, а хороший парень был. На шофёра выучился, в армии отслужил, после армии автобусом правил, двести двадцать, да на гитаре играл на танцуйках — за это ведь там тоже платят! — чего ей ещё надо? А ей в Москву хотелось, прямо засвербило — за москвича выйти, красиво жить. Как я этих, которые за москвичей стремятся, ненавижу! Да и самих москвичей не люблю.

— Люб! — одёрнул её муж. Она поняла, спохватилась:

— Я не к тому, чтоб всех москвичей. А всяких там, из ваших, которые только по ресторанам да с иностранцами замешаны. Вот и Кира эта самая,

как она вон, — Любовь Никитична кивнула на главную героиню заканчивающегося по телевизору фильма, — тоже красиво жить захотела. Нашла себе в Москве какого-то и уехала с ним в Москву. Замуж или так просто, это неизвестно. Мать её говорила — замуж, а там кто их знает, сейчас же это не всем обязательно.

— И он тогда под поезд?

— Ну, и он под поезд. Всё ей доказать хотел. А что доказал, дурак? Самому себе и доказал. Да матери своей, что она напрасно жизнь прожила.

— А надпись он заранее написал?

— Конечно, загодя, не опосля же. Чудной ты вопрос задаёшь.

— Нет, я имею в виду, тогда же, когда и под поезд бросился?

— Перед самым тем, как броситься. Из фурскалки написал и прямо сразу прыгнул.

— Не из фурскалки, а из баллончика, — поправил Любовь Никитичну муж.

— Ну, из баллончика, какая разница.

— Большая разница. Ты скажешь, а человек не поймёт.

— Подождите, разве там из баллончика? — спросил я. — Там же вроде кистью выведено.

— Так это дружки его, Игорь да Юрка, подновляют. Ту-то, Серёжкину, ещё когда покрасили, а они всякий раз по новой пишут.

— Зачем?

— Дураки тоже потому что. Они всё хотят, чтоб Кира прочла. А она с тех пор и не появлялась.

— Вот оно что...

— Да, вот так. Ну, давайте досмотрим, чем тут дело кончится. Возьмут их или нет, чертей...

Скоро “чертей взяли”, и фильм закончился. Хозяева ушли, а я стал смотреть чемпионат мира по футболу, игра увлекла меня, но история Киры и Серёжки не шла из головы. Когда судья дал финальный свисток, я выключил телевизор и отправился побродить по посёлку.

Не знаю, почему я так сразу ухватился за эту историю, почему меня так сильно потянуло разобраться во всех подробностях, не довольствуясь скудной схемой события, нарисованной мне Любовью Никитичной. Может быть, в чужой трагедии я искал какой-то компенсации, какого-то возмещения собственной жизненной аварии.

Нелепая, глупая история — смерть вдогонку, старательные друзья, любовь, превращённая в фантик...

Оказалось, что танцы в парке культуры “Молодость” устраиваются каждую пятницу и субботу. В надежде встретить там Игоря и Юрку или кого-нибудь ещё, поговорить, расспросить, узнать, я и отправился на танцы. К тому же и Любовь Никитична меня подзадорила: “Ну, чего ты всё один да один киснешь? Сходил бы на танцульки, развеялся, девок пошебуршил. Хватит тебе тосковать”.

Купив билет и пройдя на танцплощадку, я сразу почувствовал себя весьма неуютно: все стояли группками, о чём-то оживленно болтали или со значением безмолвствовали; кроме того, на меня обратили внимание, и то и дело я ловил на себе презрительные взгляды парней и любопытствующие пощёлкивания глаз девушек. Проблема — с кем танцевать — обещала стать острой, поскольку чувствовалось, что каждая девушка прочно закреплена либо за какой-то компанией, либо индивидуально за каким-то парнем. Итак, пока гитаристы и барабанщик настраивали на сцене свои орудия, я в весьма шатком расположении духа бродил вдоль танцплощадочной изгороди и рассматривал привешенные к ней фотографии знаменитых певцов. Благо, что можно было курить — с сигаретой в подобной ситуации как-то не так неприкаянно выглядишь.

Но вот гитаристы встали наизготовку, барабанщик сделал турне по всем своим ударным причиндалам, и бас-гитарист с громким пафосом и в то же время не без развязности объявил:

— Мы приветствуем всех собравшихся здесь отпраздновать окончание субботнего дня. Привет всей честной компании! Рок-группа “Лепрозорий” приветствует вас в составе: солирующая гитара — Юрий Дёмин, лидирующая гитара — Николай Жихарев, барабанные перепонки — Игорь Чурлов и басирующая гитара, то есть я — Юрий Робот.

Сначала они весьма бойко сыграли быстрый рок. Тот, которого Робот называл Юрием Дёминым и который, не исключено, был из тех, кто подновляет надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, пел по-английски, но слов разобрать было невозможно. Я стоял в стороне и думал, те ли это Игорь и Юрка, о которых говорила Любовь Никитична, и какой из двух Юриев — Юрка, Дёмин или Робот. Народ всё прибывал, и я заметил двух девушек без сопровождения — видимо, их кавалеры ещё не подошли. Быстрый танец кончился. Робот вновь подступил к микрофону:

— А теперь по традиции мы исполним медленную песню, посвящённую памяти бывшего участника нашего ансамбля. Он погиб прекрасной смертью, чтобы люди знали, что на земле ещё есть лирическая любовь, Любовь настоящая. Итак, памяти Сергея Лалакина, слова Юрия Дёмина, музыка Юрия Дёмина и Николая Жихарева — “Будь счастлива, Кира”.

Вот этого я никак не ожидал. От удивления у меня даже мурашки побежали по позвоночнику. Упускать такой момент было нельзя. Я подошёл к двум девушкам и пригласил одну из них. Она согласилась, хотя и как-то странно хмыкнула, бросив взгляд на подругу. Мы стали медленно кружиться в танце, и я сказал:

— Меня Сергеем зовут, а вас?

— Света. Можно на ты.

— Ол райт. Как ты думаешь, мне как москвичу можно здесь присутствовать?

— Отчего ж нельзя! Станный вопрос. Ребята, конечно, могут поинтересоваться, кто такой, но ты, главное, не бэ.

Краем уха я прислушивался к словам песни. Они были до досадного нелепы. В припеве пелось:

*Будь счастлива, Кира,
Будь счастлива, Кира,
Ты можешь, конечно, объездить полмира.
Но только запомни,
Старайся понять,
Что в Липы тебе лучше не приезжать.*

— Что за название — “Лепрозорий”? — поинтересовался я. — Почему не “Колумбарий”, не “Крематорий”? У вас тут что, лепрозорий где-то поблизости?

— Ну, ты, москвич, даёшь! Стругацких читал?

— Нет, а что?

— Ну, ты что, с луны свалился? У Стругацких есть книга, у нас её все читали. Там настоящие, ну, в общем, умные, всё знающие, их там в лепрозории держат.

— Как называется?

— Не помню, как точно. Но название — класс. Необычное очень. Классная вообще книга. Прочти обязательно. Вообще Стругацких каждый уважающий себя чувак должен читать.

— Ну, вовсе не обязательно, — возразил я и, чтобы как-то завоевать авторитет, придумал какого-то Стаса Рублёва, которого совсем нигде не печатают, но можно прочесть машинописные экземпляры, они ходят по рукам, при желании можно достать, хотя очень трудно. Я на ходу стал придумывать и пересказывать Свете содержание романа Стаса Рублёва “Бешеные”, развивая сюжет одного забавного фантастического рассказа, который мне довелось однажды прочесть со скуки в самолёте. Я перенёс действие в наши дни и к нам, добавил немного сексуального перчика, бросил шепотку сюрреализма, и враньё сварилось славное, Света несколько раз проронила словечко “кайф”, а когда танец кончился, она сказала:

— Если хочешь, можешь ещё потанцевать со мной.

Следующие два танца были быстрые. Мне понравилось, что Света такая живая и весёлая девушка. Она неплохо танцевала, часто сверкая улыбкой, показывающей, что ей нравится двигаться и мелькать под музыку. Когда быстрые танцы сменились медленным блюзом, я с удовольствием привлёк к себе раскрасневшуюся, чуть разгорячённую Свету. Она попросила дорассказать роман Стаса Рублёва. Ловко закруглив сюжет “Бешеных”, немного покропив его читанным в “Иностранке” рассказом Гийома Аполлинера, я спросил Свету:

— А что это за Кира, которая может объездить полмира? Что за Сергей Лалакин, погибший прекрасной смертью? Это он надпись на станции написал?

Света сделалась серьёзной и важной, как семиклассница, получившая приглашение в кино от десятиклассника.

— Не смейся. Это всё очень не смешно. Потом тебе расскажу. Хочешь, пойдём прогуляемся. А то вон пришёл один парень, сейчас начнёт ко мне приставать.

Когда мы выходили с танцплощадки, этот “один парень” бесцеремонно схватил Свету за предплечье:

— Куда же ты, Светик?

— А ну не хань! — вырвалась Света. — Пошли, Серёж.

— Ну-ну, — промывчал “один парень”. Мы вышли. Я ждал погони, но она не последовала. Мы зашагали в сторону станции.

— Ты на даче, что ли, здесь живёшь? — спросила Света.

— Нет, снимаю комнатёшку. На Чистом Просеке.

— С женой или с родителями?

— Один. Жены у меня нет. Развёлся.

— Ты бросил или она тебя?

— Она. К другому ушла.

— Молодец, не скрываешь, что она — тебя. Не выпендриваешься. Бедненький. Соскучился, наверно, по обнималкам?

— Соскучился, — кивнул я и, правильно расценив Светин вопрос как приглашение, обнял её правой рукой за талию.

Хотя ещё было вполне светло, на станции уже зажглись фонари. Пробежавшая электричка вытряхнула на платформу человек пять с сумками в обеих руках. Мы протопали по гулкому подземному переходу, и железная дорога осталась у нас за спиной. Света была немножко полненькая, но совсем чуть-чуть, ей даже шло, приятно было держать её за талию и слегка прижимать к себе, тёплую и мягкую. Мы стали спускаться к озеру. Миновали забор кондитерской фабрики, откуда и струился карамельный запах. Света работала на ней. Ещё, пока мы шли к озеру, я узнал, что она в прошлом году только закончила школу, а все липовские парни ей уже “до чёртиков надоели”.

— Я вообще-то сегодня не собиралась идти на танцплощадку, — сказала она, когда мы вышли к озеру.

— Это почему же?

— Так. Не люблю танцы в субботу. В пятницу — люблю. Знаешь, что ещё завтра суббота, и снова танцы. И что снова можно допоздна. В пятницу лучше всего. А потом что-то всё-таки потянуло.

— Что же, если не секрет?

— Не секрет. Только я сама не знаю. Подумалось: а вдруг?

— Что — а вдруг?

— Ну, а вдруг — что-нибудь этакое. А ты почему вчера не приходил? Вчера так весело было.

Я остановился. Света повернулась ко мне лицом, Я притянул её к себе, и мы стали целоваться. Когда поцелуй кончился, Света отстранилась и глухо сказала:

— Вот этого больше не надо.

Я засмеялся:

— Почему? Разве плохо?

— Не плохо. Но и ничего хорошего — прямо так сразу. Смотри-ка, кто-то костёр жгёт. Вон там, видишь? А хочешь купаться?

— Не очень.

— А я хочу. А ты почему не хочешь?

Она стала раздеваться. Сняла тенниску, потом через голову стянула пышную полосатую, прошлогодней моды юбку и стала развязывать шнурки кроссовок. Оставшись в одном купальнике, протянула мне юбку и тенниску, чтоб я подержал. Смело вошла в воду, густую, как смола. Поплыла, обмакнув в воду концы трепыхающихся кудряшек. Мне было хорошо и не хотелось думать ни о Лалакине и Кире, ни о недавнем своём разводе, ни о смерти жены.

После дождливого, тучами обёрнутого дня сумерки давали о себе знать раньше обычного. Над водой обильно парило, очень тёплый вечер наполнял испарениями берег. Послышались чьи-то шаги. Стоя с одеждой Светы в руках, я подумал, что по законам жанра именно сейчас должен появиться с энергичными приятелями тот Светин парень. Я оглянулся. Действительно, это был он, только вместо приятелей с ним оказалась приятельница. Они шли обнявшись и дымили сигаретами. Приблизились к воде.

— Это Светка, что ль, твоя там плавает? — спросила девушка.

— Светка, — ответил парень.

— Свет! Как водичка? — крикнула девушка.

— Мокрая, — отозвалась Света. — Людк, ты, что ли?

— Я. А со мной-то, видишь, кто? Если тебе не надо, он теперь мой будет.

— Бери!

— Ага, ну, мы пошли.

Они отправились вдоль кромки воды в противоположную от меня сторону, а Света поплыла к берегу. Выйдя на сушу, тряхнула кудрями и выдохнула:

— Кайф. Чего они у тебя спрашивали?

— Ничего. Они даже не подходили ко мне.

— Но ты вообще-то поосторожней теперь ходи. Фофан — чмо такое, он тебе не простит. Ты драться-то умеешь?

— Приходилось раза три.

С неба просыпалось несколько крупных капель, проурчал гром. Света забралась в кабинку для переодевания и вскоре вышла одетая, стала выжимать купальник.

Дождь посыпал не на шутку.

— А я-то надеялась, хоть вечером дождя не будет. Пошли скорее.

Мы не пошли, а побежали, потому что дождь всё усиливался. В гулком подземном переходе на станции кроме нас от дождя пряталось ещё человек двадцать.

— Зря переодевалась. Надо было в купальнике бежать, — сказала Света. Тенниска на ней вымокла. Руки Светы покрылись мурашками, губы посерели. Она вдруг сделалась совсем незащитной.

— Что нам дождь, побежали, — предложил я.

Дом Светы оказался на улице Чкалова, вдвое ближе от станции, чем мой — на Чистом Просеке. Добежав до калитки, Света сказала:

— Если завтра будет солнце, найдёшь меня днём на озере.

— А если опять дождь? — спросил я.

— Значит, не судьба. Найдёшь в какой-нибудь другой день. Ну, всё, я побежала. Захочешь — встретимся.

На другой день мы загорали с ней на берегу озера. На чистом, без единого облачка небе висело горячее, жгучее солнце, от которого каждые пять минут хотелось залезть в воду. Очень скоро я, лёжа на спине, держал в своей ладони руку Светы, легонько поглаживая её пальцами.

— Как у вас, парней, всё просто, — жаловалась мне Света на нас, парней. — Вам бы только поскорее раз — и в дамки. Легко вам живётся. Никаких трудностей. Сегодня — одна, завтра — другая. Не очень-то огорчаешься в жизни.

— Да, — сказал я. — Особенно этот ваш Лалакин.

— Это исключение.

— Да? А по-моему, просто неврастеник.

— Сам ты неврастеник! — она выхватила из моей руки свою и приподнялась, опершись на локоть. — Ты знаешь, кто такой Серёжка Лалакин? Серёжка — это не то, что вы все.

— Кто же он? Святой Януарий?

— Сам ты святой Януарий! Серёжка был настоящий. И он доказал всем, что такое любовь.

— Неужели нельзя было как-то иначе доказать?

— Представь себе, нельзя. Она же уехала. Навсегда, понимаешь? А он без неё не мог.

— Она что, так была хороша?

— Кира? Стерва порядочная. А вообще-то, честно говоря, я ей даже завидую. Она волевая. И она у нас самая красивая была в Липах. Знаешь, как к ней ребята клеились!

— Интересно. Ты мне вчера обещала рассказать.

— Да что я могу рассказать. Мне тогда четырнадцать лет было...

В тот год, когда Кира вышла замуж за москвича, а Лалакин бросился под поезд, Свете было четырнадцать лет. Это было время, когда ей горячее, чем когда-либо потом, мечталось о любви и о том необычном и таинственном, даже роковом, что её окружает. Больше всего тогда обсуждались отношения между Серёжкой Лалакиным и Кирой Февралёвой. Однажды в самом начале лета Света купалась с одноклассницами в озере, было уже очень поздно, смеркалось, купание в тёплой воде доставляло чрезвычайное удовольствие, и вдруг одна из подружек с благоговейным ужасом в голосе сказала:

— Ой, девочки, это они!

И уже не надо было объяснять, кто — они, и так ясно, что худощавый парень с открытым и светлым лицом — Лалакин, а смуглая, темноволосая красавица — Кира. Она проплыла мимо них, сверкнув в их сторону глазами шемаханской царицы, и заплывла на самую середину озера, а он стоял у берега по пояс в воде и смотрел на неё, как она плывёт. И всем девочкам непременно захотелось выйти из воды около него и даже заглянуть ему в лицо. Так они и поступили, а Света даже отметила, что у Лалакина на плече крупный шрам.

— Ой, девочки, какой же он всё-таки, прямо так и светится! — сказала потом одна из подружек, Люся Петрова.

— У него прямо на лице написано, какая им владеет любовь, — добавила другая, Анжелка Савина.

— Ой, а я вам скажу, ничего в нём такого особенного нет, — неожиданно возразила Ленка Харитонова. — Даже больше скажу: он её, девочки, не стоит. У неё ведь и глаза, и волосы, и фигура — всё такое царственное. А что такое он? Ну, что такое он? Обычный парень, каких миллионы. Нет, вы как хотите, а я вот как скажу: она — роковая женщина, вот что. А он — одно слово: Лалакин.

Света молчала. Она никак не была согласна с Ленкой, но и примитивные восторги Люси и Анжелки не вызывали в ней ответа, хотя попробуй она сама выразить то впечатление, которое в ней осталось при виде Киры и Лалакина, вряд ли у неё получилось бы что-нибудь лучше, нежели “прямо так и светится” или “прямо на лице написано”. Поэтому она молча смотрела, как в сгущающихся сумерках Кира чуть заметно двигается в центре озёрной поверхности, а Лалакин плавает вокруг неё кругами, то переворачиваясь на спину и делаясь похожим на пароход с лопастями, то уходя под воду, а вынырнув, принимается делать рывки, как дельфин. Она была уверена, что когда они выберутся на берег, то непременно поцелуются, но этого не произошло — Лалакин всё так же держался от Киры на расстоянии, хотя та, кажется, была с ним очень приветлива. Он закурил, но она чуть слышно попросила: “Не кури”, — и он тут же потушил сигарету. Потом девочки бредли за ними и подглядывали, как, дойдя до Кириной калитки, Лалакин обнял Киру и, притянув к себе, нежно поцеловал её в переносицу, а она сказала:

— Встретимся послезавтра, хорошо?

— Хорошо, — ответил он. — Как ты захочешь.

Дальше девочки преследовали уже одного Лалакина. На Железнодорожной улице от них откололась Ленка, на Советской ушла домой Люся, и лишь они с Анжелкой шли за Лалакиным до конца, потому что им хотелось точно знать, где он живёт, как выглядит его дом. Лалакин жил на дальней улице Энтузиастов в доме, разделённом пополам, причём это разделение даже обозначалось высоким забором и у дома было два хозяйских участка. Лалакин поднялся на крыльцо, обернулся и вдруг помахал Свете и Анжелке рукой, из чего им нетрудно было сделать вывод, что он знал об их преследовании. Затем он вошёл в дом, и вскоре одно из двух окон, выходящих на улицу, засветилось.

И Света подумала: вот ведь оно — счастье. И вспомнилось, как рассказывали, будто Лалакин при всех жёг на свече руку, показывая Кире, как он её любит. И шрам этот на плече — тоже ведь, наверное, что-нибудь эдакое, не просто так. Доказательств любви Лалакина в изустных пересказах бродило много — корзина цветов, обнаруженная Кирой однажды утром у себя под окном, фантастические французские духи, ради которых Лалакин перед одним из дней рождения Киры пропадал в Москве целых три дня, а кто говорил — и неделю, умопомрачительные песни, которые он сочинял в честь своей любви и распевал на танцах вместе с вокально-инструментальным ансамблем, где Лалакин играл на гитаре и сам пел; к лобовому стеклу его автобуса была прилеплена большая фотография Киры, тогда как у всех водителей красовались либо персидские коты, либо женские ножки с чулочных упаковок, либо генералиссимус Сталин при всех орденах.

Вскоре Света узнала и историю происхождения шрама, и это было настолько эдакое, что дух захватывало. Оказалось, что у Киры до недавнего времени ещё держался роман с каким-то мотоциклетным гонщиком из Покровки, которого звали Лёшка Джонленнон. Гонщик повёл себя с Кирой очень некрасиво, путался одновременно с обеими липовскими чуврылами — Зеброй и Простынёй, — и в прошлом году осенью Серёжка Лалакин по просьбе Киры накустылял Джонленнону, когда тот стал приставать к ней. Джонленнон приехал в Липы с компанией покровских, и после танцев около парка культуры произошла серьёзная стычка между ними и липовскими, во время которой Лалакину рассекли плечо велосипедной цепью. Несчастье послужило Лалакину на пользу — Кира почувствовала влечение к нему, ведь он даже в больницу попал из-за неё, и зимой случилось то, о чём все говорили: “между ними что-то было”.

Как же Свете хотелось тогда, чтоб и у неё *что-то было*, но именно такое, как у Лалакина и Киры Февралёвой: догорает свеча, они с болью, роняя последние поцелуи, отрываются друг от друга, вот он уже одет, в последний раз до крови целует её жадный рот и тихо, замедленной стёмкой, выпрыгивает из окна, а она, прикрыв левой рукою обнажённую жаркую грудь, правой тянется за ним в это колючее морозное утро, не чувствуя холода, воспалённо дыша и не умирая лишь потому, что завтра ночью, если его не убьют соперники, счастье повторится вновь...

Загорая на озере, Света невидящим взглядом смотрела в небо и слышала, как скрипят по снегу *его* шаги.

Но *он* всё не появлялся. Крутился одно время Вовка, сын директора карамельзавода, Вовик-Бобик, паршивенький такой скелетик, лез с девчонками в карты играть и приставал к Светке:

— На что спорим, туда и обратно пять раз озеро переплыву и не окочурюсь!

— Да лучше бы окочурился, — рассердилась Света, и он как-то быстро после этого отстал.

Нежелание Киры выходить замуж за Лалакина изрядно затянулось и уже раздражало всех без исключения. И уж ничем иным это не могло закончиться, как тем лишь, что в конце июня разнёсся слух: Кира уволилась из поликлиники, где работала медсестрой, и вот уже неделя, как исчезла из Лип. Лалакин в компании друзей признался, что обязательно и очень скоро врежется в столб, потому что в некоторые минуты абсолютно не владеет собой. А Кира вскоре объявилась. Её привёз на “Жигулях” “роскошный чел”,

они побросали в “Жигули” кое-какие Кирины вещички, Кира сказала матери, с которой постоянно пребывала в отношениях взаимного бойкота, что выходит замуж за москвича и больше в Липах не появится. Лалакину сообщили о появлении Киры с небольшим опозданием — он рванулся на своём автобусе, но догнал “Жигулёнка” лишь километрах в двадцати от Лип. Загородил беглецам дорогу и вынудил Киру выйти для разговора. Она сказала, что выйдет ли замуж — неизвестно, но то, что в Липы уже никогда не вернётся, это точно. Он грозился, что убьёт её и себя. Она осталась равнодушной. Вечером Лалакин вернулся в Липы, раз двадцать рассказал о том, что случилось на шоссе, и пьяный бродил по посёлку, истошно крича. Света слышала его крики и плакала о нём.

В тот знаменательный день 11 июля Серёжка Лалакин в сопровождении Кольки Жихарева и Юрки Дёмина появился на платформе станции Липы торжественный, даже весёлый...

Меня прямо-таки подкинуло от удивления:

— Как! Они что, были в тот момент с ним?

— Ну, а я про что тебе говорю, — ответила Света. — Они с вечера у Жихаря гудели, но утром были как стеклышки. Дёма и Жихарь были с ним на платформе, Серёжка из баллончика написал “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, простился с ними и прыгнул. Поезд шёл Москва—Алма-Ата. Дело было в воскресенье. Мне мать сказала, я, как узнала, — бегом туда. Его уже достали и увезли, а Жихаря с Дёмой — в ментовскую. И что удивительно: когда его достали, он совсем никак не изуродованный был, только мёртвый. И улыбка на лице. И перед тем, как броситься, говорят, весёлый даже был, даже шутил.

— Погоди, ведь это же подсудное дело, что они с ним при этом находились.

— Подсудное, — кивнула Света. — Но они отвергались. Сказали, что ни о чём таком не догадывались. Мол, шли купаться на озеро, а Серёжка и говорит: погодите, мол, я только кой-какую надпись хочу сделать. Даже нашли свидетеля, который подтвердил, будто они его удерживать хотели, да не успели.

— А может, они и впрямь не знали?

— Ну, да, не знали! Он с ними даже обнялся на прощание. Только ты смотри, липнешь кому, ребята тебя из-под земли достанут. Правда, Жихарь с Дёмой говорят, что они всё равно до самого конца не верили, что он это делает. А он взял и сделал. Вот он какой был, Серёжка Лалакин! А ты говоришь — святой Ягуарий. Тут настоящая любовь была, а не святой Ягуарий.

— Но ведь это подло, что они знали и не ответили ему, позволили ему сделать эту дурь! — сказал я.

— Ничего не подло, — возразила с уверенностью Света. — Ведь ему уже ничего не оставалось теперь в жизни. Трудно это понять тем, которые никогда не любили.

Я увидел, что возражать Свете бесполезно.

— Ну, а ты? — спросил я. — Любила?

— А то, можно подумать, не любила! Представь себе, ещё как.

— И чем же твоя любовь кончилась?

— Представь себе, ничем. Он козёл оказался.

— И что же ты жива? Не бросилась под поезд?

— Это из-за такого козла-то?

— А что, прекрасно. Написала бы: “БУДЬ СЧАСТЛИВ, КОЗЁЛ”, и — вперёд!

— Ты циник такой, вообще, на фиг!

— Ну, не сердись. Расскажи лучше про своего козла.

— Да не хочу я про него рассказывать. Вон видишь ту девицу? Это и есть Зебра. Издалека ещё ничего, ещё можно подумать, а при ближайшем рассмотрении — полкило краски. А уж пьянь!

Танцы в Липах имели известность, и когда рядом, возле Доиловского водохранилища, началось строительство комбикормового завода, в парке

культуры “Молодость” заметно прибавилось незнакомых парней и девушек. Среди них оказались и кавказцы. Однажды на танцплощадку пришли трое. Впереди возвышался тёмный, пышущий здоровьем красавец в свитере с надписью “Jeans Club” и в джинсах с британскими флажками на задних карманах. Сверкнув двумя симметричными золотыми зубами, он сказал:

— Эх, пит буду, гулят буду, русский девушка обнимат буду!

Света случайно очутилась на его пути.

— Здравствуйте, — сказал ей красавец. — Очень приятно познакомиться. Меня зовут Казбек. Вы танцуете?

Этого было достаточно. Света попала во власть к Казбеку, они танцевали, они бродили под ручку по парку, в единственном липовском кафе “Прага” они ели шашлык, которого никогда раньше тут не подавали, и пили портвейн “Кавказ”. Удивительно, как мало оказалось нужно, чтобы превратить скромный подмосковный посёлок в полуюжный полукурорт. Музыканты играли кавказскую народную мелодию, и Казбек с двумя приятелями, Мухаммедом и Хасаном, с большим азартом плясали. С Мухаммедом была Вика — девушка со стройки, а Хасан подобрал здешнюю, липовскую Зебру. Потом они вшестером покатали в Доиловку. Там, на берегу водохранилища, горел огромный костёр и много парней и девушек сидели вокруг него. Пели под гитару. Свете казалось, что с юга они вдруг переместились куда-то в Сибирь, на ударную стройку — штормовки, русобородые лица, романтика, свежий ветер, даже комаров как-то больше обычного. Казбек спросил:

— Света, ты совершеннолетняя, да?

Это было год спустя после гибели Лалакина. За это время Света повзрослела, у неё выросла грудь, всё округлилось. Ей исполнилось пятнадцать. Она ответила:

— Конечно. А ты думал!

— Тогда пойдём в лес погуляем, — предложил Казбек.

— Пойдём, — согласилась она.

В лесу Казбек сказал:

— Ты когда-нибудь целовалась с парнями?

— А ты думал! — сказала Света, вся пылая. В груди у неё сделалось как-то тоскливо и в то же время сладко.

— А ну, дай, проверю, — сказал Казбек и очень сильно стиснул её в своих объятиях. Она пискнула и взбрыкнула, а он огромным ртом своим поглотил её губы и втянул в себя. Света чувствовала, что надо что-то сделать, но не могла. Где рука, где нога, где что, она не знала. Казбек повалил её, и прикосновения холодной травы и росы были удивительно приятны. Ей было больно и торжественно, она вцепилась ему в кудри и трясла его голову, и всё сотрясалось, а сердце стучалось об землю. Потом он встал и сказал:

— Эх, хорошо!

И тогда она почувствовала, что на холодной земле лежать неприятно, что за шиворотом что-то колется. Поднимаясь, она вернула на место всю одежду, отряхнулась и сказала:

— Проводи меня до станции.

Неделю, а то и больше, она ждала, что Казбек встретит её где-нибудь и снова поведёт гулять. В душе у неё горело, как никогда. Поехать самой в Доиловку? Нет, она полагала, что ещё не время так унижаться. Все вечера бродила по Липам и вдруг однажды увидела, как к дому на Тихорецкой подъехали синие “Жигули”, из которых вышла Кира Февралёва и прошла в свой дом. Ровно год спустя после того, как дала обещание никогда больше не появляться в Липах. Фирменная песня “Будь счастлива, Кира” ещё только-только прозвучала тогда на танцах в парке культуры в исполнении группы “Лепрозорий”. Но в этот раз угрозы в адрес Киры не были выполнены, потому что Кира, как выяснилось на следующий день, приехала хоронить свою мать. После похорон они с мужем заколотили дом и благополучно уехали, а вскоре после этого Света вновь встретилась с Казбеком. Она увидела, как он бодро шагает по Советской в направлении парка культуры с каким-то типом. Света шагнула ему навстречу, улыбнулась полуравнодушно:

— А, кого я вижу! Привет!

— Привет, дарагая, нэ знаиць, бильярд открыт?

Казбек вообще-то по-русски хорошо изъяснялся, но он знал, что кавказский акцент веселит русских девушек и пожилых людей. На сей раз он веселил мужчину лет сорока, которого явно намеревался обыграть в бильярд. Света видела, что в парке открыта бильярдная, и ответила, что открыт.

— Хочиць, идём с нами. Большой игра будет.

— Больно надо, — ответила Света и пошла мимо. Не пройдя и пяти шагов, она разрыдалась. Так и шла дальше, рыдая. Если кто мимо проходил, она мигом утирала слёзы и, отвернувшись, делала вид, будто что-то разглядывает там. А потом снова принималась рыдать. На берегу озера гулял со своей овчаркой Вовик-Бобик. Молодая собака не слушалась его, прыгала во все стороны, хотя он строго кричал ей: “Я кому сказал! Вега, я кому сказал!” Глядя на них, можно было подумать, что овчарка едва сдерживается, чтобы не повалить его сильными передними лапами и не перекуснуть его хрупкую шейку. Что скрывать, Света позволяла от скуки Вовику-Бобику крутиться вокруг неё. Но знала, что рано или поздно наступит момент, когда она прикажет: “Катись! И не смей подходить ко мне больше”. Увидев Свету, Вега с лаем устремилась к ней.

— Вега! — сказала Света. — Не смей ко мне лизаться!

И собака послушалась, остановилась в полуметре и, радостно гавкая, motionала своим глупым хвостом.

Спустя полчаса, ведя на поводке Вегу, Света вошла в бильярдную. Маркёр Василич, которого за крупную бородавку, висающую у него на щеке, звали также Висюlichem, возмутился:

— Ты чего это, эй! Проваливай к шутам! Эй, девка, слышишь или нет?

Казбек играл за средним столом. Увидев Свету, вступился:

— Ти чего шномиць, дядя? Дэвушка пошмотрет хочет. Да? Ай, пёс! Шайтан, а не пёс! Ух ти, лапа! Твой, да?

— И не пёс, а Вега, собака то есть, — сказала Света.

Казбек играл умело и лихо. Его соперник едва успевал вколачивать шары, постоянно отставая на два, а то и на три, и то и дело утирал лысину громадным носовым платком, глядя, как, сверкнув золотыми клыками, Казбек бросает на сукно стола ребро ладони левой руки и как с большой амплитудой колебания движется между средним и указательным пальцами кончик кия, прицеливаясь, и — хлоп-шлон! — шар болтается в лузе.

— Ай-якши! Своячок-передовичок! Феличита, на-на-на-на-на-на... Феличита...

И Света хлопала в ладоши, а Вега лупила хвостом, и ей не сиделось на месте. И потом ещё один раз Света увидела всё это будто наяву, когда, наглотавшись таблеток, думала, что умирает, хотя знала, что от этих — не умирают; сквозь предвотную тошноту и муть отчётливо увидела она кий, прицеливающийся и скользящий в руках Казбека, как смычок у скрипача, и тысячу шаров, kloчочущих в трепетных лузах, и перстень с чёрным камнем на мизинце Казбека, и блеск наглого веселья в его глазах; и явственно слышала голос его, сыплющий всякие бильярдные прибаутки: “В левый дальний с причмоком... А вон того шара в милицию вызывают... От борта, от винта, оп-паньки! А говоришь, зимой не пашут... А вон того чужого проверим... Чито-григо, чито-маргарито, да! Мои года — моё богацтво...” И с тошнотворным стыдом вспомнилось ей в ту минуту всё остальное: как много выигравший и изрядно покуражившийся Казбек привёз Свету в Долиовку, в рабочее общежитие, как кричала вахтёрша, что с собакой нельзя... Как пошли погулять двое соседей Казбека по комнате: “Братишки, пойдите, погуляйте, да? Мне с девочкой серьёзно потолковать надо, да?” И как Вега лезла к ним в постель и тыркалась в них носом, думая, что это такая у людей весёлая игра, а Казбек со смехом говорил Веге: “Ты, красавица, молодая ещё, тебе рано!..” И как Свете потом жутковато было отдавать собаку Вовику-Бобику, будто Вега могла проболтаться о том, что видела, и до смешного противно было, что Вовик всё-таки полез со своим поцелуем: “Мы же договаривались. Меня отец, знаешь, как отчехвостил за Вегу...” — “Ну, ладно, только не очень”, — сказала она, а он как раз *очень*: прилип

своим сплюнявым ртом, насили вырвалась, не смотри, что с виду такой хилак... Но это уже только мельком, а больше всего навязчиво вспоминался почему-то именно кончик кия, плавнодвигающийся взад-вперёд, прицеливаясь к шару, и казалось, что тошнит именно от этой галлюцинации. Потом Света закричала, и её стало рвать, прибежала мама, всполошилась, заругалась, понеслась к соседям, чтобы сбежали за врачом...

То, что после свидания в общежитии в присутствии Веги Казбек окончательно бросил Свету и демонстративно предпочёл её Зебре и Простыне, было для неё ударом. Но не только. Страдая, она вместе с тем чувствовала, что у неё захватывает дух от какой-то совершенно дурацкой радости — Казбек поступил с ней точно так же, как когда-то поступил с Кирой Джонлендон, а значит, от всей этой несчастной, но красивой истории с рефреном “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” к ней, к Светке, протянулась тонкая ниточка. Ведь и тогда были замешаны те же самые Зебра и Простыня, известные всей округе шлюшки. Оставалось лишь гордо и красиво выстрадать, дострадать до конца. Для этого Света решила окончательно уничтожить себя.

Чудесным августовским вечером она находит на берегу компанию: Казбек, Простыня, какие-то незнакомые девки, кажется, одна с комбикормовой стройки, и трое ребят, из которых только один знакомый — Лёшка Барыгин, почти Светин сосед, на одной улице живёт. Все сидят вокруг костра, пьют вино, целуются. Света подходит и просит Казбека отойти с ней на два слова. Он нагло подмигивает всей компании, но соглашается. Они отходят на несколько шагов от костра, и Света говорит Казбеку, что беременна от него. Казбек уверен в себе, нисколько не теряется. Он жёстко отвечает ей:

— Э, слушай, заколебала ты меня! Какое мне дело? Сильный зверь гуляет по всему лесу, кто попадётся — добыча, а что с ней потом станет, его не волнует. Запомни это. А тебя я и знать не знаю, у нас с тобой ничего не было. Прощай, милая. Припомни кого-нибудь другого, да?

— Подонки! Козёл! — кричит Света и убегает со слезами в темноту леса. Она бежит домой. Она пишет письмо: “...потому что нельзя жить, когда кругом одно сволочьё, и на любовь тебе отвечают ложью и бессердечием...” — затем разрывает упаковки — анальгин, аспирин, этазол, сульфадиметоксин, папаверин, — в общем, куча всякой мурсы, от которой, она знает, нельзя умереть, но запикивает себе пригоршнями в рот, глотает, давится, жует, давится и глотает. Ещё хватает из шкафика пузырьки с красными чернилами и зачем-то пьёт чернила; знает, что будет рвать — вот напугаются-то! По всем Липам разнесётся: кровью рвало девку!

— А то, что беременная, ты ему нарочно сказала?

— Конечно, нарочно. Ещё чего не хватало. Я бы, наверное, тогда и впрячь руки на себя наложила, если б беременная.

— Да ну, наложила, — усомнился я. — Родила бы себе спокойненько и растила бы своего чебуречика соседям на злорадство. Нет, что ли?

— Ничего ты не понимаешь, — насупилась Света. — Мужики, всё у вас легко. Шляетесь себе. Ни рожать, ни растить. Хотела бы я стать мужиком.

— Это ты брось. Мужиком тебе ни к чему делаться. Ты девка мировая, складная.

Свете понравилось, она уже хмурилась весело. Мы полезли в воду купаться.

— Благодать какая! — отфыркивалась Света. — Завтра бы ещё на работу не идти — совсем кайф.

Мимо с таинственным вопросом: “Купаетесь?” — проплыл Фофан. Я стал придумывать, что ему ответить, если, когда мы вылезем, он пройдёт и спросит: “Загораете?” Над озером, тоже с каким-то вопросом, летала чайка. Я загадал, что, если она коснется крыльями солнца...

После обеда Свете нужно было идти помогать матери в огороде. Я проводил её почти до калитки и пошёл гулять один в лес. Вспоминал, как мы в прошлом году гуляли с женой по лесу в Салтыковке, заплутали и вышли на кладбище, сколько там было на могилах незабудок. Мы нарвали много-много маленьких букетиков, и жена всё как-то запомнила — ставя в стакан

чики, говорила: “Это нам подарил Павел, эти — Анна, эти, самые тёмные, — Григорий Кузьмич, а эти — Европа Николаевна, помнишь её? С таким грустным и светлым взглядом”. А я-то уже и не помнил, какой именно взгляд был у Европы Николаевны на полустёршемся овале, только розовое её надгробие помнил.

Вернувшись из лесу в Липы, я сделал крюк, чтобы пройти мимо Светилого дома. Видел, как она копается в грядках, подставляя солнцу свои крепкие ягодицы, туго обтянутые выцветшей юбкой. Ни с того ни с сего придумалось, что лучше всего было бы ответить Фофану, если бы он ещё спросил: “Загораются?”. Я бы ему сказал: “Экий ты, братец, пентюх!” Я усмехнулся и пошёл на свой Чистый Просек.

Вечером я не зашёл за Светой, чтобы пойти с ней в кино, как мы договаривались. Смотрел футбол и пытался себе представить, какова собой Кира Февралёва. Это было нетрудно — обычная шемаханская поселковая царица, с грустинкой, потому что некому оценить её красоту как следует, а в каком-нибудь московском ресторане развязная, потому что думает, что так полагается вести себя в московском ресторане. И уже без грустинки, а с довольной важностью.

В понедельник я весь день провёл в Москве, дома и заночевал. В Липах делать было нечего — весь день лил дождь. Во вторник дождь кончился, стало невыносимо душно от процеживаемой солнцем влаги, и я поспешил к себе за город. Выйдя из электрички, почувствовал уже неприязнь к дрянной лалакинской надписёнке. Понимаю, что грешно, но до смерти раздражаюсь, когда вижу на могильных надгробиях “Помним, любим, скорбим” или “Горе наше неутешно”. А эта “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” — просто подлость.

Злой и притомившийся от духоты — дёрнуло же меня потащить с собой проигрыватель с пластинками, ведь не хотел же его брать в Липы! — я шёл по посёлку и горестно вспоминал вчерашнее досадное поражение наших от бельгийцев. При повороте с Советской на Достоевского на меня набросилась какая-то дворняга, и хотя я делал вид, что никоим образом не замечаю её, она всё порывалась цапнуть меня за ногу; правда, не цапнула, а лишь ударила пару раз клыком по лодыжке. Бродячие псы на людей никогда не нападают; тут же появился и хозяин дворняги, местный фраер, подстриженный под панка, в чёрных очках. В пору моего детства такие очки назывались макнамарами, а такие фраера — стилиягами. Он с удовлетворением отметил нападение своего бобика на чудака с проигрывателем под мышкой и прошёл мимо. Дома, на Чистом Просеке я установил проигрыватель и слушал пластинки — Генделя и Дебюсси. Затосковал и, когда жара немного ослабла, отправился осматривать отдалённые окрестности. Чтобы не сбиться с пути, старался идти всё время прямо. Пересёк лес, миновал шоссе, на обочине которого красовался покрытый свинцово-серой краской олень с отколотым рогом. Снова брёл по лесу, промочил левую ногу в мелком болотце, которое скоро кончилось. Немного постоял на берегу лесного чёрного пруда, довольно мрачного, заваленного гнилыми досками и ржавым металлическим хламом. За лесом пошли холмы. Первый я обогнул стороной, и там, в отдалении, моему взору представилась прекрасная картина — широкий ручей, бегущий меж холмами, разлив одуванчиков на склоне, а сверху, на одном из холмов, бурые развалины какого-то храма, к которому я сразу устремился. Перейдя через ручей по редкому, как решето, мосточку, стал подниматься на холм. Я шёл медленно, и развалины так же медленно плыли сверху мне навстречу. Временами они прятались в облаке листвы какого-нибудь деревца. Тропинка на холм была изогнутая, и развалины всё время находились чуть слева. Всё — холм, тропинка, деревья, ближние травы и кустарники — всё двигалось, лишь развалины храма оставались на одном месте, только увеличивались в размерах и чуть-чуть, едва заметно поворачивались. Наконец, всё это нагромождение камней, бывшее когда-то зданием, выросло передо мною во весь рост. Церковь была не старинная, самое давнее — середины прошлого столетия. От купола оставался

лишь чёрный корсет, из которого торчали пуки растений, крест отсутствовал. Я вошёл внутрь. На полу — битые кирпичи, стёкла, обломки досок, несколько подвяленных кучек экскрементов. Но запах терпимый. Роспись сохранилась лишь в нескольких местах довольно жалкая — явление Христа по картине Иванова, неумелое до пародийности; Оранта, от которой, можно сказать, остались одни глаза, угольно-чёрные, страшные, распахнутые широко и трагично, будто вопия; Елеуса, совсем уже почти не доступная взору, перечёркнутая жирной надписью “BEATLES”, а чуть ниже — “ЦСКА ЧЕМПИОН”. Я невольно стал искать и лалакинскую “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, но тут её не оказалось. Печально было стоять здесь, среди тусклого света, в поруганном храме. Сквозь зияющее отверстие купола влетела галка, села на перекладину и, пронзительно вскрикнув: “Ча!” — захлопала крыльями. Снаружи стали доноситься чьи-то голоса. Я пошёл к выходу, но сквозь пролом увидел лаз на колокольню, протиснулся туда и очутился в высоком колодце из кирпича. В стенах были проделаны отверстия, по которым нетрудно оказалось взобраться наверх. Сердце во мне колотилось, когда я ступил на верхнюю площадку колокольни и осмотрелся по сторонам. Вокруг были далеко видны окрестности. Первым делом я постарался различить там, за лесом и полоской шоссе, мои Липы, затем пошёл влево от них и увидел вдалеке большое водохранилище, по-видимому, Доиловское, на берегу которого маячило нелепое индустриальное строение, должно быть, комбикормовый завод. Затем шли поля, летел самолёт, — казалось, на такой же высоте, на какой стоял я. Далее — холмы, на одном из которых, покрытом тёмно-зелёным лесным ковром, был странный выстриг в виде исполинской буквы Е. Небольшой посёлок подпрыгнул ко мне поближе, чтобы я смог определить, что он — дачный. Дальше снова шли холмы, мельтешила речонка, то там, то сям желтели пятна разлитых одуванчиков.

Идя справа налево и медленно сменяя одну картинку другой, я вдруг укололся взглядом о яркую солнечную точку совсем вдалеке. Стал пытаться разглядеть, что там такое, и вскоре понял, что там, где-то далеко, на другом таком же холме тоже стоит церковь, но только не разрушенная, а живая. Но зрение у меня не особенно острое, и вскоре я перестал различать на голубом фоне неба тонкий пробел здания далёкой церкви. Лишь отведя глаза в сторону и стремительно возвращая взгляд на то место, я мог на секунду-другую вновь увидеть золотую вспышку купола. Я подумал, а не мерещится ли мне это? Может быть, это там бродит призрак церкви, на колокольне которой я стою? А бывают ли вообще у церквей призраки?

Спускаясь, я промахнулся ногой в выщербленное отверстие и где-то с середины колокольного колодца ухнул вниз. Грохнулся навзничь, ударился затылком и на миг потерял сознание. Тотчас очнулся, была сильная боль в пояснице и в локте. Попытался встать, встал, — значит, с позвоночником всё в порядке. Ссадина на локте была порядочная — вспомнил, что при падении изрядно чиркнул локтем по шершавой кирпичной стене.

В Липы я вернулся, уже чувствуя себя совсем разбитым — болела поясница, невозможно было согнуть локоть — он опух и постоянно кровоточил. Голова гудела. Любовь Никитична заботливо промыла мою ссадину, залила её йодом и забинтовала. Охала:

— Ой, кто же это вас так, господи! Неужто наши барбосы-хулиганьё? Вы их остерегайтесь. Будут просить закурить — дайте, а то они такая шпана-шантрапа. Только дай повод, чтоб зацепиться. У них тут даже своя организация есть. Липари называются.

— Да нет, Любовь Никитична, не волнуйтесь, это я сам споткнулся и упал. А что за липари такие?

— Да шут их знает! Поговаривают, будто есть какой-то штаб — не штаб. А липари — что-то не слыхала, чтоб нас, липовских, так называли. Я вот — липовская, а если мужик — липовский. А липари... Шут его, может, теперь молодёжь себя так называет.

К ночи мне стало невмоготу. Во всей спине и пояснице сидела такая тяжесть, такая боль, что я всерьёз стал побаиваться, не повредил ли позвоночник или таз. К тому же ещё и локоть не переставал опухать. Я промаялся

всю ночь. Не помню как, мысль моя добрела до лалакинской надписи. Кажется, у меня поднялась температура, я чувствовал, что тело моё стало тяжелее вдвое, что я не могу уже поднять ни руку, ни ногу. Примерещилось мне, будто в комнате кто-то бродит неслышными шагами. Хочу встать и не могу. Бред какой-то, жуть! Открою глаза и вижу решётку. Нет, это не решётка — это чёрный корсет развалившейся церковной луковицы, а сквозь него мелькает что-то — то ли мелкая берёзовая листва, то ли чьи-то светлые кудри... Явственно, кожей чувствую: ходит кто-то по комнате. И вдруг развалины храма стремительно поплыли в сторону, всё исчезло, и я увидел посреди комнаты тонкий силуэт женщины с пышной кипой волнистых золотых волос, с поднятыми, как у оранты, руками. Медленно двигаясь, плывя ко мне, она смотрела на меня широко распахнутыми небесными очами. Она приблизилась и промолвила что-то едва слышно. И вдруг превратилась в столп воды, хлынула на меня; тёплые потоки залили всё моё тело. Не ведаю, сколько времени река эта текла по мне, как по руслу. Внезапно всё схлынуло, и я проснулся.

Светило солнце, комната была наполнена ароматами летнего утра. Я ощутил на лбу испарину. Я лежал на спине, одеяло валялось на полу, по всему телу разливалась свежесть. Я встал и обнаружил, что у меня ничего не болит, на локте никакой опухоли. Согнувшись и разогнувшись несколько раз, я убедился, что позвоночник и поясница такие же гибкие, как и раньше. Размотал на локте повязку — нет, ссадина есть, и большая, но не болит. Почти не болит. Отчётливо помнился силуэт увиденной во сне женщины и даже некоторые расплывчатые очертания её лица.

Был жаркий солнечный день. До самого вечера я купался в Тихорецком озере и, загорая на берегу, читал привезённый из Москвы пятый том Бунина из девяти томника — “Митина любовь”, “Солнечный удар”, “Ида”, “Мордовский сарафан”, “Дело корнета Елагина”, “Ночь”, “Обуза”, “Воды многие”, “Поруганный Спас”...

— Привет!

— Све-ета! Привет! Какое платье нарядное! Куда собралась?

— Никуда. Просто прогуляться. Где пропадал? Что читаешь?

— Ездил в Москву. Дела.

— Бунин. Хороший писатель? Я ничего не читала. Ты ещё больше загорел.

— Возьмёшь меня с собой просто прогуляться?

— Пойдём, мне-то что.

Пока я одевался, она листала страницы книги. Потом, видимо, загадав что-то, открыла резко наугад.

— Ну-ка, интересно, что там? Прочти, — попросил я.

Она прочла:

— “Он ещё помнил её всю, со всеми её малейшими особенностями, помнил запах её загара, холстинкового платья, её крепкое тело, живой, простой и весёлый звук её голоса...”

— Это из “Солнечного удара”?

Она листнула назад страницу:

— Точно. Ты что, всё так помнишь? Во даёт! Дашь почитать?

— Возьми. Интересно, о чём ты загадала?

— Не скажу. Секрет.

— Ну, хоть подошло?

— Кажется, да.

— Пойдём по этой тропинке. Ты любишь гадать по книгам?

— Люблю, у меня почти всегда сбывается.

— Если хочешь, я расскажу тебе одну легенду. Небольшую. Коротенькую. Пока не кончится эта лесная тропа.

— Расскажи.

— Слушай. Жил на белом свете, а точнее, в одном большом хорошем городе, человек. Была у него семья — жена, ребёнок, — хорошая квартира, любимое место работы. Занятием ему служила философия истории — пред-

мет, на первый взгляд, довольно бесполезный, но для того, кто занимается им всерьёз, вкладывает в него свою душу, он может сделаться опасным. И вот, когда этому философу стукнуло под сорок, наступила в его жизни страшная полоса. Писал он крупное исследование, можно сказать, труд всей своей жизни, и вдруг столкнулся с такими историческими парадоксами, которые умом он мог объяснить, а вот сердцем принять не сумел. Полный тупик. Встанет на одну точку зрения — логически сходится, а по-человечески не приемлет; встанет на противоположную — чувствует, что прав, а разом протестует. И пошло-поехало мученье. Книга застопорилась. Пока не решишь проблему, дальше идти нельзя. А проблема неразрешима без какого-то третьего, иного видения. Понеслось у философа всё в жизни наперекосяк. Читает лекцию, делает какое-то выступление — и сам диву даётся, что такое говорит. Коллеги стали шушукаться между собою о нём, а кое-кто и сведения собирать, чтобы в других инстанциях сделали кое-какие выводы. К тому же, каким-то образом узнаёт философ, что жена ему неверна, и доказательства её неверности у него неопровержимые. В то же время с ним она по-прежнему ласкова, заботлива... Но нет в доме того уюта, что был прежде. И вот однажды вечером, а точнее, уже очень поздним вечером, около полуночи, сидит философ в своём кабинете и думает, что ему делать. Плпнуть на всё и дописать книгу так, как если бы он не докопался до парадоксов? И всё тогда пойдёт своим чередом... Но он не может. Часов до двух ночи сидел он и размышлял, до тех пор, пока с ужасом не понял, что начинает сходить с ума. Слышится ему голоса какие-то, кто-то зовёт, кто-то плачет, кто-то песни поёт. Мерещится ему, что по комнате мелькает что-то. А главное — в голове и в груди такая невыносимая тяжесть, что вот-вот оборвётся. Встал он, ходит по комнате и у стен спрашивает: что мне делать? Что мне делать! И вот уже в глазах темно становится. Тут он схватил, сам не зная зачем, самую толстую книгу из тех, что стояли у него на полке, раскрыл её наугад и прочитал первую попавшуюся фразу: “Встань и выйди в поле, и там я буду говорить с тобой”. И как только он это прочитал, чувствует, стало легче. Будто внутри какой-то луч засветился. И он уже знает, что будет делать дальше. Собрал свои последние рукописи, сжёг их и тайком сбежал из дома. А с собою взял только денег на первое время, документы и самые необходимые вещи. Сел в поезд и пересёк всю страну по диагонали, с северо-запада на юго-восток. Оказался в глухих довольно-таки местах, обучился ремеслу, которого прежде не знал, и превратился философ в охотника-лесника. Жене он написал, чтоб она от него отреклась и о нём забыла. Но деньги на сына, сколько мог, высылал. Сделался он совсем другим человеком, жил в ветхой избушке, охотился, окреп физически, целыми днями ходил под небом, не боялся ни дождя, ни слякоти, привык к одиночеству, в котором всё больше находил наслаждения.

Прожил он такой жизнью пять или шесть лет и думал, что до самой смерти будет жить так. И был так счастлив, как разве что только в детстве. Но вдруг всё кончилось. Как-то раз забрёл охотник в одно село и встретил там женщину, которую полюбил. Как на грех, и она его полюбила. Вернулся он в свою избушку и хотел поскорее забыть ту женщину. Но шли дни, а он всё больше тосковал по ней. И настал такой день, когда ему стало совсем немоготу переносить тоску. Лежит он ночью в своей одинокой хижине и чувствует, что вновь, как несколько лет назад, сходит с ума. И страшно ему расставаться со своим одиночеством, и без той, которую полюбил, он никак уже не может. Вот-вот в груди его и в мозгу лопнет что-то. Да, забыл сказать: убегая из дому, взял он тогда с собой ту книгу, по которой гадал. И все эти годы он одну лишь её читал. Так вот, в самый страшный момент, в какие люди обычно и сходят с ума, схватил он эту книгу, раскрыл на первой попавшейся странице и прочитал: “Возьми себе камень и положи его перед собой”. И вновь, как и тогда, пришло к нему моментальное облегчение. И фраза из книги не показала ему странно: нисколько не сомневаясь, он решил, что камень — это дом, семья. Отправился в то село и взял в жёны ту, которую полюбил. Построил дом, занялся хозяйством, жена родила ему двоих детей. Так прошло ещё десять лет.

С тех пор как философ уехал из своего города и поселился в далёкой глуши, превратившись в охотника, он был счастлив. Он даже начал огорчаться, что так счастлив, потому что не бывает в жизни так, чтобы великое счастье не оканчивалось бедой и горестями. И вот предчувствия его сбылись. Заболел младший ребенок, любимчик, сын. Заболел болезнью, которую мало кто из врачей умеет лечить. Какие бы печали и униженья ни выпадали на долю философа, теперь уже охотника, это горе оказалось для него самым страшным ударом. Ночью у постели умирающего мальчика сидит он и в третий раз в своей жизни понимает, что сходит с ума. И это безумие в сто раз ужаснее, чем те, которые угрожали ему в предыдущие два раза. Чудится ему, будто он не он, а сама страшная болезнь, умерщвляющая мальчика, будто всё его существо — ядовитое облако, засасывающее в себя несчастного ребёнка. В ужасе, не понимая, что делает, он ринулся опять к той же книге, распахнул её наугад и прочел: “Встань и пойдй к переселённым сынам народа твоего”. И будто ярким лучом света озарила вся страница, тут же промелькнули перед ним и две другие фразы, спасшие его десять и пятнадцать лет назад. Он захлопнул книгу, выскочил из дому и поехал к ссыльным. Тогда шёл последний год суровой диктатуры, и в глухом селе, где жил охотник, располагалась небольшая колония ссыльных. Придя к ним, он спросил, нет ли среди них доктора, умеющего лечить ту болезнь, подкосившую его сына. И чудо: оказалось, что есть как раз среди ссыльных врач, научившийся вылечивать этот смертельный недуг. Именно это ему и навредило в своё время: завистники написали на него донос, и бедного врача без суда и следствия отправили в лагерь, а поскольку он там не превратился в качественное удобрение, после десяти лет в лагере жил теперь в колонии ссыльных. Разыскали того врача, приехал он к сыну охотника и за две недели поставил его на ноги.

Радости охотника не было предела. Вскоре после воскрешения сына подумал он как-то раз: “Что за чудесная книга! Трижды я прибегал к ней за советом, и трижды она выручала меня. Интересно, что, если мне просто так погадать на ней — узнать, к чему готовиться в ближайшем будущем, и, может быть, как предостеречься от какой-нибудь надвигающейся новой беды”.

И вот ночью, когда все в доме спали, зажёл он свечу — именно свечу зачем-то! Ему казалось: если гадать просто так, то уж хотя бы при свече. Положил перед собой книгу, потом поставил её на корешок и раскрыл. Ткнул пальцем куда попало и прочитал: “Съешь то, что перед тобой, съешь этот свиток и иди”.

“Что за бред!” — подумал охотник и вдруг с удивлением обнаружил, что здесь же рядом в тексте кроются и три прежние фразы. То есть трижды в страшные минуты, когда подступало безумие, он открывал книгу на одной и той же странице; и сейчас, когда ему вздумалось погадать просто так, та же самая страница раскрылась ему. Приглядевшись внимательнее, он нашёл на странице небольшой дефект — уплотнение бумаги, благодаря которому, если открыть книгу наугад, она всегда распахивается в одном и том же месте. И он засмеялся. Ему показалось нелепым, что фраза “встань и выйди в поле” почему-то подвигла его сбежать из родного города и поселиться в глуши, что фраза “возьми себе камень и положи его перед собой” разрешила его сомнения относительно того, жениться ему или нет. К тому же теперь он отчетливо видел, что в книге значится не “камень”, а “кирпич” — “возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нём город Иерусалим”. При чём здесь Иерусалим! Этот Иерусалим рассмешил его ещё больше. Он вдруг понял, что совершенно напрасно бросил семью, родной город, любимое дело — философию истории. Он почувствовал жгучую тоску по своей первой жене, первому сыну, захотелось увидеть их хотя бы одним глазком, хотя бы раз пройтись по улицам большого хорошего города, в котором он родился и вырос. Он захлопнул книгу, запихнул её под кровать и, оставив записку, что вернётся через две недели, тайком ушёл из дома. Через восемь дней он добрался до большого хорошего города, вновь проехав через всю страну по диагонали, только теперь уже с юго-востока на северо-запад. В дороге он узнал о смерти диктатора. В поезде рядом с ним многие

плакали, многие паниковали: что же теперь будет?!.. А некоторые подходили к окнам и с радостными слезами надежды в глазах смотрели, как мимо бегут прекрасные, любимые просторы родной земли.

В городе висели траурные флаги; он долго бродил по улицам и несколько раз, когда никто не видел, целовал стены домов. Целые сутки понадобилось ему на то, чтобы решиться прийти в тот дом, откуда он сбежал пятнадцать лет назад. Наконец, осмелился, но выяснилось, что его бывшая жена и сын уже давно здесь не живут. Новые жильцы подробно рассказали ему, что жена его вышла замуж за другого и переехала с сыном в другой конец города семь лет назад. Раз в месяц она приходит за квитанцией на получение денег, которые ей присылает её бывший муж. А когда была война? А когда была война, они с сыном жили в эвакуации. К охотнику, а он уже не был охотником, потому что вновь превратился в философа, пришло отчаяние. Он увидел судьбу свою исковерканной. Вторая жена, сын и дочь, которых она ему родила, казались ему чем-то нереальным, не ему принадлежащими. В то же время он не мог не думать о них. И снова в душе его наступил такой кризис, что он ощутил тяжелейший приступ сумасшествия. Он шёл по улице, стены домов казались ему книжными полками, он хватал их в поисках книги и не мог найти того, что ему нужно... Дальнейшая судьба этого человека неизвестна.

— Как неизвестна? — ошарашенно спросила Света.

— А вот так — куда делся, сошёл ли с ума, бросился ли в реку, уехал ли искать иных мест? Бог ведает.

— Ужас какой. Какие ты вещи рассказываешь!

— Не понравилось?

— Ты что, ужасно понравилось. Я, знаешь, как люблю такие потрясающие сюжеты! Я прямо вся обомлела.

— А всё это просто о вреде гаданий.

К концу моего рассказа мы вышли из лесу и теперь стояли перед калиткой заброшенного дома. В лучах заката он казался каким-то особенным, я внимательно разглядывал его и не мог понять, что именно так привлекает меня. Света стояла передо мною, смотрела на меня в упор шальным, загадочным взглядом и что-то говорила. Я не слышал её слов, рассматривал стены, заколоченные окна, крышу, крытую шифером, — всё это было залито золотом заката, чуть оранжевым, слегка горьковатым, щемящим. Я вспоминал осень, заколоченные дачи, двоих влюблённых, одним из которых был я, вороха павших листьев, долгие томительные поцелуи, запахи осеннего тоскливого заката, одиночество двоих людей, так не навечно предоставленных друг другу...

— ...а сегодня почему-то целый день думала о тебе, и ужасно захотелось с тобой встретиться. А когда нашла тебя на берегу, так обрадовалась. Взяла твою книгу и загадала: интересно, думал ли ты обо мне?.. Ты не слушаешь меня?.. Серёжа!

— Что?

— Ты не слышишь меня?

— Почему ты решила? Слышу: ты взяла книгу и загадала, думал ли я о тебе. Там было написано: "Он ещё помнил всю её, её холстинковое платье, запах её загорелого, крепкого тела..." Что-то в этом роде. И ты решила, что это обо мне?

— Не знаю... Куда ты смотришь? А, ты узнал у кого-то, кто жил в этом доме?

— Нет. А кто?

— Кира Февралёва. Та самая.

Я вздрогнул от неожиданности.

— Правда?

— Ну, с какой стати мне врать?

— А что же никто не вымзал ей дёгтем калитку? Забывают нынче славные традиции прошлого! Или дёгтя не нашлось? Так брызгалкой бы написали какую-нибудь похабщину.

— Мы что, так и будем здесь стоять или пойдём всё-таки дальше? — В голосе Светы послышалась обида и злость.

- Пойдём. Почему ты сердишься?
- С чего ты взял, что я сержусь?
- Не знаю, показалось.
- Вот ещё, с чего мне на тебя сердиться.

Молча мы прошли по Тихорецкой улице, на которой, оказывается, жила та самая Кира Февралёва. Вот где она жила-то, оказывается.

Когда мы вышли к железной дороге, Света спросила, кто рассказал мне про философа-охотника.

- Не помню. Прочитал где-то.
- Глупая история. Такого, по-моему, в жизни не бывает.
- Отчего же? Нет, бывает. Если писатель что-то пишет, значит, это на-

верняка есть в жизни. Даже если он ерунду сочинит. Абсурд какой-нибудь сочинит — и то не просто так, а из жизни. Был такой философ — Декарт. Он сказал, что человек ничего не может сам придумать. Возьмётся изобретать какое-нибудь чудовище, и всё равно не изобретёт ничего такого, чего в жизни не бывает, потому что у чудовища будет тело змеи, голова быка, когти льва. Но ведь змеи, львы и быки существуют в природе. Любая самая что ни на есть галиматья, которую сочинят люди, берётся из жизни.

— Какой ты мудрёный, непростой. Даже противно. Тоска берёт. Тебя, наверное, потому и жена бросила. Скажешь, нет?

- Скажу — да. В самую точку попала.
- Пойду-ка я домой, кино какое-нибудь по телику посмотрю.
- Ну, что ж, пойдём, я тебя провожу.
- Не стоит утруждаться. Вообще не нужно больше ко мне подходить,

а то меня потом никто замуж не возьмёт — станут говорить, что я, как та Кира, москвичам на шею вешаюсь.

— И повторится всё, как встарь: Фофан под колёсами скорого, рядом с “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” появится надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, СВЕГУЛЬЧИК”. Бунина-то возьмёшь почитать?

— Да ну его к лешему! Небось, такой же зануда, как ты. “Помнил её всю...” Не бывает такого, чтобы мужик долго помнил. Это я раньше про любовь любила читать, верила. А теперь я люблю зарубежный детектив. Только у нас в библиотеке они нарасхват. У тебя нет, случайно? Или Стругацких?

- Чего нет, того нет.
- Ну, и отчаливай тогда. Аривидерчи, рагаци!
- Постой! Хочу тебя спросить.
- Ну?
- Где тут у вас кладбище?
- На могилки захотел поглядеть? У нас в Липах нет своего кладбища.

Большое кладбище в Покровке. Мы там своих хороним.

- Лалакин там лежит?
- Там. А что?
- Ничего. Всё, пока. Иди, смотри телик.

Я пошёл на станцию, купил билет до Покровки — следующей от Лип станции в сторону Москвы. Когда подошла электричка, на платформе появилась Света. Едва успела выпрыгнуть со мной в один вагон. В дороге она, сидя рядом, фыркнула:

— И чего я с тобой попёрлась, сама не знаю.

Сразу после этого появились контролёры, и, поскольку Света не успела купить себе билет, мне пришлось заплатить за неё штраф.

— Да и впрямь, чего ты попёрлась, — сказал я, и мы рассмеялись.

Долгий июньский закат пружинил в окнах электрички, а когда мы вышли в Покровке, он вступил в свою заключительную стадию, и всё вокруг было залито оранжево-красным соком истекающего солнца. С платформы мы ринулись к отходящему автобусу — село Покровка лежит в нескольких километрах от своей метки на железнодорожной линии. За окном автобуса промелькнуло перечёркнутое наименование пристанционного посёлка “Дорожник”, раскинула свои объятья гигантская фанерная звезда, промелькнул какой-то НИИМОЖ, наконец, началось село Покровское, в котором мы вышли, когда солнце уже скрылось за горизонтом.

— Ну, и времечко ты выбрал для кладбища, — сказала Света. — Скоро уже темнеть начнёт.

— Боишься — не ходи.

— Ты один не найдёшь.

Покровский храм стоял на высоком холме. Я узнал его — моё вчерашнее отдалённое видение. Белый, статный, златоглавый. Видно, что недавно отреставрированный. А кладбище располагалось под холмом, в большой роще, которая полностью скрывала его в своей тени. Меня поразила аккуратность, ухоженность могил, прямизна аллеи между ними. Много было красивых надгробий из чёрного, красного и зеленоватого крапчатого мрамора. Среди множества обязательных Лыковых, Куликовых, Лебедевых, Семёновых, Ласковых Матюшиных, Улыбышевых, Козляткиных, строгих Громовых, Шаповых, Головиных и Шаровых нелепо и в то же время с достоинством выделялся Йорген Францевич Фосс. Довольно взросло выглядел Николай Андреевич Вековой, во взгляде его чувствовалось глубокое знание жизни, хотя под именем его значилось: 1977—1979. А неподалёку двадцатитрёхлетний юноша довольно легкомысленно был обозначен как Слава Целевиков. На могиле Клавдии Фоминичны Однодворовой, умершей в 1913 году, привлекал внимание искусно вырезанный из бледного мрамора скорбный ангел, склонившийся над вазой с ещё более мастерски исполненными из того же мрамора лилиями.

В центре кладбища располагался основательный колодец-сруб, такой глубокий, что не видно было, где там вода. Я пустил в него ведро, и пустынное кладбище огласилось скрипом уключин и лязгом цепи. Вытащив полное ведро наружу, я испил чистойшей, удивительно вкусной воды.

— Не понимаю, как ты можешь пить эту воду, — сказала Света.

— Почему?

— Ведь она по мертвецам бегает.

— Она бегает гораздо глубже захоронений. Никогда не пил более чистой воды.

— Ну, ладно, пей быстрее. Так, мои лежат справа, а Лалакин с отцом — слева. Пошли, здесь уже недалеко.

И вот мы пришли на могилу Лалакиных. Отец — Пётр Васильевич Лалакин — лицо ничем не примечательное, к тому же и фотография довольно тусклая.

— Отчего умер отец? — спросил я Свету.

— Поддавал. Грех о покойниках плохо говорить, но алкаш был страшный. По пьяной лавочке попал в аварию. Он шофёром был, как Серёжка. Да, не жильцы Лалакины на этом свете.

Сын — Сергей Петрович Лалакин — рубашка в клетку, чуть виноватая улыбка, а глаза печальные. В общем-то, довольно симпатичное лицо.

— Бедняга, — произнёс я, — как же тебя угораздило?

— Перестань, — одёрнула меня Света. — Твой цинизм здесь неуместен.

— Я не сказал ничего циничного. Смотри-ка, а ведь он прожил ровно вдвое меньше своего отца.

— Да, действительно. Может, пойдём, а то уже становится темно. Мне страшно. Пойдём туда — там где-то недалеко второй выход с кладбища.

Мы пошли искать второй выход, но не нашли его и заблудились в кладбищенских сумерках. Света всерьёз забоялась, взяла меня под руку и шла, тесно прижавшись ко мне. Вдруг вскрикнула:

— Ой! Что это?

На одной из могил, видимо детской, лежала пластмассовая голенькая кукла.

— Фу, ты, а я думала — ребёночек.

Света вся дрожала от испуга. Над нами громко захлопала крыльями птица, и Света опять вздрогнула всем телом. Становилось всё темнее, и мы побрели искать ту дорожку, по которой пришли.

— Где же Лалакины? Ой, нечистая нас водит! Чёрт тебя дёрнул притачиться сюда в такую позднотень, — хныкала Света.

Мы уже пробирались совсем наугад, расстояния между могильными оградками в некоторых местах были такие узкие, что приходилось пролезать

боком. Ещё несколько раз Света вскрикивала — то обожглась крапивой, то летучий жук прогудел прямо перед её лицом, то просто померещилось что-то. Однажды и я напугался.

— Ой, всё, я сейчас умру, вон смотри — стоит кто-то, — пробормотала Света слабым, прерывающимся голосом.

Я посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и впрямь увидел в темноте большую человеческую фигуру. Сделал несколько шагов по направлению к ней.

— Ай, не ходи туда, я тебя умоляю! — зашептала Света.

Я остановился. В этот миг фигура исчезла.

— Там никого нет, тебе опять померещилось, присмотришься внимательно, — сказал я ровным голосом, хотя мне самому уже сделалось не по себе. Ведь и я видел тёмную фигуру, так таинственно исчезнувшую прямо на моих глазах. В душе моей засвербило, я в волнении стал оглядываться по сторонам и вдруг — слава тебе, Господи! — увидел в отдалении силуэт ангела над вазой с лилиями. Даже вспомнил имя женщины, покоящейся под тем ангелом.

— Света, иди сюда, я нашёл дорогу. Вон видишь ангела? Там лежит Клавдия Фоминична Однодворова. Она нас выведет отсюда.

— Не пойду, я боюсь! — протонала Света, стоя как вкопанная.

— Отказ принят. Я пошёл один. Там, где ты стоишь, есть на чём прилечь переночевать?

Она ринулась ко мне, вцепилась острыми ногтями в моё предплечье. Мы благополучно миновали мраморного ангела Клавдии Фоминичны, вышли на широкую аллею и вскоре выбрались из поселения мёртвых. Света повеселела, но не торопилась отрываться от моего локтя, шла, всё так же плотно прижавшись ко мне.

— Хорошо, что у нас в Липах нет кладбища. До смерти боюсь этих покойников! Просто сил нет. Как ты думаешь, привидения есть?

— Я не думаю, я знаю. Есть. На этот факт уже и наука перестала глаза закрывать. Я сам занимаюсь изучением привидений.

— Как это?

— Так, по работе с ними связан. Пишу о них диссертацию.

— Ну, это ты, конечно, врёшь, и к тому же неостроумно. А если серьёзно, кем ты работаешь?

— Зачем тебе знать?

— Ну, всё-таки, мы уже знакомы с тобой пять дней, один раз даже целовались, я тебе всё про себя рассказала, а ты мне только лапшу на уши вешаешь.

— Я не шучу, мне в процессе моей работы приходится иметь дело с привидениями.

— Так кто же ты, таинственный незнакомец?

— Я — комплексолог. Есть такая профессия.

— Бр-р-р! Это ещё что такое? Строишь комплексы?

— Не строю, а изучаю. Их такое разнообразие, что не так-то просто разбраться. Комплекс неполноценности, комплекс вины, власти, нехватки заработка. Есть комплекс неудовлетворённой любви... О, автобус... Есть комплекс измен жене, которую обожаешь до потери пульса. Есть комплекс страдания за народ. Короче, их столько, что не хватит жизни, чтобы их все перечислить, а уж тем более, чтобы во всех них разбраться учёному-комплексологу.

Мы ехали в автобусе, и мимо в ночной темноте в обратном порядке проносились синий указатель "Покровское", какой-то, так и оставшийся неразгаданным, НИИМОЖ, от души распахнутая великанша-звезда, наконец — "Дорожник". Пока всё это мелькало за окном автобуса, я ещё немного посвятил Свету в некоторые нюансы профессии комплексолога, но она всё равно не поверила, что таковая существует.

— А зря, — сказал я. — Могу даже удостоверение показать. Только оно у меня в Москве.

— Так поехали к тебе в Москву, — осмелела после спасения от кладбищенских призраков Света.

— Поздновато, тебе завтра рано вставать на работу, — невежливо от-казал я.

В электричке Света обиженно молчала. Мне надоело молоть вздор, и я тоже молчал, благо от Покровки до Лип всего одна остановка. В Липах я проводил Свету до калитки, она ждала, что я всё-таки её поцелую, но я лишь пожал ей локоть и отправился к себе на Чистый Просек.

Я шёл по ночному посёлку, жёлтые брызги фонарей шевелились в пере-бираемой ветром листве деревьев, глухо лаяли псы, ещё глуше где-то далеко гудел поезд. Я испытывал неприятное ощущение, будто кто-то неотступно следует за мной по пятам, и через каждые двадцать-тридцать шагов оборачивался, затем шёл дальше, чутко прислушиваясь к каждому шороху за спи-ной. Придя, наконец, домой, я сразу разделся и лёг спать, но уснуть никак не удавалось — то и дело мерещилось, что под боком ползает мурашка, или назойливый комар всё вился и вился своим тонким дыханием над моим лицом, из микроскопического насекомого превращаясь в крупного мохнато-го нетопыря. Едва я уснул, в мозгу моём вдруг что-то щёлкнуло, в глазах вспыхнуло яркое голубое сияние и тотчас погасло. Я вскопился с постели и ус-лышал за окном чёткий стук удаляющихся каблучков. Подбежав к окну и вы-глянув наружу, я успел увидеть чью-то тёмную фигуру, тотчас скрывающуюся за углом дома. Стук каблучков по узкой асфальтовой дорожке, окаймляющей фундамент, ещё слышался несколько секунд, затем умолк. В непонятном волнении я быстро оделся, выбежал из дому, выскочил за калитку и увидел, как тёмная фигура шагнула из освещённого фонарём пятна в темноту.

Быстрым шагом я пошёл туда, вдоль по Чистому Просеку. На перекрё-стке огляделся по сторонам — пусто. Почти бегом пробежал по Лесной улице и уже в самом конце её, в открывшемся просвете, увидел тёмный силуэт, шагающий через рельсы железной дороги. Я быстро дошёл до конца Лесной, поднялся по насыпи, но тут мне пришлось задержаться, чтобы пропустить скорый поезд. Едва последний вагон промелькнул мимо, я рванулся вперёд, но, естественно, мой призрак уже был далеко. Я прошёл вдоль окраины по-сёлка, затем по лесной тропе спустился к озеру. Поверхность воды была бе-лая от лунного света, дул ветер, было пустынно и немного жутко. Я наклони-лся к воде, опустил руки в холодную влагу и постарался успокоиться. И тут я снова услышал шаги, резко оглянулся вправо и успел увидеть, как та самая фигура, за которой я гнался, удалилась в глубь леса. В первый миг я даже не мог встать — ноги и руки были ватные, как во сне. Наконец, я собрался с силами, встал и пошёл вслед за призраком. Это была та самая тропа, по которой мы шли сегодня со Светой и где я рассказывал ей исто-рию про философа-охотника, сочинённую лет десять назад моим отцом, пи-сателем-неудачником. Я пересёк лес и снова очутился в Липах, на Тихорец-кой улице, прямо перед домом Киры Февралёвой. Никого вокруг не было. Постояв немного без движения, чтобы услышать малейший шорох, я так ни-чего и не дождался. Тогда я перелез через забор, продрался сквозь кусты смородины и подошёл к дому Киры вплотную. На миг мне почудилось, что там, в доме, горит тусклый свет, но, обойдя медленно вокруг и заглянув, сколь было можно, в заколоченные окна, я понял, что ошибся. Тогда я ото-шёл в тень и сел на узенькую скамеечку рядом с небольшой плантацией за-пущенного, одичавшего шиповника, почти без цветов.

Здесь она жила. Этот шиповник когда-то бурно цвёл, наполняя её жизнь ароматами. Теперь пахло лишь липовым цветом, да луна озаряла это нежи-лое место. Я смотрел на дом Киры и чувствовал, как нервы мои постепенно успокаиваются, мышцы расслабляются, сердце бьётся всё ровнее. Ресницы стали клейкими, я поднялся на ноги, сладко потянулся, затем перелез через забор на улицу и через двадцать минут уже был у себя, на Чистом Просеке. Лёг в кровать и сразу уснул.

Весь следующий день был наполнен какой-то тихой и светлой радостью. Я, наконец, занялся своими делами, сделал две страницы примечаний к по-рученной мне книге, написал большое письмо отцу и матери, слушал Гайд-на и “Тёмную сторону луны”, поболтал о том о сём с Любовью Никитичной, а вечером смотрел первосортный футбол.

В пятницу день был хуже. Ничего не хотелось делать, навалилось одиночество, тоска по недавней счастливой жизни, которой, казалось, не будет конца... В полдень я загорал на озере и чувствовал, какое всё это уже лишнее. Весь смысл фильма давно уже исчерпан, но режиссёр зачем-то продолжает держать нас в зале и заставляет смотреть, как светит солнце, летают птицы, сверкает блесна какого-то неудачливого рыболова. Зная, что сегодня произойдёт нечто неприятное, я покорно отправился вечером на танцплощадку — повидать Свету и получить то, что мне на сегодня отпущено.

Света была уже там. Громыхала рок-группа “Лепрозорий”, бессмысленно мельтешили танцующие. Я вклинился в толпу, довольно грубо схватил Свету за локоть и сказал:

— Привет. Давно здесь прыгаешь?

— Привет, москвич. Ты что, с кладбища? У тебя вид, как из могилы. Фух, жарко!

Заиграли медленный, и я притянул Свету танцевать со мной.

— Что новенького сочинил Стас Рублёв? — спросила она.

— Да ну его к лешему, — сказал я. — Ударился в мистику, поползли какие-то глупости — погоня за ночными призраками, которые непонятно куда потом исчезают. Возомнил себя гением. Говорит, что придумал новое направление — как можно дольше закручивать сюжет с множеством тайн, которые интригуют, но так и не раскрываются. Говорит, что главная загадка жизни так никогда и не разгадывается, потому люди и живут до сих пор. Надеются разгадать.

— А ты?

— Что — я?

— Разгадал?

— С какой стати? Что за глупый вопрос? Ты почему отстраняешься?

— Жарко. Я вспотела. Не хочу больше танцевать. Пойдём погуляем? Что с тобой сегодня? Мрачный, как не знаю что.

Мы пошли к выходу. Тут к нам подбежала Светина подружка — та, с прошлой субботы.

— Светка! Там сюда Фофан кочумает. Пьяный вдрызг, уже подрался с кем-то. Шли бы вы отсюда.

Но было поздно. Едва мы вышли из ворот парка культуры, перед нами выросла подвыпившая компания, возглавляемая Фофаном.

— Светик! — заорал он. — Пошли танц-ать. Это ктой-то с тобой? Ну-ка, сделай так, чтоб тебя не было! — дыхнул он мне в лицо.

Света встала между нами.

— Фофан, не бузи! Пойдём, я с тобой потанцую.

— П-жи, Светик, ща мы разберёмся, — он отстранил её и надвинулся на меня: — Тебе сколько лет, командир?

— Дать тебе парочку займы? — спросил я в ответ.

Он не понял, обернулся к приятелям:

— Он, кажется, мне угрожает?

Приятели восприняли его вопрос как сигнал к действию. Двое из них встали за моей спиной, остальные — по бокам.

— Ты чо такой нервный? — спросил меня один из них, хотя я довольно спокойно приготовился к избиению.

— Мужики, да вы чо! — закричала тут Света. — Что он вам сделал? Вы знаете, зачем он из Москвы-то приехал?

— Пусть валит в свою Москву!

— Ща он у меня повалит!

— Да погодите вы, дурачье! — Света почти плакала. — Он про Лалакина приехал всё узнавать. Он про него в газету будет писать о его подвиге во имя любви. Правда, Серёж? Его даже зовут Серёжей, как Лалакина! Поняли вы? У него воще жизнь такая же, как у Серёжки Лалакина. Он тоже за любовь пострадал! Поняли вы? А вы на него с кулаками. А ну, пошли все вместе танцевать. И он с нами пойдёт. Только троньте! Пойдём, Серёж.

— Идите, идите, танцуйте, — сказал я вдруг и от души рассмеялся. Сцена была действительно анекдотическая. Надвигающиеся на меня бойцы

выглядели явно озадаченными, поглядывали на Фофана — какое он примет решение. Фофан тоже, в свою очередь, посматривал на них и ничего не понимал. На носу у него сидел крупный прыщ, на кулаке фосфоресцировала крутая наколка “ФОФАНОВ ВИТЯ”, как будто ему приходилось время от времени сдавать кулаки куда-нибудь на хранение.

— Ты чо, правда, шо ль, в газету? — спросил один из приятелей.

— Ну, а почему бы и нет? — сказал я довольно дружелюбно — перспектива переселения отсюда непосредственно на покровское кладбище меня не прельщала, и нужно было использовать подсказку, которую мне дала мудрая Света.

— Во даёт! — воскликнул другой приятель. — И главное — молчит. Его дробить собираются, а он молчит, что... в газету. Ты чего молчишь-то? Мы-т дум-ли, ты просто так, по нашим девкам приехал. А ты в газете, что ли, работ-шь? А в какой газете-то?

— А новая появилась газета, — сказал я. — “Собутыльник” называется. О пользе алкоголя.

Враг рода человеческого меня тянул в новую заваруху. Но Света и тут выудила меня:

— Он шутит. Он просто духарной, не видите, что ли? Не “Собутыльник”, а “Собеседник”. Есть такая газета.

— Ну, нормально! — заржал один из парней. — “Собутыльник”, говорит! Ну, чувак!

— Точняк, есть такая газета, я видел. Молодёжная, — поддержал Свету другой. — Ну, чего, Фофан, делать-то будем? Чувак-то свой оказался.

— А ну вас к херам! — огрызнулся Фофан и решительно отправился на танцы. Его приятели уже по-новому интересовались мною:

— Ты, Серёг, не обижайся. Чего ты раньше-то с нами не познакомился? Выпить хочешь? Пошли, ща потанцуем, девок ещё наберём, завалимся к Жихарю. Жихарев Колян — знаешь? У него хибара свободная, загудим до утра, а утром купаться пойдём.

Они несли меня, как поток, мы влились обратно в танцующее месиво, где Фофан отплясывал раскорякой, отпихивая всех, кто ненароком влезал в круг его пляски. Для меня раздобыли бутылку, на треть наполненную водкой, дали хлебнуть. Мои недавние неприятели по очереди знакомились со мной — Димон, Вовик, В-лера, Аиксей, Шурик, Юрец. Появились и подруги — Люська, Анжелка, Ленок, Иришка, Татьяна. В промежутке между танцами В-лера осведомил обо мне рок-группу “Лепрозорий”, и “басирующая гитара” Юрий Робот объявил:

— А следующая наша рок-композиция, под названием “Я приеду вчера”, посвящается, на фиг, лучшему городу Липовской области — Москве, а также нашему гостю Сергею. Сергей работает в газете “Современник” и приехал к нам, чтобы написать о бывшем участнике нашего ансамбля Серёжке Лалакине, который погиб прекрасной смертью во имя люб...ви-и-и-и!

Последнее слово он прокричал неистово, и рок-груша в тот же миг выиграла нечто совсем непотребное, грохочущее, безумное. Все заплясали вокруг меня, и мне стало тошно, хоть волком вой. Они прыгали вокруг меня так, словно я был Серёжка Лалакин или Володька Высоцкий, спустившийся с небес как знамение, что есть, на фиг, истинная любовь. Юрий Робот кричал в микрофон слова песни, непонятно почему посвящённой мне:

*Я приеду вчера,
Подойду к тебе молча
И узнаю тогда,
С кем ты была вчера.
Он вчерашние щи,
Как козёл, доедает.
И не знает, говно,
Что тебе он давно,
И что мне он давно,
Нам двоим он давно —
На-до-е-да-а-а-ет!*

Обладай Фофан особой склонностью ума, он мог бы решить, что слова песни относятся к нему, мне и Свете, но ему явно было недосуг разбираться в подтекстах, к тому же он вполне увлёкся, кажется, Зеброй, знаменитой местной Лайсой. Когда посвящённый мне танец окончился, запустили медленный, и одна из девиц со словами: “Белый! Белый!” — бросилась мне на шею и завияляла, увлекая меня в танец.

— Почему это я белый? — осведомился я.

— Ты что! Это танец белый! Хочу с тобой танцевать, а ты не догадываешься.

— Прости, ты — Люся или Анжела?

— Нахал, ну, нахал! Анжела. А ты симпатичный. Чем это тебя Светка охмурила?

— Она читает много. Любит книгу. Ты любишь книгу?

— Фигу я люблю, а не книгу.

— У тебя есть все, чтобы любить фигу, — стройные ноги, фигура.

— Ой, ой, комплиментёр! А глаза?

— Как две молнии в египетской ночи.

— С ума сойду!

— Куда, позволь спросить?

— Что — куда?

— Сойдёшь.

— Ой, не знаю. В ад хочу сойти.

— Ты и так в аду.

— Да ну, какой это ад, только видимость одна. Хочу, чтобы был бал у Сатаны, как в “Мастере и Маргарите”. Читал?

— Плакал навзрыд над каждой страницей.

— Класс книга. Мне иногда кажется, что я Маргарита. Мне бы намазаться волшебной мазью и полететь! Только Мастер очень тоскливый. Я бы на её месте за Воланда вышла или просто закрутила бы с ним.

— От него серой воняет.

— От мужика и должно вонять чем-нибудь — например, сигарой с коньяком. Согласись, во мне есть что-то роковое.

— У вас тут уже была одна роковая.

— Кира, что ли? Да ну, нашлась тоже роковая! Ничего особенного в ней нет. Обыкновенная мочалка. Глазищи страшные, большие...

Танцы и бестолковые разговоры продолжались ещё часа полтора. Я не мог уйти — надо было сделать вид, что я и впрямь собираюсь писать о Лалакине, и тем самым обеспечить себе спокойное существование в Липах. Танцевал со Светой, снова с Анжелой, потом с какой-то необъявленной ранее Викторией. Однажды меня отозвали покурить В-лера, Димон и Юрец.

— Всё хоккей, — сказал В-лера. — Жихарь всех зовёт к себе, потом пойдём делаем костерок на озере и будем купаться голые. Уважаешь?

— Отношусь с пониманием, — ответил я.

— Ну, как, всё нормально? — спросил Юрец.

— Как в танке, — ответил я.

— Красиво жить не запретишь? — спросил Димон.

— Запретил один такой, — ответил я.

Наконец, всё закончилось, и огромная орава потянулась из парка культуры к Жихарю. Дом Жихаря на Молодёжной улице оказался небольшим, набилось в него человек тридцать, было тесновато. Всем раздавались стаканчики и пластмассовые кружечки с водкой, помидоры, зелёный лук, кое-как раскуроченные банки со скумбрией в томатном соусе и сардинами в масле. Я получал ответы на между делом интересующие меня вопросы. Поинтересовался, что за человек живёт на улице Достоевского с прической панка и в очках макнамара.

— В больнице лежит, — ответил Юрец. — Кое-кто его потрепал маленько. Панкует, падла.

— А что, панков треплете? — спросил я.

— А что их — по головке гладить? Как говорится, боремся за чистоту подрастающего поколения, — сказал Димон.

— Ты давай, журналист, пей, — вмешался Жихарь. — Да смотри, чтоб хорошую статью про нашего Серёжку сбацал. Напишешь плохую — найдём, ноги выдерем и вместо грифов к гитарам пришмоляем.

Я не привык пить так много плохой водки, внутри у меня плыло и горело, но я держался, изо всех сил старался не пьянеть.

— Жихарь, — сказал я, — так, значит, это ты Серёжку в тот день до электрички довёл?

— Не электричка, поезд скорый шёл, — сказал Жихарь. — Мы с Дёмой. Мы были тогда при нём, корешке нашем, обнялись на прощанье. Как сейчас вижу всё это...

В пьяных глазах Жихаря заблестели слёзы.

— Дёма, иди, присядь к нам, — позвал он. — Мы тот день вспоминаем, когда Серёжка наш доказал всем, на что способен мужчина. Между прочим, журналист, Дёма все горячие точки прошёл, понял? Ты сам-то служил?

— Было дело.

— Я много чего повидал, — сказал Дёма. — Но Серёжка наш в мирное время подвиг совершил. Доказал, что есть место подвигу. Дураки этого не понимают. Для нас 11 июля — как День Победы.

— Победы над кем? — спросил я.

— А над кем хочешь, — сказал Дёма.

— Над косностью, — умно добавил Жихарь. — Вся наша жизнь — борьба с косностью. Люди закостенели, забыли, что такое настоящая любовь. Девки — сегодня с одним, завтра с другим. Одно время, помню, когда ещё в школе учился, наши липовские лахудры только и думали, как бы за москвича выйти. А потом — за иностранца. Чуть что — в выходные гуртом в Москву, профурсетки. Теперь поняли, что мы, липари, — сила. Если хочешь, за нами — будущее.

— Липари — это липовские? — спросил я.

— Липари — это мы. Мы — костяк. А со временем на нас и мясо нарастёт. Народ забыл, что такое боевая организация. Развелось ишпаны, панков, шушеры всякой. В Покровке уже молодёжь в церковь ходить стала. А кто с этим борется? Никто.

— А тяжёлый рок — тоже средство борьбы?

— Рок пробуждает мужские инстинкты. Под звуки рока хочется бороться, сворачивать челюсти всяким недобиткам.

В этот миг Дёма полез в нагрудный карман своей рубашки и извлёк оттуда фотографию Сталина.

— Знаешь этого человека? — спросил он меня строго.

— Если мне не изменяет память, это — генералиссимус Сталин, — ответил я.

— Вот именно, что генералиссимус! — воскликнул Дёма. — После Ленина — второй великий человек в России. Не согласен? Всех вот так держал. Вёл народ к победе.

Только теперь я заметил, что на стене в комнате, среди фотографий рок-музыкантов, девиц и самого Жихаря, красовался ещё один Виссарионыч. Мне стало не по себе, когда я обнаружил ещё и фотографию Ленина на другой стене, показалось, что он висит и за спиной у меня, и смотрит мне в спину своим сатанинским прищуром, словно дулом пистолета.

— Я не понял, вы, липари, кто: коммунисты или фашисты? — спросил я твёрдым голосом.

Дёма и Жихарь переглянулись. В доме, между тем, веселье было в самом разгаре — хрипел магнитофон, несколько человек танцевали, Фофан в углу тискал Зебру, растрёпанная Татьяна с гневными и в то же время кокетливыми криками отбивалась от В-леры:

— Ты дурак, что ли?! Ну, ты озверел, что ли?!

Робот пел под гитару из Розенбаума:

— Мы м-мазаны одним мирррром!

Ангела врасос целовалась с Вовиком. А Света-то где? Ах, вот же она, под боком у меня жует что-то... Ах ты, овца глупая, славная... Голова у меня поплыла в сторону. Я увидел, как Жихарь щёлкает пальцами, требуя минуточки внимания:

— Эй вы! Послушайте! Знаете, что тут о нас с вами говорят? Говорят, что мы — фашисты.

Тут все действительно приумолкли.

— Кто фашист?! Кто говорит?! Разнесу! — зарычал Фофан.

— А что тут обидного, — нарочито тихо сказала Анжела.

— Помолчи, дура, ты ничего не понимаешь! — оборвал её Жихарь.

— А и впрямь, — сказал я, — в самом слове ничего нет обидного. Фашист от слова “фашио”, значит — связка. Вы же сами говорите, что вы — костяк, боевая организация.

— Какие они, к чёрту, организация, — рассмеялась Анжела. — Так только, видимость одна.

— Анжелк, правда, помолчала бы ты, — сказала не то Люся, не то Ирина.

— Да брось ты, Серёг, — обнял меня Юрец. — Посмотри на этих парней. Какие они фашисты? Нормальные русские ребята. Хотят светлой жизни. Чтоб любовь была. Выпьем за любовь!

— Предлагаю тост за Владимира Ильича Ленина и за Иосифа Виссарионовича Сталина! — сказал Дёма.

— Предлагаю выпить за мои ножки, — захихикала Анжела.

— Выпейте лучше за Лалакина, — сказал я. — Что-то вы о нём совсем забыли.

Все дружно воодушевились:

— Правильно! За Серёжку! За настоящего мужчину!

— Какой он был мужчина? Так, видимость одна, — не то сказала Анжелка, не то мне уже автоматически послышалось. Я сильно опьянел. Всё кружилось. Я поднялся на ноги, по возможности прямо перешёл комнату, выбрался на воздух, думал, что меня вырвет, но отдышался, и тошнота стала медленно рассеиваться. Выбежала Света:

— Серёж, тебе плохо?

— А тебе?

— Мне нормально.

— Я рад за тебя. Иди к своим липарям. К своим дубарям.

— Зачем ты так? Они хорошие. У них дурь, но они хорошие. Они, конечно, зря бьют всяких там. Я понимаю, это не метод...

— Иди, иди к ним... Я хочу один. Где мой Чистый Просек? Где моё всё? Где моя жена?

— Господи, Серёжа... Я так тебя понимаю. Не убивайся ты только из-за неё. Она не стоит того. Господи, до чего же вы, мужчины, глупые! Это же и хорошо, что она ушла. Значит, не любит... А если не любит, то хуже было бы, если б осталась.

— Светочка, славенькая, уйди ради Бога! Точно!

Мне и впрямь в её присутствии стало хуже, снова подкатило к горлу. Я посмотрел на неё с ненавистью, она испугалась и пошла в дом. Меня вырвало. Я пробрался в кусты и сел там, размазывая по лицу холодный пот. В доме раздавались громкие голоса, за кого-то пили. Ага, все-таки за Владимира Ильича Ленина. И, должно быть, стоя. В распахнутое окно высунулась физиономия Фофана:

— Буржуазия вонючая! Сволочи! Дач понастроили! К ногтю! Спать к едрене фене! Вешать! Журналисты, мать вашу!

Это уже про меня.

Его отвели от окна. Из дома вышли Вовик и Анжела. Целуясь враспашку, качаясь, протопали к кустам, рухнули где-то неподалеку от меня. Анжела страстно застонала. От её стоны в животе у меня мерзко защекотало. Я встал и быстро выбрался из кустов, выбежал на улицу и пошёл в сторону железной дороги. Напала слабость. Очнулся, когда перед лицом моим с громким рёвом выросла мельтешащая стена стремительного состава. Наконец, можно было перейти через взбудораженные рельсы. Какая-то улица Заводская. Не то. Побрёл дальше. Улица Новая. Свернул влево, мимо долгих заборов. Наткнулся на высокую ограду, поверху увенчанную колючей проволокой, как терниями. Кажется, кондитерская фабрика. Стал обходить её. Господи,

как долго! Какая мука! Зачем-то пошёл назад. Снова очутился на улице Новой. Спустился по ней. Посёлок кончился. Открылось поле, небо, полное звёзд, прохладный ветер. Окунулся ногой в ручей. Должно быть, он бежит в Тихорецкое озеро. Пройдя порядком вдоль ручья, я вошёл в лес, лёг и увидел широкую водную гладь, по ней плывёт пароходик, мотор его заглушается, пароход остановился, с палубы мне машут: “Где же ты, господи! Мы тебя ищем-ищем по всему берегу! Ушёл и ничего не сказал. Иди скорее к нам!” Я бегу к ним, подбегаю, но они, оказывается, зовут вовсе не меня. Продолжают махать руками в ту сторону, где я только что был: “Ну, пожалуйста, не мучай нас! Иди к нам скорее! Нам без тебя невесело!” Я оборачиваюсь, но никак не могу разглядеть, кого же они зовут...

Должно быть, я спал очень недолго. Проснувшись, увидел то же ночное небо, те же сонные деревья, вздыхающие под ветром. Хмель значительно выветрился. Я побрёл дальше вдоль ручья и, когда вышел из леса, увидел внизу перед собой вдалеке озеро и маленькую точку костра на берегу. Мне захотелось им ещё что-то сказать, и я направился в сторону красной точки.

У костра сидели Жихарь и барабанщик “Лепрозория” Игоряша. На берегу стоял голый Фофан, покачивался и икал. В отблесках костра можно было разглядеть, что спина его густо покрыта присосавшимися комарами. Оглянувшись, он спросил:

— Если залезу, утону или нет?

— Утонешь, — ответил я.

— Ты, журналист, молчи лучше, — сказал Фофан. — Жихарь, утону я или нет, спрашиваю?

— А, Сергей, вернулся, — сказал Жихарь мирно. — Сядешь с нами или пойдёшь купаться?

— Жихарь!

— Да утонешь! Стой и не рыпайся. Остывай.

— Ладно. Ты у нас главный. Слушаюсь.

— А что, — спросил я, подсаживаясь к костру. — Остальные все купаются?

— Да ну, какие там остальные, — ответил Жихарь. — Анжелка с Ленкой да Шурик. Остальные дома остались, дрыхнут.

— А Светка?

— А Светка тебя пошла разыскивать. Не найдёт — здесь будет.

На середине озёрной поверхности барахтались три головы, слышались повизгивания девиц и похохатывания Шурика. Вокруг было мирно и хорошо — купающееся трио, смешной пьяный Фофан, облепленный комарами, спокойные лица Жихаря и Игоряши в оранжевых отсветах мудрого костерка. Я лёг на локоть и закурил, глядя в огонь.

— Выпьешь стопарик? — спросил Игоряша.

— Плесните самую малость, а то что-то башка... Хватит, хватит. Спасибо. За Лалакина. А то я смылся тогда, так ещё подумаете, что не хотел за него пить.

Я выпил, закурил хрустящим огурцом.

— Николай, — обратился я к Жихарю, — расскажи про Лалакина, как всё это получилось?

— Что тебя конкретно интересует?

— Да я всё думаю: мы ведь не японцы, чтоб такие хакакири... У нас ведь другая психология. Устройство другое. Я понимаю там с пьяной лавочки в окно сигануть или уж, когда припрёт, в какую-то минуту отчаяния. А так, продуманно, напоказ... Назло? Тогда какая ж тут любовь, если зло такое?

— Трудно так сразу сформулировать, — ответил Жихарь, извлекая из костра уголёк, чтобы прикурить. — Надо было ещё и Серёжку знать как следует. Я-то с ним ещё со школы дружил...

Были два школьных друга — Колька Жихарев и Серёжка Лалакин. Серёжка — слабый, болезненный в начальных классах, любил мечтать, фантазировать, придумывать всякие истории, разыгрыши. Кольке ужасно нрави-

лось прийти ночью вместе с Серёжкой к какому-нибудь однокласснику и с волнением в глазах поведать ему, как они нашли клад в развалинах старой церкви, но у них сломалась лопата, чтобы этот клад перепрятать, потому они и решили обратиться за помощью; а потом, когда одноклассник откажет, проследить, как он, озираясь, выйдет с лопатой из дому, преследовать его и со смехом слушать, как он ругается, найдя в ящике, закопанном в указанном месте, записку: “Ну, и дурак же ты, Вова!” Или наврать какой-нибудь ябеде, что сматываются в Кара-Кумы, а самим прийти в школу пораньше, спрятаться в шкафу и, когда ябеда торжественно заявит учительнице об их бегстве, выпрыгнуть, навсегда закрепляя за ябедой обидную кличку Маринка Кара-Кумиха. Самое смешное, что так её в Липах до сих пор и зовут. Крепкий Колька всегда заступался за Серёжку, и они стали неразлучными. После школы шли к одному или к другому, вместе рисовали, резались в игрушечный Колькин хоккей, залезали в шкаф к Серёжкиному отцу, где обязательно стояло полбутылки водки, отпивали, подолгу смотрели на свет, заметна ли убыль, и потом веселились, изображая пьяных.

Однажды случился грех: отпили из отцовской бутылки чуть больше, чем было можно. Отец, который и так уже в последнее время стал что-то подозревать, наверняка бы заметил. Решили добавить немного воды, но бутылка непонятно как выскользнула из рук, покатилась по полу и расплескалась. Смерть Серёжкиного отца так и запомнилась Кольке катящейся по полу бутылкой, из горлышка которой выбрызгивается водка. Именно в тот момент, когда они решали, как избежать отцова ремня, к дому подъехал на мотоцикле милиционер из Покровки и спросил, есть ли кто-нибудь дома. Вошёл, посмотрел внимательно на Серёжку, который назвался сыном Петра Васильевича Лалакина, и сказал: “Ну, ты уже малый почти взрослый. Короче говоря, отец твой на тридцать втором километре попал в аварию. Насмерть”. После гибели старшего Лалакина Колька стал даже с каким-то почтением относиться к своему приятелю. Серёжка сделался философом, часто рассуждал о том, что такое смерть. Им было тогда по четырнадцать. Смерть всегда ходит рядом с настоящей любовью, решил он и стал мечтать о роковой, губительной любви.

Кира была на год их старше и училась в десятом классе. О ней уже начинали говорить как об очень красивой девочке — высокая, осанистая, волнистые тёмные волосы, гордый взгляд огромных глаз. Если кто-то и осмеливался к ней приставать, то как-то заведомо безнадежно и униженно — она была неприступна при всём своём непередаваемом изяществе.

Серёжка недолго скрывал от Кольки, что влюблён.

— Колян, поклянись, что никому не проболтаешься. Поклянись нашей дружбой.

— Клянусь, а что такое?

— Если проболтаешься — ты не друг мне больше, понял? Я в Киру Февралёву из десятого “А” влюбился. И ты знаешь, это серьёзно.

— И что же ты будешь делать?

— Как что — добиваться её любви.

— Правильно. Я бы тоже в неё влюбился, если бы не ты. Она клёвая, — сказал Колька, стараясь как можно больше войти к другу в доверие.

После десятого класса Кира поступила в Раменское на курсы медсестёр. Серёжка знал, какой электричкой она обычно возвращается в Липы, и ходил её встречать, но приблизиться не решался — провожал её до Тихорецкой улицы, бредя чуть поодаль. Наконец, однажды осмелился. Мать Серёжкина подрабатывала продажей цветов, иногда ей удавалось уговорить и сына, и он несколько раз ездил в Москву и стоял там в переходе у станции “Электрозаводская”. Ему удалось утаить от матери часть денег так, что появилась возможность не везти в Москву огромный букет из тридцати пяти неплохих роз. С этим букетом он и решил объясниться Кире. Кольку больше всего поразило то, с каким восторгом Лалакин рассказывал ему об этой сцене.

Кира училась на вечерних курсах и возвращалась поздно. Десять часов вечера. Июнь. Сумерки. Вот она вышла из электрички, спустилась в подземный переход, поднялась наружу.

— Кира, добрый вечер. Можно, я подарю тебе этот букет?

Она смотрит на его лицо, на тридцать пять благоухающих лиц, прижатых щека к щеке, качает головой, улыбается:

— Мне? А почему? Вообще-то можно... Спасибо. Но почему?

— Потому что... Можно, я провожу тебя до дома?

— Хорошо... Господи, мне ещё никогда не дарили столько! Они в руках не умещаются!

— Кира. Я люблю тебя. Я давно влюблён в тебя. Уже целый год.

— Целый год? Влюблён? И что же?

— Не знаю... Я хочу встречаться с тобой иногда.

— Тебя, кажется, Игорем зовут? Ты на класс моложе был, да?

— Нет, меня зовут Серё... Сергей.

— Так вот, Сергей, мы уже пришли, вот мой дом. Спасибо тебе, что ты есть на белом свете. И за цветы спасибо. Но только встречаться нам не нужно. Ты меня разлюби побыстрее, ладно? Меня не нужно любить. Я — плохая. Прощай.

Она поцеловала его в щёку и добавила:

— Это всё глупости. Это пройдёт. Ничего и нет. Прощай, милый Сергей.

Рассказывая об этом Кольке, он радостно ворошил на голове волосы и восторгался:

— Если бы ты слышал, как она это сказала: “Спасибо тебе, что ты есть на белом свете!”

Кольке же было обидно за друга, что тому так сразу дали от ворот поворот. И уже тогда закралось сомнение: а стоит ли вообще её любить, если она такая, сама говорит, что её не нужно любить. Разве настоящие девушки так говорят тем, кто их любит и дарит сразу столько роз? Вот у Кольки с Наташкой всё просто: он сказал ей, что она ему жутко нравится, и теперь они вместе ходят в кино, там сидят в обнимку, потом подолгу где-нибудь целуются, и уже заходит очень далеко — ещё чуть-чуть... и вообще. А скоро в армию, будут переписываться, а там, может, и поженятся, когда он вернётся.

— Это ты про Натаху Лызлову? — вмешался в рассказ Жихаря Фофан. — Как же, дождалась она тебя, сука! В момент за Маралыча выскочила. Эх, бабы!

— Ты бы надел что-нибудь, — сказал Жихарь. — А то от тебя к нам пьяные комары так и лезут.

— Да ну вас! Я лучше купаться полезу.

Фофан сделал три шага в воду, забрёл по колено и плюхнулся с громким плеском на брюхо. Но поплыл.

— Эй, вы! Там к вам Фофан плывёт, — крикнул Жихарь. — Проследите, чтоб не утонул. Пьяный в дымину!

— Фофанчик! Плыви к нам, мы тебя защекочем, — раздалось с середины озера.

— Плыву! Утоплю, лахудры! — отвечал Фофан.

— Да, Натаха меня не дождалась. Ну, и чёрт с ней. А перед тем как нас с Серёжкой в армию забрали, он всё-таки сблизился с Кирой. Оказалось, что у неё в Раменском был кто-то...

Судя по всему, у Кире кто-то появился там, в Раменском. Лалакин продолжал встречать её так же, как до объяснения, — стоял где-нибудь в тени, потом тенью шёл за ней, смотрел, как в её окне загорается свет, как мелькает её силуэт на шторах. И вот несколько раз, уже в начале сентября, она так и не приехала. Он до последней электрички ждал её, потом на всякий случай подходил к дому на Тихорецкой и видел, что Кирино окно не освещено. А в конце сентября или уже в начале октября она вышла из электрички не одна, а с каким-то мужчиной лет тридцати, с бородой, поднявшись из подземного перехода, взяла его под руку и сказала: “Пойдём, только побыстрее”. Была уже полночь, Кира и её провожатый быстро прошмыгнули к ней в дом, а свет в Кирином окне так и не загорелся.

Через несколько дней Лалакин, сидя с Колькой на озере за ужиением рыбы, вдруг сказал: “Ты знаешь, Кира очень несчастна”. И потом рассказал

о бородатом человеке и о том, что, если бы у бородатого были серьёзные намерения, им бы не пришлось скрываться от людей и идти от станции побыстрее.

Теперь он не ждал Киру возле станции, а стоял обычно в тени деревьев, там, где кончается посёлок и начинается лес. У него даже было выбрано излюбленное место, откуда хорошо виден дом Киры, крыльцо и Кирино окно. С осени он работал на мясокомбинате в Доиловке, разделявал огромные мясные туши, сильно уставал — физически Серёжка не был очень крепким. Приходя же сюда, к дому Киры, он всегда чувствовал облегчение, гулял по лесу среди первых, робких снежинок, постепенно усталость таяла, тело наполнялось тёплой истомой свежих, сонных сил. Воздух, холодный и влажный, веял сладостной грустью Серёжкиной неразделённой любви. Серёжка счастливо вздыхал и шёл на своё смотровое место. После пятнадцати-двадцати минут ожидания, наконец, появлялась Кира — иногда в сопровождении бородатого человека, чаще — одна. Если одна, загоралась надежда, что у неё с ним всё кончилось, и Серёжка загадывал: ещё пять раз вернётся без него, и я окликну её, поведу немножко прогуляться — до озера и обратно. Перед самым Новым годом эти “пять раз” вдруг выпали. От неожиданности Серёжкина душа наполнилась радостной и в то же время тревожной смутой. Он уже успел привыкнуть к своей неразделённости и грусти. Но раз это случилось, ничего не поделаешь: завтра надо было выполнять загаданное. Но завтра — вечерняя смена. Значит, послезавтра. На другой день утром, перед работой, он съездил в Москву и купил Кире подарок к Новому году — тонкое золотое колечко с тремя крошечными изумрудиками, недорогое, но славное.

Наступил тот загаданный день. После работы, вдвойне измотанный, потому что к обычной усталости примешивалась усталость волнительного ожидания, Серёжка Лалакин пришёл на Тихорецкую улицу. Уже лежал плотный снег, в лесу пахло морозными ветками. Обойдя два раза вокруг озера, Серёжка вдруг заподозрил, что опаздывает, и побежал скорее к дому Киры. Он простоял на своем посту два часа, сжимая потной ладонью в кармане коробочку с подарком, застудил горло, уже не чувствовал ног и собрался было уходить, как вдруг появилась Кира. Она бежала по улице, словно за ней кто-то гнался. Серёжка сделал несколько шагов вперёд, но Кира вдруг пробежала мимо своего дома и устремилась в лес, прямо в его сторону. Она промелькнула среди деревьев неподалёку, остановилась, он тихо подошёл ближе и услышал её всхлипывания. Сделал ещё три шага, она услышала, стала испуганно вглядываться в темноту. Тогда он решительно направился к ней, говоря: “Кира, пожалуйста, не пугайся. Это я, Сергей. Я дарил тебе цветы осенью. Помнишь?”

— Как ты здесь оказался?

— Я ждал тебя. Я принёс тебе подарок к Новому году. Вот смотри.

Она взяла из его рук коробочку, но даже не раскрыла её, не посмотрела, что за подарок, только громко выдохнула:

— О, Господи!

И вдруг бросилась к нему на шею, уткнулась в искусственный меховой воротник его суконного пальто и разрыдалась. Сердце его колотилось неистово, а ладонь не верила, что гладит и прижимает к груди кудрявую голову чудесной Киры.

— Что ты? Ну, что ты, милая? — говорил голос. — Зачем так плакать? Успокойся. Всё будет хорошо. Скоро Новый год.

Чуть успокоившись, Кира отстранилась, шагнула в сторону, стала утирать лицо носовым платком. Спросила:

— Ты давно здесь стоишь?

— С тех пор, как стемнело, — ответил Серёжкин голос.

— Господи, бедный. Ты замёрз, наверное. Пойдём скорее в дом, я напою тебя горячим чаем с вареньем.

И вот уже не бородатый человек, а он, Серёжка, вошёл ночью в дом Киры Февралёвой, хотел помочь ей раздеться, но она почему-то сказала: “Не надо, я сама”. Велела ему разуться и снять мокрые носки, которые тут же повесила подсушить. Ему было стыдно босых ног, и предложенные Кирой войлочные ботинки с отрезанными задниками оказались спасением.

— Можешь не говорить шёпотом. Дома никого нет, — сказала Кира.

И ведь точно: он же видел утром, как Кирина мама садилась в автобус на Патрикеево. Значит, не вернулась.

— Мама до первого января уехала к сестре, — добавила Кира. — Надо же, завтра уже тридцать первое. Даже странно как-то, что будет Новый год. Господи, я ведь даже не посмотрела, что ты принёс-то такое!

Стала мерить колечко, оно оказалось почти впору, всё-таки чуть-чуть свободно. Он принялся бормотать, что завтра поедет и обменяет, ведь он же не знал, какой размер. Ему казалось, что колечко и так маленькое, боялся — вдруг не налезет, а у Киры такие тонкие пальцы! Он обязательно завтра поменяет.

— Нет, не надо, — отказалась она. — Завтра меня не будет дома. Пусть лучше останется, какое есть. Всё-таки к Новому году. Спасибо, Серёжа. Мы второй раз встречаемся, и второй раз ты с подарком.

Закипел чайник, стали пить чай с вишнёвым вареньем. В тепле Серёжка разомлел и мысленно ругал себя за то, что спипаются веки. Кира заметила, засмеялась и сказала, что ему пора домой.

— Может быть, ещё посидим чуть-чуть?

— Нет, уже надо. Я тоже страшно хочу спать.

Одеваясь, он напряжённо думал, как в таком случае должен поступить влюблённый мужчина, если в доме никого нет, кроме него и той, которую он любит. Но по всему было видно, Кира не хочет, чтобы он остался. Всё-таки с надеждой долго посмотрел в её глаза на прощанье. Она устало улыбнулась и протянула ему руку, которую он хотел поцеловать, но как-то неловко стал подносить к губам. Кира засмеялась и сказала: “Не надо”. Он косолапо шагнул в дверь и выбрался в морозную ночь очень несчастный. Но, дойдя до своего дома, успокоился, шёл по освещённой улице и улыбался мелкому снегу, особенно густо роящемуся под зонтиками жёлтых фонарей.

— Я дурак, — сказал Жихарь, — надо было мне ещё тогда, когда он рассказывал, как дарил то кольцо, сказать ему: остановись, не стоит она того. А я ещё подзуживал: жми, ещё немного, и она твоя. Ведь это ж надо: здоровый мужик всю осень и зиму стоит почти каждый вечер и ждёт у моря погоды. Конечно, она и крутила им, как хотела. Под Новый год у нас была хорошая компания, посидели так культурно, потанцевали, а его, дурака, потянуло туда посмотреть: вдруг она не уехала. Я за ним потащился — думаю, вдруг чего, ещё хмырь этот там окажется, как бы не поцапались. Стою за калиткой. Он — тук-тук-тук. Открывает. “Кира, — говорит, — с Новым годом. Ты одна?” — “Одна”. — “Я к тебе”. — “Ты, — говорит, — выпимши, проваливай...”

Лалакин был пьян. Он даже не заметил, что Колька увязался за ним. В доме Киры горел свет, и Серёжка подумал: или сейчас, или никогда. Новый год начинается — ну её к лешему! Громко протопал по ступенькам крыльца. Постучался в дверь, приосанился. Дверь отворилась, и Серёжка увидел счастливое лицо Киры, которое моментально обрело растерянное выражение, потом погрузтело.

— Это ты, Серёжа? — сказала она.

— Я. Здравствуй, Кира. С Новым годом тебя! Я не помешал? Ты одна?

— Я одна, — ответила Кира. — Ты пьяный?

— Не очень.

— Прости, я не могу тебя пригласить к себе. Иди лучше к своим друзьям.

— Я хочу к тебе. Я люблю тебя, Кира, уже сто лет!

— И что же?

— Я умру, если ты меня сейчас прогонишь!

— Ты пьян и сам не знаешь, что говоришь. Пожалуйста, не приставай ко мне сейчас, уходи, мне и так ужасно тошно.

Она закрыла дверь. Он долго стоял перед закрытой дверью и шатался, потом закурил сигарету, заскрипел по морозному снегу, увидел Кольку.

— Ха! А ты как тут оказался?

— Тебя пошёл искать. Пошли к нашим, сейчас будем салют бухать. Там ещё же Робот только подвалил с двумя пузырями.

— Колька, — сказал Лалакин возбуждённо, — Новый год! Вот кайф-то! Что мне делать? Люблю её. Разлюбить? Эх, разлюбить и всё! Пошли бузить!

По пути он бросался снежками в окна домов. Но снег был мягкий, морозный, и, если какой-нибудь снежок и долетал, не рассыпавшись, ни одно окно не разбилось. Когда пришли к Славке Медведеву, у которого встречали праздник, застали финал потушения небольшого пожарчика, вызванного тем, что пьяный Робот зажёг фейерверк в доме.

В новом году Серёжка уже почти ничего не рассказывал Кольке о Кире. В январе Кира ездила с подружками из училища в Ленинград, что ли, весной Серёжка как-то нехотя ухаживал за Ирккой Мирошниченко с Заводской улицы — всё-таки, полная тёзка знаменитой актрисы! — нарочно прогуливался с ней мимо дома Киры, научился играть на гитаре, сколотился ансамблик. Появились заботы о покупке аппаратуры, проведении репетиций. А в мае их забрали в армию — и Кольку, и Серёжку. Лалакин служил в Казахстане, Жихарев — неподалёку, в Оренбуржье. Раз в месяц Колька получал от приятеля письма. И лишь в одном письме было о Кире: “А знаешь, Колян, у меня к Кире ничего не кончилось. Если бы ты знал, как я хочу её увидеть! Я отправил ей свою фотографию. Ведь мы повидались один раз перед тем, как я ушёл в армию. Получил повестку и пошёл к ней. Она пожелала мне хорошо служить. А недавно от неё пришло письмо. Много пишет о себе. Ничего не скрывает. У неё был любимый человек, который не очень-то красиво с ней обошёлся — обещал развестись с женой, а потом передумал и сказал: “Расстанемся друзьями”. Как водится. Теперь у неё никого нет, и она иногда думает обо мне. В ответ на мою фотографию прислала мне свою. Может быть, у нас всё ещё впереди, как ты думаешь? Я верю в это, и мне легче служить”.

В армии Лалакин получил водительские права, вернулся он чуть раньше Жихарева, и когда Колька демобилизовался, его приятель уже водил рейсовый автобус “Липы—Садово-Дачное”. Кира работала медсестрой в поликлинике, но мечты Лалакина снова болтались где-то вдалеке от действительности: у Киры было новое увлечение, и на сей раз какое-то необъяснимо-вульгарное. Раз в неделю, в субботу, Липы оглашали мотоциклетным рёвом. Стремительный дьявол в чёрной кожаной куртке, чёрных крагах и ядовито-болотного цвета джинсах проносился по улице Энтузиастов, потом по Советской, по улице Правды до железнодорожного переезда, нетерпеливо дрындел, если приходилось ждать, пока проедет поезд, нырял под едва начинающий приподниматься шлагбаум, мчался по Заводской и, наконец, сворачивал на Тихорецкую. Свободные собаки отовсюду сбегались на его рёв и с клацающим лаем неслись вдогонку. Не обращая на них никакого внимания, дьявол тормозил у дома Киры Февралёвой, небрежным жестом снимал с головы изрисованный чёрными крыльями шлем и начинал бибикать. Кира выбегала из дому с весёлым смехом, трепала дьявола по волосам и вскакивала на седло за его спиной. Он снова облачался в шлем и мчал Киру прочь из посёлка, словно пленницу. Иногда, если Лалакин работал в субботний день, ему приходилось прикусывать губу, видя, как его автобус на бешеной скорости обгоняет дьявольский мотоцикл с треплющимся по ветру флагом Кириных волнистых волос. Или он возвращался из Садово-Дачного в Липы, и дьявол с прекрасной пленницей несся ему навстречу: астронавтский шлем, страшные краги, как лапы, амулет на груди, а за спиной — подставленное ветру удивительное, запрокинутое лицо Киры с полуприкрытыми глазами. И он не знал, что хуже: видеть, как они летят навстречу, или долго смотреть, как они, обогнав его, удаляются по шоссе. Испытывал одинаковое желание объявить в микрофон: “Простите, граждане!” — и резко крутануть руль в сторону. После таких встреч на шоссе Лалакин приходил на эстраду танцплощадки злой, возбуждённый, талантливый, играл виртуозно, выжимая из гитары всю свою боль и отчаяние, пел чисто, без фальши, словно каждая песня должна была стать последней. К финалу танцевального вечера в аппаратуре блуждало статическое электричество, ни к чему

нельзя было притронуться, чтоб не ужалило, в колонках появлялся фон, а то и ломалось что-нибудь, и приходилось заканчивать танцы раньше времени, чтобы чинить аппаратуру.

Мотоциклетный дьявол жил в Покровке. Звали его Лёшкой, по прозвищу Джонленнон, а в Садово-Дачное ездил он с Кирой к каким-то своим приятелям из Москвы, тоже гонщикам. И в Липах водились мотоциклетчики, но куда более безвредные для поселковой тишины. Тогда о Кире впервые начали всерьёз судачить с недовольством. Во-первых, ежесубботный треск мотоцикла; во-вторых, мало ей, что ли, наших, липовских; в-третьих, на все упрёки Кира отвечала молчанием и горделивой усмешкой; в-четвёртых, мать Киры не упускала случая пожаловаться на дочь в магазинной очереди или едучи на электричке в Люберцы, где она работала в районном агентстве Союзпечати бухгалтером. Липовские женщины, приходя в поликлинику, говорили Кире: “Уколы-то ты, девка, хорошо ставишь, не больно, а вот стыд ты совсем потеряла”.

Однажды Жихарь подслушал разговор старушек: “Поговаривают, мол, Кирка Хвевралёва ажник чуть ли не кажен месяц аборт делает”. Он поспешил сообщить об этом Серёжке. Тот побагровел и зло ответил: “Те, кто разносят чужь собачью всяких похабных сплетниц, сами в сто раз хуже”.

Потом пошли слухи, будто Джонленнон едет осенью на соревнования во Францию и берёт с собой Киру. Этим слухам вообще никто не верил, кроме Лалакина, которого они выводили из себя. Осенью он вдруг начал сочинять стихи, поначалу настолько смехотворные, что это признавали даже ближайшие Серёжкины приятели — Жихарь, Дёма, Игоряша и Робот — весь ансамблик, который тогда ещё скромненько именовался “Липсы”. “Клипсы”, дразнили их девчонки, а парням почему-то нравилось: звучит почти как “Битлсы” или как что-то ещё более заграничное. Зимой лалакинская поэзия стала несколько улучшаться, и к лету “Липсы” принялись готовить сногшибательную программу, почти целиком состоящую из песен на стихи Лалакина и на музыку его же и Дёмина. Жихарь тоже сочинил одну песню на Серёжкины стихи, но её забраковали.

Стихи Серёжка писал мрачноватые и, конечно же, с уклоном в сюрреализм. Были и сатирические — о разговорах в магазинной очереди, о крупном начальнике, построившем посреди Лип дачу, которая стала расти-расти, да и полностью поглотила посёлок, так что у начальника теперь оказались личные магазины, железнодорожная станция, школа, поликлиника, озеро и подсобный кондитерский завод. Это стихотворение про начальника стало для всех самым любимым, Дёма сочинил к нему музыку, сильно смахивающую на “Smoke On The Water”.

— Ну-ка, Игоряш, кинь-ка гитарку, мы ща журналисту исполним. Игоряш, спишь, что ли? Ну, пусть спит. Правда, я не в голосе.

Жихарь взял гитару, быстренько её подстроил немного и негромко запел про экспансивного начальника и его дачу. Слова песни были слабенькие, но не без остроумия. Пока в рассказе Жихаря наступила музыкальная пауза, я поинтересовался, как там купание — что-то оно затянулось. Поверхность озера была гладкой, в чуть-чуть забрезживших предрассветных сумерках можно было различить три фигуры на другом берегу. Они бегали друг за другом, видимо, разогревались, играя в салочки.

— Что-то Фофана не видно, — сказал я, когда Жихарь перестал петь. — Видать, всё-таки утоп.

— Вон он валяется в траве, — указал Жихарь на белёсое пятно неподалеку от нас. — Надо бы накрыть его чем-нибудь. Лежит голый, простудится, олух.

Я встал, поднял лежащий у костра широкий фофановский пиджак и, подойдя к громко сопящему во сне телу Фофана, укрыл его. Ужасно хотелось спать, но, судя по всему, рассказ Жихаря близился к завершению. Я вернулся к костру и приготовился слушать дальше.

— В общем, за зиму мы наладили штук двадцать своих песен на Серёгины слова. Мать моя добилась разрешения, чтоб нам можно было исполнить

их в клубе. Как раз на Восьмое марта. Организовали в клубе “огонёк” с номерами самостоятельности. Всё, как в лучших домах Лондона: входные билеты по пять рублей, закусончик, ну, а это дело каждый с собой принёс, кто нормальный человек. Вдруг — ё-моё! — заявляется Кирка. И одна. Без Джонленнона.

— Так он во Францию ездил или нет?

— Да ну, какая там, на фиг, Франция. Он и сам-то не гонщик никакой — так, механиком при настоящих гонщиках работал, только что понт на округу наводил со своим пропердоллером, козёл вонючий. С самого Нового года о нём ни слуху ни духу не было. Кирка, само собой, и заскучала...

Как-то не сразу и заметили, что по субботам перестали оглашать посёлок дьявольские мотоциклетные стоны и тархтения. Потом однажды, заведя бредущую на работу в поликлинику Киру, кто-то спохватился: “Чегой-то прекратил к ней кататься тот оглашенный”. Кира ходила грустная, но всё с той же гордой осанкой и строгой неприступностью во взгляде. Подруг у неё не было, ни на какие вечеринки она не ходила, поэтому-то все и удивились, увидев её в клубе на вечере Восьмого марта. Жихарь первым делом подскочил к Лалакину:

— Серёг, там твоя Кира пришла. Я потому тебе говорю, чтоб ты, когда петь станешь, не сорвался.

— Мне-то что, — пожал плечами Лалакин, но покраснел.

Пел и играл он всё равно скверно, сбивался с ритма, путал слова, недотягивал, перетягивал, фальшивил и очень смущался, когда Робот залихватски объявлял: “Слова и музыка Сергея Лалакина”. Киру приглашали танцевать, пару раз она согласилась, но потом стала отказываться, и уже никто не решался. Что ни говори, а в центре внимания в тот вечер были двое — Лалакин со своими сочинениями и Кира Февралёва со своей красотой, сделавшейся ещё более магической. В этой красоте было всё — недоступная возвышенность и какой-то тайный порок; глубокая печаль и радость собственного достоинства; смуглость, тень и в то же время сильный внутренний свет. И самое главное — тайна, не обесцененная никакими сплетнями и пересудами. Впервые все видели, что их в Липах двое — лучших, притягивающих к себе внимание. Причём Лалакин — свой, наш, липовский самородок, симпатяга — притягивал положительно. А Кира — отрицательно. Кому нужна её красота? Чего больше от этой красоты — добра или зла? Чувли беду!

Незадолго до окончания вечера Кира собралась уходить. Кто-то интересовался, можно ли пойти провожать — нет, нет, не стоит, ради Бога, не надо. Жихарь вышел посмотреть. Да, надела плащ и ушла. Лалакин нервно задёргался, сказал: “Я сейчас”, — и припустился за ней. И десяти минут не прошло, как он вернулся. Вид у него был счастливый. “Ну, что?” — спросил Жихарь. “Ничего, берите гитары, закрутим напоследок”, — ответил Лалакин. Напоследок он пел и играл, как настоящий, ещё лучше, чем когда возвращался злой, встретив на шоссе чёрного мотоциклиста с пленницей.

Он стал скрытным, ничего уже не рассказывал Жихарю, хотя однажды в конце марта Жихарь видел его гуляющим с Кирой на берегу озера; в другой раз они вместе пришли в кино минут через десять после начала сеанса и минут за пять до конца удалились. На вопросы и подкалывания остальных приятелей Лалакин просто молчал или решительно переводил разговор на другую тему. Во взаимоотношениях Жихаря с Серёжкой наступил длительный провал. Встречались они только на репетициях и выступлениях. Жихарь познакомился с весёлой девушкой Таней из Малаховки, роман их длился недолго — в августе они расписались. Лалакин был приглашён в свидетели, на свадьбе, в отличие от большинства гостей, не напился, а в конце августа случилось приключение с Джонленноном, в результате которого Лалакин оказался в больнице.

Джонленнон объявился в Липах, как старый, наскучивший анекдот, который постепенно начал забываться. Вновь заревел по улицам его дурацкий чёрный мотоцикл, вновь побежали за ним лающие псы, вновь, как ни в чём не бывало, он подкатил к дому на Тихорецкой улице и стал бибикать. Но на

сей раз никто не выскочил к нему с весёлым смехом. Он прошёл в дом, но вскоре вышел с видом человека, ожидавшего получить премию, а оказалось, что у него даже вычли из зарплаты. “Ну, наглеют Липы! — сказал он. — Возомнили себя Монмантром”. Он принялся гонять по субботнему посёлку и очень скоро уже катал на заднем седле главных липовских потаскушек — Простыню и Зебру.

— А почему у них кликухи-то такие роскошные? — перебил я Жихаря.

— А они долгое время поначалу ходили в самошвейных тряпках с нашитыми фирменными лейблами. У Простыни было платье такое, будто из простыни сшито, а у Зебры — брючата в чёрную и белую полосу. Полный отпад. Совсем дрянь девки. С кем они только не таскались! Не найдёшь в Липах такого, кому бы от них не обломилось. Натура, что ли, такая? Мысли только в одну сторону направлены — с кем бы ещё. Ну, а тут Джонленнон, самый кайф. Да ещё после Кыры. Небось, дуры, возомнили, что они лучше её.

— Тебе от них тоже обламывалось? — спросил я.

— А как же. Что я, умнее других, что ли? — не то с гордостью, не то с самоиронией ответил Жихарь. — Я с женой и года не прожил, развёлся, а эти расплетайки всегда под рукой. Пригодились. Гляди, и тебя облеият. Ладно, хрен бы с ними. В рассказе они только подсобную роль играют. Этот придурак покрутился с обеими и опять к Кире стал клеиться. Наглед, падла, лез, угрожал. Как-то раз мы идём с Серёжкой по улице, смотрим — этот на своём драндулете. Серёжка встал поперёк дороги — и ни с места. Я даже сдрейфил — собьёт ведь, ублюдок. Но хватило ума, затормозил. “Чего надо? Жить надоело?” Серёжка, ни слова не говоря, хватя его за грудки. “Будешь, — говорит, — приставать к моей невесте, убью тебя, засранец!” А тот не шухерится, борзеет. Серёжка никогда в жизни не дрался, а тут — надо было его видеть. Ка-ак впишет ему в челюсть, тот с мотоцикла — бряк! Вскочил, кинулся, а Серёжка: “Что, ещё повторить?” И повторил, да ещё премиальную с левой в ухо. Тут я подоспел, схватил Джонленнона, поставил на цырлы. “Садись, — говорю, — на свой самокат, и чтоб тебя в Липах больше ни одна собака не видела”. Тот шлем подобрал, мотоцикл поднял, отхаркнулся и затарахтел, пока ещё не огреб. Проходит дня три, мы вечером на танцах лабаем, вдруг кричат: “Ложись!” И какая-то дубина — фига-гакс прямо в нас, на сцену, микрофон свалился, Роботу по лбу заехало. Ну, и тут началось! Их с Покровки человек двадцать подвалило, кто с ремнём, кто с цепью, кто с железякой. Понеслась молотиловка! Девки визжат, кровица, мат... Я стояк от микрофона схватил и как в фильме “Александр Невский” — направо, налево, только относи...

— Ой, кайфец какой! — вдруг раздался голос с озера.

Жихарь умолк. Я оглянулся. Из воды выбирались Анжелка, Ленка и Шурик. Только теперь я увидел, что они были полностью голые. Приметив меня, Шурик и Ленка стали одеваться, Анжела, ничуть не смущаясь, походкой манекенщицы подошла к костру.

— Ну, что, москвич, правлось? Видел ты таких, как я?

— Оденся, простудишься, — сказал, смеясь, Жихарь.

— Ой, Жихарь, чо ты как позорный! — отвечала девица. — Дай покрасоваться. Ты чего, москвич, молчишь? Язык, что ли, прикусил от удовольствия? Или тебе ещё рано такую эротику смотреть? Хочешь, твоя буду? Ах, ты, мой умненький, скромненький!

Она подсела ко мне на корточках и погладила меня по щеке ледяной и влажной русалочьей ладонью.

— Дорогая, — сказал я, изображая голосом покойного Брежнева. — Немедленно прекратите своё тлетворное влияние.

— И правда, чего я перед тобой выкобеливаюсь, — отхлынула она. — Ты, небось, партийный, раз журналист. Тебя на партсобрании ругать будут. Эх, что ж такое — ну, совсем не холодно! А голой-то как хорошо!

Она подбежала к озеру и стала поднимать брызги, едва касаясь поверхности воды кончиками пальцев ног.

— В общем, вломили мы им тогда по первое число, — продолжал Жихарь. — И пёс его знает — как, но только из наших никто особо не постра-

дал, так только: кому губу разбили, кому зуб поломали, кто палец свернул, одному только Серёжке как следует досталось. Мы когда их выперли, вернулись на танцплощадку, смотрим, он лежит на боку весь в крови, рубашка разодрана, на плече рана от велосипедной цепи. Кровища — струей, как из фонтана. Сразу понеслись в поликлинику, и прямо как судьба: в тот вечер Кира была дежурной медсестрой. Ох, и разозлила же она меня, как только её увидел! “Ты, — говорю, — во всём виновата, от твоих хахалей Серёжка пострадал”. Но она, правда, молодец, — ловко так перетянула жгутом, чтоб кровища не хлестала, забинтовала. А красивая, стерва, в белом халате, в белой шапочке... Серёжка белый, как снег, губы посинели — много крови потерял. Вызвали машину из Люберец. Кире с врачихой работёнки много в тот вечер досталось — кому чего вправить или перевязать, йодом прижечь. Как на фронте...

— Это ты что рассказываешь, как тогда с покровскими подрались? — подойдя, спросила уже одетая Лена. — Тогда воще, прям и не знаю, такое было! Мы все обалдели.

— Отдынь! — сказал ей Жихарь и продолжал:

— Короче, Серёжку увезли в больницу. У него вдобавок сильное сотрясение мозга оказалось. Тут уж в Кирке совесть проснулась — стала ездить к нему в Люберецы, даже возила кой-что из продуктов. Не знаю, какие у них там, в больнице, были разговоры, только когда Серёжку выписали, они стали чаще появляться вместе, встречаться. Но точно, что ещё ничего такого не было — так только, по-пионерски. Он совсем дёрганный стал, худой, как смерть.

Эта последняя в жизни Лалакина осень стала для него самой счастливой. Их отношения с Кирой были на подъёме, Кира поняла, что Серёжка не такая уж заурядная личность: он умел видеть красивое не так, как другие, умел быть преданным всему, что его восхищало. И вот она даже стала иногда чувствовать, что скучает по нему, если они долго не встречаются. Однажды ей вдруг стало просто необходимо увидеть его, и она пошла к нему. Открыв дверь, он страшно удивился, испугался даже — не случилось ли что?

— Нет, всё в порядке, — сказала она. — Просто захотелось посмотреть, как ты живёшь.

Лалакин был не один. У него в гостях сидел Дёма, только что они оживлённо беседовали о чём-то. Кира согласилась выпить чашку чаю, но вдруг поняла, что Серёжка и его гость не совсем трезвы, ей стало неприятно.

— Нет, я, пожалуй, лучше пойду, — сказала она.

— Кира, — вдруг резко сказал Лалакин, — вот сейчас, при Юрке, я хочу сказать тебе: будь моей женой.

— Ты с ума сошёл, — сказала Кира испуганно.

— Нет, я прошу немедленного ответа! — Взгляд Лалакина сделался угрюмым. На столе горела свеча — он вообще любил зажигать свечи, говорил, что нет ничего красивее горящей свечи. — Смотри, я буду держать вот так руку, пока ты не согласишься стать моей женой.

Он положил ладонь на кончик пламени, стиснул зубы, скулы его заходили желваками. Ожидалось, что Кира бросится к нему, схватит за руку, отведёт ладонь Лалакина от свечи. Но её реакция оказалась противоположной — Кира вся выпрямилась, нижняя губа её стала жёсткой, глаза сверкнули, брови вздёрнулись. Она смотрела на жест Лалакина с холодным презрением. И молчала. Сильно запахло палёным мясом, лицо Лалакина напряглось и побелело. Кожа на ладони стала, обгорая, потрескивать. Ещё секунда, и Лалакин не выдержал — вскрикнул и отдёргнул руку.

— Всё? — спросила Кира холодно. — Правую не будешь жечь?

— Вот змея! — воскликнул Демин.

— Так вот, Серёженька, я никогда не буду твоей женой после этого. Слышишь? Никогда.

Она повернулась и ушла. Лалакин скорчился над ладонью и застонал от боли и обиды. Боже, ведь она сказала “после этого”, значит, “до этого” она уже думала о возможности замужества? Неужели он всё испортил? Только в эту секунду он увидел, каким дешёвым был его жест.

Весть о лалакинском аутодафе мгновенно распространилась по всем Липам. Такое случается не часто. И особенно обсуждалась реакция той, в честь кого аутодафе совершалось. Молодёжь была восхищена поступком Лалакина — это казалось таким романтическим и столь бесспорно доказывающим истинное чувство. Пропасть между хорошим отношением общественности к Лалакину и плохим к Кире сделалась ещё на несколько метров глубже. Ну, и Кира, ну, и бессердечная же тварь!

В Лалакине боролись два чувства. С одной стороны, слава о его самоотверженном поступке грела его самолюбие, с другой — он понимал, что Кира неспроста именно так отреагировала на сжигание руки, что она права и поступок отдавал чем-то дешёвым и ненастоящим, а потому непорядочным по отношению к реальному чувству к Кире, которым Лалакин так дорожил и гордился. Вряд ли он мог и хотел трезво оценить, в какой мере его любовь была им самим раздута, сколько в ней было фальши. Но, во всяком случае, он впервые неосознанно столкнулся с наличием этой фальши, проявившейся в сожжении руки. Ему хотелось как можно быстрее от неё избавиться, потому что она, тоже неосознанно, пугала его.

Кира не хотела его видеть. Несколько раз он пытался объяснить, убедить её, что он признаёт свой поступок дешёвым и глупым, но она молча шла мимо, а он стоял, глядя ей вслед, с нелепым выражением лица и нелепой повязкой на левой руке. И люди видели эти сцены и ещё больше ненавидели Киру, а Серёжу — жалели.

Вскоре ещё один удар постиг Лалакина. Однажды он и Жихарь стояли на автобусной остановке, Лалакин ждал, пока придёт электричка, чтобы не вести в Садово-Дачное полупустой автобус. Вдруг подошла Кира. Глаза её были полны гнева.

— Серёжа, — сказала она. — Зачем ты так поступаешь со мной?

— Как? — дрогнувшим голосом спросил он.

— Зачем ты издеваешься надо мной? Что я тебе плохого сделала? Разве я виновата, что не подыгрываю твоему болезненному самолюбию?

— О чём ты говоришь? Чем я издеваюсь? Тем, что люблю тебя? — бормотал Лалакин, ничуть, однако, не смущаясь объясняться в любви при Жихаре. А Жихарь и не думал отходить при этом куда-нибудь в сторонку. Он стоял руки в боки и с явной неприязнью смотрел на Киру.

— Я прошу тебя немедленно снять мою фотографию со стекла. Какая я дура, что подарила её тебе! Как ты можешь говорить о какой-то любви? Ты только красуешься ею! По-твоему, это любовь, когда всем напоказ? Неужели ты не можешь прилепить себе на стекло что-нибудь другое — футбольную команду, какую-нибудь бабу из журнала мод? Ведь это не стыдно, а моя фотография — стыдно!

— Да отдай ты ей её, что ты унижаешься, — сказал Жихарь. — Другая б рада была, а эта...

Пришла электричка, повалил дачный народ, автобус стал заполняться. Лалакин залез в свою кабину, отлепил от лобового стекла фотографию Киры, повредив при этом один уголок, спрятал её и объявил в микрофон: "Автобус отправляется, следующая остановка — улица Шоссейная".

Сцена у автобуса действовала на Лалакина. Он перестал при любом удобном случае выставлять напоказ свою сердечную привязанность. Он, правда, не удержался, чтобы не спеть на танцуйках и в компании несколько песен, посвящённых Кире, — всё-таки он не мог допустить мысли, что народ забудет о наличии в Липах безнадёжно влюблённого романсера, столь уникального в процентном отношении к остальному, не ведающему любви, населению.

Каким-то образом известие об огромной корзине роз, которую Кира обнаружила однажды утром под своим окном, стремительно стало достоянием гласности. Для юношей и девушек подмосковного посёлка Липы песня Аллы Пугачёвой "Миллион алых роз" наполнилась особым смыслом, тесно связанным с историей края. Нетрудно представить себе во всех подробностях мемориальный музей, посвящённый истории любовных страданий молодого Лалакина.

Зал первый — “Зал Изначального Образа”: на стенах фотографии из фильма Дзеффирелли, любительские, мутные, отснятые в кинозале, коварный Тибальд (Майкл Йорк), источающая счастливую трагедию любви Джульетта (Оливия Хасси), тихо льётся песня на английском языке — “Что такое юноша? Беспокойный огонь? Что такое девушка? Глаза и желание, на котором зиждется мир?..” Джульетта в склепе, Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов на балу у Ростовых... Пожалуй, достаточно.

Зал второй — “Рождение Любви”: девятиклассник Сергей Лалакин, десятиклассница Кира Февралёва, грамоты, аттестаты зрелости — пятёрочный её и четвёрочный его. Кирино школьное платье, белый фартук. Новая, почти нетронутая — вот какой он был аккуратист! — синяя школьная форма Сергея; никто не догадывается, что она фиктивная — настоящую-то Серёжкина мама давно уже использовала на мытьё полов. Благородный и в то же время очень чувственный дневник Лалакина, сделанный по заказу музея каким-то журналистом из Москвы. Зарождение чувства описано тщательно и поэтапно. “Молния, исходящая из её глаз, озарила всю мою душу”, “Уж и не помню, которую ночь подряд я не могу сомкнуть глаза”, “Нет, я не решаюсь подойти к ней. Что я? Мне кажется, сама любовь моя к ней недостойна её удивительного облика”.

Зал третий — “Любовь Явленная”: макет дома Киры с фрагментами заокольного леса, деревья имитируются с помощью веточек туи, красной стрелочкой обозначено место, откуда Лалакин совершал ежевечерние наблюдения за объектом своей страсти. Время от времени в крохотном окошечке дома загорается лампочка, сеанс окончен. В этом же зале среди прочих экспонатов — чучело бородатого мужчины, для пушей убедительности табличка: “Выполнено по заказу Министерства здравоохранения СССР. Подлинник”. На самом деле это, разумеется, не подлинник — подлинник бережно хранится в спецфонде вместе с недорогим, но ценным колечком о трёх изумрудиках.

Четвёртый зал — “Суровые Испытания”: полный комплект музыкальной аппаратуры, солдатская шинель, пробитая стрелой Эрота, армейские письма, антрацитно-чёрная статуэтка дьявольского мотоциклиста, выполненная мастерами каслинского литья; велосипедная цепь, для устрашения несколько увеличенная в размерах; обломок челюсти покровского агрессора; полотно художника студии Грекова, на котором изображен критический эпизод битвы в парке культуры “Молодость”; на другой картине запечатлена перевязка раненых липовцев — окровавленные бинты, искажённые болью и мужеством лица, Кира, аллегорически светловолосая, с милосердием во взгляде; в этом же зале — лицевая часть автобуса “Липы-Садово-Дачное” с фотографией Киры на лобовом стекле.

Зал пятый — “Святая Святых”, вход по особым билетам, выдаваемым исключительно общественными организациями, иностранные делегации проходят вне очереди, дети до шестнадцати лет не допускаются. Перед вошедшим посетителем — фрагмент стены Кирино дома, под окном — корзина, полная роз. Обойдя стену, мы оказываемся в комнате Киры. В зале полумрак, на стуле горит вечный огонь свечи, сильно пахнет французскими духами “Ша нуар”. Альков. Средневековая кровать с балдахином и резными из красного дерева турченятами, сидящими на столбиках по углам. Что происходит под огромным одеялом, лишь угадывается...

“Зал Подвига” — на стене надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, множество цветов, приспущенные знамёна, почётный караул из лучших активистов посёлка Липы, макет скорого поезда “Москва-Алма-Ата”, на стенде — баллончик с нитрокраской, фотографии — платформа станции Липы, мать героя, место захоронения на Покровском кладбище. Иногда в этом зале можно увидеть с живым свидетелем, Николаем Ивановичем Жихаревым, который охотно расскажет вам, что произошло утром в воскресенье, 11 июля:

— Сам понимаешь, в каком он был состоянии. Такой облом... У меня были припасены два пузыря, мы их выдули у меня — я, Серёжка и Дёма. Ночью ему не сиделось — пошли бродить по Липам, хотели податься с кем-нибудь, Серёга орал так, что душа надрывалась: “Жить не хочу! Жить не хочу!” Под утро протрезвели, а в башке — мрак. Тут он и говорит: “Това-

рищи вы мои хорошие, помогите исполнить задуманное”. Мы его стали отговаривать. Он ни в какую. Тут Дёма и говорит: “Я бы тоже так сделал, пусть ей, суке, на всю жизнь укор останется”. У меня как раз оказался баллончик с краской — я гитару собирался перекрашивать. Как рассвело, вышли... Эх, тяжело рассказывать! Там у нас ничего не осталось? Вон бутылка. Жаль... На платформе никого народу не было — воскресенье, утро. Я до последнего не верил, что он это сделает. Минут десять ни одного поезда. Вдруг — едет. Нас так и колотит. А он — спокойный. Обнялся с нами. Открыл баллончик, стал писать. Последние буквы прямо под носом поезда, мог и не успеть. Я уже хотел сказать: “Завязывай!” А он и сиганул... Так уж велика была любовь. Мы глазам не поверили. А Дёма даже удивился: “Ни фига, — говорит, — себе!” Полезли Серёжку искать. Его метров на десять отбросило. Под платформой лежал. Ботинки с обеих ног почему-то соскочили. Ни царапинки.

— Так уж и ни царапинки?

— Ни царапинки! Лежит такой спокойный. И мёртвый. Ну, а дальше — чего уж рассказывать. Хоронили его чуть ли не всем посёлком. Дали клятву — Кире не жить! Пусть только сунется в Липы. Потом, правда, когда она приезжала на материны похороны, мы её не тронули. Я к ней после поминок зашёл и говорю: “В двадцать четыре часа. И чтоб духу твоего не было. Дом продай”.

— Скверно, — сказал я. — Страшная история. А ты, Жихарь, и Дёма, оба вы подлецы.

— Все дураки, — сказала Анжела. Она, уже одетая, сидела рядом с нами у костра.

— Ты что, москвич, офонарел? — сказала Ленка. — Почему это они подлецы?

— Да уж не знаю, такими уродились, должно быть, — отвечал я, почему-то не решаясь сказать, что и Лалакин тоже подлец. — Подлю сопроводить приятеля на глупую добровольную смерть. Ещё хуже — не иметь в себе смелости признать, что это подлю — устраивать помпу вокруг ошибочного поступка человека, доведённого до истерики, петь хвалебные песни ему и угрозы в адрес якобы виновницы смерти. Вы больше повинны в том, что Лалакин в могиле. Ты, Жихарь, в первую очередь.

Все молчали, глядя на затухающее пламя костра.

— Что притихли? — сказал я. — Хотите, подброшу гениальную идею? Довольно вашему “Лепрозорию” пробавляться мелким жанром. Творчески вы уже готовы к тому, чтобы создать грандиозное произведение — рок-оперу “Будь счастлива, Кира” наподобие “Иисус Христос Суперзвезда”. Здорово можно покуражиться. Господи, ну вас к лешему! Ничего вы не понимаете.

— Ни хрена себе! — сказала Ленка. — Это ты ни хрена не понимаешь. Тоже мне, прокурор с красным подбородком нашёлся!

— Да, — сказал Жихарь. — Обидел ты нас всех. Мы тебе всё начистоту, без фуфла, а ты... То ли ты и впрямь чего-то не понимаешь, то ли зря мы тебя пригнали.

— Вон Светка чапает, — сказала Анжела.

Действительно, вдалеке показалась фигурка Светы. Она спускалась с холма к озеру. Я представил себе, что мы с Жихарем сейчас ещё сценимся, Света ползет разнимать. Повторение ведёт к идтиотизму.

— Ладно, — сказал я, поднимаясь. — Может, я и впрямь недопонимаю, какой смысл в вашем фарсе. А может, и вам стоит кое о чём задуматься. Если обидел, можете сердиться, дело ваше. Но я сказал то, что думал. *Без фуфла*. Счастливо оставаться.

Я решительно направился в лес, вышел на ту тропу, которая ведёт к Тихорецкой улице. Не доходя немного до окраины посёлка, свернул чуть-чуть вправо и попытался хотя бы приблизительно найти то место за деревьями, откуда Лалакин наблюдал за домом Киры. Может быть, вот отсюда? Здесь тебя никто не видит, а дом как на ладони — и крыльцо, и капитка, и два окна, одно из которых, по-видимому, Кирино. Вот сейчас там зажжётся свет...

Вдруг я увидел, что там действительно будто бы тускло-тускло мерцает что-то. То ли сумерки и моя возбуждённая психика обманывали меня?.. Я быстро вышел из-за деревьев, почти подбежал к дому и, оглянувшись по сторонам — нет ли кого-нибудь? — перемахнул через забор. Подойдя к заколоченному окну, заглянул в щель между досками. В комнате Киры по стенам блуждали блики — где-то, явно в закрытом для глаза месте, горела свеча.

— Серёжа! — вдруг окликнули... Меня? Лалакина? Сердце моё заколотилось. Я оглянулся. Из лесу вышла Света. Того только не хватало, чтоб она застала меня здесь! Я спрятался за кустом шиповника. Слава Богу, она не видела меня. Рыская глазами, прошла мимо калитки, внимательно осмотрела дом Киры и пошла дальше, вверх по Тихорецкой улице.

Обождав пару минут, я снова устремился к окну, но на сей раз, сколько ни старался, не мог разглядеть никаких бликов, никакой свечи, ничего. Полный мрак. Что это было? Мираж? Галлюцинация? Таинственное преломление какого-то небесного мерцания, на миг залетевшее в комнату Киры Февралёвой?

Усталый, еле волоча ноги, я побрёл на другой конец посёлка, на Чистый Просек. Со Светой мы благополучно разминулись.

Небо уже совсем стало бледным, до рассвета оставалось не больше часа. Придя домой, я сразу лёг спать, но спал очень плохо — в постель ко мне забралась какая-то букашка, в полусне я никак не мог её отыскать и выкинуть. Потом комната наполнилась ярким солнцем, а у меня не было сил подняться и задернуть штору. Я заболел. Меня колотил озноб, в три ручья лил пот. В полдень я кое-как проснулся с воспалённой головой, всё тело ныло и чесалось, в груди поселилась твёрдая простудная боль. Мысли мои были ужасны, история самоубийства Лалакина, как омерзительное чудовище, копошилась в моей голове, когтистыми лапами скребла черепную коробку, ощупывала язык, скользко переползала в грудную клетку, барахталась под рёбрами. Не в силах встать с постели, я иногда задрёмывал, но тотчас в ужасе пробуждался — мне мерещилось, что моя погибшая жена ходит по комнате и снова хочет ругаться со мной, как это бывало в последний год перед нашим разводом и её смертью. В какой-то миг на меня дохнуло чем-то светлым и лёгким, словно кто-то провёл мне по лицу успокаивающей ладонью. Я очутился в струе сна чистого, незагрязнённого, справа и слева покачивался толстый слой слизистых мёртвых медуз, но плыл я по чистой дорожке, а когда она кончилась и дохлые медузы лепёшки стали липнуть к телу, я проснулся и нашёл в себе силы, чтобы сбросить одеяло и встать.

Шатаясь от слабости, я с мучением оделся и вышел из своего флигелька. Любовь Никитична возилась в огороде. Я дошёл, поздоровался и спросил, не найдётся ли у неё мёда или малинового варенья.

— Никак, заболел?

— Знобит. Кажется, есть температура.

— Голубчик, простыл! У меня клюква есть протёртая — мне так лучше всего помогает. Пойдём-ка. Сейчас тебя напою, как рукой снимет. Вот бедато, и без жены остался, некому ухаживать.

Она усадила меня на своей кухне, заботливо укутала клетчатым пледом, заставила надеть толстые белые носки из собачьей шерсти, налила гигантскую, должно быть, на пол-литра, чашу крепкого чая, обильно сдобрив его протёртой с сахаром клюквой. От одной её заботы мне стало значительно легче. Так уютно было сидеть на хозяйской кухне во всём тёплом и пить вкуснейший чай.

— Любовь Никитична, помните, мы как-то говорили с вами про Киру Февралёву? Вы сказали, что она с тех пор, как Лалакин убился, так и не появлялась в Липах. А ведь она появлялась. Когда мать приезжала хоронить.

— Чего-то тебе Кира не даёт покою?

— Я вообще впечатлительный. Прямо не идёт из головы эта история.

— Да уж, одно слово — история. Не приведи Бог таких ещё историй. Срам-то какой! Тыфу, прости господи!

— А отчего умерла Кирина мама?

— Шут её знает. Умерла и всё. В одночасье. Говорят, в огороде брякнулась и не встала. Нашли уже мёртвую. Грех плохо про покойников говорить, но женщина она была поганая. И не наших кровей — не то турчанка, не то гречка, волос чёрный, на лицо тёмная. Кира по масти в мать была, только светлее чутку. Имя у ней было наше — Анастасия, а отчество чудное — Илларионовна.

— Что ж в нём чудного? Первый русский писатель был митрополит Иларион.

— Как это? Митрополит — и писатель? Не может быть.

— Честное слово.

— А разве ж не Пушкин первый?

— Пушкин гораздо позднее.

— Вон оно что. Что ж он написал, тот Иларион?

— “Слово о Законе и Благодати”.

— Ишь ты! Должно, хороший был поп. Из хороших.

— Но вообще-то Илларион — имя греческого происхождения.

— Вот я и говорю, что Кирина мать была не то гречка, не то турчанка. А отец, Ванька Февралёв, — наш, липовский. Она-то его и сжила со свету. Он после войны, почитай, совсем без родни остался, поехал туда-сюда за подработком, а вернулся с женой. Откуда-то с Азова привёз её. Новороссийск на Азове находится?

— Нет, на Чёрном море.

— Сдаётся мне, вроде бы из Новороссийска он её приволок. Году эдак в пятьдесят пятом. Дом заново отстроил. Хороший мужик был. Мы с ним с одного года. Я в двадцать шестом родилась. На фронте воевал. Пришёл с фронта — видный, работающий. А ни одна ему в Липах не глянулась. Поехал за тридевять земель искать. И нашёл на свою голову. Она у нас так и не прижилась, всё косо на всех смотрела. Ни закону, ни благодати... Не знаю, правда или нет, но, говорят, словно бы она пришепётывала.

— Это как? Картавила?

— Да не картавила. Пришепётывала — наговаривала, корешки-травки по лесу собирала. Мороку делала. Вот Ивана-то попервоначалу присушила, чтоб он её там подобрал и сюда привёз, а потом сама же и уморила.

— Да зачем же?

— А спроси у неё, зачем. Что не её породы, вот зачем. На вид она была ничего, как в индийских кинах, но в глазах бестия какая-то, нехорошее что-то. Сперва устроилась продавщицей в продмаге. Так поверишь — кого и обвесит, никто слова не мог сказать, будто языки отсыхали. Потом как-то устроилась в Люберцы бухгалтершей. У меня с ней один случай был. Иду я как-то мимо Чёрного пруда — там, в лесу, у нас Чёрный пруд есть, может, знаешь уже — смотрю, стоит она и на воду смотрит. Странно так. “Ты чего это, — говорю, — Настасья? Не плохо тебе?” Она же мне отвечает: “Ты шла мимо и иди своей дорогой. А то, гляди, с тобой что-нибудь нехорошее сделается”. А сама даже лица ко мне не оборотила — так всё и смотрит на воду. А вода-то там чёрная, оттого и пруд Чёрным называется. Я как ошпаренная отступилась от неё, отошла подальше, да и давай бежать со всех ног, сама всё крещусь, хотя в Бога не верю, да ещё и молитву вспомнила: “Господи, — говорю, — не приведи во искушение да избавь от лукавого!” Шоссе перебежала, чуть под грузовик не угодила. И как раз Серёжки Лалакина отец ехал, Петруха. Притормозил. А меня жуть взяла. “Петро, — говорю, — довези до дому”. “Чего это, — он мне, — на тебе лица нет?” Я ему и рассказала...

Я снова стал чувствовать себя хуже. Как только Любовь Никитична заговорила о матери Киры, чудовище лалакинской истории проснулось и вновь закопошилось во мне. В висках застучало, мозг заволокло пеленой. Голос Любви Никитичны уже доносился словно бы не со стороны, а звучал во мне. В памяти всплыл вечерний лесной пруд, захламлённый гнилыми досками и ржавым железом, мимо которого я проходил в тот день, когда избили дачных хиппи. Кажется, уж давно это было, а всего-то во вторник, четыре дня назад. Словно наяву представилось мне смуглое лицо Анастасии и что-то нехорошее, тёмное в нём. Я отшатнулся тогда и побежал прочь.

— А года три спустя Иван Февралёв наступил на ржавый гвоздь и умер от заражения крови. А там, кто его знает, от чего он на самом деле умер...

Мне стало невмоготу.

— Да ну, Любовь Никитична, предрассудки всё это. Знаете что, пойду-ка я на боковицкого и устрою храповицкого. Жар у меня, кажется. Надо прилечь. Спасибо за чай.

— Иди, голубчик. Носки не снимай — собачья шерсть, она самый нагрет даёт.

На ватных ногах я добрёл до своего флигелька и зарылся в постель. Меня трясло, зубы клацали, мысли кружились на карусели вокруг дурацкой игры слов: выпили чайковского и на боковицкого, а на душе скрябин и паганини, вот ведь лажечников какой со мной приключился, приключевский... Кто там ещё из великих, выдающихся, видных на следующей карусельной коняжке? Носки из шерсти сабашиниковых? В носу апчехов ер-ни-ча... Апчхи! Будьте здоровы, Сергей Михалч! Спасибочко, Сергей Михалч! Что это вы припотели, голубчик? Эдакий эжен-потье с вами произошёл. А мусоргского-то сколько в комнате! Что ж супруга-то ваша не следит? Да я, знаете ли, абшид от неё получил, отставочку, значит. Одинёшенек. А годы проходят, все лучшие годы... Ладно, не ной, тоже мне, Ной нашёлся. А есть что-то забавное в этом состоянии. Жар. Жалко, градусника нет — Цельсий был бы доволен. Интересно, какой там год у меня под мышкой? Тридцать восьмой? Тридцать девятый? Сороковой? Только бы не сорок первый... В груди ломит так, будто все годы туда втиснулись со всем скарбом: революция; кровавая чекистская гадина; эсесерия, пожравшая Россию; баржи, битком набитые пленными белогвардейцами, идущие ко дну Белого моря, и пароходик с умилёнными совписателями на Беломорканале; Бухенвальд в двух шагах от веймарского Патриарха, советские спортсмены, победители олимпиады — интересно, что с ними потом стало, ведь им не то Гитлер, не то Геббельс медали на шею вешали... Какая тебе олимпиада, дурень! Наших там не было!..

— Сергей, а Сергей! Что, совсем худо тебе?

— Любовь Никитична... Который час?

— Стемнело уже. Горячий-то какой! Давай-ка температуру смеряем.

— Да, пожалуйста, у вас ведь есть градусник. Интересно всё-таки, какой там год.

Если немцы на подступах к Москве, ещё ничего, какое-нибудь безобидное воспаление лёгких, а если рвутся к Сталинграду, то не иначе как ящур подцепил, когда со Светой целовался. Обидно — всего от одного почти невинного поцелуя!

— Вытаскивай градусник-то, уже пора.

— Разве? Только что поставили.

— Какой только что! Уже двадцать минут держишь.

Сорок и пять. Примерно июнь сорокового. Немцы оккупировали Францию.

— Любовь Никитична, включите, пожалуйста, телевизор.

— Лежи ты, горе! Пойду врача вызывать.

— Я совершенно здоров.

Всё-таки, уходя, включила. Я выпростался из-под одеяла и стал смотреть футбол. Мне было на диво хорошо. Никакого потовыделения, сухо, жарко. Глаза мои полны были голубого сияния, в котором уже шло дополнительное время. Легкоплавкие, как воск, футболисты охотно сливались друг с другом, надолго приклеивались к полю, вымаливая штрафной или хотя бы жёлтую карточку, а в целом все вместе волокли ничью к финальному свистку судьи. А теперь уже я сам — футбольное поле, мяч скачет по мне, но как-то слишком медленно. Прилипнет, долго лежит, потом подпрыгивает, приземляется в другом месте. А, понимаю, с детства знакомая игра. Называется "дышите — не дышите". Аут. Перевернитесь на спину, второй тайм. Финальный свисток арбитра сопровождается прохладительной инъекцией. Трибуны пустеют, спускается вечер, гаснут огни прожекторов. Небо над футбольной ареной полно звёзд...

Откроешь глаза — солнце, так и жжёт всё внутри. Откроешь в другой раз — пасмурно, грудь напрочь заложена облаками. Форточка стучит от

ветра. Из уха в ухо что-то шумно перетекает. Это дождь. Батюшки, уже снова вечер!

— Сергей, поесть надо что-нибудь.

— Потом, потом... Налейте мне в блюдечко из громокипящего кубка, товарищ Геба! Полети на небо, принеси мне хлеба.

— Сергей, давай-ка куриного бульончика. Нельзя так — вторые сутки без пищи.

— Любовь Никитична, вы, знаете, кто? Вы — мать милосердия.

— Слава Богу, поел. Теперь таблетки.

— А что это? Всё льёт? Какой сегодня по счёту день потопа? Не видно ещё горы Арарат?

— Лежи, Арарат! Давай-ка температуру сменяем...

Сестра милосердия, Матерь Божья, смилуйся надо мною, останови воды многие...

— С добрым утром! Получше сегодня?

— Гораздо лучше. Спасибо вам, Любовь Никитична.

— Не за что. Сейчас завтрак принесу.

— А какой сегодня день? Дождь кончился?

— Кончился, но — тучи. Вторник. Ты хоть знаешь, что у тебя воспаление лёгких?

— А сегодня? Среда? Опять дождик?

— Среда. Целый день моросит. Пойдём, помогу дойти. Укутывайся хорошенько. Не легче в груди? Подействовал компресс?

Компресс подействовал хорошо, а вот ночью опять температура и бред. В четверг мне опять стало хуже, и я уныло уверял Любовь Никитичну, что четверг — день Юпитера, потому и тучи, и дождь, и гром. Ничего удивительного, так и должно быть. На то и громовержец.

В пятницу я пришёл в себя. Светило солнце. Болезнь немного отхлынула, и вновь полезли в голову неприятные мысли о моём разрыве с женой и о дурацкой истории Лалакина.

Я пытался отвлечься, но всё зря — к вечеру тяжёлые воспоминания и параллельные им раздумья над липовским несчастьем до предела воспалили мой мозг, неминуемо стала повышаться температура, навалился бред, забытьё.

Утром в субботу я проснулся во влажной от пота постели. Болезнь владела мною в той же мере, как и неделю назад, когда она ещё только начиналась. Я лежал и злился на своё холодное и ослабевшее тело, такое непримечательное к сочному солнечному утру, пению птиц, зелени листвы, запахам лета.

— Здравствуйте, Любовь Никитична! — вдруг услышал я знакомый голос, вселивший в меня надежду на радость.

— Са-аша! — откликнулась Любовь Никитична. — Сколько лет, сколько зим. Решил проведать своего товарища? А он вот уже неделю с воспалением лёгких лежит.

— Что вы говорите! Ну-ка, где он там?

Сашка, мой старый приятель, как вовремя он приехал! Он увидел меня, опухшего от болезни, всклокоченного, жалкого, стал говорить что-то весёлое, бодрое, сменил подо мной прокисшую от пота постель, приготовил роскошный обед — укроп, петрушка, кинза, помидоры, лук, огурцы, молодая картошка, отбивные, а на десерт — клубника и черешня. После обеда, помыв посуду и сделав в моём флигельке влажную уборку, во время которой я сидел во дворе, укутанный в три пледа, Сашка снова уложил меня в чистую постель, сбегал куда-то, но вскоре вернулся с одолженными у кого-то шахматами. Мы сыграли три долгих, неторопливых партии, из которых одну я проиграл, несмотря на Сашкины предостережения:

— Серёж, ферзя ведь съем... Ну, ты что, так ведь мат через два хода...

Две других мы свели к добротным ничьим: в первом случае Сашкин король спасся патом, во втором мы остались при королях и разноцветных сло-

нах. Потом я немного вздремнул, а после ужина меня неотвратимо потянуло рассказать Сашке обо всём, что со мной случилось и что я узнал в Липах.

Оказалось, он лишь в общих чертах знает историю надписи “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” и никогда не интересовался, а уж тем более, не заболел ею, как я. Он внимательно меня слушал, лишь изредка удивляясь моей настырности в желании узнать подробности истории Лалакина и Киры Февралёвой, а когда я принимался бредить, он заботливо укрывал меня одеялом и старался не перечить моей бредятине.

— Сашка, — говорил я ему, — ты не представляешь, каким это оказалось для меня важным... Снег идёт такой мягкий, мокрый, всё вокруг тихо... Мы ничего не знаем, ничего, только смехотворно узенькую тропинку, по которой успеваем проползти за свою маленькую жизнь, как улитки, оставшиеся без раковин... Скажи, ведь там, на могиле Клавдии Фоминичны Одноровой, сидит мраморный ангел?

— А куда ж он денется? — отвечал Сашка. — Сидит себе как миленький. Серёжка, поспи немного. Завтра будет лучше.

— Санечка, как хорошо, что ты приехал! У меня ноги на дне колодца... Если придёт Жихарь, пусти его ко мне, мне надо ещё с ним поговорить. Ладно?

— Ладно. Не беспокойся.

— “Меж скорбно-умных лиц и блещущих речей шутов Веласкеса и дураков Шекспира” ...Сань, мне надо с тобой всерьёз... Ведь это ты меня опрокинул сюда, в Липы... Знаешь что... Умоляю, разыщи Киру Февралёву!.. Пусть она приедет сюда, я хочу купить у неё её дом. Обещаешь? Я хочу видеть её, у меня к ней какая-то странная привязанность. Мы должны с ней встретиться. Пожалуйста, Санечка! Обещаешь?

— Обещаю.

— Даешь слово?

— Даю.

— Спасибо тебе. Я знал, что ты меня выручишь. Поезжай прямо сейчас и найди её. Хорошо?

— Договорились.

Он ушёл в кухоньку, где у него была приготовлена выданная Любовью Никитичной раскладушка, и лёг. Некоторое время он ещё слушал моё борнотанье, пока, наконец, мы оба не уснули.

На другой день я проснулся от холода. Погода опять испортилась, за окном было серо, накрапывал дождь. Но я чувствовал в себе такой свежий прилив сил, что даже эта сырая прохлада была мне мила.

— Ну, вот и слава Богу, — сказал Сашка. — Теперь уже пора поправляться. Сегодня вечером будем финал смотреть.

Днём мы опять играли в шахматы. Сашка — так себе игрок, и я, вошедши в силу, всё время его обыгрывал. Вечером смотрели последний репортаж с чемпионата мира. На другой день Сашка уехал, а я стал медленно выздоравливать. К концу недели у меня перестала подсакивать температура, и в воскресенье я устроил торжественные проводы болезни — сбрил отросшие за две недели усы и бороду, сделал пробную вылазку в лес, нашёл на тропинке крепенький подберёзовик. С понедельника я снова начал вести здоровый образ жизни. Утром загорал на озере, днём работал над “Комментариями”, после обеда полтора часа спал, вечером снова ходил на озеро купаться и загорать. Вот уже второй месяц я жил в Липах, но теперь, после болезни, мне казалось будто всё внове, будто всё, что происходило до болезни, вообще случилось в прошлом году и ныне уже никак не подстерегает меня. Вместе с выздоровлением организма пришло душевное спокойствие, я старался не думать ни об утраченном семейном счастье, ни о своем одиночестве, ни о самоубийстве Лалакина. И у меня это получалось. Я больше не жаждал контактов с обитателями посёлка и не мечтал о встрече с загадочной Кирой Февралёвой. Хорошо, что Сашка не был столь всемогущим, чтобы и впрямь найти её и доставить ко мне. Стояли хорошие солнечные деньки, я получал ровно столько загара, сколько могло подарить мне подмосковное

светило. Мне хорошо работалось, я уже заканчивал первую главу “Комментариев”. Два раза ездил в Москву поработать в Румянцевской библиотеке, а возвращаясь в Липы, испытывал светлое чувство свободы и полноты бытия. Иногда я видел знакомые лица — барабанищика Игоряшу, русалку Анжелу, мрачного Фофана, — но удачно избегал встреч с ними.

Так прошло четыре дня.

На пятый день, возвращаясь с озера, я увидел странную процессию, перетекающую с улицы Советской на площадь перед станцией. Человек тридцать или сорок несли множество цветов, в середине шли с простыми гитарами музыканты рок-группы “Лепрозорий” и пели песню “Будь счастлива, Кира”. Рядом траурным шагом шествовали и многие мои знакомые — Фофан, Света, Анжелка, Ленка, Вовик, Шурик, Иришка, В-лера, Люська и прочая, прочая. Я вспомнил, что сегодня одиннадцатое июля — день самоубийства Лалакина, очередная годовщина. Всё моё казавшееся таким прочным спокойствие вмиг куда-то исчезло. Я стоял возле станции, поминальная процессия двигалась в мою сторону, и я уже полностью зависел от неё, не мог двинуться с места ни вправо, ни влево, поток накатывался на меня, и вот я уже спускаюсь вместе с этими людьми в подземный переход, я принадлежу им, они сдержанно принимают меня, Света спрашивает, где я пропал, и я покорно отвечаю, что болел. Она рада меня видеть, хотя пытается делать вид, будто я ей безразличен. Все воодушевлены, поют новую песню о Лалакине, о настоящей любви, которая погибла, но всё равно жива. Все выплёскиваются из подземного перехода на свет платформы, особенно сильно пахнет карамелью, солнце стекает на запад. Становимся кругом возле надписи “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”. Жихарь произносит речь. Начинается торжественное обновление надписи. Свежей краской, белой на зелёном фоне стены — барабанное Б, угловатое У, домашнее Д, прилипчивый Ъ, серпом свистящее С, в числе заключённое Ч, архангельски белое А... Трое липарей пинками и оплеухами отгоняют прочь любопытного парня, только что приехавшего на московской электричке. Подходит милиционер, интересуется, в чём дело, ему объясняют, он недоволен, но не вмешивается. Снова свистит С, тугое поставлено Т, липою пахнет Л, игриво кривится И, важное выплыло В, ещё один ангел А пред запятою встал...

Какие возбуждённые лица, словно каждый из них причащается святого таинства надписи, совершает обрядовое прыганье под скорый поезд. Одна из девушек в восторге плачет. Снова поют песню, насыщенную угрозами в адрес Киры. Песня приурочивается к последней стадии обновления надписи — крепко сколоченное К, искромётно-игривое И, громоподобное Р, третье, последнее, пламенно-белое А.

Все садятся в электричку. Пассажиры в недоумении осматривают огромную толпу, множество цветов; предположения сводятся к одному — выпускники какие-нибудь. Гитары звенят, льётся песня:

*Мимо Лип мчатся поезда,
Все бегут, бегут туда-сюда,
Вот и ты проходишь стороною,
Что ж тогда останется со мною?
Вечная сердечная беда...*

В Покровке все выходят и пешком идут до кладбища. Траурный ход. Долгота пути несколько развеивает тягостную сосредоточенность мыслей на трагедии Лалакина. Света, например, взяв меня под руку, вспоминает, как мы напугались с ней тогда, смеётся, потом поёт никак не относящуюся к случаю песню про айсберг в океане, все заботы которого под тёмною водой. Славная девушка! Вот и Покровский храм, спускаемся в рощу под холмом, идём мимо Лыковых, Матюшиных, Головиных, Йоргена Францевича Фосса, Клавдии Фоминичны Однодворовой, мимо колодца. Наконец, могила Лалакина. Скромный букетик цветов, должно быть, от матери. Анютины глазки. Могила затопляется принесёнными цветами — микровысоцкий на микрова-

ганькове. Виноватая улыбка, рубашка в клетку. Снова речи, песни. Я предлагаю присвоить имя Лалакина автобусному парку и не встречаю поддержки. Правда, Жихарь напоминает всем, что я журналист, нарочно приехавший из Москвы, чтобы написать о Лалакине статью. С кладбища выходим в оранжевом свете заката. Группа покровских парней нерешительно осматривает нас — нет, всё-таки не стоит, слишком большая орава.

На обратном пути мне совсем плохо — меня по-хозяйски похлопывают по плечам, как будто они хорошо мне заплатили за предстоящую статью, и я полностью в их подчинении. Им приятно.

Липы. Все выходят. Каким-то образом я оказываюсь сзади всей оравы липарей. Я должен бежать, иначе мне крышка, теперь я уже не просто заболел — я умру. Вот сейчас самое время. Я подхожу к двери электрички и останавливаюсь, не делаю шаг из вагона. Света оборачивается, в глазах её растерянность. Нет, я ничего не могу поделать, она уйдёт с ними. Двери закрываются. Поезд трогается. Спасён!

В изнеможении я плюхнулся на свободную скамейку и проехал даже не одну, а три остановки. Вышел на платформе 47-го километра, побродил там, пока солнце не скрылось за горизонтом, и тогда только осмелился вернуться в Липы.

Смеркалось. Из парка культуры “Молодость” долетали звуки рок-группы “Лепрозорий”. Я побрёл в сторону озера, вышел на Тихорецкую улицу, спустился по ней и вдруг замер от неожиданности — Кира Февралёва входила в калитку своего дома. Я сразу узнал её. Смуглая, тёмные волны волос, прямая осанка. На ней было белое хлопчатое платье с погончиками, на ногах — белые босоножки на низеньких каблучках. Она была налегке, без сумки — значит, ненадолго.

Кира прошла по тропинке к крыльцу, стала подниматься в дом. Я подбежал к калитке и окликнул её:

— Кира!

Она оглянулась, удивлённо посмотрела на меня. Я вошёл в калитку и приблизился. Она не была удивительной красавицей, черты лица её находились даже в какой-то дисгармонии — несколько долговатая переносица, нижняя губа уже, чем верхняя, глаза не такие уж большие, но очень выразительные, отчего и создавалось впечатление их большой величины. Красивые руки, изящные пальцы. Тонкая талия, красивые бёдра, но довольно широкие плечи.

— Здравствуйте, — сказал я. — Не удивляйтесь, что я вас знаю. Я живу в Липах уже второй месяц, и мне говорили, что ваш дом сдаётся.

— Это ошибка, — ответила она. У неё был слабый, женственный голос, “ш” чуть-чуть переходило в “ф”. — Дом не сдаётся, он продаётся. Вы ведь не станете его покупать?

— Нет, к сожалению, — сказал я.

— Почему же к сожалению?

— Мне он очень понравился.

— Разве в нём есть что-то особенное?

— Есть что-то. Я иногда забирался сюда и совершенно незаконно разгуливал вокруг него, даже сидел вон там, на скамейке. Один раз мне показалось, что в доме горит свеча.

— И напрасно, — сказала она, подёрнув плечами, и стала открывать дверь.

— Кира, я должен предостеречь вас от опасности, — сказал я.

— Только давайте пройдем внутрь. Мне не хочется, чтобы меня видели.

Я оглянулся по сторонам. Кажется, никого не было. Мы вошли в дом. Прихожая, служившая одновременно и кухней, была довольно захламлена, на вешалке висели старые плащи и пальто, около надтреснутой печурки валялись пыльные календари и тетради. В комнате Киры стояли лишь три стула, стол и кровать.

— Господи, — вздохнула Кира, — мне так хотелось побыть здесь сегодня одной.

— Простите, — сказал я. — Но это небезопасно.

— Откуда вы знаете?

— Я встречался с друзьями Лалакина. Сегодня они ходили возлагать цветы на его могилу. Настроены очень агрессивно. Вы слышали песню “Будь счастлива, Кира”, которую они поют?

— Что они могут сделать?

— Всё, что угодно. Они очень злы на вас.

— Вы здесь на лето снимаете?

— Да.

— Из Москвы?

— Да.

— Как вас зовут?

— Простите, что не представился. Сергей.

— Почему же вы не разделяете их злости? Ведь она так естественна.

— Она отвратительна. Так же, как отвратительно самоубийство Лалакина и его надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”.

— Не рубите сплеча. Ведь вы ничего не знаете. Что вы можете знать, если никто толком ничего не знает.

— Мне и незачем знать. Я — лицо совершенно постороннее, у меня своих дел по горло. Но я единственный человек, который может здесь встать на вашу защиту. Если, конечно, понадобится.

— Что ж, это другое дело, — сказала она. — Вы совершенно бескорыстно решили сделаться моим стражем? Как благородно! Только что-то не верится. Давайте присядем, что мы стоим? Вы же не собираетесь осматривать помещение, раз не хотите покупать дом.

Мы сели на стулья друг напротив друга. В комнате было темно, но на столе всё-таки стояла оплывшая свечка, и я зажёл её. В мерцании свечи я увидел совсем другую Киру, чем там, у крыльца, в сумерках, Лалакин очень любил свечи. Вот так он когда-то любовался Кирой и говорил себе: “Люблю... Люблю...”

— Итак, — сказала она. — Чего же вы хотите взамен за ваше бескорыстие?

— Чего хочу? — произнёс я. — Да, собственно, мне и нечего хотеть. Я и так сполна всё получил.

— Не понимаю.

— Понять очень легко. Мне нужно было развеять тоску, скуку. Бросаться под поезда я не умею и не люблю. А здесь — простите за цинизм, но ведь я лицо постороннее! — здесь я выудил из этой истории под названием “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” всё, что мне было необходимо: сначала я отвлёкся, потом убедил себя в том, что мне до ужаса любопытно, я погружался в ад местных нравов, а потом приходил к вашему дому, и мне становилось легко, каким-то образом ваш дом оказывал на меня некое магическое, целебное действие. Правда, в конце концов, я довёл себя до истерики и заболел. Но опять-таки, будучи здоровым человеком, не сошёл с ума, и болезнь моя выразилась в обычном воспалении лёгких, на которое легко было списать любой бред. В общем, теперь между моим собственным несчастьем и сегодняшним днём стоит довольно твёрдая стена — приключение, хотя и в некоторой степени мрачное.

— Вы потеряли любимого человека?

— Это не имеет значения.

— Понятно. В общих чертах понятно.

Глядя на неё, я невольно задумался, смог ли бы я полюбить эту женщину? Внутренне я волновался, но можно ли было принять это волнение за скрытую любовную тягу? Едва ли.

— Что же будем делать? — спросила Кира.

— Я не знаю, это зависит от того, что вы собирались делать, приезжая сюда.

— Я собиралась всего лишь провести здесь ночь, а завтра утром побывать на могиле у Серёжи и вернуться в Москву.

Она не называла его Лалакиным. Это было трогательно.

— Вас ждёт муж?
— Меня ждут.
— Извините. Если вам претит моё присутствие, я мог бы посидеть на кухне или на втором этаже — там ведь, кажется, есть комната?
— Вам будет скучно.
— Ничуть. Мне приятно в вашем доме. Я уже говорил.
— Оставайтесь тут. Судя по всему, у вас нет никаких дурацких намерений.
— Можно курить?
— Курите. Только не прикуривайте от свечки. У вас нет спичек? Сейчас я принесу с кухни.

Она встала, прошла в кухню. Я походил по комнате, выглянул в окно — сумерки уже совсем загустели. Открыл форточку. Интересно, видно ли с улицы, что в комнате горит свеча? Кира вернулась без спичек.

— Всё-таки придется от свечки. Подождите-ка, а как же вы свечу зажигали?

— Оставалась последняя спичка.
— Ну, значит, от свечки. Плохая примета.
— У меня сейчас ложное воспоминание: кажется, что я уже сидел так когда-то. Это было знакомство ненадолго, ожидание завтрашнего утра, а впереди целая ночь, заброшенное жильё... Кстати, вам ведь надо поспать.

— Вам тоже.
— Я подежурю.
— Неужели вы думаете...
— Уверен. Сегодня они будут куролесить, наверняка заглянут и сюда. Я бы предложил погасить свечку, но вы ещё не так меня поймёте...

— Не нужно гасить. В темноте как-то совсем убого. А и правда, мы в каком-то странном положении.

С улицы донеслись голоса. Я быстро вышел в прихожую и выглянул в окно — отсюда видна была вся улица. По ней проходили двое старичков. Я вернулся. Встревоженный взгляд Киры говорил о том, что и ей передалось моё ожидание липарей.

— Господи, этот дом просто предназначен для ожидания чего-то ужасного, — сказала она. — Мне кажется, живя здесь, я всегда чувствовала себя так же, как сейчас. Как вы думаете, когда они могут заявиться?

— Скорее всего, в ближайшие полчаса-час. Это при условии, что кто-то из них видел, как вы от станции шли к дому. Вы заметили кого-нибудь на станции или около?

— Кажется, никого из знакомых.
— Кира, вам лучше уехать сейчас. Я провожу вас до Москвы.
— Нет. Не хочу. Неужели человек не может в кои веки побыть в своём доме? Если что-то и случится — пусть. Значит, такова судьба. За свою жизнь я уже привыкла ждать плохих завершений. И получать их. Потерплю и в этот раз... И всё-таки, почему вы здесь?

— Почему я здесь?... Просто с тех пор, как я услышал о вас и всё, что про вас рассказывают в Липах, я мечтал увидеть, какая вы. Скажите, вы, правда, Кира Февралёва?

— Вы что, сомневаетесь?
— Немного.
— Так я и не Кира Февралёва.
— Кто же вы в таком случае?
— Будем знакомы, молодой человек. Меня зовут Кира Никанорова.
— Ах, вот оно что. Фамилия мужа. А кто ваш муж?
— Он? Он уже не муж мне. Мы расстались. Иногда мне кажется, что его и не было вовсе. Как и меня для него. Были только образы, стереотипы желаемого, которые быстро развеялись в прах. А познать то, что оказалось за этими образами, — может быть, гораздо более ценное, — на это нас не хватило. Фу, зачем вам знать это!

— Значит, сбежав из Лип, вы тоже не нашли счастья?
— Нет, я была счастлива. Правда, недолго. Но разве счастье — главное? Никакое счастье не стоит того, чтобы его покупать ценой человеческой жизни.

— Да ладно вам! Вы сами прекрасно понимаете, что не виноваты в смерти Лалакина.

— Я, я виновата!..

— У вас традиционный русский комплекс раскаяния. В смерти этого человека повинен он сам. И его дружки.

— Вы ничего не понимаете. Виновата я, моё желание счастья, такое естественное для любого человека. И такое преступное. Я знала, что он висит на волоске, и не должна была подпускать его к себе. Наша близость с Серёжей с самого начала была далека от реализма. Я позволила ему быть рядом со мной в наказание за его самолюбие. Считала, что только я имею право на самолюбие, и щекотала своё самолюбие этим волоском, на котором повис влюблённый в меня человек... Ох, как не хочется это вспоминать!.. Где там обещанная народная расправа?

— Имейте терпение. Выгребают последний порох из пороховниц. Думаю, ещё полчаса, и они придут. Свет свечи не очень заметен с улицы.

Я подошёл к окну, выглянул сквозь щель между досками, прибитыми снаружи. Уже была ночь. Эти доски — тоже какая-то защита. Плохонькая — но крепостёнка.

— Представьте себе, что мы с вами в средневековом замке, — сказал я. — Ждём нападения взбунтовавшейся черни. Мы оказались неласковыми феодалами, и нас решили сковырнуть.

— Я бы согласилась — пусть бы пришла чернь и убила бы нас с вами, только бы это и впрямь был средневековый замок. Вы знаете, было время, когда я мечтала об одном — умереть в великолепии...

В ту последнюю для Лалакина осень Киру Февралёву всё чаще стали посещать странные мечты. Она думала: мне уже двадцать два года, а в жизни так до сих пор и не случилось ничего, достойного меня, моего появления на свет. Всё было не так. Люди, которые меня любили, вели себя по отношению ко мне идиотски — другого и слова-то не подберёшь. Просто идиотски. Я хотела любви, и она приходила, но как! Вспоминать о ней стыдно, мерзко... Неужели так вся жизнь пройдёт? Нет, лучше умереть.

Но ведь нельзя умереть просто, так же бесславно, как проходила её жизнь! И она стала мечтать о необычной, пышной смерти. Смерти в облике прекрасной бледной дамы, одетой в дорогие чёрные одежды. В роскошном дворце идёт пир, гремит музыка, все танцуют, и она в центре бала, десятки влюблённых глаз неотступно следят за ней, ожидая знака внимания. Они ждут, надеются. Но она знает, что это её последний бал. Близится полночь. С каждой минутой дыхание королевы бала всё взволнованней. Сегодня должно сбыться предсказание — она умрёт в самую счастливую минуту своей жизни. И эта минута наступила. Вот он, её избранник, самый достойный из всех её кавалеров, подходит к ней и приглашает на следующий танец. Полночь всё ближе. Она танцует с любимым, и он шепчет ей слова признаний. Заветная и роковая минута. Слышится первый удар башенных часов. В зале среди присутствующих появляется красивая дама в чёрном, но её никто не замечает, кроме Киры, но явление чёрной дамы не страшит её, потому что Кира безумно счастлива. Вот оно, счастье! Так вот оно какое! Когда не чувствуешь своего тела, когда вся превращаешься в аромат и кружишься по зале в объятиях возлюбленного. Часы бьют во второй раз. Чёрная дама медленно направилась к ней. Третий удар. Любимый так нежно прижимает к себе Киру за талию. Как он хорош! Четвёртый удар. Дама приближается. Всё вокруг кружится быстрее и быстрее, счастливее и счастливее. Пятый удар. Менуэт должен был бы кончиться, но все уже обратили внимание на счастливую пару, и музыканты без перерыва играют снова. Шестой удар. Дама всё ближе. Сердце стучит всё сильнее. “Вы любите меня?” — спрашивает он. Седьмой удар. “Да, я люблю вас”, — отвечает она. Восьмой. Чёрная дама уже совсем близко. Лицо её торжественно светится. Девятый удар. “Вы согласны стать моей женой?” Десятый. Женой! Что это значит? Хорошо ли это? Согласна ли она? Часы бьют в одиннадцатый раз. Женой любимого. Это значит — Вселенная распахнулась и душа летит в вечное сияние. Она кива-

ет: “Да”. Двенадцатый удар. Чёрная дама исчезает. Королева бала падает бездыханно. Все в ужасе! Мерт-ва! Паника! Но она уже далека от всего этого — она летит ввысь...

— Серёжа, ты боишься смерти? — спросила она однажды у Лалакина. Они шли по берегу Тихорецкого озера, плавно кружились листья. Кира была задумчива и задала свой вопрос после долгого молчания. Лалакин вздрогнул.

— Нет, — сказал он. — Раньше страшно боялся. Когда был маленьким. Когда думал о ней, в желудке щекотало. А теперь думаю о ней совершенно спокойно, словно её и нет вовсе.

— Но ведь страшно умирать, когда ещё ничего не было в жизни. Поэтому дети её так боятся.

— Страшно умирать, если знаешь, что за ней — пустота.

— А ты думаешь, что что-то есть за ней?

— Не может не быть.

— А как же материализм?

— Но ведь существует закон сохранения энергии.

Ей нравилось, что он так спокойно рассуждает о смерти. Точно так же спокойно расставалась с жизнью лета природа. Роняя листья, леса становились светлее. Было что-то радостное в этом холодном свете осени, всё больше овладевающим пространствами.

Их встречи стали частыми. Лалакину удалось, наконец, ухватить ту интонацию в разговорах, которая нравилась Кире, — без порывов, спокойно, с лёгким налётом печали. К концу ноября Кира уже не помнила об идиотизме сожжения руки и фотографии на стекле автобуса. В середине декабря, когда уже лёгкой марлей лежал снег, они ездили в одно из воскресений в Сергиев Посад. Дул холодный ветер, Кира забыла дома перчатки, и Лалакин осмелился взять её ладони в свои, чтобы согреть. Тут она заметила шрам от ожога на его ладони и в краткий миг жалости поднесла его ладонь к своим губам. Он было обнял её, но миг кончился, Кира ускользнула из его объятий, и они ещё немного погуляли по Троице-Сергиевой лавре, словно ничего не случилось.

Перед самым Новым годом Лалакин три дня где-то пропадал. Вечером тридцать первого он пришёл к Кире, как год назад, с подарком — большим флаконом французских духов. Как и год назад, Кира уговорила мать встретить Новый год у родственников. Ждала, что, может быть, в этот раз произойдёт что-то необычное. Лалакин пришёл в половине одиннадцатого, и Кира с удивлением отметила, что ей приятно его поздравление. Ей понравился запах духов.

— Дивный! — сказала она. — Такой благородно-чёрный запах. Я бы хотела, чтоб, когда я буду умирать, был этот запах.

Кроме духов он принёс шампанское и с десяток баночек дорогих консервов. Апельсины, малиново-красные яблоки, большой набор шоколадных конфет. Стоял посреди комнаты с растерянным видом и улыбался тому, что ей понравился подарок.

— Что же ты не снимаешь пальто? — сказала Кира. — Или тебя ждут?

— А ты разве не ждёшь гостей? — спросил он, глядя на покрытый белоснежной скатертью стол.

— Нет, я собиралась встретить Новый год одна. Если хочешь, мы можем встретить его вместе.

Какое это было счастье для него! Они стали вместе накрывать на стол, потом он долго сидел один на кухне, пока Кира наряжалась в длинное тёмно-синее платье и не могла решить, уложить ли ей как-нибудь волосы или оставить так — вольным облаком. Без десяти двенадцать они выпили по бокалу шампанского за старый год. Потом Кира захотела танцевать, включила вальсы Шопена, и они закружились по комнате, а когда из приглушённого телевизора стали доноситься куранты, будто откуда-то издали, Лалакин было разомкнул уже объятия, чтобы снова подойти к столу, но Кира сказала:

— Нет-нет, танцуй. Так хорошо. Так никогда ещё не было.

После одиннадцатого удара она, глядя куда-то в сторону, притянулась лицом к его лицу, и он, не веря своему счастью, стал целовать её в губы.

Кира смотрела в сторону и видела иные картины, мысленно шепча: “Приходи, приходи, смерть”.

Потом она отстранилась, села на кровать и попросила шампанского. Неверной рукою он пролил на скатерть пену из обоих бокалов, а когда подавал ей её бокал, она произнесла:

— Мне хорошо. Ты не обидишься, если я попрошу тебя сейчас уйти? Я хочу побыть одна.

Он не обиделся. С готовностью, выпив залпом шампанское, он исчез, кое-как набросив пальто, унося в руках шарф и шапку.

Оставшись одна, Кира упала навзничь в кровать и долго лежала без движения, почти роняя из руки пустой бокал, другую руку держа на груди. Она представляла себя Офелией с картины Милле. Потом медленно встала, проплась по комнате в сиянии свечей, глядя в зеркало, как хорошо ей в тёмно-синем платье. Выключила телевизор и проигрыватель, игла которого вот уже несколько минут, с недоумением отскакивая, стучалась о тупик последней бороздки. Стало тихо. Так тихо, что она отчётливо услышала скрип снега под шагами за окном. У Кире пылали щёки, и так приятно было распахнуть настежь окно. В квадрате оконного света стоял Лалакин. Кира поманила его к себе, и он мигом забрался в окно. Она прижалась пылающим лицом к онеженному воротнику его пальто, сбросила с его головы шапку, покрыла лицо его поцелуям.

Случилось то, чего не должно было случиться. В первых сумерках рассвета Кира проснулась и увидела на полу пальто, шарф и шапку Сергея, на стульях — его одежду и своё измятое тёмно-синее платье, на столе — почти не тронутый новогодний ужин, в воздухе реял запах шпротов, гусиного паштета и балыка. Одна свеча уже потухла, две другие догорали, почти не нужные в сумерках утра. Она не могла повернуть голову и посмотреть на человека, лежащего рядом с нею. И тогда вообразила, что она — замужняя женщина, русская, но муж её — английский посол. Добрый старик, он поддался её прихоти и привёз сюда, в деревенскую избу. Спит себе в соседней комнате, намаываясь бродить по глубокому российскому снегу, и не подозревает, что жена его ночью тайком принимала любовника — русского парня, до безумия влюблённого в неё, ездившего за ними по пятам и, наконец, этой ночью пробравшегося в окно её спальни. Это изба охотника. Там, в прихожей, висит множество ружей и охотничьих ножей. Чудится ей, что муж тихо крадётся. Всё ближе и ближе. Медленно открывается дверь, и он, старый ревнивец, входит с ружьём в её спальню. Сколько секунд остаётся до смерти? Пять? Шесть? Две? Она будит своего возлюбленного, прижимает его лицо к своему, этот поцелуй — самое сладостное из всего, что ей довелось испытать в жизни, он уносит её в вечность; вот сейчас прозвучит выстрел из обоих стволов, вот сейчас...

На долю секунды Кире удалось испытать это счастье, отдавшись поцелую Лалакина, крепко зажмутив глаза и почувствовав затылком холод стволов ружья, направленных на любовников. Бедный Лалакин тогда ещё ни на волосок не догадывался, с кем на самом деле целуется в эту минуту Кира. Он ошалел от счастья. Он не спал всю ночь, слушая рядом дыхание любимой, а когда медленно стало светать, внимательно наблюдал явление из темноты каждой новой чёрточки её лица. И что он должен был испытать, когда, едва проснувшись, Кира тотчас же потянулась к нему губами, отдаваясь во власть его поцелуев и объятий!

Но грозный ревнивец не стоял в дверях спальни с заряженным картечью ружьём, и они остались живы. Днём они катались на лыжах, и Лалакин, весело забегая далеко вперёд, то и дело возвращался к Кире, с надеждой глядя в её лицо — не хочет ли она, чтобы он её поцеловал? Кира была задумчива. До самого последнего дня своей жизни Лалакин будет помнить эту её задумчивость, под знаком которой и прошли все лучшие его дни с нею.

— Коль уж вы такой исследователь главного события в жизни Лип, я скажу вам одну штуку о наших отношениях с Серёжей. Ничем другим не удовлетворю вашего любопытства, а это — пожалуйста: я никогда не была

с ним собою, и он никогда не был для меня Серёжей Лалакиным. Он был лишь соучастником моей игры. Я всё время воображала себе какую-нибудь удивительную, щекотливую историю. Вот, например, я лыжница, была сильная метель, я отбилась от своих, с кем была в походе, долго плутала по бесконечному лесу, как вдруг мне повстречался какой-то охотник, красивый, но угрюмый, молчаливый, сильный. Не говоря ни слова, он ведёт меня куда-то. Я не знаю, куда. Может быть, он спасёт меня, а может, хочет овладеть мною и убить. Но он мне нравится, и я иду за ним, не исключено, что на верную гибель... Или другое: я одалиска, он мой возлюбленный, пробравшийся в гарем, рискуя своей и моей жизнью. Или что-нибудь ещё в этом роде... Когда-то я любила одного человека, иногда я тосковала по нему и воображала, что со мной не Серёжа, а он. Но тоже не такой, каким он был на самом деле, а такой, каким я его себе представляла и каким могла любить. Вот и всё. А когда моя способность фантазировать и видеть не то, что есть в действительности, ослабевала, я видела, что это Серёжа, и не могла быть с ним рядом. В таких случаях мы подолгу не виделись. Потом снова начиналась игра. И всегда постоянным условием её была близость смерти. Если бы не эта игра, я бы не выжила. Ведь тогда было самое несчастное время в моей жизни. Вот и всё.

Итак, мрачный, хмурым охотник. Долго они идут по лесу, мороз, снег скрипит под лыжами. Она следует по свежей, только что проторённой охотником лыжне и мучается неведением — кто она, пленница? Наконец, они возвращаются в Липы, в её дом, но это не Липы и не её дом, вообще нет никакого посёлка, а лишь занесённая снегом избушка охотника. Он разводит в печурке огонь, они вместе греются, едят подстреленного им глухаря, всё молча. Она благодарит его, но он не понимает её языка, и тогда, чтобы он понял, что она благодарит его, она подходит к нему и целует его в щёку. Он обнимает её, сажает к себе на колени, ласкает, она задыхается в его объятиях, ей хорошо и страшно. На плече у охотника огромный шрам. Должно быть, это след медвежьих когтей. Она прижимается к шраму губами...

Зимней ночью страшно молодой графине в одиноком имении. Муж уехал по делам в Петербург, а в округе откуда ни возьмись появилась банда повстанцев. Воет ветер, выюга стучится в окно, и чудится, будто где-то слышны голоса и конский топот, видится, будто где-то далеко — языки пламени, мятежники жгут соседнее поместье. То ли ветер усиливается, то ли топот приближается... В окно стучат! Рамы распахиваются. Нет, это ветер. Надо скорее закрыть окно. Но кто это там стоит под окнами? Она цепенеет, не в силах двинуться с места, а молодой бунтарь уже лезет к ней с острою. Он хочет убить её, но не может — его завораживает её красота. Он бросает оружие и, схватив молодую графиню, начинает жарко целовать её. Она в ужасе, но он так хорош! Она уже не может ему сопротивляться, ей сладко, но ведь он всё равно потом убьёт её...

А вот весна, и запахи весны так необычайно будоражат кровь юной девушки. Такое небывалое чувство. И этот юноша, вот уже третий день стоящий под балконом, почему он так желанен ей? Строгий отец спит за стеной, если он услышит малейший шорох, мигом прибежит сюда. Но она уже не в силах бороться с неведомым искушением и открывает окно, делая знак юноше, что он может проникнуть в её спальню.

Однажды, особенно забывшись в своих фантазиях, Кира назвала Лалакина чужим именем. Это был гром среди ясного неба. Лалакин мигом сообщил, что так звали того, бородатого. А может, и ещё кого-то, кого он не знает. Тогда, в любовную минуту, он будто бы не заметил её оплошности, только ошпаренная душа его туго сжалась. Несколько дней спустя, целуя задумчивую Киру, он ни с того ни с сего осмелился и спросил:

— С кем ты сейчас?

Она вздрогнула:

— Что ты имеешь в виду?

— Но ведь я вижу, что ты не со мной.

— А с кем же?

— С ним. С другим.

— С каким другим? Ты что? — Она засмеялась.

— С тем, которого зовут... — Так трудно было вымолвить это имя. Он собрался с духом и, выдержав паузу, назвал.

— Нет, ты ошибаешься, я не с ним. Я с тобой, — сказала Кира и покраснела, потому что это была неправда.

— Ты всегда с ним, — сказал Лалакин то, что мгновенно осенило его. Вот откуда её вечная задумчивость! — Вот почему ты всегда такая задумчивая.

— Нет, не поэтому. — Кира вдруг помрачнела. Чувство вины быстро превращалось в раздражение — какой приметливый, разве мало ему, что он владеет мной наяву? — Я задумчивая оттого, что жизнь моя никак не меняется. Ты вошёл в мою жизнь, но ничего не переменялось.

— Значит, что я, что другой — тебе безразлично? Ах, ну да, ведь и впрямь безразлично. Ведь я только суррогат.

— Какое мерзкое слово.

— Зато точное.

— Ты говоришь глупости. Не надо. Лучше обними меня. Я с тобой. С тобой, слышишь?

Он спохватился, что гораздо лучше забыть всё, ведь ничего не произошло, Кира не изменяла ему, она — его, пусть ненадолго, но ведь это счастье, которого он ждал целую вечность. Чего же ему ещё?

Разговор оказался лишь прелюдией ко многим другим в будущем. В первые минуты свиданий Лалакин не помнил плохого, но потом ему становилось мало обладать телом Кире, ему хотелось вывернуть её наизнанку и, тщательно проверив, что там, умертвить всё чужое, всё, что ему не принадлежит, утвердить и там своё владычество, пусть такое же временное, как снаружи, ведь, в конце концов, в мире всё временное, но, даже зная о своей недолговечности, люди строят дома и живут в них, теша себя иллюзией надёжности своего жилища. Но там, внутри, в глубине глаз, Кира была недостижима, и он всё чаще чувствовал себя оккупантом на чужой территории, угадывающим смуту в непонятных ему разговорах местных жителей. И однажды ночью в бессильной злобе он произнёс, встав с постели и подойдя к окну:

— Господи, как мне иногда хочется убить тебя!

Кира улыбалась эти слова, будучи уже далеко от поверхности, почти до середины погрузившись в сон. И поначалу слова Лалакина прозвучали для неё как дополнение к недавним ласкам; но вот что-то встрепетулось в ней, она открыла глаза и привсталала:

— Что ты сказал?

Он отошёл от окна, задул свечу, пламя которой, приблизившись к основанию, начинало уже метаться из стороны в сторону, и лишь тогда ответил:

— Я говорю, что скоро начнет светать.

— Нет, ты не это сказал, — возразила Кира, ёжась то ли от лёгкого сквозняка, то ли от того, что сон вдруг совершенно пропал. — Ты сказал, что хочешь убить меня. Это правда?

— Нет, неправда, — сказал Лалакин, присаживаясь на кровать.

Они долго молчали. Он смотрел в тёмный угол, она внимательно разглядывала его чёрный силуэт на фоне окна.

— Как бы это было хорошо, — наконец, произнесла Кира.

Он ничего не ответил.

— Ты слышишь, я говорю: как бы это было хорошо, если бы ты и впрямь был способен убить меня. А ты? Способен?

— Не знаю, — был ответ.

— Значит, способен. Серёжа, не сиди так, ложись, обними меня. Я хочу сказать тебе одну вещь. Слушай. Я только теперь начала понимать, что ты в моей жизни — не случайность. Раньше я только догадывалась, сколько в тебе скрыто возможностей. Теперь вижу, что ты гораздо проницательней, чем я думала раньше. Может быть, тебе удалось заглянуть в меня гораздо глубже, чем кому бы то ни было. Я не знаю, зачем я здесь, в этом мире. Чаще всего мне кажется, что это какая-то злая шутка. Словно кто-то подсматривает и посмеивается — сколько я ещё промучаюсь. Но я не всегда была

несчастлива. Я знала много радости и была счастлива, но всегда не тем, что мне отпущено в жизни. А теперь я в кризисе. Меня радует только то, что напоминает о смерти, о моей возможности уйти отсюда. И теперь я знаю, что именно поэтому мы стали... ты стал мне близок.

Кира взяла его руку и крепко стиснула:

— Ты должен убить меня. Мы хорошенько всё продумаем, чтобы против тебя не было никаких улик. Я хочу, понимаешь, я хочу этого. И я хочу, чтобы это сделал именно ты. Я верю, что ты это сделаешь, и потому люблю тебя. Слышишь, я люблю тебя. Ты мужественный человек, ты любишь меня и готов совершить... сделать самое лучшее, что ты можешь для меня. Ты сделаешь это?

Он долго молчал, потом кашлянул, чтобы освободить пересохшее горло, и промолвил:

— Да.

Она безумно засмеялась, и в горячем восторге набросилась на него, и ей никогда ещё не было так хорошо с ним, и это был он, Серёжа Лалакин, но только преображённый: Ангел смерти, снявший себя маску паренька из посёлка Липы. И это был первый и последний раз, когда он был для неё пусть и не пареньком из Лип, но Серёжей. Начиная с той ночи, их свидания обрели вкус действительности — ведь между ними уже была договорённость о смерти, и Кира начала готовиться к совершению намеченного. Особенно хорошо было, когда мать Киры ночевала дома, и свидания проходили тайно, а значит, при обоюдном молчании. Таких свиданий было гораздо больше, и Кира целиком отдавалась во власть своих мрачных мечтаний. Готовилась ли она и впрямь к смерти? Нет, конечно. Но она думала, что готовится, и в объятиях Лалакина представляла себе, что это сама смерть играет с нею, как кот с мышью, — Смерть, влюблённая в свою жертву, ведь смерть должна любить тех, ради кого она существует.

Ей хотелось, чтобы был револьвер.

— Я вообразила, что он должен застрелить меня из револьвера, из такой чёрной машинки, маленькой и тяжёлой. И каждый раз при встрече спрашивала первым делом: “Достал?” Где ж ему было достать его! Бедный, он врал, что уже договорился с кем-то, пыжился, чтобы выглядеть серьёзным. С важным видом говорил, что такие дела быстро не делаются. Наверное, думал, что всё как-то само собой переменится.

Уговор, который никак не мог быть исполнен, давал Лалакину отсрочку. Был май, можно было много гулять, Лалакин ещё в конце апреля начал купаться в озере, когда ещё никто не решался отведать ледяной водички, а в мае по вечерам они плавали вместе, и Кира думала: сколько в нём жизни, как он радуется, барахтаясь в воде, как ребёнок! Нет, ничего не получится... Однажды, обсыхая на берегу после купания, Кира посмотрела на Лалакина и, заметив, что плечи и грудная клетка его стали за эту зиму мужественнее, подумала вдруг отчетливо: “Ведь это я его сделала таким. Видеть его не могу!” А когда он провожал её, она заметила, что какие-то девчонки, шушукаясь, преследуют их.

— Слышишь, это они над нами хихикают, — сказала она. — Какая мерзость! Пойдём быстрее. Как противно. Уже лето, а ты всё ещё не сделал того, что обещал.

После этого они не виделись неделю, хотя договорились встретиться послезавтра. Кира где-то пропадала. Потом, наконец, он встретил её у развалин старой церкви, одну.

— Как ты здесь очутился? — спросила она.

— Никак, просто гулял. Вдруг вижу — ты...

— И отлично. Пойдём сейчас ко мне.

Они шли молча, Кира не отвечала на вопросы. Пока дошли до Тихорецкой улицы, стемнело. Дома никого не было, но Кира попросила Лалакина подождать в прихожей. Минут через пять впустила к себе в комнату. Она видела, как, войдя, он вздрогнул. Всё в комнате было украшено чёрными

шёлковыми лентами, штук десять бархатных подушечек, тоже чёрных, лежали на кровати и в креслах, в зеркале, занавешенном чёрным тюлем, светилося отражённое пламя свечи, словно отблеск загробного мира; такой же чёрный тюль обтягивал окно и книжный шкаф.

— Как видишь, я сделала больше, чем ты, — сказала Кира. — Ты достал револьвер?

— Нет, — сказал Лалакин. — Кира, я лучше сам погибну, чем...

— Так вот, — перебила она его, — до тех пор, пока не достанешь, не смей показываться мне на глаза. Вот и всё. Иди.

И он ушёл.

— И что же, — спросил я, — вы действительно собирались всё это проделывать?

Кира вздохнула и горестно покачала головой.

— В том-то и дело, что уже нет. Когда я всего этого накупила и украсила комнату, как склеп, я уже пережила свою смерть. Не она меня, а я её похоронила.

— Точнее, не Лалакин вас, а вы — его.

— Точнее — да.

— Что же было потом?

— Потом?.. Потом я вышла замуж. Началась другая жизнь. Встретила одного человека, он увёз меня в Москву, и я вышла за его приятеля.

— А Лалакин?

Кира с трудом понимала, что происходит. Она уезжала из Лип. На неё вдруг обрушилось великолепное лето, полное солнца и зелени. Всё было такое внезапное и радостное. В поликлинике начинался ремонт, пахло свежей краской, всюду стояли стремянки, на полу шуршали перемазанные побелкой газеты. Делая последние уколы и смазывая царапины мазью Вишневского, Кира весело пересмеивалась с травмированными слесарями и подтрунивала над толстыми карамельщиками. Последний день в поликлинике! Наконец, после работы она вышла на свет Божий и сказала: “Прощай, поликлиничка!” И тут увидела Лалакина. Он подошёл к ней, взволнованный и трагический.

— Серёжа! Привет! — весело сказала Кира. — Какой у тебя вид, как будто ты опоздал на прививку.

— Кира, — сказал он торжественно-загробно, — я сделал то, о чём ты меня просила...

— Как! — воскликнул я. — Неужели он достал револьвер?

— Не знаю, — сказала Кира. — С собой у него ничего не было. Он сказал, что револьвер у него хранится в каком-то особенном месте. Я решила, что он врёт. Мне не хотелось выяснять. Я стала извиняться перед ним, говорила что-то глупое, что горжусь им, что он настоящий мужчина. Я даже струсилась. Я была такая подлая в тот момент! Не знала, как выкрутиться, как отвязаться от него. Наконец, призналась, что теперь уже поздно, я передумала умирать.

Он был удивлён. Дальше ещё хуже — я просила его прийти ко мне через два дня и на прощанье поцеловала его, как Иуда. А сама через пару часов уже была в Москве. Вот и всё. А потом он убили.

— Ещё была погоня в день вашего окончательного отъезда.

— Да вы, я гляжу, следователи! Покажите-ка удостоверение!

— Я частный сыщик-любитель. Если хотите, можете больше ничего не рассказывать.

— И не буду. Да, была погоня. Но об этом вовсе уже нет сил вспоминать.

— Пожалуйста, не вспоминайте. Это совсем ни к чему. Ведь я совершенно посторонний человек.

— Хорошо, что не посторонний.

Всё так же горела свеча, тускло освещающая комнату Кире, и всё так же мы сидели на стульях друг перед другом, только теперь я с каким-то неприятным чувством поглядывал на третий, пустой, стул, мне было не по себе

от его молчаливого присутствия. Будто бы неосознанно почувствовав это, Кира поднялась и зачем-то передвинула стул подальше, в тёмный угол комнаты. Потом она откинула с кровати пыльное покрывало, под которым оказался небольшой плед, и, сбросив с ног босоножки, села на голый матрас кровати, поджав ноги под себя, а колени завернула в плед. Я подумал: вот и всё, скоро начнёт светать, эти гаврики так и не придут на расправу, завтра я провожу Киру до Москвы, и больше мне в Липках делать нечего. Всё, что я мог узнать о надписи “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, я уже узнал, а оставаться здесь просто так было неприятно.

— А потом произошло самое главное, — вдруг произнесла Кира, глядя на пламя свечи. От неожиданности я почувствовал, как у меня шевельнулись уши.

— Что именно? Самоубийство Сергея?

— Нет. Моя самая последняя встреча с ним. Это было в тот год, в конце лета. Я была влюблена, я уже была невеста. Я шла по улице Горького утром и вдруг каким-то образом почувствовала, что меня кто-то преследует. Знаете, такое иногда бывает. Но ощущение не покидало меня. Я оглянулась и увидела в толпе Серёжу. Он шёл за мной и смотрел на меня. В тот же миг я подумала, что это вроде бы и не он — лицо какое-то чужое, будто Серёжа, но только очень изменившийся, и выше ростом, и одежда такая, какой у Серёжи не было. Я прибавила шагу, и вскоре ощущение преследования исчезло. Сворачивая на Тверской бульвар, я ещё раз оглянулась — его не было. И я решила, что мне померещилось или что просто похож. Ведь у Серёжи было обыкновенное лицо, каких много. Но спустя пару часов я снова увидела его. На сей раз я ехала в такси, таксист остановился у светофора, и тут я вновь почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Он стоял на тротуаре и смотрел именно на меня. Знаете, это было на Садовом кольце, где-то у Смоленки. Моё такси стояло не у самого тротуара, а во втором ряду. Но я всё равно решила выскочить и спросить, что ему от меня надо. Но тут машина поехала, я оглянулась, он глядел мне вслед. И весь остаток дня я была уже в страшном беспокойстве. А уже вечером мы с моим будущим мужем шли по улице... И вдруг я снова увидела его. Он входил в церковь. Я разъярилась. Присутствие моего жениха придало мне храбрости. Я попросила его подождать несколько минут у входа, а сама вошла в церковь. Людей там было не так много, я обошла весь храм, продумывая, как я скажу ему, чтобы он прекратил меня преследовать. Но его нигде не было. Наконец, на меня стали ворчать старушки, что я так разгуливаю по церкви, и я, ничего не понимая, вышла вон.

— Вы утверждаете, что это было в конце лета? — спросил я.

— Да. После этого я его уже не встречала, а осенью я съездила в Липы навестить маму — у меня с ней были тяжёлые отношения, — и только тогда я узнала, что Серёжа покончил с собой вскоре после моего бегства из Лип. То есть получается, что это был не он. Но только это был он.

— Как же так?

— Не знаю. Я ничего не знаю. Может быть, он всё-таки жив?

— Нет, — немного поразмыслив, отвечал я. — Это исключено. Просто вы ошиблись. Вам померещилось. Или уж действительно такое необыкновенное сходство и стечение обстоятельств. А вы не пробовали заходить в ту церковь? Может, двойник Лалакина там служит?

— Поначалу мне хотелось пойти туда, но было страшно. Наконец, я осмелилась, пошла туда и простояла всю службу в ожидании его появления. Страх поначалу сковывал меня, но постепенно стало так хорошо... И я стала время от времени заходить в этот храм. Всякий раз поначалу было страшно, а потом наступало неизъяснимое облегчение. Потом ко мне подошёл молодой священник. Он сказал, что часто видит меня в храме, но никогда не видел, чтобы я исповедовалась и причащалась. Он так просто и хорошо со мной разговаривал, что я впервые в жизни исповедовалась ему. Рассказала многое, почти всё. И потом в течение следующих исповедей поведала всю свою судьбу. Впервые в жизни причастилась. И так стала постоянной прихожанкой этого храма. В который меня привёл Серёжа.

— Но ведь он был тогда уже мёртв!

— И всё-таки мне кажется, что это был он. Он искал меня, хотел мне что-то поведать. Или чтобы я отмолила его. Ведь самоубийство — страшный грех. Может быть, он ещё раз придёт. Хотя уже столько времени прошло, а он с тех пор не появлялся. Я не боюсь тайн. В жизни есть многое, что отпугивает гораздо сильнее, чем нечто вне жизни. Но я не могу избавиться от присутствия Серёжи, как от присутствия вот этого, третьего, пустого стула. Если вам не трудно, отнесите его в прихожую. Хотя нет, не нужно — всё равно я буду знать, что он стоит там.

— Давайте я на него сяду в таком случае, — предложил я, стараясь весёлым тоном развеять внезапно поселившиеся в этой комнате пустые страхи.

— Нет, прошу вас, не надо на него садиться, — воспротивилась Кира. — Пусть он будет покоен.

— Ну, что вы, Кира, — я подошёл к ней и положил ей руку на плечо. — Вы чувствуете свою вину перед ним?

— Да, и с каждым днём всё сильнее. Сядьте вот тут. Можно, я прилягу и положу вам на колени голову? Там есть подушки, но они все такие пыльные.

— Конечно, располагайтесь, как вам удобнее.

Она легла, и теперь её голова была у меня на коленях, я видел её лицо совсем близко. Она закрыла глаза и спросила, который час. Часов у меня не было, но я сказал, что, как только рассветёт, можно будет идти к электричке.

— Видите, — сказала она. — Так никто и не пришёл. Снова никто не пришел меня покарать.

— Никто не придёт вас карать, — сказал я. — И вам не нужно терзать себя. Лалакина вы этим не вернёте, а будете терять многое другое. Вы ни в чём не виноваты. Мы все живём от случая к случаю. Смерть Лалакина — несчастный случай. Его поступок нехорош — ведь он-то именно хотел вас наказать. И причём как жестоко наказать! Вы играли с ним дурно, но он с вами сыграл совсем злую шутку.

— Что ему было делать, если я сама сделала его таким, сама научила играть в дурные игры. Давайте не будем больше об этом. Если я не усну, расскажите мне что-нибудь. Чем вы занимались здесь? Ведь вы же не только разнохивали... Простите, я хотела сказать... А, ладно, как сказала, так и сказала! — не только разнохивали эту историю.

— Нет, не только. Я перенёс здесь воспаление лёгких.

— Поздравляю, отличное занятие вы себе выбрали.

— Ещё я кое-что сочинял.

— Сочиняли? Это интересно. Вы сочинитель?

— Нет вообще-то. Но тут решил кое-что написать.

— Роман?

— Нет, не роман. Некое псевдофилософское эссе.

— Ах, вот оно что. Как называется?

— Название негромкое. "Комментарии к бытию".

— Имеется в виду — к Библии?

— Не только. Вообще к бытию. Поэтому "Бытие" с маленькой буквы. Так, некоторые бредовые идеи.

— И история Киры послужила вам хорошей иллюстрацией к вашим бредовым идеям? — Она на минуту открыла глаза и лукаво на меня посмотрела.

— Вздремните, — сказал я. — До рассвета ещё часа два.

— Нет, я хочу послушать о ваших бредовых идеях.

— Это очень мутно.

— Ну, хотя бы в двух словах. Ведь я-то много рассказывала вам такого, чего в принципе и не должна была рассказывать. Представьте, что мы с вами попутчики в поезде. На рассвете поезд придёт в город Липы, а от Лип мы на электричке поедem в посёлок Москву.

Страсть к воображениям у неё до сих пор не прошла, подумал я. И поймал себя на том, что мысленно продолжил: ночь, мы вдвоём едем в одном купе. Кто я, она не знает. Вдруг я воспользуюсь случаем и, угрожая ей револьвером... Хорошо, что я не сказал ей этого.

— Ну, что ж, представим, что мы попутчики. Поезд едет уже вторые сутки, и мы с вами доболтались до того, что... Короче, до высоких материй. Обсудили семейное положение, поделились автобиографиями...

— Это когда же? — улыбнулась она. — Вы пока о своей автобиографии молчок.

— Ну, допустим. У вас что, плохо с воображением? Вообразите, что поделились. Выказались о политике, об искусстве, о литературе и, наконец, сами не заметив как, добрались до отношения бытия к духу. И заспорили. Я объективный идеалист, а вы — материалист, и причём, поскольку вы женщина, субъективный материалист.

— Такого не бывает, — сказала Кира.

— Ну, не бывает, так не бывает. Это шутка. Просто материалист.

— Нет, я субъективная идеалистка.

— Ну, Бог с вами. Всё равно предмет спора останется. Итак, раз мы оба идеалисты, мы до поры до времени во всём сходились, пока я не предложил вам один фокус. Мы пришли к выводу, что сначала был дух — “Искони бе слово, и слово бе от Бога, и Бог бе слово”, как сказано в Остромировом Евангелии. Дух пребывал веки вечные, слово не имело букв, и не было ни рождений, ни смертей. И вдруг каким-то образом появилась некая маленькая частица, настолько микроскопичнее кванта, что учёным ещё соток тысяч лет предстоит копаться, чтобы её обнаружить в конце длиннющей цепи. А поскольку Вселенная бесконечна, то и никогда не обнаружить, потому что эта частичка бесконечно мала. Но, тем не менее, это уже частичка, а дух частичек иметь не может. А поскольку и дух бесконечен, и частичка была бесконечно мала, то, имея с частичкой одинаковое качество — бесконечность, — дух не мог её распознать. Появилась она глубоко в недрах духа в качестве некоего исключения из правила, в качестве абсурда, на дурачка. Дай-ка, думает, появлюсь, что будет? И вместо того, чтобы тут же в смущении исчезнуть, она стала нагнать и расти. Что же собой представляла эта частичка? Если бы вы были закоренелым материалистом, вы бы тотчас ответили, что это была всепобеждающая и несокрушимая материя, причём родилась она не в недрах духа, а прежде духа, и лишь потом дух вырос на ней, чтобы она получила возможность саму себя мыслить. Я как идеалист на это только иронически щурюсь, но в первом положении с вами согласен — да, эта частичка есть не что иное, как всепобеждающая и несокрушимая материя. Но второй пункт есть точка моих с материалистом разногласий. Я утверждаю, что дух был прежде этой малышки. И в таком случае она явилась его противоположностью, а точнее — болезнью, поскольку сначала появляется организм, а уже потом — его болезни. Дух сам в себе — явление здоровое. Противоположность здоровья — болезнь. В здоровом организме вселенского духа появилась бесконечно малая раковая клетка, которая тут же начала расти. Бог знает, сколько вечностей она росла, прежде чем смогла обрести свою первую, зыбкую точку отсчёта, прежде чем дух почувствовал первый лёгкий зуд и недомогание. А скорее всего, никакого зуда он не испытывал, и, когда частичка стала величиной с горошину, отношение к ней было такое же, как к доброкачественной опухоли, как к бородавке. Но она продолжала неуклонно расти и стала делиться, распространяться во все стороны. Поскольку мы не знаем, что происходит в иных звёздных системах, обратимся сразу к маленькому осколку той древней малышки — к Земле. То есть к тому участку болезни, который виден нам невооружённым глазом. Отделение суши от моря и все эти древнейшие процессы можно ещё рассматривать как безвредное развитие болезни, нечувствительное. Зуд и недомогание появляются как раз только теперь, с рождением первых живых организмов. Оставим одноклеточные и растения — здесь ещё не очень болит. Посмотрим сразу на рыб и зверей. Они живут, двигаются. Их тела — это маленькие ловушки, с помощью которых материя больно хватается за дух. Это уже маленькие тюрьмы духа. Рождаясь, они берут дух в плен, умирая, отпускают, но за время жизни они успевают наплодить сотню себе подобных, чтобы уже сотней пастей хвататься за дух. Вы ещё не спите?

— Нет, я слушаю, продолжайте.

— Так вот. Умирая, они унавоживают почву и, тем самым, увеличивают количество материи. Что же видит великий дух, находясь внутри этих механизмов? Одни лишь унижения и ужасы. Ему приходится постыдно переносить дрожание плоти, постоянно опасаящейся за свою шкуру. Когда приходит пора размножения, его подстёгивают плёткой, чтобы он немножко спел и очаровал механизм противоположного пола. И так далее. Удобнее сразу же обратиться к человеку. Итак, наконец, появляется человек — самый до сей поры ловкий и изощрённый охотник за духом. Тело человека — сложнейшая камера пыток, в которой душе приходится очень несладко. И чем больше дух бунтует, тем больше страданий ему достаётся. Его бьют и мурыжат почём зря, чтобы добиться его смирения. А смирение его наступает тогда, когда он начинает сочувствовать плоти, болеть за неё. Самая страшная пытка для него — совесть. Это его дыба, его испанский сапог. Древнейший человек бессовестен. Но он и самый религиозный. Сейчас уровень религии на нуле. Дух перекладывает свои обязанности на материю. Человек говорит: “Я сам себе судья, и сам себя могу покарать”. Верующий не боится смерти. Человек-сам-по-себе — боится. За всю свою историю человечество практически уже выполнило поставленную перед ним задачу: дух в каждом из нас измелён и уничтожен. Мы благоговеем перед машиной, потому что она абсолют плоти. Плоть каждого из нас перестаёт быть достаточна сама по себе и обставляется со всех сторон всевозможными приспособлениями. Чем больше утверждается плоть человека, тем меньше остаётся на Земле чудесного, духовного. На участке Земли болезнь сделала свои вышние ставки на человека, и он пока их оправдывает. Хитрыми и алчными глазами Джоконды он смотрит вокруг себя, словно говорит: “Я существую и буду убивать любое светлое пламя, горящее внутри других существ. Я обману всё и вся. Материя божественна? Чепуха! Материя материальна, и в этом её торжество. Чем хуже — тем лучше. Если что-то плохо, дурно — это плохо и дурно с точки зрения души, а не плоти. Смири душу, и ты узнаешь, что всё плохое — прекрасно...”

— Какая-то человеконенавистническая теория, — перебила меня Кира, открыв глаза, но не глядя на меня.

— И да, и нет, — возразил я. — Смотря по тому, что подразумевать под словом “человек” — душу, управляющую машиной нашего тела, или саму машину, несущуюся на всех парах с болтающимся в кабине обессиленным водителем. Второе — мерзость, недостойная имени человека. А первое... Первое — человек бессильный. Гомо фатигабилис — человек устающий. Устающий бороться с механизмом, внутри которого он заключён. Поутру своей жизни он получает симпатичную игрушку — хорошенькое розовенькое тело, на котором так приятно кататься, — оно бегает, прыгает, резвится, просто прелесть! Оно любит развлечения и сладости, глаза дарят человечку краски, мелькание интересных вещей. Но тело растёт, его надо учить цифрам и буквам. Зачем? А оказывается, затем, что всё дано не даром, оказывается, что человечек уже весь в долгах и за содержание игрушки надо расплачиваться. И чем? Унижением, унижением духа. Настоящие муки начинаются, когда игрушка достигает периода половой зрелости. Машина должна произвести себе подобную, и ради неё дух должен идти на бесчисленные компромиссы. Вы скажете, любовь — это не только продолжение рода, вы не так одноклюки, как восторженные поклонники Зигмунда Фрейда. Да, не только. Дух томится в одиночной камере, ему хочется перестукиваться с соседними заключёнными, знать, каковы они. И тут плоть злорадно хохочет: “Вы хотите быть рядышком? Извольте! Только за это вам уж придётся изрядно для меня расстараться...” Дружба так называемых единомышленников, а тем более совместное существование супружеских пар требуют от души немислимых унижений. Посмотрите на подавляющее большинство человеческих союзов! Как они страдают ради того, чтобы только не разрушились узы! Главное свойство тел — соперничество с себе подобными. А души хотят одного — слияния. Какое нелепое словосочетание: дух соперничества! Духу глубоко чуждо любое соревнование. Он един и прекрасен, но, пленённый плотью, вынужден помогать ей в её соревнованиях. Цель жизни —

борьба, говорим мы. Да, это цель жизни материи, потому что материя стремится к более изощрённым формам, и её излюбленный метод — отбор. При помощи отбора она совершенствуется, чтобы уметь расширять сферу своего воздействия на дух. Дух же брезгливо противится, но единственное, на что он способен, это биться головой о стены своей камеры. Плоть требует благополучия, положения в обществе, возможности размножаться. Дух смиряется, ему кажется, что, уступив однажды, он обретёт успокоение, что плоть оставит его в покое. Но жизнь плоти требует постоянных завоеваний. Сильный дух начинает бунтовать — он уводит тело от благ и обещаний к нищете и одиночеству. Но сколько душ способны победить своё тело и жить в нищете и одиночестве? Жалкие единицы. Сотни бросаются в отшельничество, но надолго ли их хватает? Очень ненадолго. Человек слаб перед своей плотью: она могущественна! Материализм несокрушим! Это болезнь, и болезнь неизлечимая, запущенная, и дух уже не способен изобрести лекарство. Всё напрасно — Моцарт, Андрей Рублёв, Достоевский, все они способны лишь...

— Не надо больше, — вдруг сказала Кира. — Я всё поняла. Мне не хочется дальше слушать. Отвратительный пессимизм!

Я и сам уже чувствовал, что мне не удаётся сказать ей то, что так логично и связно складывалось у меня на компьютере, разбивалось на пункты плана. Разочарованный в своём красноречии, я уныло уставился на пламя свечи, которому уже не так долго оставалось гореть.

Кира закрыла глаза, и я решил, что она уснула, но минут через пять она спросила:

— Скажите, у вас есть жена?

— Нет.

— А почему?

— Она ушла от меня. Причём дважды.

— Как это?

— Сначала она ушла от меня к другому, а потом и вовсе ушла.

— То есть?

— Погибла в автокатастрофе.

— Вот как?

— Её новый муж считал себя превосходным водителем. Он остался в живых, а она получила увечья, несовместимые с жизнью, как принято писать в заключениях о смерти.

— А можно мне задать нескромный вопрос?

— Конечно. Я-то вам назадавал их выше крыши.

— Что стало для вас большей трагедией? Её уход или её смерть?

— Если честно... Даже не знаю, как сказать...

— Постойте-постойте, а не вы ли?..

— Ну, уж нет! Я не убийца.

— Точно?

— Когда мы расстались, нас уже ничто не связывало, поверьте. Было только уязвлено моё самолюбие, что не я первый ушёл, а она нашла себе другого. Но когда мы расстались, наступило освобождение, облегчение. Желал ли я счастья ей с новым мужчиной? Положа руку на сердце, нет. Конечно, было бы так благородно желать ей найти своё счастье, но слишком сильны были раны, нанесённые ужасными скандалами. А когда я узнал о её гибели... Тут мне стало действительно жаль её.

— А вы не думали, что могли мысленно убить её?

— Бросьте эти предрассудки. Нет. Нет и нет.

— Ладно тогда. Прячу наручники. К тому же меня клонит в сон. Если вы помолчите, я посилю совсем чуть-чуть. Хорошо?

— Хорошо. Извините, ради Бога.

Кира закрыла глаза, и спустя несколько минут я понял, что она спит. Я тоже изрядно устал, ноги и поясница гудели. Ещё немного продержавшись в сидячем положении, я осторожно лёг на спину, так, что голова моя втиснулась в угол между спинкой кровати и стеной. Кира тихо и чудесно спала, её голова почти невесомо лежала у меня на коленях. На какой-то миг мне стало хорошо, спокойно и счастливо. И в этот миг я уснул.

Мне приснилось, будто у меня другая жена, мы идём по Птичьему рынку, у нас есть сын, ему уже лет пять — забавный, взъерошенный парнишка, светловолосый и сероглазый. Он тянет нас за руки к каждой продающейся кошке и собаке и каждую просит купить ему. Мы смеёмся. Жена моя такая весёлая, счастливая. Какой-то мужик продаёт с лотка корм для попугаев. У него на лотке большие магазинные весы, и вдруг на эти весы садится белая голубка. Мне интересно, сколько она может весить. Мы подходим ближе и видим, что стрелка весов не отклонилась ни на грамм. Мужику надо взвешивать корм, он хочет прогнать голубку, но вместо “кыш!” с его губ почему-то срывается громкое воронье карканье. Он машет на голубку рукой и продолжает каркать. Голубка испуганно топчется на чаше весов и никак не может взлететь. Мне удивительно, что она нисколько не весит, я говорю об этом жене и тут вижу, что это не жена, а мама моя стоит со мной рядом, а за руку держит меня не мой сын, а я сам, только маленький, пятилетний, в той смешной зимней шапке, которая у меня тогда была. Идёт снег, голубка взлетает и кружится над нами, а мужик уже порядком разозлился на неё, он продолжает махать руками, бегают и каркает во всё горло...

Я открыл глаза. За окном каркала ворона. Узкая полоска рассвета на чертила на стене малиновую полосу. Я лежал навзничь, ощущая у себя на коленях тепло Кириной кудрявой головы, и смотрел на тоненькую полосу рассвета, пересекающую стену. До неё можно было дотянуться рукой и пощупать рассвет ладонью. Прямо в эту полосу был вбит тонкий гвоздик с откушенной головкой, такой тоненький и остренький, что его вряд ли можно было бы заметить в сумерках, если бы не рассветный блик. Может быть, на него Кира прицепила когда-то чёрную шёлковую ленту? Боясь пошевелиться, чтобы не разбудить спящую хозяйку, я долго лежал без движения, разглядывая гвоздик. Наконец, мне стало казаться, что это не гвоздь, а комар. Не стоило никакого труда вообразить, что это именно комар. Приглядевшись внимательно, я с усмешкой заметил, что это и впрямь комар, причём отведавший моей или Кириной крови — брюшко у него было тёмно-малиновое. Я медленно поднял руку, подвёл ладонь поближе к комару и хлопнул. От боли, а пуще от неожиданности, я слегка дёрнулся, — в конце концов, это был всё-таки гвоздик.

Кира проснулась, приподняла голову.

— Светает? — спросила она.

— Да, — сказал я. — Уже можно собираться. Наш поезд подъезжает к Липам.

— Какой поезд? А, поезд...

Отбросив с ног плед, она встала с кровати и подошла к окну. Я тоже мигом поднялся и стал разминаться — ноги у меня изрядно затекли. Кира обернулась ко мне. Лицо её было грустным.

— Знаете, — сказала она, — я жалею, что была с вами вчера так откровенна. И вообще мне вас жалко. У вас внутри какой-то запутанный клубок, вы дёргаете за разные концы, но клубок от этого ещё туже затягивается. Теперь ещё моя верёвочка в него впелась, вы и за неё дёргаете, и всё без толку.

— Всё без толку... — уныло повторил я.

Она презрительно усмехнулась и вышла из комнаты, гневная и несчастная. С чувством досады я приблизился к окну и выглянул сквозь щель между досками. И просто удивительно, насколько спокойно я отреагировал в первый миг на зрелище подлю и хищно крадущихся к дому липарей. Жихарь и двое каких-то незнакомых мне личностей перелезали через кусты шиповника. Ещё трое прыгивали с забора. Неуклюжий Фофан, сидя на заборе верхом, никак не мог отодрать штанину от какого-то сучка. Семеро!

— Кира! — Я выбежал из комнаты, схватив один из стульев, чтобы было чем обороняться. Она уже услышала топот вокруг дома и с испуганным лицом бросилась мне навстречу из кухни. В окно и в дверь стали ломиться.

— Скорее на второй этаж! — крикнул я. Внутри у меня всё клокотало. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Открывая дверь, Кира оглянулась и вдруг совершенно спокойным голосом промолвила:

— Вот — случай.

— Скорее! — поторопил её я.

“Да у неё там мужик!” — донеслось до моего слуха. Входная дверь трещала. Со скрежетом отрывались доски, которыми было заколочено окно в Кириной комнате. Взорвалось разбитое стекло.

Комната на втором этаже оказалась очень маленькой и захлавленной. Захлопнув дверь, я забаррикадировал её старым, тяжеловесным диваном, из обшивки которого торчали ржавые пружины. Сверху я накатил какой-то металлический бак. Всё, что было в комнате, посыпалось на баррикаду — алюминиевая вешалка для верхней одежды, ведро, пустые горшки для цветов, очень хорош для веса оказался мешок с каким-то белым удобрением, непонятно с какой целью оказавшийся здесь, наверху.

Первый этаж дома был уже захвачен. Оттуда донеслись потоки угроз, сплошь состоящие из мата. Каблуки затопали по лестнице, на дверь нашего жалкого убежища посыпались удары.

— Кира и кто там с тобой, открывайте! — крикнул Жихарь.

Баррикада пока что держалась. Ногой я сильно упирался в железный бак, вдавливая его глубоко в спинку дивана, а над головой я держал в руках прихваченный стул.

— Поднажмём! — крикнули из-за двери, и в течение минуты я с трудом сдерживал натиск. Самое большое, что им удалось, это сдвинуть дверь на два-три сантиметра.

— Эй ты, пиндюк! — крикнул Фофан. — Открой дверь. Тебя не тро-нем!

— Хрен вам! — закричал я. — Попробуйте суньтесь!

— Это ты, что ли, журналист? — узнал меня Жихарь. — Ну, ты даёшь, пацан! Подсуетился! Как там эта сучка? Дала тебе или прокатила?

Я посмотрел на Киру. Она сидела на корточках, прислонившись спиной к стене. Её запрокинутое лицо было бледным, но в то же время каким-то странно светлым и спокойным. Глаза смотрели в потолок. Не то молилась, не то была в шоке. А может быть, звала свою смерть?..

— Ты чего, язык проглотил от удовольствия? — снова раздался голос Жихаря. — Я спрашиваю — перепихнулись вы или нет?

Тут я увидел в дальнем углу внушительного вида гвоздоёр, медленно опустил стул на пол, быстро отбежал от баррикады и подхватил это, к счастью оказавшееся здесь, оружие. Если бы ребяташки в тот миг дружно навалились, заслон бы не выдержал.

— Эй вы, хранители священной надписи на стене! — крикнул я, вернувшись на своё место. — Слышите меня? Дверь вам всё равно не сдвинуть, а если кто-нибудь из вас и сможет просунуть сюда свою морду, я раскрою ему череп ломом. — Страшный смех вырвался из моей груди, как только я выкрикнул это. Ощущая в руке холод смертоносного оружия, я весь дрожал от торжества и ликования брани. — Ну, что молчите? — кричал я. — Жихарь! Ты хоть понимаешь, что это ты убил Лалакина? Эй, Жихарь, помнишь, у Лалакина был револьвер? Он показывал тебе его?

— Я тебе сейчас покажу револьвер, гад! По стенке размажу! — кричал в ответ Жихарь. Дверь затрещала под новым натиском. От каждого удара в ней на миг открывалась щель, и я успевал увидеть их злые рожи. Этот порыв был вдвое сильнее прежнего, и я еле сдерживал его.

— Лёха, Шкет, дуйте через окно, — командовал Фофан.

— Сам дуй, — воспротивились Лёха и Шкет. Разногласия в стане врагов дали нам полминуты передышки. Затем дверь снова затрещала.

— Ну, давайте, давайте! — кричал я. — Ещё немного. Ишь, как вы рвётесь к своей смерти! Навались, ребята! Эх, молодцы!

— Спасибо, Серёжа, — донёсся до меня чуть слышный голос Киры. Мне показалось, она сказала это “спасибо” не мне, а Лалакину. В мозгу у меня что-то щёлкнуло от секундного осознания всей дикости ситуации, в которой мы находились. И это ослабило мои силы, диван медленно поплыл, я сканул на одной ноге, другою продолжая упираться в округлость железного бака. Образовавшийся в двери просвет неуклонно расширялся.

Я стал изгибаться к нанесению удара первому, кто ринется в дверь. И тут по спине у меня прокатилась какая-то горячая волна. Я невольно оглянулся и тут же отпрянул в сторону. Кира стояла за моей спиной посреди комнаты. Она смотрела на медленно открывающуюся дверь, фигура её была расслаблена, дыхание ровное, лицо спокойное, брови чуть вздёрнуты, в глазах будто бы какая-то пелена. Гвоздодёр почему-то выпал из моей руки и с грохотом ударился о пол. И тут я услышал, как по лестнице удаляются шаги. С полминуты я стоял в оцепенении и смотрел на Киру.

Затем наступила тишина.

Кира вздрогнула, вздохнула, села прямо на пол и, облокотившись о сиденье стула, положила голову себе на ладонь. Глаза её устало и отвлечённо смотрели в сторону. Я подошёл к окну и выглянул наружу. Во дворе ничего не было.

— Кажется, их кто-то спугнул, — промолвил я в недоумении.

Я ждал, что Кира что-нибудь скажет, но она молчала. Простояв некоторое время прислушиваясь, я подошёл к баррикаде и отодвинул на несколько сантиметров диван. Им оставалось совсем немного, чтобы ворваться, но что-то спугнуло их. Я протиснулся в дверной прогал, спустился по лестнице на первый этаж. На секунду меня охватила паника при мысли, что это могла быть с их стороны уловка и что они притаились где-то, ожидая, пока мы выберемся наружу. А моё оружие осталось наверху. Простояв в нерешительности на последней ступеньке лестницы, я осмелился — будь что будет! — пройти по комнатам и выглянуть наружу. Никого не было ни в доме, ни во дворе. Я стоял на крыльце и пристально оглядывался по сторонам. Никого! Ни липарей, ни тех, кто мог бы их спугнуть.

Уже совсем рассвело, солнце поднималось над деревьями, пели птицы. От контраста между этим безмятежным, ласковым утром и тем, что две минуты назад происходило в доме, можно было оглохнуть. Я сел на крыльцо, достал из кармана сигарету, сунул её в губы и долго шарил по карманам в поисках спичек, пока не вспомнил, что они у меня кончились. Минут пять я просидел в оцепении, а незажжённая сигарета так и торчала у меня из рта. Мимо калитки пробежал белообрый кобелёк, запрокинул под деревцем заднюю лапу, немного посутился и, раздражённо побрыкав за собой землю, убежал прочь. Два воробья, тормоша друг друга, плюхнулись неподалёку от меня на тропинку, обменялись несколькими ударами в челюсть и улетучились. Хлынула и медленно прокатилась волна ветра, словно где-то неподалёку, у озера, махнуло непомерно широкое крыло. Пропищал комар, принохался к капельке пота, стекающей по моему виску, и исчез. Подсыхая, блестела в лучах солнца роса, и трава была зелёная.

Я вытащил изо рта сигарету, сунул её в карман, где она тут же сломалась, растопырил пальцы правой руки и посмотрел, как они дрожат. Встал, вошёл в дом, поднялся на второй этаж. Подходя к двери, увидел всю батальную сцену с другой стороны, со стороны липарей: представил, как они ломятся в эту хрупкую заслонку, отгораживавшую в течение десяти или пятнадцати минут жизнь от смерти. От всего вражеского стана сохранились лишь следы на ступеньках да чей-то плевок на стене. Я с замиранием сердца снова втиснулся в наше убежище и увидел, что Кира как сидела, так и сидит.

— Кира, нам нужно уходить, — сказал я.

Она будто не слышала. Я приблизился, сел перед ней на корточки. Ещё раз обратился к ней:

— Слышишь, они куда-то смылись, но нам надо поторопиться.

Она протянула мне руку, чтобы я помог ей встать, и, наконец, посмотрела на меня. Усталые глаза под припухшими веками едва заметно улыбнулись. Я поднял её; держась за руки, мы вместе спустились по лестнице. В её комнате пол был усеян осколками стекла. В растаявшей лужице воска плавал, догорая, фитилёк свечи, и я, наконец, прикурив.

— Окно пока что завесим чем-нибудь, а дверь просто прихлопнем, — сказал я. — А сейчас тебе нужно срочно в Москву. Я потом приеду и заколочу окно и дверь.

Она не проронила ни слова.

По пути к станции я пару раз просил её идти побыстрее, но она словно не слышала, шла медленно, держа меня под руку, и молчала. Я хотел отвлечь её, поговорить о чём-нибудь, может быть, пустяшном, но как-то не мог сообразить, что сказать. Мимо прошла дородная пожилая баба в жёлтом платье и белом платке, поджав губы, покосилась на Киру, затем остановилась и, видимо, глядя нам влед, сказала:

— И где же только совесть!

Больше всего я опасался, что кто-нибудь из липарей окажется на станции, но по платформе в ожидании электрички разгуливали лишь две какие-то женщины. Час был ранний.

Хорошо, что надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” находится с той стороны платформы, подумал я. Но не тут-то было. Пока я покупал билеты, Кира медленно направилась к ней. Кассирша, как назло, едва шевелилась. Наконец, получив две проштампованные бумаженции, я со вздохом пошёл к проклятому месту.

“Кира”-надпись свежо и нагло белела на зелёной стене. Кира-живая стояла перед нею спокойно и, как можно было подумать со стороны, равнодушно. Она стояла так, будто слушала, будто от надписи исходила глухая тяжёлая музыка, зауспокойный хорал. И, как процессия, шли перед её взглядом буквы в белых одеяниях. Кира приблизилась, дотронулась до букв рукой — остановила процессию. Посмотрела на меня.

— Он желает мне счастья, — сказала она, и странная весёлость сверкнула в её взгляде.

Я пожал плечами:

— Довольно нелепый способ пожелания счастья.

— Ты так ничего и не понял, — усмехнулась Кира. — Его простили. Он не погиб. Он будет спасён. Только сейчас он беспокоится. Помнишь третий стул? Он сидел на нём. Он охранял нас. А потом он...

Она умолкла и, улыбаясь странной улыбкой, смотрела на надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”. Мы оба стояли и молчали. Стало тягостно.

Спасительно загудела электричка.

— Поедем, — сказал я. — Наша.

В почти пустом вагоне мы сели друг против друга. Я постарался весело улыбнуться.

— А соседусшки-то ведь не могли ничего не слышать, — сказал я. — Забились в своих норах. Легко могу себе представить их фотокарточки — и переполох, и спать мешают, и — не ровён час! — убивают кого-то, вроде как-то неловко. “Вась, а Вась, надо б за милицией сбегать”. — “Возьми да сбегай. Без нас разберутся”.

Кира встала и направилась к выходу, будто мы договаривались выйти в Покровке. Я последовал за ней.

Автобуса не было. Бог знает, когда он должен был прийти. Мы вышли на шоссе, я остановил первый попавшийся “Запорожец” и попросил довезти до Покровского погоста. День обещал быть солнечным, в машине льющиеся сквозь стёкла лучи становились нестерпимо горячими.

— Проведать решили? — спросил бодрый водитель.

— Да, — ответил я. — К родственникам.

— Святое дело, — с пониманием сказал он.

Наконец, когда мы вышли в Покровском, Кира заговорила. Из нагрудного кармашка платья она достала деньги и протянула их мне:

— Зайди к кому-нибудь, купи цветов. Много. На все.

— В такую рань? — взяв деньги, нерешительно сказал я. — Хотя, впрочем, только рады будут.

Выбрав дом позажиточнее, я прошёл через калитку. Цепной пёс, как полагается, зверски облаял меня. Хозяйка, поначалу очень неприветливая, увидев хорошую сумму денег, медленно оттаяла. Я не ошибся в выборе дома — у хозяйки оказались отличные чайные розы, тугие, высокие, усеянные крупными каплями росы. Когда я срезал пятнадцатую, мне было сказано,

что довольно, я поблагодарил и, держа букет обеими руками, пошёл прочь, но тут спохватился, что цветы не Кире, а Лалакину — вернулся, объяснил, в чём дело, и получил шестнадцатую розу. Бесплатно.

— Хорошие? — спросил я у Киры.

— Да. Очень. Спасибо, — ответила она и сама понесла букет.

На кладбище она попросила меня подождать её возле колодца, я остался, но потом подумал: хрен их не знает, может, какой-нибудь гаврик, из самых чокнутых, дежурит там? И, нагнав Киру, шёл от неё шагах в десяти. Она знала, как идти, да и нетрудно было сыскать — могила Лалакина утонула в цветах, будто свежая.

Положив наши розы поверх всего липовского убранства, Кира несколько минут постояла, потом сказала что-то Лалакину, но слов я не разобрал. Обернувшись, пошла назад. Увидела меня.

— Я подумал, вдруг кто-нибудь из них... — сказал я.

— Неужели ты думаешь, что они осмелились бы здесь, — сказала она.

Лалакину достались не все розы. Четыре штуки Кира отнесла на могилу родителям, которая находилась неподалёку от лалакинской.

Спустя час мы подъезжали к Казанскому вокзалу. Остаток пути Кира уже не молчала, но и не была многословной. А на меня навалилась страшная усталость, глаза слипались. Когда на вокзале мы стали прощаться, я сказал:

— Если хочешь, я оставлю тебе свой номер телефона?

— Не нужно, — ответила она. — Я всё равно не позвоню.

— Всё-таки, — возразил я. — На всякий случай. Хотя бы затем, чтобы узнать, привёл ли я в порядок дом. Да и вообще, мало ли что может в жизни случиться. Легко запомнить: девятьсот пять — революция пятого года, потом четыре цифры — год отмены крепостного права, три последних — крещение Руси.

— Нелегко, должно быть, жить между такими датами, — сказала Кира.

— Я привык, — ответил я. — Позвонишь?

— Едва ли. Хотя... Революция, отмена крепостного права, крещение Руси...

— Я буду ждать. Ну... Прощай.

Она помолчала немного, потом подошла ко мне ближе и поцеловала меня в подбородок.

— Прощай. Храни тебя Бог. И... мне хотелось бы знать, что кто-то думает обо мне иногда... с добром.

— Знай это.

— Прощай.

Когда она исчезла, я снова сел в электричку и вернулся в Липы, на Чистый Просек. Как и утром, мне никто из знакомых не повстречался. Добравшись до кровати, я с наслаждением забрался под одеяло и проспал до самого вечера. Целый день.

Слух об утреннем происшествии и о посещении Лип Кирой уже разнёсся по всему посёлку. Когда поздно вечером я сидел у костра, разведённого мною на краю хозяйского участка, ко мне подошла Любовь Никитична и сказала:

— Помнишь, ты про Киру меня всё спрашивал?

— Про Киру?

— Ну, да, про которую на станции у нас написано. Ну, парень из-за неё под поезд шуганул, Серёжка Лалакин.

— Ну, как же, помню, конечно.

— Говорят, будто она этой ночью приезжала. Вчера как раз был юбилей... то есть не юбилей, а как бы это сказать, дата. Ну, с того дня, как он под поезд.

— Вчера?

— Вчера. Так вот, она, стало быть, и приезжала. А ночью, говорят, к утру ближе, у них там буза была.

— Что за буза?

— Вроде как бы парни наши, липовские, приходили над ней суд учинить. Очень они на неё осерчали за тот случай. Я в магазине в очереди сто-

яла — рассказывают: всё утро у них там гомон большой был. Окно одно разбито, дверь сломали. Повезло ей, что она не одна была.

— Не одна?

— Не одна. Не знают, то ли муж с ней, то ли так, сбоку припёка. Короче, мужчина какой-то. И этот мужчина их уговорил, чтобы они не трепали её и не бузили, а шли бы по домам.

— Что ж они? Пьяные были или так?

— А то трезвые! Трезвые разве ж бы полезли? Хорошо хоть в милицию никого не забрали. А надо б. Всё-таки окно разбили да шум подняли, спать людям не дали в самую рань. По пятнадцать суток бы схлопотали себе.

— Как миленькие.

— И поделом. Людям покой нужен, а они галдят. А ты чего это — листы какие-то жгёшь? Ненужные какие?

— Да вот писал-писал и всё наврал. — В тот вечер мне захотелось не просто убить свой текст “Комментариев” в компьютере, но и предать его сожжению, для чего я распечатал его и теперь швырял в огонь по одному листочку.

— Как же ты так? Ты пиши, чтоб всё по правде выходило. Народу правда сейчас нужна. Очень много неправды получилось. Вон сколько ты наврал-то! Должно быть, год писал? Или больше?

— Да нет, месяц в общей сложности.

— И что же теперь? Заново будешь переписывать или бросишь?

— Подожду пока. Может, новое что-нибудь напишу.

— Ты уж теперь-то не криви. Пиши по-честному. С женой-то не было разговору? Не надумали сходиться?

— Да уж она, должно быть, забыла меня.

— Ну да, забыла! Ещё прибежит, попросится обратно. Ты парень-то не озорной. И образованный, видно. Глядишь, напишешь всё по-правильному, профессором станешь или академиком. От баб отбою не будет. Она и прибежит.

— Оттуда не прибегают.

— Неужто за границу сбежала?

— Сбежала... Да и не нужна она мне больше. К тому же я уж старый буду. Академиком-то.

— А ты старайся. Может, и смолodu успеешь. Вот всё, последняя страница. Кончилась твоя писанина. Там у меня ещё есть ящик поломанный — сожги и его заодно. А в углях картошечку спеки. Дать картошечки или есть?

Так, в беседе с Любовью Никитичной заканчивался мой последний день в Липах. Когда совсем стемнело, я отправился к дому Киры. Нашёл там гвозди и молоток, подобрал несколько лишних досок, чтобы совсем наглухо заколотить окно. Соседи один раз крикнули, что вторую ночь им спать не дают, пригрозили вызвать милицию, но я как раз заканчивал с окном. А чтобы починить дверь, большого грохота не понадобилось. Правда, с замком пришлось часа два повозиться. Хорошо ещё, что он был не врезной.

Работая, я на всякий случай держал при себе гвоздоёр, но, к счастью, он не понадобился. Никто почему-то не пришёл вторично решать со мной вопросы жизни и смерти.

Часа в три ночи я смёл в мусорное ведро осколки стёкол, вывернул пробки и, захлопнув дверь, навсегда простился с домом Киры Февралёвой.

Вернувшись на Чистый Просек, собрал все вещи, а утром уговорил одного шофёра, взявшего за воскресный день двойную мзду, отвезти меня в Москву. Прощание с Любовью Никитичной было недолгим.

— Жалко, конечно, — сказала она. — Да и то, у меня чтой-то на душе со вчерашнего дня беспокойно. Когда ты ночью гулять ходил, приходили к тебе двое каких-то. И нехорошо так о тебе спрашивали. Не с добром приходили. Не поделил, что ли, с кем чего? Смотри, остерегайся.

И всё-таки не могло такого быть, чтобы я никого не встретил из моих липарей. Когда грузовик, миновав посёлок, сворачивал на шоссе, я увидел Фوفана. Он шёл по шоссе с огромной корзиной. Увидев меня, приостановился, выругался и помахал мне вслед кулачищем, на котором, как мне было

известно, красовалась накладка “Фофанов Витя” — на всякий случай, чтоб не забыть по пьяной лавочке. Судя по его в момент озверевшему виду, я мог бы теперь объездить полмира, но только в Липы мне лучше было не приезжать. Я ехал и старался это понять.

По возвращении в Москву я ждал, что Кира позвонит мне. И она позвонила, но разговор наш не занял и трёх минут. Она поблагодарила меня за заботу о её бывшем доме, которому она вроде бы уже нашла покупателя, и пожелала мне поскорее избавиться от всех неприятных воспоминаний. Больше с тех пор она ни разу не звонила, и мы ни разу с ней не встречались, даже случайно, на улице, хотя живём в одном городе.

Недавно мне понадобилось снова ехать на электричке по этой дороге, мимо станции с карамельным запахом. Миновав Покровку, я почувствовал, что волнуюсь. Эта электричка в Липах не останавливалась, но ехала довольно медленно.

Сердце моё сжалось, когда я увидел, что надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” всё так же белеет на зелёной стене.

ВЛАДИМИР БЕРЯЗЕВ



ГОРИЗОНТ НЕОХВАТЕН

* * *

И комиссары в пыльных шлемах...

Это путь от ножа до ножа,
До прорубленной танком межи,
За которой плевки калаша
На помин отлетевшей души.

Если против кого-то дружить,
Стиснув зубы, сцеплением рук...
Нам гражданскую не пережить,
Не утративши Родины, друг.

Обезлюдела русская степь,
Нет деревни в дали за рекой.
Если эта последняя цепь
Разомкнётся — не свяжем другой.

И тогда комиссары ЕС,
К мёртвым лицам безусым склонясь,
Разверстают Московию без
Нас — уже никого не боясь.

БЕРЯЗЕВ Владимир Алексеевич родился на Кузбассе в 1959 году. Поэт, эссеист, переводчик, публицист. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книг "Окоём", "Могила Великого Скифа" и других, а также сборников стихов, книг очерков и эссе. В настоящее время — зам. гл. редактора журнала "Сибирские огни". Секретарь правления Союза писателей России и сопредседатель Ассоциации писателей Сибири. Живёт в Новосибирске.

* * *

Дом вжимался в снега плечами —
Накачали ветра печали!
На сто верст вокруг, бедокура,
Потешаясь, гуляла буря.
Снежной тяжестью хмари серой
Прищемлённая атмосфера
В хриплом свисте изнемогала...
Лампа сникла. Свеча мигала.
Степь, простерши белое тело,
Сквозняком вселенским гудела.
И дымы загоняло в трубы.
И протяжно хлопали струны
Проводов... И с дорог сметало
Пешеходов, как мух в сметану.
Всё — кромешность!

* * *

Чтобы не падала властная функция.
Ты пирамиду народной любви
Сооруди по завету Конфуция:
Зижди добро, словно храм на крови.

Муж благородный о матери-Родине
Думает даже на горной лыжне.
Всё, что расхищено, предано, продано,
Экспроприруем здесь и вонне!

Вырвем траву, что не знает цветения,
Срежем цветы, что плодов не дают.
Труд от неведенья до обретения,
Ох, не по-детски опасен и крут.

Вычистим поле апокалиптически,
Нам оборона важнее бабла!
Лишь бы жила, как всегда, героически,
Матушка-Русь, и — была не была!

О ПОЛЬЗЕ ВЕРЁВКИ

Наш главком — Ермолов... или Трошев?..
Чтобы сбить насилия накал,
Чтоб с кинжалом жить — себе дороже! —
Бандюганов вешать предлагал.
Выглянешь в окно — полюбоваться
Улицей на утренней заре:
Мир и лад, покой и счастье, братцы,
И — абрек на каждом фонаре.
И без коньяка захорошеет...
Вот вам справедливости пример!
Жёсткий галстук на небритой шее —
Признак старых правильных манер.
Лжевикторианская эпоха!
Пуритане, трости, котелки.
Вешать — плохо. И не вешать — плохо.
А судить — так вовсе не с руки.

Только Пушкин из далёкой дали
Упрекает нас в который раз:
“Вместо мёртвых букв свинца и стали
Слово жизни шлите на Кавказ”.

ПРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ КРАСНОГО МЕСЯЦА

Всё в поездах моё солнышко-лелюшко,
Катимся, катимся — не устоять.
Сквозь погорельщину, Ванька-Емелюшко,
Сладкой, как водочка, жизни поять.

Тёмное месиво... Светлое крошево...
Лермонтов с тучки глядит на меня.
Много хорошего. Мало хорошего.
Чище и льдистее день ото дня.

Эко хватил! Почему не покаялся?
Каюсь, родимые, каюсь во всём.
Тарскою степью, Барабинской, Каинской
Еду в заросший крапивою дом.

Осень такая, что хочется выстрелить,
Чтобы за эхом осыпался лист...
— Истина там, где отрезана истина, —
Молвил безногий, как хмель, баянист.

Лесоповальные, скотопригонные
Лики родные Марусь-Магдалин
Вновь уплывают в оклады оконные,
В дождь и безденежье русских долин.

Поле, пространство, полёт и безмолвие —
Даль, словно хлеб, не пресытит вовек.
Вновь с мукомолия на богомолие,
В преображающий родину Снег.

Сны роковые в душе не поместятся,
Но сохранятся в небесном краю.
Пред наступлением красного месяца
Простоволосый и тихий стою.

Скажешь ли правду мне, Ванька-Емелюшка,
В час, когда будешь не пьян, а блажен:
Сколько приjala льняная постелюшка
Ширь-белизной в миллионы сажень.

.....
Боже, простишь ли нам неразумение
Или рассеешь, как израильтян?..
Стыки вагонные.
Гужи ременные.
И горизонт неохватен и рдян.

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ



ПОЕХАЛИ!

РАССКАЗЫ

Тимофеевка — деревня на весёлом зелёном холме. Поля вокруг холма впервые за последнюю тысячу лет не засеяны...

Домов с полста ещё будет в деревне, с дворами, банями, огородами. Есть даже Дом культуры — кирпичная полуразрушенная коробка, есть притулившиеся с крайчику мастерская и ферма. Есть даже церковка, потому что когда-то Тимофеевка и не деревней была, а селом. Не совсем ещё церковь восстановлена, но недавно была освящена и на праздничные службы приезжает монах-священник отец Илья...

Есть и контора бывшего колхоза “Передовик”, потом сельхозкооператива, потом какого-то ЗАО, а теперь и непонятно чего.

У конторы сегодня выстроились в рядок блестящие иностранные машины.

По Тимофеевке от дома к дому, от двора к двору — говорок: “Покупатель приехал!”

На втором этаже конторы, в светлом кабинете за длинным столом сидят люди. Совещание. На стене кабинета — карта-схема предприятия и фотография в рамке: по-пляжному загорелый мужчина в чёрных очках и пёстрой рубашке — бывший генеральный директор ЗАО.

Очень аккуратный, в костюме, при галстукe, в рубашке с твёрдым воротником, с безупречным пробором в аккуратнейшей причёске, неопределё-

ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич родился в 1969 году в Вологде. После школы служил в армии, занимался спортом. Рассказы, повести публиковались в журналах “Наш современник”, “Алтай”, “Подъём”, “Москва”, “Воин России” и других. Лауреат конкурса им. В. Шукшина “Светлые души”. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

мо-среднего возраста человек — арбитражный управляющий, готовивший предприятие к продаже.

Рядом, по правую руку от управляющего, — плотный, невысокий, со светлыми волосами и коричневым загорелым лицом, в клетчатой рубашке с короткими рукавами — начальник управления сельского хозяйства района.

В клетчатом пиджаке, на лацкане которого флажок-триколор, в очках в золотой оправе — депутат областной Думы.

Напротив той троицы, через стол: в розовом пиджаке и голубой под ним рубашке, улыбочивый рыжий человек средних лет — покупатель. Справа от него — похожий на арбитражного управляющего, как родной брат, аккуратный молодой человек. Слева — непонятная девица, крашеная брюнетка с синими квадратными ногтями...

Единым серо-молчаливым островком в углу стола — специалисты хозяйства: главный агроном, главный зоотехник, ветеринар, инженер, ещё кто-то...

— Крайне важно сохранить “Передовик” как сельхозпредприятие, — строго сказал начальник управления сельского хозяйства.

— Мы... в свою очередь... — деловито проговорил арбитражный управляющий.

Депутат молча, многозначительно кивнул.

Покупатель расплылся в улыбке. Молодой человек, похожий на арбитражного управляющего, деловито ответил:

— Мы... разумеется...

Неожиданно подала голос девица:

— Пони заведём!

После паузы, начальник управления выговорил:

— Какое пони?

— Ну, такое! — ответила девица.

Покупатель улыбался.

Совершалась формальность — передача бывшего колхоза-кооператива ЗАО в новые богатые руки. Чем будет заниматься тут покупатель — только он теперь и решал...

В это же время в мастерской на окраине деревни сидели мужики-механизаторы. Ждали вестей из конторы, разговаривали... Тут же стояли четыре многократно перебранных их руками трактора, сеялка, ещё какие-то механизмы, сварочный аппарат, кувалда...

Мастерская была из силикатного кирпича, сорок лет назад строенная; её прохудившаяся крыша залатана кусками рубероида и шифера. В некоторых окнах нет стёкол, они затянуты клеёнкой...

— Серёга, картошку-то посадили?

— На той неделе ещё! А вы?

— И мы... Иваныч, а ты опять не сажал?

Иван Иванович — по виду самый старший, бородатый, могучий мужик отвечает:

— Нет. Зачем мне?.. А зато у меня хрен-скороospelка по всем грядкам растёт. Хорош хрен!

— Хрен овощ нужна! — смеются мужики.

И тут пришёл из конторы числившийся бригадиром механизаторов Витя Заботов — худенький незаметный мужичок. Незаметный, но церковь-то именно он два года назад начал восстанавливать, сначала один, а потом и помощники появились...

— Ну, чего, Витя? — все на него уставились.

— Плохо дело, не будут сеяться, — ответил Витя, присаживаясь на замасленную скамью у стены.

— Эх, были бы семена — сами бы посеяли! — Серёга Иванов досадливо махнул рукой.

Все угрюмо молчали.

В это же время от конторы разъезжались зловеще блестящие под солнцем лакированные машины...

— Ну, что, мужики, пожалуй, пора, — первым подал голос Иван Иванович, выпрямляясь во весь свой богатырский рост.

И вскоре механизаторы разошлись из мастерской с важной новостью.

И стали люди готовиться: чистили свои дома и дворы, обихаживали, у кого была, скотинку, и сами одевались в чистые белые одежды...

Явившийся непонятно откуда отец Илья отслужил вечернюю службу, после которой все снова разошлись по своим дворам. А отец Илья встал на монашескую молитву...

Иван Иванович вошёл в мастерскую, открыл неприметную железную дверцу, за которой вроде бы скрывался электропит. Но на нём была всего лишь одна запылывшаяся красная кнопка. Тут же, рядом с кнопкой, лежал микрофон без всякого провода. Но когда Иван Иванович сказал: "Внимание, внимание!" — все в Тимофеевке услышали его. Будто из невидимого большого репродуктора зазвучал его голос. Люди торжественно замерли. "Объявляю готовность номер один!" И тут на Иване Ивановиче, на отце Илье, на стареньком председателе колхоза "Передовик" Пенькове, на всех-всех жителях Тимофеевки появились прозрачные сферы, от плеч наглухо закрывшие их головы. В тот же миг весь холм с раскинувшейся на нём Тимофеевкой накрылся прозрачным куполом. Небо бескрайней звёздной картой раскинулось над холмом.

— Начиная обратный отсчёт, — звучал торжественный голос. — Пять, четыре, три, два, один...

— Поехали! — единым духом выдохнула Тимофеевка.

Когда на следующее утро приехала блестящая чёрная машина и из неё вылез покупатель и его свита... Не было холма. Не было Тимофеевки. Только лопушился на плоской земле хрен.

ПОЕЗДКА В СИБЛУ

— А поехали в Сиблу, — сказал старинный мой приятель Александр, — дом мой деревенский увидишь, за грибами ходим.

— Сибла? Это на Кубене? Это где Астафьев жил?

— Да, дом, в котором он жил, напротив моего.

— Поехали!

На следующее утро выехали из Вологды в сторону Харовска. Миновали разбросанный, то совсем на деревню похожий, то вполне город Сокол. Пересекли спокойную серую Сухону... Осеннее разноцветье придорожного леса. Серая стерня полей, с которых сняли урожай... И всё чаще — запущенные, не выкошенные, уже зарастающие ивняком либо осинником дуга, мёртвые остовы ферм и сенных сараев...

Деревеньки, в которых по большей части живут нынче городские "дачники". Правда, многие дачники и были выходцами из этих деревенок...

Вот и Александр в родовой свой дом везёт меня — сам-то уже городской, а корни оттуда — из Сиблы. В детстве он каждое лето туда приезжал.

Я тоже в детстве каждое лето приезжал в деревеньку Суворово в Грязовецком районе. Недавно собрался, съездил туда... Брёл среди травы, что выше меня ростом, боясь провалиться в старый пруд либо колодец... Одна стена отцовского дома почему-то ещё не рухнула, да ещё сосенка, которую он сажал, большим деревом стала. Один дом на всю деревню всё же остался. В доме раньше жила большая крепкая семья, и дом был крепкий, под железной крышей, с обширным скотным двором... Сейчас — осевшая в землю потемневшая избушка. Встретила меня там женщина, когда я назвался, всплеснула руками. "А меня-то узнаёшь?" — спросила. "Нина", — вспомнил я одну из сестёр. "Нет, Тамара..."

Саша счастливый: Сибла его жива, и дом его жив. Жив и тот дом, в который на протяжении десяти почти лет приезжал из Вологды Виктор Петро-

вич Астафьев. В августе меня приглашали на мероприятие, посвящённое его 90-летию, — устанавливали на доме памятную доску. Я тогда не смог поехать. Еду сейчас...

Возраст меняет людей. Александр — спортсмен, бизнесмен и рыбак, человек практичный и, казалось всегда, не сентиментальный, тоже как-то мягче стал... “Я даже стихотворение написал, про дом в Сибле”, — сказал он мне вдруг.

А может, возраст и не меняет человека, а просто сам человек постепенно приоткрывает в себе то, что раньше почему-то скрывал. Как в песне поётся: “Чем дольше живём мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса...” Все ведь мы понимаем, что годы всё короче и короче...

...Я потом уж, на страничке Александра “ВКонтакте” прочитал это стихотворение. Хотел сначала поправить его, а потом решил, что не надо, иначе это уже не Сашино будет стихотворение...

*Приезжайте в деревню на лето,
Отыщите там свой уголок.
Скромный домик, оставленный кем-то,
В кухне печь, невысок потолок,
Два окошка, крылечко простое
Вас с любовью всегда приютят,
И берёза с кроной густой,
Ласточки в дом прилетят.
Вас под утро разбудят их трели,
Сладкий воздух ворвётся в окно.
Вы такой вкусной каши не ели,
Так легко не дышали давно.
Зачерпнуть из колодца водицы,
Босиком постоять на траве,
Тишиной можно тут упоиться,
В деревянной сибской избе,
По грибы в ближний лес прогуляться,
На крыльце посидеть, подышать,
И с любимой в реке искупаться,
И на печку отправиться спать.
Всё здесь тёплое, всё здесь простое,
Сердце здесь не стучит, а поёт,
И деревня эта зовётся Сибла.
Сибла всегда меня ждёт.*

Мы сворачиваем с асфальтовой трассы, минуем останки телятника и водонапорной башни и въезжаем в Сиблу.

Улица выкошена, дома крепкие. Есть даже двухэтажный старинный дом — и всё в нём и вокруг него аккуратно и надёжно... Сашин дом не большой, обычный деревенский — и в доме печка, стол, окна... Всё, как и в моём деревенском детстве.

А прямо из окна виден тоже крепкий большой дом с палисадом, с широкой яблоней перед окном, с берёзой, наполовину закрывающей фасад.

— Вот это и есть его дом.

Пошли туда. Нынешнего хозяина дома сейчас нет, в городе, конечно. Но видно, что человек хозяйственный. И дом, и подворье в порядке содержат. На стене дома — доска с надписью “В этом доме...” и т. д.

За домом — сосны и кедр, который посадил сам Астафьев. Да, вот сюда он от городской и людской суеты и уезжал с женой — верной помощницей, здесь и писал, и на рыбалку ходил на речку Кубену...

Подошёл другой сосед, рассказал, что они, мальчишки, как-то раз в отсутствие Астафьевых пробрались тайком в дом, чтобы посмотреть единственный в ту пору в деревне телевизор. “Но ничего там не наварзали, только телек посмотрели, и всё...” — вспоминает уроженец Сиблы, а ныне тоже городской житель.

Ещё он вспоминает:

— Астафьев рыбачил не как мы, местные. Мы ловили рыбу в тихих местах, а он всегда на стремнине! И всегда он был с уловом!

Ну да, сибиряк Виктор Астафьев рыбу ловить умел! И не только мелковатую для него кубенскую рыбёшку ловил он здесь, на северной речке, в дальней деревеньке — здесь он “вылавливал” и главы своей “Царь-рыбы”, здесь писал главы “Последнего поклона”...

Очень верно о нём один местный житель сказал: “На стремнине”. Да-да, так он и жил, и писал — на стремнине. На самом быстром, норвящем сбить с ног течении.

Вправе ли мы судить его — детдомовца, фронтовика с ранениями за то, что не всё и не всем нравится в его рассказах и повестях?..

Да вправе ли мы вообще кого-то судить...

Яблок в этом году очень много. Вот и под астафьевской яблоней всё усыпано, и на ветках густо висят...

Я взял несколько яблок с земли — они помягче, безопасней для некрепких зубов. Обтёр одно, попробовал — сладкое с горчинкой.

Вышли со двора, и сразу даль распахнулась. Сибла-то на горе. Вон шуршит, сверкает на солнце Кубена, за ней — леса, леса...

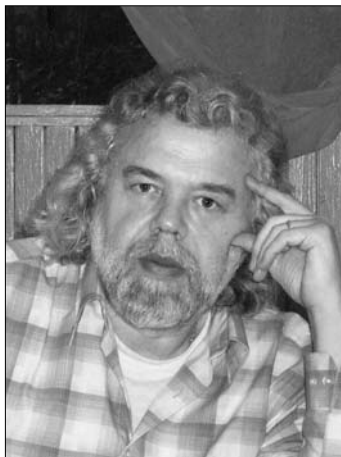
Наверное, Астафьев искал место, напоминавшее ему сибирские просторы. Нашёл. А всё же родина перетянула. Не зря же и кедр у дома посадил, не зря в закубенские дали глядел — Сибирь вспоминал.

Туда, где в Енисее ещё водится таймень, где кедрачи покрывают склоны увалов, туда — в детство и юность свою уехал. Но и на нашей земле память по себе оставил, да и с нашей земли многое с собой прихватил...

...Грибов мы с Александром мало в тот день нашли, но это уже не имело значения. Я нашёл гораздо большее... Не скажу, что...

А вспомню его слова, которыми он заканчивает книгу всей своей жизни (сорок лет писал!) “Последний поклон”: “Вот на вере в чудо, способное потушить пожар, успокоить мёртвых во гробе и обнадёжить живых, я и закончу эту книгу, сказав в заключение от имени своего и вашего: “Боже праведный, подаривший нам этот мир и жизнь нашу, спаси и сохрани нас!”

ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ



МЫ БОРЕМСЯ НЕ ЗА СЕБЯ...

ДЕТСТВО

Игорьку

Всё забудешь, вспомнишь только детство,
Лишь по детству станешь горевать.
Обожая милое соседство
С жеребёнком по лугам бежать.

Облака висят, как парашюты,
Что так веришь в ангельский десант.
Вот в такие сладкие минуты
Детям раздаёт Господь талант.

А они о Господе не знают,
На горшках, сопливые, сидят,
А вокруг уже стихи летают,
Музы, словно нянечки, галдят.

В маленьком сердечке вспыхнет песня,
Разгорится юная звезда...
Остальное в мире взрослых пресно:
Соли не хватает, как всегда.

ТЮЛЕНЕВ Игорь Николаевич родился в 1953 году в посёлке Ново-Ильинский Пермской области. В 1991 году с отличием закончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького. Автор многих поэтических книг. Член Союза писателей России. Постоянно печатается в нашем журнале. Живёт в Перми.

Швыряет осень золото в лицо.
Лениво закрываемся руками.
Ах, как поёт отцовское крыльцо,
Когда из дома выбегаем к Каме!

На огороде нет уже ботвы.
Купчихой подбоченилась капуста.
Норд-ост по-русски нам: "Иду на Вы!"
Каков нахал? Чтоб ему было пусто!

На берегу разложим костерок,
Чтобы согреть озябшую природу...
У лета на земле окончен срок.
Сентябрь с собаками выходит на охоту.

ЮНЫЕ ВАТАГИ

О, эти юные ватаги,
Без вымысла и без идей,
Всегда перерастали в драки,
Что предыдущих чумовей.

Солдатская свистела пряжка,
Пращой зажата в руке...
Бить по лицу, конечно, тяжело,
Но бьёшь с другими наравне.

В таком естественном отборе
Налились силой кулаки,
Как волнорезы в синем море,
Как в чёрных тучах ястребки.

Конечно, стадные законы
Мужу учёному претят.
И проповедники с амвона
Такие драки запретят...

Тогда как вырастить героя
С бесстрашным телом и душой,
Чтоб мог он амбразуру боя
И адский дзот закрыть собой?

Оставим юношам их споры.
Пускай мелькают кулаки,
Как волнорезы в бурном море,
Как в русской печке угольки.

СТАРОСТЬ

Лекарствами прогнав нас с улицы,
Сама присядет на матрац...
Ах, старость всё не налюбуется,
Не налюбуется на нас.

Подобострастно ртутный градусник
Подаст, когда почует жар...
А занавески в окнах — парусник,
Но капитан немного стар.

Не стар, не стар! Здесь ум за разум
Заходит, двери затворив.
На миг мы в детство впали разом,
Услышав старенький мотив.

“Лунные поляны,
Ночь, как день, светла...”
И вновь заноют раны,
И всё нам трын-трава.

И перестанет день сутулиться.
Над крышей солнышко взойдёт.
И хлынут старики на улицы
Встречать, как дети, ледоход.

ЕЙСК

Здесь русский богатырь лежит —
Иван Максимович Поддубный!
Родной сторонки верный щит,
Чтоб об него разбились гунны.

Как всякий русский Иоанн —
Непобедим! Необозримый
За ним России океан,
Что Богородицей хранимый.

В земле лежит, как Святогор,
Земля его уже не держит.
Крест-накрест вдаль летит простор —
Победы, славы и надежды.

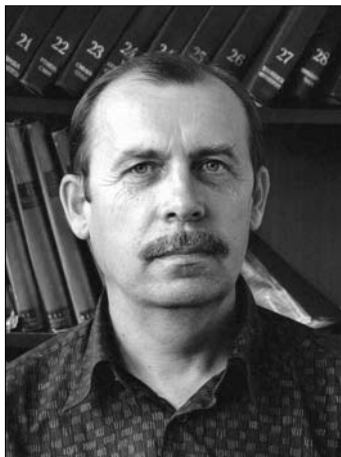
Что в гробе видится ему?
Послевоенный мор и голод?
Максимыч, мы уже в Крыму!
И Челубей опять заколот!

Когда на ринг зовёт труба
И в небе всходит россос слава,
Мы боремся не за себя,
А за глагол и за Державу.

Без компромисса и затей
Легко швыряем на лопатки
И континенты, и вождей,
И либералов хор вприхватку.

И не мешает мне борьба,
А помогает быть поэтом.
Спорт груб, а значит — жизнь груба,
Как бурлаки на Волге летом.

ДМИТРИЙ ВОРОНИН



ПОЗДНЯЯ МЕСТЬ

РАССКАЗЫ

Научное судно “Моноцит” уже целый день стояло у причала, вернувшись из полугодовой экспедиции по северным морям.

Радость встречи экипажа со своими родными осталась позади, и на борту шла обыкновенная работа по приведению судна в относительный порядок.

Часть “научников” выгружала образцы грунта для дальнейшего изучения в лабораториях института, другие писали различные отчёты о проделанной работе, кто-то занимался уборкой кают, а кто-то валял дурака в кают-компании, играя в карты.

— Мужики, — в дверях кают-компаний показалась голова боцмана, — вас там авансировать собираются в каюте старпома.

Карты тут же полетели на стол, средний и младший научный состав чуть ли не бегом устремился к старпомовской каюте. Шутки, подначки, подковырки зазвучали в толпе ожидающих. Приятная процедура выдачи денег постепенно подходила к концу, когда к столу подошёл техник научной группы Костик Ребров.

— Распишись вот тут, — второй штурман протянул ему ведомость.

Костик посмотрел на сумму, указанную на бумаге, и просиял. Таких денег он не держал в руках ни разу в своей двадцатитрёхлетней жизни.

ВОРОНИН Дмитрий Павлович родился в 1961 году в г. Клайпеда (Литовская ССР). Автор трёх сборников рассказов. Участник многих альманахов и прозаических сборников. Публиковался в журналах “Подъём” (Воронеж), “Север” (Петрозаводск), “Приокские зори” (Тула), “Петровский мост” (Липецк), “Лик” (Чебоксары). Лауреат премии “Золотое перо Руси” и других международных конкурсов. Член Союза писателей России. Член Конгресса литераторов Украины. Живёт и работает учителем в п. Тишино Калининградской обл.

— Получи, — отсчитал указанную сумму второй штурман и улыбнулся Костику. — С почином.

— С тебя причитається, — похлопал Костика по плечу старпом, пряча в бороде улыбку.

— Обязательно, конечно, а как же, — смутившийся Костик сгрёб деньги и рванул к двери.

— А пересчитать? Вдруг обманули? — раздалось вслед.

— Не, всё верно, я доверяю, — прозвучало из коридора.

Костик быстро прошагал в свою каюту и заперся. Разложив на столе деньги, он минут пять рассматривал их, а потом начал раскладывать по кулкам и рассовывать по карманам.

“Эти — маме, — рассуждал Костик, — эти — себе на обновки, эти — Наташке на подарки, эти — на проставку ребятам, а эти — на поход в ресторан с Григорием Моисеевичем”.

Для него этот поход был очень важен, решалась судьба: или Юнерман берёт его к себе в институт, или придётся забыть о науке, экспедициях, новых друзьях и романтике.

Распределив деньги по карманам, Костик с опаской подошёл к каюте Григория Моисеевича. Юнермана он побаивался — и в силу разницы в возрасте, и в силу некоторой строгости начальника экспедиции. Юнерман всегда был хмур, сосредоточен, неразговорчив, и только глаза выдавали в нём незлобивого человека — высвечивалась в них какая-то озорная искорка, не позволяющая собеседнику оробеть перед всемогущим доктором наук.

Костик осторожно постучал в каюту Юнермана.

— Можно? — открыл он дверь.

— Входи, — поднял голову Григорий Моисеевич. — Чем могу служить?

— Григорий Моисеевич, я вот тут, понимаете... — замялся Костик, теббя непослушный вихор.

— Ну, смелее, смелее, — ободряюще улыбнулся Юнерман.

— Я приглашаю вас сегодня поужинать в ресторане, — выпалил Костик и покраснел.

— Ого! — сделал удивлённое лицо Юнерман. — Вы меня приглашаете? А где же цветы?

— Я... нет, вы не так меня поняли. Я не приглашаю вас, то есть... нет, я приглашаю, но не как... а по-другому, — Костик умолк, окончательно смутившись.

— Ну, это понятно, что по-другому, а не как... — заиграли озорные искорки в глазах Юнермана. — А то и говорить не о чем, потому что в нашей стране это совсем не так, а всё гораздо хуже, если не сказать, что совсем капут.

Костик умирал от стыда и злости на самого себя. Так глупо, так бездарно завалить всё дело!

Но Юнерман не был бы Юнерманом, если бы продолжал шутить и дальше. Понимая состояние Костика, Григорий Моисеевич посерьёзnel:

— Ладно, Константин, пошутили и хватит. Я согласен посетить с тобой это заведение, но с условием: обедает каждый за свои. А спиртное за мой счёт. И не отрицай, тебе деньги самому нужны. А сейчас иди занимайся своими делами. В час встречаемся у “Меридиана”, знаешь такое кафе?

Костик кивнул.

— Ну, до встречи.

Костик, всё ещё смущённый, выскочил из каюты начальника экспедиции.

Ровно в час Костя с Григорием Моисеевичем входили в кафе. Расположившись за столиком, Юнерман стал внимательно изучать меню.

— На правах старшего заказ делаю я, возражений не принимаю.

Костик согласно кивнул.

— Так, — обратился Юнерман к подошедшему официанту, — два оливье, два салата из кальмаров, два борща, две отбивные, бутылочку армянского коньяка и минералку. Попозже — кофе.

— Сделаем, — записав заказ, официант ушёл.

Костик, поникший, молчал, не решаясь начать важный для себя разговор.

— Ну, как тебе экспедиция? — спросил Григорий Моисеевич. — По-
правилась?

— Это так здорово, что даже слов нет, чтобы передать все чувства! —
оживился Костик. Глаза его загорелись, спина выпрямилась. — Я ничего по-
добного не испытывал никогда. Жалко, что пролетело всё так быстро, как
один день, даже нет — как один миг. И так не хочется верить, что больше
это не повторится!

— О, да он у тебя поэт, — вдруг раздался за спиной у Костики насме-
шливый голос.

Костик покраснел и зло повернулся назад.

— Всё, всё, сдаюсь, сдаюсь, — притворно вскинул руки вверх полнова-
тый мужичок небольшого роста, одетый в потёртые джинсы и линялую тель-
няшку навыпуск. — Гриша, скажи своему юному другу, что я пошутил, а то
он меня сейчас съест.

Григорий Моисеевич поморщился.

— Знакомся, это местная знаменитость — поэт Леонид Лямкин, —
представил он своего знакомого. — А это Константин, наш младший науч-
ный сотрудник, — обратился Юнерман к Лямкину. — Кстати, тоже пи-
шет стихи.

Лицо Кости из красного сделалось пунцовым.

— Любопытно, любопытно, — несколько поскущел Лямкин, подсажи-
ваясь за столик. — Многие сейчас себя считают поэтами, но о поэзии потом.
Гриша, ты, я вижу, с морей и, конечно же, при деньгах. Угощаешь старого
друга и поэта?

— Ну, а куда от тебя деться, — натянуто улыбнулся Юнерман. — Тем
более ты уже уселся.

— Вот и хорошо, вот и ладошки, — потёр ладони Лямкин и прокричал
в зал: — Официант, добавь сюда бутылку армянского и парочку салатиков
для начала!

Вскоре на столе появились салаты, коньяк, минералка и борщ.

— За встречу, — поднял свой фужер Лямкин. — Гриша, за тебя, — и,
не дожидаясь остальных, опрокинул в себя содержимое. Тут же налил сно-
ва. — За поэзию! — и выпил второй фужер.

Костя молча поглощал борщ, украдкой поглядывая на Леонида Лямки-
на. Первый раз в жизни Косте довелось встретиться с настоящим поэтом. Ве-
сёлый, раскованный, компанейский. Вот бы ещё стихи его послушать, а мо-
жет, и рассказы о встречах со знаменитостями. Ведь он наверняка знаком
с лучшими поэтами и писателями!

— Гриша, — налил себе третий фужер коньяка захмелевший Лям-
кин, — а давай за музу, за такую музу, которая всегда с нами, с истинны-
ми любителями искусства!

— Лёня, — укоризненно покачал головой Юнерман, — третий тост под-
нимают не за музу, а за...

— Да брось ты, Гриша, банальности разводить, — скорчил недовольную
гримасу Лямкин и залпом выпил коньяк. — За тех, кто в море, за тех, кто
не с нами... Фигня всё это. Пить надо за себя, любимых, а не за кого-то
там вдали.

Григорий Моисеевич чуть сморщился, но спорить с поэтом не стал, зная
его капризный характер.

— Слушай, Лёня, ты что-нибудь новенькое написал? — перевёл он раз-
говор на другую тему.

— Не уважаешь, Гриша, ты меня, — обиженно вытянул нижнюю губу
Лямкин. — У меня ни дня без строчки, как сказал один известный писатель.
Кстати, и на вашу морскую тему есть немало. Сейчас, только выпью чуток
и выдам. — Лямкин выпил очередной фужер, крикнул, закусил и повернул-
ся к Костику.

— Слушайте, молодой человек, оценивайте и запоминайте, как сидели за
одним столом с гением русской словесности, потом внукам похвалиться будете.

Поэт встал, покачнулся, одной рукой схватился за спинку стула, другую
вытянул вперёд и начал с пафосом:

*Корабли уходили в ночь
Далеко от родного берега,
И волна убегала прочь
За кормой к берегам Америки.*

*Спи, родная, в тиши ночной
Приплыву я к тебе сквозь туманище.
Охраняю я твой покой —
Ведь я главный в морях капитанище.*

*И когда мы вернёмся домой,
Ты на шею мою облокотишься.
Я поверю, что берег мой
Не Америка — родных скопище.*

— Браво, браво! Лямкин — это величина! — ухмыляясь, захлопал в ладоши Григорий Моисеевич.

Не заметив сарказма в голосе Юнермана, поэт гордо продолжал:

— И еще из недавнего:

*Люблю себя в своём лице,
И невозможно быть иначе,
Когда на зорьке на крыльце
Коровы мыкают на даче.*

*Я есть советский гражданин,
Я патриот своих началов,
В стране я Чацкий господин,
Как говорил актёр Качалов.*

*Мы все рождались из полей,
Из жнив, из гумен, из пшеницы.
Ты трогать Родину не смей,
Она — орёл, она — жар-птица.*

*Большой державною рукой
Она карает и лелеет,
И я иду по ней ногой,
И сердце гордостью смелеет.*

Костя изумлённо уставился на Лямкина. Поэт, заметив его изумление, тут же продолжил:

— А теперь самое что ни на есть самое! Да что слова, слушайте!

*А вот и встал навеки миг
Во славу музе потрясённой,
Нырнул в пучину яркий блик —
Поэта стих заворожённый.*

*Я будто памятник себе,
Ещё не есть, но скоро буду.
Пишу поэзию судьбе,
Покуда живы, не забудут!*

*И пусть гремит во все концы
Известное моё творенье.
И пусть читают подлецы
Одно про них стихотворенье.*

*А в нём весь я, с конца в конец,
Моё нутро, моя судьбина.
Своим стихам я сам — отец,
А кто не внемлет мне — дубина.*

— Ну, Лёня, вот тут ты весь, вот тут ты себя превзошёл, аки бог, — налил себе коньяка Юнерман. — Вот этим ты меня сразил, убил наповал!

— А, понял, Гришка, понял потаённый смысл, — светился всем лицом Лямкин. — Я знал, знал, что поймёшь! На руках за такое носить надо.

— Да-а-а, это точно, на руках выносить, это шедевр на все времена, — криво улыбаясь, согласно кивал головой Григорий Моисеевич. — Много выпил, пока родил это?

— Не знаю, не считал. Ещё прочесть?

— Хорош, хорош, — заслонился от поэта руками Юнерман. — Дай это переварить.

— Эх, Гриша, слаб ты на восприятие серьёзной поэзии, — пренебрежительно скривил губы Лямкин. — А вот молодой человек хочет послушать настоящую поэзию. Ведь так? — обратился поэт к Костику.

Костик согласно кивнул и застенчиво сказал:

— Да, хотелось бы послушать кого-нибудь.

— В смысле — кого-нибудь? — набычился Лямкин.

— Ну, Вознесенского или Евтушенко, например, — тихо произнёс Костик две пришедшие на ум фамилии.

— Дерьмо и дерьмо, — брезгливо вытянул губу Лямкин.

— В смысле? — не понял Костик.

— В смысле — два дерьма, — ответил поэт.

— Ну, может, тогда Ахматову или Цветаеву?

— Дерьмо и дерьмо.

— Ахматова и Цветаева? — недоверчиво посмотрел на Лямкина Костик.

— Ахматова и Цветаева — ещё два дерьма.

— Да вы что! Как же так? Ну, а Пастернак, Блок, Есенин?

— Ещё те вонючки, одна тошнота, — изобразил отрыжку Лямкин и обратился к безучастно сидевшему Юнерману. — Гриша, что за идиота ты привёл? Он ни черта не понимает в поэзии!

— А Пушкин, Пушкин кто? — Костик приподнялся из-за стола.

— Дерьмо твой Пушкин!

— Всё, — Костик схватил Лямкина за ворот и пинками начал подталкивать к выходу.

— Не смей! — кричал, вырываясь, Леонид Лямкин. — Ты кого пинаешь? Ты ответишь! Ты пожалеешь! Да ты ещё меня на руках носить будешь!

Вышвырнув поэта за порог зала, Костик вернулся к Юнерману, уверенный в том, что поставил своей выходкой крест на собственной карьере. Как же: выставил друга Григория Моисеевича! Каково было удивление Костика, когда он услышал:

— Молодец, Константин, наш человек, быть тебе в нашей команде.

Через тридцать лет известный поэт Константин Ребров шёл на встречу со своими читателями в областную библиотеку. У центрального входа из салона “Тойоты” пожилая женщина вытаскивала две небольшие упаковки книг.

— Давайте я помогу донести, — предложил ей Ребров.

— Вот спасибо, — обрадовалась женщина. — Тут рядом, на второй этаж, в хранилище.

Поднявшись на второй этаж, Ребров поинтересовался:

— А кого я нёс-то, скажите?

— Да этого... Леонида Лямкина.

— Вот чёрт, — рассмеялся Ребров, хлопнув себя по бокам. — Отометил всё-таки, старый графоман, заставил себя на руках носить!

ИЛЬИЧ

На городской свалке Ильич появился поздней осенью. Высокий сутулый старик в тёмно-коричневом драповом пальто, шапке-ушанке и ботинках на толстой подошве медленно брёл среди зловонных завалов, шуря перед собой сучковатой надтреснутой палкой.

— Чего ищешь, дед? — обнажил в приветливой улыбке полубеззубый рот низкорослый мужичок в истрёпанной грязной фуфайке. — Скажи, может, чего присоветую.

— Так это... Вот, — засмущался старик, останавливаясь, — бутылки пустые ищу.

— Бутылки? — нахмурился мужичок, подозрительно оглядывая новоявленного конкурента. — А чего это тебя на свалку занесло, в городе, что ли, бутылок уже не осталось?

— Не могу я в городе, — нервно сжал свой посох старик.

— Стесняешься... — понимающе усмехнулся божж. — Звать-то тебя как?

— Степан Ильич.

— Ильич, значит... Ну, а меня Витьком когда-то нарекли, а тут все Солнышком кличут, — протянул грязную ладонь Ильичу мужичок.

Старик с опаской подал навстречу свою дрожащую руку.

— Ты вот что, дед... Ты это, держись возле меня, тогда и при таре будешь, и не тронет никто, — снисходительно ощерился Витёк. — Тут у нас конкуренция ещё та, чужих особо не жалуют и побить могут запросто.

— Побить? — удивлённо посмотрел на божжа старик. — За что?

— А за то, — захихикал, радуясь удивлению Ильича, Витёк, — за дело. Я ж говорю, у нас новеньких не любят, лишний рот — лишние заботы. Вот ты, к примеру, явился сюда и думаешь, будто тут эти бутылки на каждом шагу разбросаны. А сколько в твоей сумке их, ответь?

— Одну пока нашёл только.

— Правильно, одну, — согласно кивнул Витёк, — ну, может, ещё одну найдёшь или две — и всё.

— Как — всё?

— А так, — вновь засмеялся Солнышко, глядя на растерявшегося Ильича. — Ты, верно, думал, что здесь бутылки только для тебя одного и валяются, так ведь?

— Ну, не знаю...

— Ага, так, — довольно вскинул голову Витёк. — А тут нет ничего, ищи не ищи.

— Что, вообще?

— Ну, если ты экскаватор, то найдёшь.

— Так их чего, не привозят сюда? — вконец расстроился Ильич.

— Привозят.

— Что ж ты мне тогда голову морочишь?

— Так когда их привозят, таким, как ты, возле них места нет, — открыто радовался стариковскому раздражению Витёк.

— Это почему? — покраснел от злости Ильич, чувствуя откровенную издёвку.

— Я ж говорил, у нас чужих не любят, побьют.

— Мне чего, назад уходить, ты на это намекаешь?

— Да нет, дед, ты мне понравился, — ободряюще хлопнул Ильича по плечу Солнышко. — А со мной тебя не тронут. Пошли.

— Куда?

— Познакомлю тебя со своей бригадой.

Умело лавируя между кучами гниющего мусора, Солнышко вывел старика на небольшую ровную площадку посреди свалки. Площадка была заставлена фанерными ящиками, картонными коробками, какими-то уродливыми строениями, напоминающими то ли огромные собачьи будки, то ли дровяни-

ки, то ли складские сарайчики. Возле этих построек, местами обтянутых полустлевшим брезентом, копошились люди, одетые в грязное рваньё.

— Кого ещё притащил? — выкатилось навстречу Солнышку бесформенное толстое существо непонятного пола в рваном солдатском бушлате. — Чего ему тут надо?

— Не заводись, Софочка, не заводись, красавица, — раскинул руки Витёк, загораживая собой Ильича от неласковой бабы. — Хорошего вот мужика встретил, подумал, тебе жених знатный, ну, и привёл познакомиться. А ты сразу кидаться, как пантера какая. Что о тебе интеллигентный человек подумает, а? Подумает, кавой-то мне Солнышко подсунуть хочет, обещал красу ненаглядную, а на самом-то деле — гарпия натуральная.

— Балабол дурной, чтоб тебя!.. — под обций смех растянула в улыбку гнилой рот Софочка. — Тоже мне, нашёл жениха, пенька старого, — и, махнув рукой, миролюбиво обратилась к Ильичу: — Что, дед, из дома выгнали?

— Выгнали, выгнали, — опередил старика Витёк, не давая тому опомниться. — По себе знаешь, какие нынче детки пошли, не тебя одну на улицу выкинули, вот и Ильича тоже.

— Из-за квартиры?

— Из-за неё, из-за чего ж ещё, — продолжал отвечать за деда Солнышко.

— И идти больше не к кому?

— А то б он сюда пришёл!..

— Слушай, Солнышко, — нахмурилась Софа, — чего ты за деда распинаешься, пусть сам говорит! Или он немой?

— А ты себя вспомни: тебя когда из квартиры вышвырнули, много ль слов у тебя было?

— И то верно, — вытащила из кармана бушлата “Приму” Софа, — я тогда с месяц как пришибленная была, всё молчала. Никак до меня не доходило, кто что балакает, про чего спрашивают. Хорошо, сюда добрые люди привели, так тут только и отошла. Счас уж и не вернулась бы назад, что б ни сулили.

— Да... — философски протянул Витёк. — Жизнь — она, конечно, не подарок. Вот так живёшь-живёшь, вроде чего-то добился, вроде и хорошо тебе, как вдруг бах! — и в один момент всё кувырком, всё с ног на голову, будто снег среди жаркого лета.

— Сложно оно всё, это ясно, видать, на роду у людей так написано, — подтвердила значительную мысль Софа и повернулась к Ильичу. — А ты, дед, в Бога веришь?

Ильич вздрогнул от неожиданного вопроса, хотел было уже ответить, но Солнышко вновь оказался проворнее.

— Верит, Софочка, верит.

— Это хорошо, — довольно закивала Софочка, отходя от мужчин, — без веры сейчас нельзя, а то и свихнуться можно.

— Что это ты тут про веру такого наплел, — нахмурился на Витька Ильич, — и бездомный я, и верующий?

— А чё, надо было похвастать, что у тебя особняк в трёх уровнях и ты помощник Жириновского, а бутылки сюда так пришёл собирать для коллекции? — с издёвкой прищурился Солнышко.

— Вообще-то дома у меня и впрямь нет, — виновато сник старик, присев на грязный продавленный диван, стоящий возле покосившейся постройки.

— Ясно дело, — согласно кивнул мужичок, восприняв заявление Ильича как само собой разумеющийся факт.

— Вот только сын меня из него не выгонял, — продолжил начатое откровение Ильич, — сын меня попросту забыл. Как вышел лет двадцать назад в большие начальники, так и забыл, и меня, и мать — жену мою. Жена-то померла два года назад, так он и на похороны не явился, хоть и сообщали. У нас трёхкомнатная квартира была. Пока с женой пенсию получали, хватало за квартиру платить, а как жены не стало, — задолжал я. Вот и решил трёхкомнатную продать, а себе однокомнатную купить. Чёрт меня дёрнул по объявлению, через посредника делать, хотел побольше денег получить, а в итоге оказался на улице без гроша, и не докажешь ничего.

Солнышко открыл было рот, но Ильич предупредил его.

— И не спрашивай, что и как, даже вспоминать не хочу. Жив остался — и слава Богу. Лето мыкался по знакомым да так, где придётся.

— А к сыну? — встрял всё-таки Витёк.

— Нет его у меня, — зло вскинул голову старик, — помер он вместе с женой.

— Как — помер? — удивился мужичок.

— Для меня он мёртв, раз даже мать свою схоронить не сподобился, — ударил, как обрубил, по разбитому дивану Ильич. — И всё, хватит об этом.

— Ну, а в милицию, собес?

— Где я только не был, — с досадой отмахнулся Ильич. — Документы мои вместе с квартирой накрылись, а без них я кто? Никто! Тля я без бумажек этих...

— Это точно, — понимающе подтвердил Солнышко, — по себе знаю. У наших, что тут живут, почти у всех так. И что ты дальше думаешь?

— Не знаю, сдохну, наверное, в эту зиму.

— Ты вот что, оставайся у нас. Тут и с голоду не помрёшь, и выпить всегда найдётся, да и крыша над головой какая-никакая.

Так Ильич и прижился на свалке. С утра на промысел — то бутылки собирать, мыть, сдавать, то продукты выброшенные сортировать, продавать, то металл, то запчасти. Да мало ли чего на свалку выкинут! Зимой Ильич с Витьком худо-бедно прокантовались, а по весне, когда уже теплом запахло, простудился Ильич на сквозняке, в горячке промучился недели две и помер однажды под утро.

— Отстрадался, сердечный, — посочувствовала Ильичу Софочка и вернулась к Солнышку. — Что делать со стариком-то будем? Сообщить в милицию от греха подальше, пожалуй, надо бы. Может, родственники какие объявятся. У него документы-то есть? Посмотрел бы по карманам...

— Да нет у него ничего, слямзили документы. И родственников нет, сын только. Так он даже мать не схоронил, а Ильича и подавно не будет.

— А ты всё ж проверь, может, какая бумага и завалялась.

Солнышко нехотя стал проверять карманы стариковской одежды. Проверил пальто, принялся за пиджак и вдруг за подкладкой, напротив сердца, нащупал какой-то сверточек. Витёк суетливо надорвал подклад, отцепил от булавки мешочек, прикреплённый к пиджаку, и, вспоров его, вывалил содержимое на фанерный ящик.

— Ни черта себе! — раскрыла в изумлении гнилой рот Софочка. — Вот это да!

На ящике поблёскивала кучка орденов и медалей времён Отечественной войны. Солнышко дрожащими руками заворожённо принялся сортировать Ильичёвы награды.

— Орден Славы, два ордена Красной Звезды, орден Ленина, Отечественной двух степеней, медаль “За отвагу”...

— Целый иконостас, — поражённо прошептала Софочка.

— Зови мужиков, — в волнении прохрипел толстухе Витёк, — да побыстрее!

Через несколько минут все обитатели “жилой площадки” собрались возле Солнышкиного сарайчика.

— А Ильич-то геройский мужик был, — уважительно перешёптывались они. — Это ж надо столько наград заслужить!

— Да-а... Кем же он на фронте был?

— Кем бы ни был, но то, что герой из героев, это точно.

— Что делать-то будем? Надо бы властям сообщить, такого человека с почестями хоронить полагается.

— А может, продадим ордена? Они ведь бабок бо-о-льших стоят!

— Я вам продам, я вам сообщу! — возмущённо задохнулся Солнышко. — Я, итить вашу, любого замочу, кто хоть вякнет кому, что мы тут сейчас увидели.

— А ты что предлагаешь? — с интересом уставились на Витьку божжи.

— А вот что, — закурил сигарету мужичок. — Не будем мы ничего никому сообщать. Если такой человек при жизни этим властям не нужен ока-

зался, то после смерти и подавно им он ни к чему. Сунут, как бомжа, в общую могилу, а ордена запарят и продадут.

— Это точно, — закивали мужики.

— Мы его сами похороним, — затушил сигарету Солнышко.

— Где, на свалке, что ли? — хихикнул кто-то.

— Нет, не на свалке, — ожёг всех взглядом Витёк. — В роще за свалкой. Пусть у нас будет своя могила героя, свой неизвестный солдат.

— Правильно, Солнышко, — заплакала вдруг Софа. — Ильич — душевный старик был, да ещё и герой, уж я-то за его могилой каждый день присматривать стану.

— А награды куда денем?

— А награды вместе с ним схороним, — строго ответил Витёк.

— Верно, Солнышко, правильно, — одобрительно раздалось со всех сторон.

— И кто на ордена, не дай Бог, позарится — тому не жить. Понятно? — пылал глазами Витёк.

— За кого ты нас держишь?

— На куски искромсаю, кто могилу Ильича тронет.

— Солнышко, с этим понятно, вопрос в другом. Могилу-то не скроешь, обнаружат её — надругаться могут.

— Я это уже продумал, — согласно кивнул Витёк. — Мы не станем делать настоящую могилу — холмик там, крест, оградка. Мы Ильича под липой похороним. Помните — там, в роще, на полянке?

— Ну!..

— Похороним и кострище на том месте разведём, чтоб знать, где точно лежит. Чужим невдомёк, а мы приходите будем, поминать. Костёр разведём — и Ильичу тепло, и нам благодно.

— Молодец, Солнышко, всё верно, — согласились бомжи.

Весь день население “жилой площадки” с энтузиазмом готовилось к погребению Ильича. Сколотили гроб из досок от ящиков, обтянули его черным материалом, завалившимся у одного из обитателей свалки. Софа Ильича обмыла, передела в чистое бельё из своих запасов, Солнышко укрепил на груди героя награды, и вечером, когда стемнело, траурная процессия двинулась к выкопанной могиле. Гроб опустили в яму, быстренько засыпали землёй, тщательно притоптали и тут же на скорбном месте развели костёр.

— За Ильича, — поднял кружку с суррогатом Солнышко. — Пусть земля ему будет пухом, — и выпил до дна.

— За героя! — застучали остальные кружки...

*п. Тишино
Калининградской области*

СЕРГЕЙ ДОНБАЙ



СЛАВЯНСКИЙ ОРЕШЕК

ВТОРОЙ ФРОНТ

Когда мы под самой Москвой
За землю свою погибали,
Вы нам болтовнёй, что второй
Откроете фронт, помогали...

Мы сами в Европу вошли.
Мы смерть за неё принимали.
Вы всё ещё были вдали.
Вы всё ещё нам “помогали”.

Когда же мы кровью своей
Досыта войну напоили,
Вы фронт свой открыли скорей —
Как будто на праздник спешили!

Тепло ли вам было вдали,
Когда на правах чемпионства
Вы сразу два солнца зажгли
В Стране Восходящего Солнца?

ДОНБАЙ Сергей Лаврентьевич родился в 1942 году в городе Кемерово. Автор одиннадцати книг стихотворений, вышедших в Кемерово и в Москве. Лауреат литературных премий им. В. Д. Фёдорова, святого благоверного великого князя Александра Невского, “Белуха” и др. Заслуженный работник культуры России. Член высшего творческого совета Союза писателей России. Главный редактор журнала “Огни Кузбасса”. Живёт в Кемерово.

Раздвинул расчёт горизонт:
Вы в звёздах окопы отрыли...
Когда-то открыли вы фронт —
Закреть до сих пор позабыли.

9 МАЯ 2014 ГОДА

Америка и прочий Запад с Римом
Опять сорвались, как с цепи, на нас.
Опять кружат, как фурии, над Крымом.
И зреет “Севастопольский рассказ”.

На части света рвёт себя Украина?
Казацкий бунт республики? Да нет.
То с краешка у западного “рая”
Дымится постсоветский континент.

Но Белый дом пусть купол свой почешет,
И новый купол поскребёт Рейхстаг...
Не по зубам славянский вам орешек.
А над Рейхстагом был наш русский флаг!

КРЕМЛЬ

Я хотел бы пройти по Кремлёвской стене,
По всему её древнему кругу,
И увидеть то время, когда в старине
“Надевали” её, как кольчугу.

Я хотел бы пройти по Кремлёвской стене,
Всю измерить своими шагами,
И почувствовать крепость в её ширине —
И спокойно следить за врагами.

Только кто мне позволит в свободной стране
Восходить на Кремлёвскую стену
И спокойно следить за врагами извне?
Боже мой, и не тронь эту тему.

Хоть спокойно врагам доказал, что не трус,
Хоть и сам назначал себе цену,
Не позволил бы мне и Советский Союз
Восходить на Кремлёвскую стену.

Я хотел бы пройти по Кремлёвской стене.
Я хотел бы взойти на Кремлёвскую стену.
Но тоскою сидит эта смута во мне —
Кремль всегда ожидает измену.

СИБИРСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Мы вслушались с детства в протяжный мотив
Народного хора буранов и вьюг —
Так длинно и дивно, глаза призакрыв,
Тянуть, и тянуть, и очнуться не вдруг.

Обветренный временем, долог наш взгляд,
Как птиц перелётных наследственный путь,
Как высоковольтные трассы гудят,
Под тяжестью неба провиснув чуть-чуть.
От ветра и солнца берёза смогла
С трудом улыбнуться дрожащей листвою,
И тенью смятенной отныне легла
Нам эта улыбка на лица с тобой.
А пение птичье, а белок кругом,
Все души лесные в объятия сгрёб
По дебрям тайги на обрыве крутом
Сибирского кедра живой небоскрёб.
Но рушится вечнозелёный завет:
Летит меж стволами бескрылый свинец,
Грохочет железнодорожная ветвь,
И в небе болит реактивный рубец!..
Как будто мы пятой стихии сейчас
Рождение переживаем с тобой.
Зияют сквозь дырочки беличьих глаз
Зелёная ветвь, небосвод голубой.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ СНЕГОПАД

Сентиментальный снегопад
Разнежил воздух, мысли, лица.
Собак восторженные рыльца
Всё улыбнуться норовят..
И это даже может сбыться!

Влюблённый розовую пасть
Разинул и снежинки ловит.
У спутницы — глаза коровьи,
Ей хочется мычать, напасть!..
Ну, и напала б на здоровье!

Сквозь снегопад едва видать:
Снег побелил ресницы, брови,
Всё держится на честном слове
О том, что нам не занимать
Сибирских Дафниса и Хлои.

А снег валит, валит, валит
Над этой пьеской пасторальной,
Как золото-серебро-сусальной.
А снег ему и ей велит
Быть нежным и сентиментальной.

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ



ВРЕМЕНА ГОДА

РАССКАЗЫ

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Любовь приходит и уходит независимо от нашей воли. Она есть или её нет. Необъяснима природа и причина её возникновения. С влюблённостью проще. Тут всё или почти всё ясно. Чаще — очарование внешностью, реже — способностями, талантом. С любовью сложнее.

Вот и я не могу объяснить, почему полюбил море. Мы встретились в Евпатории. Мне было тогда четырнадцать лет. Ласковое, разомлевшее от солнечного тепла море лениво плескалось у моих ног. Я медленно вошёл в воду и поплыл. Мама металась по пляжу и кричала: “Сынок, не заплывай далеко!” Я заранее решил: “Доплыву до буйка”. Море покачивало меня, как младенца в люльке, успокаивало, казалось, оно принимает и понимает меня. Я достиг цели, повернул назад и запаниковал: берег оказался неожиданно далеко, люди слились в безликую толпу. Я впервые остался один на один с морем. Сердце забилося воробышком — того и гляди, выпрыгнет из груди и упорхнёт, — руки и ноги не слушались. Я судорожно ухватился за буй — единственный островок надежды. Никакие силы не заставят меня от него оторваться! Наконец, сознание того, что мама беспокоится и ждёт неразумное дитя, пересилило страх. Море не сопротивлялось моему возвращению, наобо-

ЛЕБЕДЕВ Александр Владимирович родился в городе Коломна Московской области в 1945 году. Более тридцати лет прослужил на Военно-морском флоте. Капитан 1-го ранга в отставке, кандидат исторических наук, доцент Балтийского Военно-морского института. Стихи и рассказы печатались в сборниках: “Антология калининградского рассказа”, “Балтийский флот”, в журналах: “Балтика”, “Параллели”, во флотских газетах и журналах. Живёт в Калининграде.

рот, легонько подталкивало, словно заблудившегося щенка. Постепенно наше знакомство переросло в дружбу. В день возвращения домой я забежал попрощаться. Низкие серые тучи сплошь закрывали небо, сливались с морем. Линия горизонта исчезла, и от этого водная поверхность стала необъятной. Море глухо ворчалось, обиженное и недовольное. Я низко наклонился и прошептал: “Мы ещё встретимся!”

Расставание было долгим, однако общение не прекращалось. Люди поддерживают связь с помощью почты, телефона, интернета. Я захлёб читал морские романы, смотрел фильмы, заставлял деда, капитана первого ранга в запасе, пересказывать флотские байки. Никого из близких не удивило моё решение поступить в военно-морское училище. В августе я увидел Балтийское море. Оно было скромным, без ярких тонов и контрастов. Как северяне от южан, оно отличалось сдержанностью чувств. Его неброская красота притягивала и очаровывала.

За годы службы я побывал на всех четырёх океанах. И каждый по-своему был неповторим. От Тихого исходило ощущение первобытной силы. Это хищник, повадки которого можно изучить, но приручить его нельзя. Индийский — сибарит, изнеженный, по-восточному медлительный. Северный Ледовитый — вечно злой, холодный и равнодушный. Атлантический — коварный и непредсказуемый. Наверное, именно эта глубина, непознаваемость, мощь и влюбляет? Не знаю, зато твёрдо убеждён, что море берёт пример с Бога, постоянно испытывая на прочность, на верность тех, кого любит. Для меня такая проверка состоялась, когда я служил на сторожевом корабле. Штормовое предупреждение застало нас у мыса Лопатка — южной оконечности полуострова Камчатка. Циклон, зародившейся где-то в сороковых широтах, спешил на север, словно скорый поезд. Встречи с ним было не избежать. Оставался один вариант — уйти подальше от его эпицентра. Циклон задел сторожевик краем, и этого хватило, чтобы хлебнуть лиха. Вначале всё стихло, притаилось, потом ветер засвистел, загудел с такой силой, будто заработал гигантский пылесос. Устоять на верхней палубе, не держась за лерные ограждения или поручни, было невозможно. Воздух стал настолько плотным, спрессованным, что трудно стало дышать. Океан какое-то время оставался спокойным, не реагировал на это сумасшествие, словно не хотел участвовать в схватке. Но постепенно раскачался и он. Обе стихии — воздушная и водная — объединились в борьбе с кораблём, творением рук человеческих. Гребень волны нависал над ходовой рубкой, затем терял силы, опал и накрывал её. Бурлящий поток прокатывался дальше по шкафуту на ют. Вода не успевала сходить с палубы, пенилась в шпигатах, а следующий вал уже шёл в атаку. Корабль содрогался от ударов, стонал, скрипел, покряхтывал, будто живое существо, однако не жаловался, понимая, что океан не любит слабых и не прощает ошибок. Мне было не легче: несколько раз вывернуло наизнанку. При одном упоминании о пище тошнило. Настроение было скверным. “Вот она, настоящая романтика”, — с иронией размышлял я, с трудом устроившись на койке, которая норовила сбросить меня, как необъезженная лошадь всадника. “Морю наплевать на нас, на наши мучения, страхи, переживания. Оно любит только себя. Ни о какой взаимности не может быть и речи. Все это твои фантазии. Не лучше ли, браток, подыскать другую профессию. Жидковат ты для морской службы”. Раскинуть не давал жёсткий корабельный распорядок: надо было нести вахту, обслуживать технику, заниматься подчинёнными. В голове между тем крутился один вопрос: “Закончится ли качка?” Но всё проходит, как утверждал ещё мудрый царь Соломон. Стих ветер, успокоился океан. Забыты были трудности и недовольство, осталось чувство преодоления: “Я смог. Я это сделал! Я настоящий мужчина. Я испытал и пережил то, на что способны немногие”. Именно тогда пришло понимание, что без моря жизнь потеряет для меня смысл.

Сколько таких проверок выпало на мою долю, не считал, лишь иногда спрашивал себя: “Может быть, хватит испытывать судьбу? Всякому везению приходит конец. Ты играешь в русскую рулетку, только в барабане не пуля, а несчастный случай”. Да, за удовольствие надо платить. За красоту, которая стала для тебя повседневностью, за тихие радости ощущать себя в цен-

тре вселенной, когда горизонт не разорван городским пейзажем, лесом, горами, а ложится перед тобой правильно очерченным кругом. И это синее блюдце, опрокинутое вверх дном, и есть место твоего обитания.

Никогда не забуду первый восход солнца в море. Это было в районе архипелага Чагос, почти у экватора. Сотканный из тяжёлой плотной ткани, небесный занавес медленно поднимался. Невидимая рука провела чёткую кривую линию, разграничив небесную и морскую сферу. И началась великая магия игры света, тончайшие неуловимые световые переходы. Над тёмной чертой появилась светлая полоска. Она ширилась, росла. В центре неё небо ярко засинело, потом стало бледнеть, выпцетать, зарумянилось, зарделось, заалело. Солнце, ещё невидимое, посылало гонцов оповестить нас о своём приходе. Вот появилось и оно. Ослепительный огненный шар медленно всплывал, море выталкивало его из своего чрева. Наконец, небесное светило полностью освободилось из плена, лучи его захватывали всё большее пространство и меняли цвет воды с мрачного тёмно-зелёного на весёлый изумрудный. Они достигли точки нашей якорной стоянки, в какое-то мгновение по кораблю прошла граница тьмы и света. Свет уверенно побеждал, и наступило утро. К вечеру солнце устало, остыло и стало похоже на яичный желток на сковородке. Небо вновь набрало густой синевы. Крупные южные звёзды проступали всё ярче. Солнце коснулось нижним краем воды, замерло на мгновенье и быстро исчезло.

Море подарило мне много счастливых минут. Два десятилетия мы встречались почти ежедневно, и частота встреч не притупила чувства. Однажды, в первый год супружества, жена с обидой спросила: “Кого же ты больше любишь: меня или море?” Я не стал обманывать и сказал: “Обоих одинаково”. Однако у человека век короткий, он не может рассчитывать на вечную любовь. Я понимал, что после меня придут другие счастливчики, но не испытывал ревности, потому, что был уверен: у нас сложились особые, неповторимые отношения. Теперь моя жизнь не связана с морем, и когда мы долго не видимся, оно приходит в мои сны, напоминая о себе. Тогда я выбираю для поездки пасмурный, ненастный, ветреный день, сажусь на дизель или в автобус и еду на свидание. Не в курортный приморский город, где много празднично гуляющего народа, а в суровый Балтийск. Прохожих немного. На северном молу их и вовсе нет. Останавливаюсь на самом оголовке мола, закрываю глаза, солёные брызги летят в лицо, и мне кажется, что я вновь на ходовом мостике корабля, и мы снова вдвоём... Я и море.

ВРЕМЕНА ГОДА

По щедрости ранняя осень несравнима с другими временами года. Она отдаёт людям всё, что имеет: спокойствие и умиротворение, созревшие плоды, чудные дни — спокойные, ласковые, тёплые, наполненные ощущением скорого расставания и оттого ещё более дорогие. Однообразная летняя зелень сменяется удивительным разноцветьем красок. Деревья приобретают свой неповторимый наряд. Осень пишет картины, непосильные кисти Левитана. Она дарит вдохновение, щемящее чувство конечности, которое вызывает красота увядания, создаёт обстановку особого душевного настроения. И даже бесталанные творят. А сама осень, как женщина после родов, обессиленная, поблекшая, остаётся ни с чем. Наверное, она рассчитывала на ответную любовь, но такой серой, безликой она никому не нужна. Природа умирает, и осень оплакивает её уход. Погода портится. Дождь, слякоть, вечно хмурое небо, низкое, давящее, готовое рухнуть на землю под тяжестью набухших от влаги облаков, вызывает ничем необъяснимую, долго не уходящую тоску. Кажется, весь окружающий мир промок насквозь. Вода всюду: под ногами, на деревьях, на домах, на одежде, на небе. От неё некуда деться. Она скоро хлынет мощным потоком в квартире с потолка. А когда чего-то слишком много, даже денег, это напрягает. Так хочется завернуться, как в кокон,

в тёплое одеяло и впасть в летаргический сон, чтобы проснуться если не в апреле, то хотя бы в декабре, когда Дедушка Мороз наведёт, наконец, порядок: прикроет загаженную людьми землю снежным покрывалом. Люди неблагодарны, непостоянны, капризны и эгоистичны. Им наскучила промозглая осень. Они с нетерпением ждут зимы и только с ней теперь связывают свои надежды на лучшую жизнь.

Первый снег, как первая любовь: неожиданный и одновременно долгожданный. Щенячий восторг по поводу снежинок, упавших и растаявших на старательно высунутом языке. Запах чистоты и свежести, ощущение покоя и вневременности происходящего. Обыденное, привычное становится праздничным, знакомое — неузнаваемым. Ты внезапно оказываешь в другом, незнакомом городе. Ты гость, которому интересно бродить по кривым улочкам, полюбоваться неповторимой архитектурой довоенных, чудом уцелевших домов, ладонью осторожно гладить красный многовековой кирпич. Он весь в шрамах, как истинный рыцарь-защитник. Деревья, совсем недавно почерневшие в своём неутешном горе по погибшей листве, голые, озябшие, приделались в новенькие модные, белые пуховые шубки, повеселели. От их траура не осталось и следа. Молоденькая берёзка что-то шепчет солидному каштану и, по-видимому, не прочь закрутить с ним роман. У тебя тоже приподнятое настроение. Светло и просторно вокруг, легко на душе. Морозный воздух будто бы сам наполняет лёгкие, и дышится с удовольствием. Прогулки по сказочному, заснеженному лесу окончательно разгоняют осеннюю хандру. Весь декабрь мы живём ожиданием наступления главного праздника, заговдя готовим подарки, сюрпризы. Новый год объединяет нас, делает дружелюбными, приветливыми. Жаль — ненадолго, на одну ночь, но и этого довольно! Возвращаешься от друзей поздней ночью или ранним утром, и каждый встречный с улыбкой приветствует и поздравляет тебя. И ты в ответ беспричинно смеешься и желаешь ему счастья. А что ещё надо, кроме счастья? Это понятие вобрало в себя всё. Оно легко, невесомо и сиюминутно. Иначе может не выдержать сердце, иначе задохнёшься, не поймёшь, что то состояние, которое ты сейчас переживаешь, и есть счастье. Однако праздники сменяют будни, хорошее остаётся в прошлом. Зима начинает надоедать. Затяжная, непредсказуемая, словно девушка на выданье. С резкими переходами от мороза к оттепели, от метелей к ясной солнечной погоде. Сколько можно носить тяжёлые дублёнки, мерзнуть на остановках в ожидании автобуса?.. Наскучили длинные ночи и короткие, тусклые дни. Солнце-засоня встаёт поздно, ему лень высоко забираться на небо. Для порядка, чтобы не забывали о его существовании, оно мазнёт косым лучом по горизонту и вновь заваливается на боковую. Даже снег больше не радует, у него нет той неповторимой, слепящей глаза белизны, новизны и нетронутости, как в начале зимы. Видимо, и он подустал. По инерции, без особого подъёма, мы отдаём дань чисто русской традиции: встречаем Новый год по старому стилю, однако это не прибавляет радости, и мы начинаем считать дни до весны. Но её приход затянется надолго. Предстоит пройти через январскую злую стужу, встретить “февраль — кривые дороги” с его оттепелями и буранами, пережить непостоянство и вероломство марта.

Наконец, все испытания позади. Природа просыпается, бурлит. Запах и черёмухи и сирени сводят с ума. Бело-розовые лепестки цветущей алычи, вишен и яблонь безмолвно и покорно ложатся под ноги. Весенние соки наполняют организм неоправданным порой оптимизмом и уверенностью. Мы нехотая вспоминаем библейскую заповедь: “Возлюби ближнего своего, как самого себя”, — и оправдываем ею необдуманные поступки. Большинство ошибок совершается именно весной, когда человек беззащитен, беззаботен, открыт и влюблён. В это время его можно брать голыми руками, без удочки и наживки. Он доверчиво идёт в сети, как рыба в период нереста. Он не думает о последствиях и живёт одним днём. Зато каким! Всю оставшуюся жизнь, не задумываясь, он готов обменять на этот, один-единственный и неповторимый! Только позже, очнувшись от любовного дурмана, он будет в недоумении чесать затылок, удивляться и обзывать себя нехорошими словами.

Весна строит и созидает, несмотря на то, что твёрдо знает, что плоды своей деятельности она никогда не увидит. Однако это вовсе не смущает её. Она успевает везде, заряжает своей энергией окружающих. Птицы выют гнёзда, бобры строят плотины, медведи вылезают из своих берлог, щепка лезет на щепку, совершается главное таинство бытия — таинство зачатия. Потом, через несколько месяцев появятся на свет те, кого благословила весна. Земля, отдохнувшая, обновлённая, готова принять в своё лоно зёрна будущего урожая. Люди радуются теплу и доверчиво подставляют тело под солнечные ласки. Неужели наступила полная идиллия? Разумеется, нет. При многих положительных качествах весна — девица легкомысленная: не задумываясь о последствиях, она раздаёт обещания жаркого лета, интересного отдыха, вечной дружбы и любви, молодости и удачи. И люди верят, даже закоренелые скептики не столь категоричны в своих неутешительных прогнозах. Действительно, жизнь без надежды на лучшее, без веры и любви превратится в настоящую каторгу, а человек — в животное с ярмом на шее, уныло и послушно бредущее по проторённой колее. Главное, что позволяет нам так смело мечтать, — это недалёкое теперь лето. Наша встреча не за горами. Мы ждём её с нетерпением. Нам уже мало того, что дала весна, хотя она очень старалась. Недаром в песне поётся: “А нам всегда чего-то не хватает...” Тепла мало, дожди одолели, вода в реке и море не прогрелась, свежих фруктов, овощей, не заморских, а своих, местных, нет... И много чего ещё.

Лето приходит незаметно: май месяц плавно перетекает в июнь и порой только по календарю можно определить, что наступило другое время года. Но всё же кое-какие летние приметы проступают: люди пакуют отпускные чемоданы, солнце трудится вовсю, уже не греет, а печёт. Потихоньку выцветает, бледнеет яркая синь неба, робкая луговая зелень сменяется буйным разнотравьем. От густого, насыщенного воздуха кружится голова. Ты падаешь навзничь и пропадаешь, растворяешься, сливаешься с природой, становишься её частью и уже не принадлежишь тому чудовищу, которое называется современной цивилизацией. Жара расслабляет. Самые добросовестные — и те работают с прохладцей и ищут предлог, как бы улизнуть на пляж, поваляться на прибрежном горячем песке или в тенёчке побаловаться пивком. Жизнь в городе в такую пору замирает. По расплавленному асфальту, словно доисторические животные, плетутся редкие пустые автобусы. Все с нетерпением ждут спасительного дождя: трава, деревья, здания и, разумеется, люди. Однако пушистые, неплотные, словно нарисованные облака не оставляют надежды. Хотя приморская погода капризна, непостоянна: внезапно налетает ветер. Облака теснее прижимаются друг к другу. Ветер, как опытный пастух, сгоняет их в одну громадную, темнеющую на глазах тучу. Первые редкие капли, коснувшись пынущей жаром земли, мгновенно испаряются, за ними тесными рядами спешат другие, и вот сплошная стена воды падает с небес. Слышатся резкие, словно удары бича, раскаты грома. Молнии сверкают, не переставая, будто задумали испепелить всё живое. Бурные потоки заполняют улицы. Через час так же внезапно ливень прекращается, небо светлее, пахнет озоном. К вечеру дождь зарядил с новой силой, на этот раз всерьёз и надолго: с небольшими перерывами на обед, он поливает землю неделю, другую. Погода окончательно портится, а с ней и наше настроение. Мечты о шоколадном загаре, тёплом, ласковом море в родном Калининграде становятся утопией. Наши взоры устремляются в сторону Турции или Египта (остальные варианты простому смертному не по карману).

Так незаметно в надеждах, тревогах, ожиданиях перемен к лучшему и проходит долгожданное лето. Природа и люди завершают очередной жизненный цикл. И никто, кроме Всевышнего, не знает, сколько ещё таких витков нам предстоит сделать. Несмотря на горести, беды и разочарования, человек упорно и настойчиво движется вперёд, надеясь когда-нибудь там, за горизонтом, в этой или в иной жизни встретиться с чудом, ради которого он и появился на свет.

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЗУЕВ

Михаил Зуев после окончания школы выпорхнул из родительского гнезда и больше двадцати лет отсутствовал. За всё это время в городе он появлялся дважды: на похоронах отца и матери. От них ему достался неказистый одноэтажный деревянный домик с приусадебным участком. В нём и поселился Зуев полгода назад с женой Антониной и шестнадцатилетними дочками-близнецами.

Друзей детства осталось мало, поэтому Зуев был рад встрече с одноклассником Сергеем Махловым — в детстве шустрым, худощавым пареньком, а сейчас солидным, по местным меркам, бизнесменом, держащим пару магазинчиков. Зуев имел хоровую профессию автомеханика. Руки золотые, голова ясная, в иномарках разбирался играючи. По предложению Махлова объединили они деньги бизнесмена с руками автомеханика, купили два гаража, подъёмник, кое-какой инструмент и организовали ремонтную мастерскую. Дела пошли, владельцы машин в очередь записывались — такого специалиста, как Михаил, днём с огнём не сыскать! Друзья сошлись семьями, отдыхали вместе, парились в бане Махлова, помогали друг другу по хозяйству. Зуев задумал построить новый дом. Жизнь как говорится, налаживалась.

Сергей и к сорока годам не перестал фонтанировать идеями. Для реализации одной из них он в субботу пригласил попариться нового начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства мэрии Вениамина Коржова. Известно, что в России все важные вопросы решаются в парной, а Махлов замахнулся приватизировать тихо умирающую городскую баню и на её базе построить современный фитнес-центр. Зуеву задумка понравилась, вот только общаться с Коржовым он наотрез отказался. Заявил другу:

— У меня на чиновников аллергия. Обманут — глазом не моргну.

Однако, в конце концов, уступил просьбе Сергея, пообещал прийти.

Коржов оказался мужиком неглупым, предложение поддержал, подсказал, как его реализовать с минимальными затратами, но при этом выторговал себе статус соучредителя, обещал, что вместе они горы свернут, настоящую буржуазную революцию районного масштаба совершат, и при этом покровительственно похлопывал друзей по плечу: “Не робейте, мол. Со мной не пропадёте”. Осторожный и осмотнительный Зуев прервал разглагольствования Коржова:

— Не гладко ли стелешь, Венья? Ведь ты нас толком не знаешь, откуда такая уверенность?

— Ну, почему не знаю. Тебя Михаилом зовут, говорят, классный автомеханик. Махлов в городе личность известная. Я о нём немало слышал. Чего нам осторожничать! Надо это болото расшевелить и самим в люди выбиваться. Лично я киснуть здесь не намерен и вам не советую.

Как водится, соглашение обмыли. Выпили прилично. Языки развязались. Незаметно перешли от дел к женщинам.

— А хотите, ребята, я вам свою историю расскажу? Только не выдавайте, она ещё не закончена. Я при должности, на виду, к тому же человек семейный, лишние разговоры ни к чему.

— Валий, — без особого энтузиазма на правах хозяина разрешил Махлов и заметил: — Что до меня, то я не любитель о своих похождениях распространяться, не та тема. Но других не осуждаю.

— Тогда за любовь, — с иронией предложил Зуев и наполнил стопки. Выпили. Настроение у Михаила было благостное, мысли в голове проплывали лениво: “Всю неделю без продыха крутился. Работы прибавилось. Надо ещё одного помощника нанимать, иначе не справиться. Попарились, выпили, расслабились. Чего цепляться к мужику? Пусть себе болтает. Может, подремлю немного под его трепотню”. Он поудобнее устроился на лежаке, положил под голову веник и прикрыл глаза.

Коржов вкусно похрустел квашеной капустой и начал:

— В городе я недавно. Служил в армии начальником квартирно-эксплуатационной части. Уволился на пенсию. Бывший командир предложил должность. Я согласился — дело знакомое, проблемы те же. Квартиру дали сразу,

правда, пока служебную. Жена осталась в городке, чтобы сын школу закончил. Приходится холостяковать. Готовить лень, питаюсь тем, что в магазине возьму. Стою как-то в кассу. Впереди меня женщина — продуктов набрала полную тележку. Поинтересовался, как же она такую тяжесть понесёт? Не нужна ли помощь? Она на меня глянула снисходительно:

— Вы, что ли, поможете? Мужики нынче стоящие перевелись! Как-нибудь управлюсь, не впервой.

— Вот, — говорю, — перед вами самый что ни на есть настоящий! Машина под боком, готов подвезти.

Вижу, колеблется:

— Не беспокойтесь. Это вас ни к чему не обяжет.

Согласилась. Доставил по адресу и визитку протягиваю:

— Готов стать личным водителем. Понадоблось — звоните.

Визитку взяла, поблагодарила. На том и расстались. Женщина интересная, зрелая. Но, думаю, не судьба. Однако, через неделю звонок.

— Вениамин Александрович, я тут в магазин собралась, не могли бы вы меня подвезти.

— С превеликим удовольствием, — отвечаю. Встретил, загрузил продукты в багажник, подъехали к дому. Перед тем как распрощаться, я предложил победать в ресторане. А чтобы на глаза знакомым не попадаться, съездить в соседний город. Она посмотрела на меня оценивающе и произнесла:

— С продолжением?

— Что с продолжением? — не понял я.

— Ресторан — с продолжением? — спросила она, а сама смеётся. Тут до меня дошло.

— Это как вам будет угодно. Настаивать не смею.

Через день мы отобедали в ресторане. Она коньячку немного выпила. Я за рулём. За жизнь поговорили. Спрашиваю:

— По какому адресу прикажите доставить?

— А вы что, забыли, где живёте? — отвечает и улыбается хитро.

Вот так и встречаемся почти полгода. Жаль, семья скоро приезжает, рисковать не хочется, придётся завязывать.

Под болтовню Коржова Зуев и впрямь задремал. Он то проваливался в сон, то всплывал, и тогда слышал обрывки фраз: "...не местная, недавно в городе... какая любовь: приятно обоим, симпатия взаимная без претензий и перспектив... есть и муж и детей двое... интересная женщина бальзаковского возраста... захотелось новых ощущений, наверное... муж неплохой, любит, но какой-то нерешительный, несмелый, по столу кулаком не стукнет, на своём не настоит... насквозь пропах бензином и машинным маслом... не яркий, не хваткий... в общем тюня-матюня... ей такие, как я, нравятся... изменяла и раньше".

В голове Зуева тихонько так тревожный звоночек зазвенел. Дремота исчезла. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, вслушиваясь в разговор между Махловым и Коржовым.

— Как зовут-то, может, я знаю, — с любопытством спросил Махлов.

— Откуда? Говорю, недавно приехала.

— А вдруг, — настаивал Махлов.

— Антониной величают.

У Зуева в груди похолодело, однако он продолжал делать вид, что спит.

— Тише, не ори, не глухой, — испуганно перешёл на шёпот Махлов, — Мишкину жену Тоней зовут. Давай выкладывай, какие ещё семейные подробности известны.

— Да не интересовался я, зачем. Меньше знаешь — спокойней спишь. Говорила, что муж то ли сантехник, то ли автомеханик, точно не помню. На работе допоздна пропадает.

Зуева чуть с лежака не сбросило. Он с силой сжал кулаки, в горле пересохло. Он лихорадочно стал вспоминать последние месяцы семейной жизни, искать подтверждения возникшим подозрениям и находил их. Несколько раз жена возвращалась поздно: то у какой-то новой подруги задерживалась, то в парикмахерской. В эти вечера была она какая-то необычная, медлитель-

ная, расслабленная, рассеянная, словно находилась не в доме, а другом, неведомом месте. Что-то в ней неуловимо менялось. Вроде бы прежняя, знакомая до мельчайших деталей Антонина, а вроде бы и нет. Что-то открывалось в ней затаённое, глубоко спрятанное и в такие дни выходившее наружу. Михаил замечал перемены, но, не находя им объяснения, забывал, тем более, что перемены эти были приятны. Жена становилась необычно ласковой, гладила по голове, прижималась, приговаривая: “Мишутка ты мой непутёвый”.

К действительности Зуева вернули слова Коржова:

— ...кто же тебе объяснит, отчего бабы гуляют? Многое от мужа зависит. Я свою в ежовых рукавицах держу. Попробовала бы она на сторону сходить — придушил бы! И она это знает. С мужиками проще и понятнее. Да мне эта психология не нужна, зачем в душу лезть. Я ведь не жениться на ней задумал. Обоим поразвлечься захотелось. Если сама в рот просится, почему не съесть?

Зуев с трудом подавил желание встать и съездить по сытой физиономии Коржова. Но он сдержался. Сейчас не это главное. Что ему с женой делать? Обида захлестнула, сердце сжалось в комок. Как же так: старался, оберегал, работал допоздна, чтобы в доме был достаток. Ну, чином не вышел — простой автомеханик. Не дано ему начальником стать. Но девки молодые, те, что на крутых иномарках приезжают, на него заглядываются, заигрывают. По глазам видно — не прочь с ним пофлиртовать. А он к своей Антонине присох. Не хотел обидеть резким словом, окриком, не настаивал на своём, стремясь сохранить в семье лад и покой. Вот и получил. “А может, не она?” — теплилась в душе надежда. “Может, совпадение? Хотя слишком много совпадений набирается. Сделать вид, что ничего не произошло? Проявить нерешительность? И жить дальше, как ни в чём не бывало? Хотя бы ради дочек. Или рубануть по узлу со всего маха, чтобы возврата не было?” Зуев принял решение и сразу успокоился, заворочался на лавке и произнёс вслух:

— Я, кажется, задремал? О чём балакали без меня? — спросил и нарочно закаптался. Чтобы скрыть волнение.

Махлов переглянулся с Коржовым и ответил:

— Всё о том же, о бизнесе. До баб пока дело не дошло.

— А я пойду, проветрюсь на веранду.

Зуев накинул махровый халат, подарок Антонины, прихватил мобильник и вышел из бани. Присел на скамейку и набрал номер телефона жены Махлова. Она отозвалась сразу, будто бы ждала звонка.

— Послушай, Катюха, ты позвони своему и домой его вызывай.

— Что стряслось? — разволновалась Екатерина.

— Серёга твой бледный, жалуется, что под лопаткой ноет. Как бы беды не было!.. Меня не выдавай, придумай что-нибудь. Лады?

— Конечно, конечно! Я сама к вам собиралась, Витёк, кажется, приболел, — согласилась Екатерина.

Зуев посидел ещё немного и вернулся в помещение. Махлов как раз закончил разговор с женой:

— Катюха звонила — сын жалуется: в боку колет. Она “скорую” вызвала. Вы заканчивайте и ко мне, посидим ещё чуток.

Он поспешно покидал вещи в спортивную сумку, оделся и исчез.

— Давай ещё один заход сделаем, ополоснёмся и на выход, — предложил Зуев.

Коржов заколебался:

— Может, хватит, напарились и выпили прилично?

— В самый раз: хмель выгоним, будем, как огурчики.

Они устроились на верхнем полке, и Зуев заметил, что Коржов ведёт себя как-то скованно, отводит глаза, старается не смотреть в его сторону.

— Надеюсь, пока я спал, вы все детали обговорили?

Коржов оживился:

— Ясность полная. Организуем аукцион — у меня свои люди в комитете по имуществу, — и упадёт банька к нам в руки. А приводить её в порядок — это уже твоё дело.

— Согласен. Ты вот что скажи, Веня, с женой моей Антониной ты случайно не знаком?

И по тому, как Коржов подобрался и вроде бы даже вздрогнул и удивленно вытаращил глаза, Зуев понял, что попал в точку. Знаком. Для него уже не имело значения, что ответит Коржов: сойдёт или признается. Последние сомнения и надежды на совпадение исчезли.

— Нет, конечно, я в городе всего ничего. У меня маршрут: работа, квартира. На выходные к теще мотаюсь, на блины. С чего это ты взял? — как бы оправдываясь, спросил Коржов.

— Да так. Вспомнил, что жена недавно в мэрию ходила по делам — по поводу подключения газа, с кем-то из начальства общалась. Вот я и подумал: не с тобой ли?

— Нет, я приём не веду, пока в дела вникаю. Мои заместители этим занимаются, — с облегчением пояснил Коржов. — Но если есть проблемы, обращайтесь впредь напрямую, помогу. Теперь у нас как-никак общие интересы.

“Это уж точно”, — про себя отметил Зуев, а вслух сказал:

— Сбегаю, бойлер включу и назад.

Коржов согласно кивнул.

Михаил ужом выскользнул из парной, плотно притворил за собой дверь, сработанную из шпунтованных пятидесятимиллиметровых ясеневых досок и тихонько задвинул щеколду, которую сам недавно установил по просьбе Махлова повыше, чтобы дети не могли добраться. На чердаке он перекрыл вытяжку, подкинул в печь сухих поленьев, ярко вспыхнувших в малиновом стальном чреве, и вернулся в раздевалку. Обеспокоенный Коржов долбил в дверь кулакам:

— Михаил! Ты где? Что за шутки! Зачем дверь закрыл? Я же здесь от жары сдохну.

“Для того и закрыл, чтобы сдох”, — с несвойственной ему злостью и каким-то удовлетворением подумал Зуев. Не обращая внимания на крики и шум, он оделся и, прежде чем выйти из бани, оглянулся, постоял на пороге, словно сомневаясь правильно ли поступил. Потом безнадежно махнул рукой и, сутулясь, пошёл к Махловым. В доме он застал только Екатерину с младшей дочерью.

— Сергей уехал на “скорой”. У Витька подозрение на аппендицит. Ты почему один? Я перекусить приготовила.

— Не до перекусов вам сейчас. Коржов не захотел оставаться, куда-то торопился. Я в бане прибрался и тоже до дома, до хаты. Ты не паникуй. Будет нужна помощь — звоните, не стесняйтесь.

— Ты на себя посмотри: бледный, в лице ни кровиночки. Не перепарился?

— Порядок в танковых войсках, — отшутился Зуев.

Дома он выпил залпом стакан водки, спросил Антонину, где девчата. Та ответила, что в спортивной школе. Михаил удовлетворённо кивнул, пробормотал: “Мне по делам надо”, — и хлопнул дверью.

Дотемна он бродил по улицам. Порывался вернуться в баню, но вспоминал откровения Коржова, и злость, тлевшая, как угли, вспыхивала снова. Михаил скрипел зубами и шагал дальше. Дважды ноги сами выносили его к зданию отдела внутренних дел. Чувство вины, понимание неоправимости совершённого боролись в нём с желанием отомстить за оскорблённое самолюбие, за разрушенные планы. Он, словно заблудившейся в лесу, сомневался, не знал, в какую сторону идти. И вдруг — как пелена с глаз спала, как обожгло ясное осознание несоизмеримости смерти, на которую он обрёл Коржова, и своей обиды. Бегом, сбивая дыхание, он рванулся к бане, трясущимися руками, ломая ногти, открыл засов, распахнул настежь дверь. На него пахнуло жаром. У порога лежало грузное тело Коржова с перекошенным багровым лицом и разбитыми в кровь кулаками.

— Поздно, — прошептал Зуев. Ноги у него подкосились. Он осел, привалившись к стене, и застонал долго, протяжно, будто всё горе, накопившееся в его душе, вырвалось наружу.

Так и застал их Махлов уже за полночь: голого, остывшего Коржова и одетого недвижимого, то ли полумёртвого, то ли полуживого Зуева. Сергей сразу сообразил: Михаил слышал его разговор с Коржовым. Неясно было, что произошло потом и почему Коржов оказался мёртвым. Махлов растолкал друга, макнул его голову в таз с холодной водой и, продолжая трясти, крикнул прямо в ухо Михаилу:

— Что произошло?

Михаил захлопал глазами, оттолкнул Михаила и, с трудом ворочая языком, произнёс:

— Я убил Коржова. Вызывай милицию.

Больше от него Сергей добиться ничего не смог. После недолгих размышлений он сделал два звонка. Один в милицию — сообщил о несчастном случае со смертельным исходом. Второй — Антонине, сказал, что, наверное, Михаил убил их общего знакомого по фамилии Коржов.

Сергей, подавленный происшедшим, сутулясь, сидел на лавке. Он вздрогнул от грохота распахнувшейся настежь двери: Антонина в домашнем халате поверх ночной сорочки, зарёванная, неприбранная стояла на пороге.

— Где?.. — выдохнула она.

Махлов молча повернул голову в сторону раздевалки. Антонина ринулась туда. Через мгновение раздался сдавленный крик и глухой стук упавшего тела. Махлов бросился в раздевалку: Антонина лежала на полу. Потом она очнулась и на коленях подползла к сидевшему неподвижно Михаилу, навалилась на него всем телом, причитая: “Мишенька, прости меня, если можешь” — и заплакала навзрыд. Зуев с трудом оторвал её от себя, оттолкнул и произнёс неожиданно твёрдо и чётко:

— Уйди от греха подальше. Я за себя не ручаюсь, — и вновь замер.

С улицы послышался сигнал милицейской сирены. Махлов вышел встретить и вернулся с оперативной группой. Следователь осмотрел место трагедии и спросил:

— Кто может внятно объяснить, что случилось?

Зуев с трудом, опираясь о стену, поднялся и выговорил:

— Я убил этого человека.

Антонина завывала. Следователь поморщился, словно от зубной боли, и попросил:

— Да успокойте её, в конце концов, — и, обращаясь к Зуеву, сурово добавил: — Нельзя ли поподробнее?

— Нет, всё остальное я расскажу в милиции...

МАРИНА УЛЫБЫШЕВА



ЧТО БЫЛО – ТО БЫЛО

* * *

Родная по крови. Родная по телу.
Родства наших душ тебе не обещаю.
Прости меня, мать! Я тебе очужела,
я нечто иное в себе ощущаю.

Стекает по каплям бездонное время.
Деревья корнями к земле прирастают.
Но в небо взлетает древесное семя
и нечто иное в себе ощущает.

Нелепо впадать в запоздалую ярость,
мечты запоздалые мерить на вырост.
И точит тебя несвобода и старость,
как дерево точит земельная сырость.

Туда, где российское небо светает,
меня молодая судьба заметелит.
А горечь твою я ещё испытаю.
А слёзы твои ещё очи застелют.

УЛЫБЫШЕВА Марина Алексеевна родилась в городе Павлодаре в 1958 году. Закончила Омский политехнический институт и Литературный институт имени Горького. Работала инженером, художником-оформителем, журналистом. Сейчас — редактор программы “Родной образ” (“Ника ТВ”). Автор нескольких поэтических книг. Живёт в Калуге.

* * *

Вечер поздний, вечер зимний.
Дом с холодною скамьёй.
Нелюбимая с любимым —
подсудимая с судьёй.

Он поднимет взгляд тяжёлый,
в нём лихая мысль горит:
— Отпущу тебя на волю.
Так ступай же! — говорит.

Человек ты или чёрт ли?
Брошусь в темень за порог.
А мне воля костью в горле
так и станет поперёк.

* * *

Под вечер собираемся за стол.
Горячий чай. Звоночки чайных ложек.
Из рук твоих стакан упал на пол.
О, как ты со стеклом неосторожен!

О, как неосторожен ты со мной.
Но я уже не жалуюсь, не плачу.
Лишь становлюсь всё тоньше и прозрачней.
И, может, стану облаком весной.

Меня ночами обнимает страх.
То снится скит, то долгие скитанья.
Но сколько можно о непониманье?
От этого и так звенит в ушах.

Родившись от небесного огня,
душа небесный смысл повсюду ищет.
И с каждым днём становится всё чище.
И ты всё чаще смотришь сквозь меня.

* * *

Уже я не помню того,
Как пить дать — забыла.
И что ж ворожить-ворошить...
Что было, то — было.

То сплыло, как пух по воде,
Как жёрнов, истёрлось.
Осталась мука да труха.
Слюбилось, притёрлось...

Быльём-ковылём поросло,
травой-полынью,
Упало в ердань-полынью —
стерляжью, налимым,

и в полыме той полыньи
сверкает, как щука,
да бьётся, как рыба об лёд.
Такая вот штука.

И медленный розовый след
уносит течением
далёко, далёко, мой друг,
далёким свечением.

СЫН

Так я сына люблю, что об этом боюсь говорить.
О любви говорить всё равно что деньгами сорить.
Спотыкается нежное слово в груди, не идёт с моих губ,
потому что настолько он мой и настолько мне люб.

О, как долго, как долго его я несла на руках.
Прижимала, как знамя, отбросив предательский страх.
Защищала, как крепость, стояла влитой, как броня,
чтобы кто-то не отнял, не отнял его у меня.

Я живую водою хотела его напоить.
Я от целого мира хотела его утаить,
своровать у судьбы. За него и болеть, и служить,
но все беды его я одна не сумела прожить.

Мой птенец большеротый, смотри: я от горя смеюсь.
Я люблю тебя так, что уже ничего не боюсь.
Позовёт тебя кто — взгляд не дрогнет, к дверям провожу.
И так буду любить, что и слова тебе не скажу.

* * *

Господи! Взыщи меня из ада!
Пал мой дух, и свет во мне погас.
День прошёл — я ничему не рада.
Ночь прошла — я не сомкнула глаз.

Шевелю незрячими руками
по стене от двери до стола.
Воздух затвердел и стал, как камень.
А земля, как лодка, поплыла.

Этого ль душа моя хотела,
распуская пёрышки на свет,
наряжаясь в праздничное тело,
заводя будильник зим и лет?

* * *

Я в храме давно не была.
А мне невозможно без храма.
Не окна, не двери, не рамы,
а то, что прозрачней стекла,
закатного неба алей
и охры самой золотистой,
протяжней, чем шелест аллей,
волшебнее птичьего свиста...
Я шла, позабыв, кто есть кто.
Оно меня чудом настигло
и дало надежду на то,
что я до конца не погибла.

ВЛАДИМИР КАЗМИН



ФАШИСТ

РАССКАЗ

Безмолвные глазницы разбитых окон зияли пустотой брошенных жилищ. Оборванные и обгоревшие занавески развевались на сквозняке в некогда благополучном многоэтажном доме. Они, словно белые флаги, кружевным тюлем свисали над искромсанными осколками снарядов стенами. Это был мой дом...

Рядом стояли такие же раненные бетонные исполины. Осеннее солнышко играло, переливалось в битом стекле, под ногами шуршала мелодия недавних обстрелов. Тишина утреннего города вместе с этим битым стеклом режуще ворвалась в моё сердце и душу. Во дворе на лавочке сидел седой как лунь человек. Его белая, словно у отшельника-монаха, борода вздрагивала, и казалось, что он рыдает. Я подошёл ближе и с удивлением обнаружил, что старик читает вслух с экрана ноутбука последние новости из интернета. И был это вовсе не старик, а мой сосед, инвалид-чернобылец, Влад. Я поздоровался, а он, не отрываясь от экрана, буркнул слова приветствия и продолжал читать:

— В течение вчерашнего дня обстановка оставалась напряжённой.

Украинские фашисты продолжают игнорировать достигнутые договорённости и обстреливают населённые пункты Донецкой и Луганской народных республик. Зафиксировано неоднократное нарушение перемирия со стороны карателей:

КАЗМИН Владимир (Прокопенко Владимир Афанасьевич) родился в поселке Михайловка, на Луганщине. Работал в шахте. Воевал в Афганистане. Окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т.Г. Шевченко и Высшие литературные курсы Литературного института им. А. М. Горького (семинар Ю. П. Кузнецова). Член Союза писателей России. Председатель Луганской писательской организации им. В. И. Даля. Автор нескольких книг поэзии и прозы. Лауреат Международной литературной премии им. Юрия Долгорукого и ряда других премий.

— в 08.20 из автоматических станковых гранатомётов карателями были обстреляны позиции армии Юго-Востока, расположенные в Никишино. В результате один ополченец получил ранение;

— с 09.00 до 13.00 периодическим огнём налётам из самоходных артиллерийских установок подвергалась южная окраина села Смелое. Разрушены два дома. Тяжело ранены два мирных жителя;

— в течение дня продолжались обстрелы жилых кварталов Донецка. С 12.00 до 15.20 с огневых позиций из населённых пунктов Пески, Опытное и Авдеевка с использованием ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня фашистами совершены налёты на жилые кварталы и промышленные объекты административного центра. В результате повреждены два дома, здание продуктового магазина, сгорело два автомобиля, принадлежащих мирным жителям. Потери среди мирного населения уточняются.

Трёхсторонняя рабочая группа из состава миссии ОБСЕ на Юго-Востоке Украины сегодня работала в Дебальцево. Основное внимание было уделено сбору, обобщению и анализу данных обстановки, а также фактов нарушения режима прекращения огня со стороны украинских фашистов.

Фашистами продолжается перегруппировка своих войск и наращивание сил и средств, привлечённых для участия в карательной операции на всех направлениях.

— Вот такие дела, дружище! — Влад отложил в сторону ноутбук и стал рассматривать меня с головы до ног, словно инопланетянина, и, поглаживая свою седую бороду, спросил:

— Откуда ты взялся, с неба, что ли, свалился?

— Приехал вот...

— А-а... Ну, что, видишь, какой беды натворили?

— Вижу. Все живы?

— Слава Богу, живы, отсиделись в подвале. Нынче полегче стало, меньше бахают в городе, всё больше по окраинам и в тех посёлках, где закрепились нацики. Недавно дали электричество и воду, а вот со связью проблема, бегаю по двору, ищу, где интернет возьмёт. Новости узнать. По телевизору брешут со всех сторон. Как ты?

— Что я? Как ты, рассказывай! Бороду отпустил, словно бабай какой, не узнать тебя, Влад.

— Много чего теперь не узнать, двор наш, видишь, тоже не узнать, воронки кругом. Стоянка вон сгорела, три машины в пепел. Беда...

Автостоянка с развороченным металлическим забором и обгоревшим, разбитым шифером крытых мест была практически пустой, только чёрные остовы нескольких машин сиротливо стояли посередине площадки. Я ещё раз осмотрелся вокруг, и снова защемило что-то внутри. Наш шумный, весёлый и всегда многолюдный двор теперь был чужим, угрюмым, и только рядом с отремонтированной лавочкой и наспех сколоченным столиком, за которым сидел Влад, к моему удивлению, зацвёл куст сирени, выпустив на Божий свет несколько белых веточек. Эти грозди не были похожи на весеннее благоухание, они, словно слёзы людского горя, вспыхнули в это осеннее утро в расстелянном дворе. Невероятная картина сирени, цветущей на фоне обожжённого артиллерийским налётом двора, завораживала и напоминала о том, что жизнь на этой земле продолжается, что не всё здесь вокруг мертво и убито...

— Да, это просто Божье чудо. — Влад обратил внимание, что я с удивлением и восторгом рассматриваю раненный осколками куст сирени. — Я сам не поверил глазам, когда увидел, что сирень зацвела. Вот, видишь, рядом разорвалась мина и, наверное, в земле произошли какие-то термические изменения, поэтому распустились цветы. Хотя как знать?..

— Нет, Владик, это Божий знак, что вы здесь не одни живые души...

— Как знать...

Мы ещё долго сидели у цветущего военной болью куста сирени, говорили о друзьях-соседях, о последних месяцах гражданской бойни, о хрупком перемирии, о том, что ждёт всех нас в будущем, о житье-бытье, о погибших и искалеченных горожанах. О том, что произошло с людьми, которые недавно жили и работали вместе, а теперь взяли в руки оружие и убивают друг друга.

— А помнишь Серёгу Головко, что работал на шахте инженером, и его отпрыска Ваську? — спросил Влад.

— Как же, помню, конечно, его сынок скакал на майдане вместе с активистами “Правого сектора”, а потом, после референдума, исчез куда-то.

— Фашист, истинный фашист, и откуда он выродился такой? Зверствует, сволота, дошли слухи, что сейчас в батальоне “Айдар” вместе с наёмниками орудует в оккупированном городе Счастье. Казаков донских расстреливает, поговаривают, грабежами занимается, вот тебе и тихоня из хорошей семьи! Мир перевернулся, истинно говорю. Я с Сергеем Петровичем не один год проработал на шахте. В Чернобыле были вместе, штольню били под реактор в восемьдесят шестом. Петрович — душа-человек, мухи никогда не обидел, и слова от него, несмотря на то, что начальник, грубого не слышал, а сынок — фашист! Во как!

Я хорошо знал Сергея Петровича Головко. Ещё ранней весной, до всех этих трагических событий, мы разговаривали с ним о том, что происходит на Украине, тогда, пожалуй, только ленивый не говорил, что в Киеве в результате государственного переворота к власти пришла хунта — это были не эмоции, все здравомыслящие люди понимали, к чему всё это может привести.

Мы тогда говорили, что двигательной силой, совершившей вооружённый государственный переворот в Киеве, стали откровенно неонацистские организации, главная из которых — “Правый сектор” во главе с претендующим на роль украинского фюрера Дмитрием Ярошем.

Сергей Петрович переживал за сына, рассказывал, что ещё прошлой осенью Вася бросил учёбу и всё это время участвовал в событиях на майдане.

— Звонит редко, — горевал Петрович. — Я-то понимаю, что рядом с “Правым сектором” стоят все остальные неофашистские военизированные организации. Кто в этой так называемой “Самообороне майдана”? Горько осознавать, что твой сын с теми, кто не стесняется использовать нацистскую и неонацистскую символику. Слава Богу, что мой батя, боевой офицер, ветеран Великой Отечественной, не дожил до этого позора. Если бы он увидел на плече внука татуировку фашистской свастики и кельтский крест, собственноручно придушил бы Ваську.

Всплыли наружу, как из гнойника, идеи украинских неонацистских организаций как ОУН, УПА, дивизия СС “Галичина”, и всё это воплощается в жизнь “Правым сектором” и “Самообороной майдана”. Но дело не только в них. Кто финансирует это мракобесие? Англосаксы вкладывают миллиарды в этот хаос, понятно, что всё направлено на создание враждебного государства, прежде всего, враждебного России. Этот гнойник нужен Западу! И к чему всё это приведёт? Только к войне!

Я также рассуждал, что политическое крыло неонацистов — партия “Свобода” — имеет в новом украинском нелегитимном правительстве почти половину портфелей, а её лидер Олег Тягнибок, как всем известно, входит в тройку лидеров “Евромайдана”. Однако и “Свободой” вопрос не ограничивается. Откровенно русофобский и крайне националистический характер носит деятельность и других членов киевской коалиции — “Батькивщины” и “Удара”. Эти партии также выступают с позиций силового подавления законных прав русского народа и русскоязычных граждан Украины, проводя принудительную их ассимиляцию и украинизацию, стремясь к созданию “национальной Церкви” и героизации бандеровских военных преступников. И это только начало!

Мы выкурили с Сергеем Петровичем не одну сигарету во время того разговора, проводя исторические параллели. Когда нацистов в Германии начала тридцатых годов прошлого века арестовывали за погромы и вооруженные нападения, геббельсовская пропаганда вопила о подавлении воли народа, но придя к власти, фашисты любую попытку публичного выражения недовольства определяли как действия “врагов германского народа”, против которых тотчас же возбуждались уголовные дела. Все это, один к одному, теперь происходит и на Украине. Мы видим, как амнистированы все, кто с оружием в руках захватывал административные здания, убивал сотрудников правопорядка, подвергал публичным пыткам представителей законной власти и журналистов.

Этот разговор с Сергеем Петровичем произошёл перед одесской трагедией 2 мая, когда весь мир всколыхнул фашистский пожар в Доме профсоюзов, где были многочисленные жертвы. Но сейчас, когда Влад сказал, что “Вася — истинный фашист”, я пытался понять, как грамотный молодой человек мог встать на адов путь насилия, убийства и ненависти.

Вася был обычным малым...

Он родился 19 августа 1991 года. Папа, Сергей Петрович, говорил тогда: “Родился человек новой формации, символически родился в день “московского путча”, родился человек и жить ему в новом, грядущем двадцать первом веке долго и счастливо!”

Вася ходил в детский сад, потом в школу, жил в обычной, благополучной, интеллигентной семье. Папа был инженером на шахте, профессионалом своего дела, мама работала заведующей складом в магазине, родители ему желали всего самого лучшего в этой жизни и, как могли, старались обеспечить своему чаду светлое будущее. С самого раннего детства ему ни в чем не отказывали, оберегали сынишку от “тлетворного” дворового влияния. Когда пришло время поступать в институт, папа Сергей Петрович Головка заплатил одну тысячу двести долларов для того, чтобы его сын Вася учился в престижном столичном, киевском вузе.

И вот цветущий каштанами Крещатик обнял юнца. Вася Головка приехал в Киев, как говорится, грызть гранит науки, с этого времени и началась история создания “человека новой формации”.

Киевская профессура в духе “незалежной Украины” насаждала своим слушателям идеи исключительности украинской нации с её “великой историей”, а все трагедии прошлого списывались на “старшего брата”, на Россию. На первых курсах института студенческую среду захлестнула пропаганда государственной истерии по поводу голодомора тридцатых годов, который принято было считать геноцидом украинского народа, развязанным коммунистической Россией. Вася Головка, как прилежный студент, проникся темой и даже написал курсовую работу о голодоморе на Украине, но уже тогда его влекло к “вильним львовским хлопцам”, и на очередную археологическую студенческую практику он поехал не на раскопки античной Ольвии, а в полевые лагеря неонацистов Западной Украины. Его влекло к романтике факельных шествий, заимствованных у германских нацистов, а лозунги “Украина превыше всего”, “Слава нации — смерть врагам” всё явственней соответствовали душевным порывам молодого человека.

Но больше всего его привлекали разухабистые битвы футбольных фанатов, где практически всегда царила вседозволенность, где его привлекала безнаказанность лихих пацанов. Именно там, у стен стадиона “Динамо”, он впервые почувствовал вкус крови...

На старших курсах института Вася всё реже стал приезжать домой в Луганск. Мама, Светлана Герасимовна, беспокоилась за своего сынишку: как он там, в столице, не голодает ли? Каждый месяц посылала ему крупные переводы денег, порой даже втайне от отца, названивала ему на мобильный. Но Вася обрывал её на полуслове: “Мама, перестань, что мне делать в вашем *Лоханске*, успокойся, всё нормально...”

Сергею Петровичу с постоянными шахтёрскими проблемами было не до Василия, только однажды, когда он приехал в Киев, в Министерство угольной промышленности Украины, между отцом и сыном произошёл серьёзный разговор. Было это летом 2013 года.

Они сидели в уютном кафе на Крещатике, болтали по-житейски, и тут Сергей Петрович обратил внимание на татуировку на плече Василия — рисунок едва виднелся из-под лёгкой, просвечивающей футболки. На фоне фашистской свастики была изображена голова волка с оскаленными зубами. Сергей Петрович был потрясён.

— Вася, что за бред? Ты зачем наколот себе эту пакость?

— Папа, перестань, ты ничего не понимаешь. Свастика — это всего только приветствие, пожелание удачи, благоденствия. Это один из самых древних и широко распространённых графических символов, который ис-

пользовался многими народами мира, это символ движения, жизни, Солнца, света, благополучия.

— Что ты мелешь, сынок! Этот крест был нарисован на крыльях фашистских самолётов, которые бомбили наши города семьдесят лет назад! Этот крест красовался на броне гитлеровских танков, а твой дед, Пётр Васильевич Головка, не жалея собственной крови, расстреливал их из своей пушки на Курской дуге. А твой прадед, Василий Головка, в честь которого был ты, дорогой, назван в этой жизни, погиб в Испании, воюя с фашистами!

— Папа, перестань! Когда это было? Сейчас другие времена. И вообще, это моё дело, я не мальчик!

— Нет, не перестану, и это моё дело! Выведи эту дрянь со своего тела!

— Ладно, ладно, успокойся, давай сменю тему. Да, кстати, я скоро еду в Прибалтику, и мне не помешали бы деньги. Ты не можешь мне выделить долларов пятьсот?

— Зачем ты едешь?

— Я получил грант от одного международного благотворительного фонда. И на три месяца еду учиться в Вильнюс, осваивать сетевой менеджмент в сфере информационных интернет-технологий.

— А как же институт?

— С институтом я разберусь сам, не волнуйся. Папа, мне на первое время нужны деньги, это очень перспективное направление, поэтому если можешь, помоги.

Сергей Петрович не знал тогда, что это была их последняя встреча, что в считанные месяцы конца 2013-го — начала 2014 года жизнь в стране, да и во всём мире, перевернётся, да и никто не знал тогда, всего лишь год назад, что на Украину придёт война.

Сергей Петрович поменял часть своей зарплаты и командировочные гривны на доллары и вручил их сыну.

— Свастику выведи, я в тебя верю, сынок, прощай!

— Пока, батя, не переживай, всё будет нормально, мы победим...

Сергей Петрович с тяжёлым сердцем уехал в Луганск и снова окунулся в работу. От сердца вроде немного отлегло, но в душе боль за сына не унималась. Он не знал тогда, что его Вася в Прибалтике осваивал не мирную перспективную профессию, а тренировался в военном лагере “Правого сектора”, осваивая новую профессию — убивать...

Потом были события декабря, когда в центре Киева, словно по мановению волшебной палочки, выросли баррикады протестующей молодёжи. Требование немедленной интеграции в Европу стало главным козырем в руках манипуляторов майдана, которые всё больше завладевали сознанием толпы, разжигая ненависть. Невидимая рука направляла этот спланированный бунт, а попустительство власти Януковича привело к немыслимому хаосу: власть шарахалась из одной крайности в другую, её бездарная политика привела к массовым беспорядкам. После того как былброшен у новогодней ёлки главный аргумент этой спланированной акции: “Детей бьют!” — майданный процесс стал неуправляемым. Запылали крыши и административные здания, на головы защитников правопорядка посыпались булыжники и бутылки с зажигательной смесью.

Вася Головка всё это время был в центре событий. После осенних сборов в Прибалтике он был подготовленным штурмовиком и в физическом, и в идеологическом плане. Окутавшись чёрно-красным флагом “Правого сектора”, он стал одним из самых активных боевиков. Майдан вооружался, и в руках фашиствующих молодчиков, помимо арматуры, цепей, камней, бит и бутылок с “коктейлем Молотова”, появилось огнестрельное оружие. Полилась кровь...

Вася Головка выжил той ночью под пулями снайперов, которые били без разбора и в ту, и другую сторону. Его только слегка зацепило, ранив в руку, но теперь и он стал одним из героев майдана. Вот оно — единение стра- ны на крови!

Кровавый, грязный февральский снежный ком покатился по всей стране. К власти пришла хунта во главе с Турчиновым, Яценюком, Тягнибоком,

Парубием, Ярошем... Зачистка информационного и оппозиционного поля, репрессии в отношении оппонентов, нагнетание в стране националистического психоза, тотальное навязывание позиции майдановцев как единственно народной стало характернейшими чертами нового режима. И всё это оправдывалось пропагандистским лозунгом: “Не предадим Небесной сотни!” Украинцу пронзило фашистским крестом с Запада на Восток и с Севера на Юг, фашизм нестерпимо больно уколол Крым. И полуостров, словно величественный корабль, отчалил от враждебных берегов и двинулся домой, к родным берегам России. Всколыхнулся возмущённый беспределом киевской власти русский Юго-Восток. Это было началом гражданской войны...

Воспоминания одолевали меня в холодной пустой квартире, глядящей во двор разбитыми окнами. Я всматривался в темноту ночного города, пытаясь обнаружить хоть какие-то признаки жизни. Там, за моим балконом, ещё несколько месяцев назад даже ночью не утихал, сияя тысячами огней, город-труженик, а теперь я с душевной болью и грустью всматривался в толщу давящей всё живое тьмы. Изредка одинокие фары ночного такси крадучись прокалывали лучами света пустынные улицы, а с северной стороны Луганска вспыхивали зарницы глухих разрывов. Перемирие...

Только под утро я уснул под какофонию лая голодных бездомных собак, что тревожным звонким эхом носилась над домами обезлюдевшего квартала.

Проснулся я с тяжёлой головой, когда солнце уже было высоко. Вспоминая вчерашний день, пришёл к удивительному выводу: какое огромное количество событий может поместиться в коротком промежутке времени, сконцентрироваться, соединиться в единый клубок жизненных трагедий, переживаний, духовных и сердечных движений, отчаяния, надежды, веры, безрассудной ненависти и любви, радости встреч и горечи расставаний, тяжести разлук, и всё это — в одном кровавом дне войны.

Я вышел во двор и снова увидел Влада, как и вчера, сидящего за столиком у куста сирени, только белый цвет лепестков стал коричневым, кисти пожухли, осенняя хмурая и холодная ночь вернула взбунтовавшееся растение в реальность.

— Смотри, сосед, что я вычитал в интернете, — сказал Влад, поглаживая седую бороду:

“В мифологии нацизма важнейшее место занимало построение государства арийской расы, государства единой германской нации. Нацисты подчёркивали, что представляют себя в качестве последнего рубежа — спасителей европейской цивилизации от орд, идущих с Востока, от азиатской тьмы. Мифология нынешней киевской хунты включает в себя построение государства украинской нации, украинскому языку придаётся сакральное значение, его насаждение и искоренение русского в сферах государственно-образовательной жизни является для дорвавшихся до власти путчистов тотальной задачей. Если говоря уже об откровенно расистской идеологии “Правого сектора” и его составляющих. Одна из структур внутри “Правого сектора” называется весьма откровенно: “Белый молот”. Причём евроинтеграция политическими силами, образовавшими правительство Яценюка, трактуется и массово пропагандируется именно как сакральный акт, бегство в цивилизованную Европу, к особым, полноценным “европейским” ценностям от “варварско-азиатской”, неполноценной московской орды. Есть некая высшая ирония в том, что само слово “майдан” имеет азиатское происхождение и вошло в украинский язык, скорее всего, от оставившей заметный след в украинской культуре татаро-монгольской орды”.

— И вот ещё что пишут умные люди: “Крайне националистическая позиция раскольнического “киевского патриархата” и униатской “украинской греко-католической церкви” являются религиозной основой майдана и политики захвативших власть украинских путчистов. УГКЦ имеет и вполне насыщенное бандеровско-нацистское прошлое. Религиозно-идеологическая роль “киевского патриархата” Филарета Денисенко в системе координат новой псевдовласти совпадает с тем местом, которое отводилось вождями Третьего рейха в жизни Германии нацистской “Немецкой Евангелической церкви” Людвига Мюллера. И точно так же, как нацисты ставили своей целью

создание единой национальной лютеранской Церкви рейха, современные украинские неонацисты одним из важнейших пунктов программы построения украинского Рейха считают создание единой национальной “поместной” украинской церкви, к которой должно присоединиться никак не становящееся “свидомым” православное большинство. Правда, наблюдаем мы и отличие от фашистской религиозной политики, причина которого, очевидно, кроется в комсомольско-партийном прошлом многих нынешних украинских борцов за построение государства единой нации. Речь идёт о том, что стоящую поперёк планов хунты УПЦ Московского Патриархата, объединяющую подавляющее большинство православных Украины, стремятся не по-немецки загнать сразу на нелегальное положение “исповедующей церкви”, а внутренне сломать по советской методике 20-х — 30-х годов прошлого столетия, заставив её провозгласить противную совести неправду. Ну, а затем, разумеется, и в фашистском, и в большевистском сценарии роль несогласной Церкви одинаково печальна — либо ассимиляция, либо уничтожение”.

Влад, наконец, заметил, что я почти не слышу его слов. Я смотрел на зияющий дырой купол храма Александра Невского. Эту церковь неподалёку от наших домов построили совсем недавно. Золочёные маковки храма сияли в утренних лучах, но чёрная дыра словно хохотала, исполняясь бесовской радостью, противостоя Божьему Свету. Вчера я этой раны не заметил. Это ли не символ всего происходящего на нашей земле?

— Да, в церковь попал снаряд. И кто всё это будет восстанавливать?

— Восстановить-то восстановим, Влад. А вот кто будет зашивать дыры в душе человеческой? А где сейчас Сергей Петрович Головкин, в городе?

— Ты что, не знаешь? Помер, сердешный, земля ему пухом. Дневал и ночевал на шахте всё это время, когда каратели били по городу. В копёр шахты больше десятка снарядов попало, подстанцию разбили, контора практически полностью сгорела, а Петрович всё ходил на работу, переживал за шахту-кормилицу. Затопило нашу красавицу, каюк шахте... И кто это всё будет восстанавливать... А тут ещё сыночек Васёк — фашист... Не выдержало сердце. Пришёл Петрович с работы, лёг и помер. Ты же знаешь, что только этой весной они вместе со Светланой Герасимовной переехали в новый собственный дом.

— Да, я помню, как радовался Сергей Петрович своей усадьбе, мечтал виноград развести, сад высадил, хозяин был, царство ему небесное...

— А хоронили-то как его! Под бомбежкой, в конце августа это было. Лютовали фашисты, видать, и Васёк снаряды пулял по Луганску, какое родительское сердце выдержит? Гробовщики и ополченцы приехали — это потом Светлана Герасимовна рассказывала — и говорят, мол, прикопайте хозяина в огороде, потом перезахороните, но Светлана настояла, чтобы по-человечески похоронили, денег гробовщикам отвалила. И похоронили Петровича на старом кладбище. На новое ополченцы их не пустили — там страшные бои были, с танками и артиллерией.

— Не укладывается всё это в голове, Влад.

— А у кого оно укладывается? Светлана Герасимовна в те дни перебралась к нам в подвал, здесь безопаснее было, здесь и помянули Петровича при свечах. Вот так-то, дружище!

А с чего всё начиналось? Вспомни. Первым законом новой украинской “власти” стала отмена закона о региональных языках, гарантировавшего, пусть и во многом декларативно, элементарные права русскоязычного большинства на местном уровне. Да, этот пастор-президент Турчинов не подписал тогда отмену закона, но не потому, что возмущился фашистским характером этого действия, а потому, что, мол, отмена “несвоевременна”. То есть надо выдержать лицемерную паузу, все зачистить, а потом ударить всей фашистской мощью по русским. Я вот, литовец по своим корням, но весь этот фашизм не терплю, до мозга костей ненавижу! Понимаю, что именно русскому народу киевской хунтой уготована роль изгоев на родной земле.

— Это понятно, Влад, я знаю, кто готовил новый закон о языках — комиссия Верховной Рады под председательством оголтелого русофоба и неонациста Яворивского при участии фашистки Ирины Фарион. Авторы ново-

го закона хотели даже учредить “языковую полицию”, но пока, чтобы не будоражить европейскую общественность, “милостиво” решили ограничиться вымарыванием любого упоминания в этом законе языка русского, являющегося основным языком общения на Украине. Вспомни, что среди первых “робких” шагов хунты был запрет российских телеканалов и молчаливое одобрение уничтожения по всей стране памятников уже не только советским, но и выдающимся русским деятелям.

— Как не помнить! Чего это я и бегаю по двору с ноутбуком? Не берет в доме интернет! А украинские каналы смотреть по телеку тошно: переворачивают все с ног на голову, мы для них все здесь террористы, сепаратисты и бандиты!

— Это так и есть, Владик! Ты давно на себя в зеркало смотрел? Ты и впрямь настоящий бандит с большой дороги, — я улынулся и обнял соседа. Влад, поглаживая седую бороду, лукаво прищулив глаза, сказал:

— Я дал себе зарок: не брить бороды, пока всё это бесовство не закончится.

— Ладно, ладно, шучу я. Вот ты литовец, Влад, а говоришь по-русски. Меньше ли ты стал от этого литовцем?

— Я так скажу: мы все, когда жили в Советском Союзе, были больше литовцами, украинцами, грузинами, чем сейчас. Полмира говорит на английском, так что же, все они англичане или американцы? А теперь что, нас специально загоняют в хуторское болото? Великий русский язык был и остаётся универсальным языком межнационального общения более чем для сотни национальностей и народностей огромного пространства под названием Русский Мир! Да и за его пределами... Недавно в городе Счастье убили донского казака. Убили лишь за то, что нашли в его квартире казачью форму и георгиевские ленточки, а он никаким боком к ополчению не был причастен, под обстрелами ходил на работу на Луганскую теплоэлектростанцию, давал свет всем нам. Вот тебе и ещё один результат майдана...

— Я думаю, Влад, киевской хунте аукнется создание нацгвардии. Кто сейчас в этой гвардии? Прежде всего, боевики “Правого сектора”, вроде Васьки-фашиста, “Самооборона майдана”, но большинство-то в этой гвардии — нормальные, только зомбированные пропагандой угрозы российской агрессии молодые украинцы, которые не хотят умирать, не слишком понимающая, за что. И они со временем могут прозреть и повернуть, как говорится, штыки на Киев.

— Это так, но пока они прозреют, будет уже поздно, нас всех здесь сравнивают с землей, поэтому нужно давать им чаще под зад мешалкой, чтобы ума прибавилось. Ты куда собрался?

— Хочу на шахту проехать, посмотреть, что там и как.

— Чего на неё, расстрелянную, смотреть, сердце рвать... Ну, давай, поезжай, соседушка, а я пойду за гуманитаркой. Пенсию четвёртый месяц не дают, спасибо России — не даёт с голоду помереть!..

Мы расстались с Владом, и я поехал по ожившему с утренним светом городу. Везде были видны следы недавних обстрелов, по тротуарам понуро брели прохожие, спешили справить свои дела до наступления темноты. Оборванные провода и троллеи удавкой свисали со столбов. Подъезжая на маршрутке к шахтёрскому посёлку, я ужаснулся тем разрушениям, что предстали перед моими глазами. Впереди виднелся разбитый снарядами копер шахты. Маршрутка остановилась в центре посёлка, пассажиры благодарили водителя за поездку, я протянул ему три гривны, он удивлённо посмотрел на меня:

— Оставьте себе на хлеб.

И только тут я понял, что общественный транспорт в городе бесплатный.

— Спасибо, уважаемый, а до шахты вы не едете?

Водитель с ещё большим удивлением посмотрел на меня в зеркало, я снова поблагодарил его и вышел на исковерканный разрывом мины тротуар. Потом мне рассказали, что именно здесь нашли свою смерть двенадцать человек: женщин, стариков и детей, почти столько же были искалечены осколками при разрыве фашистского снаряда.

Дорога перед шахтой была перекрыта бетонным заграждением, у которого стояли вооружённые ополченцы. Меня остановили и объяснили, что проход к предприятию закрыт.

— Здесь ни конные, ни пешие не ходят, вокруг десятки неразорвавшихся мин и снарядов. Если надо в контору, приходите к семи часам утра, здесь собираются работники шахты, и мы организованно всех проводим, а к двенадцати часам — обратно, — объяснил мне нынешние порядки ополченец. К нам подошёл старший блокпоста и спросил:

— Кто такой?

Я показал удостоверение редактора шахтёрской газеты, ополченец внимательно рассмотрел документ и, по всей видимости, узнал меня.

Это был бригадир проходческой бригады Виталий Прохорук, орденоносец. Я помню, как на его кителе в День шахтёра всегда сияли с десятков не только советских, но и украинских наград, которые заслуженно были даны ему государством за доблестный труд. А теперь передо мной стоял ополченец с суровым лицом, с позывным “Бугор”, и на его камуфляже висел Георгиевский крест. Мы разговорились. Виталий рассказал о последних шахтёрских новостях, о том, как методично нацисты уничтожали наше предприятие, о погибших друзьях. И главное, что все, кто здесь стоит, никогда не уйдут со своих позиций, не сдадутся. И какие бы силы ни бросали украинские фашисты на эту горстку ополченцев, у каждого из них есть полная уверенность в том, что они выстоят несмотря на то, что смерть почти каждый день вырывает из их рядов лучших сынов Донбасса, но дух их никогда не сломить нацистскими грязными руками.

Ничто не может остановить их душевный порыв жить и трудиться на этой земле так, как они хотят, говорить на том языке, на котором они хотят, а не исполнять то, что навязывает, насаждает огнём артиллерии киевская хунта.

Виталий мне показал фотографии на телефоне — результаты недавнего боя под Счастьем. Потом он достал атрибутику “Правого сектора” и документы погибших карателей из батальона “Айдар”, среди них я увидел удостоверение Василия Головки. Я долго всматривался в лицо Василия. С фотографии на удостоверении на меня смотрел обычный молодой человек с приятной улыбкой, со светлыми голубыми глазами.

— Это сын нашего инженера Сергея Петровича Головки, — сказал Виталий и добавил: — Зверюга, каких свет не видел.

— Он погиб?

— Туда ему и дорога, фашисту!

— А мы с соседом только сегодня говорили о трагедии семьи Головки...

— Да, то, что трагедия — это точно! Хорошо, что Петрович не видел всего этого... Мы сообщили матери, хотели передать тело, но Светлана Герасимовна наотрез отказалась хоронить его, всё шептала какие-то молитвы и говорила, что это не её сын, что для неё сын умер давно... Короче, жутко! Пришлось схоронить в безымянной могиле в донецкой степи...

От этих слов ополченца у меня по спине пробежал холодок. До чего же ожесточились люди! И где предел этому ожесточению? Для них, как и для тех, кто воюет с украинской стороны, такие вещи стали обыденными. Это была последняя грань человеческого безрассудства и злости, за этой чертой — только мрак и пустота! Как остановить братоубийственную бойню? Великий Божий Суд ждёт всех тех, кто причастен к развязыванию этой войны!

Виталий, видя моё смятение, как бы оправдываясь, сказал:

— Если бы ты видел, что они творили с нашими пленными казаками...

Я ехал обратно с шахты домой и всё время думал, что тех душевных потрясений, которые произошли за последние сутки, хватило бы на целую жизнь. И все мы ещё до конца не осознаём, что произошло с нашим миром, на пороге каких величайших событий стоит человечество...

Вечная война добра и зла вошла в новую фазу, а мы всё возимся в своих мирских проблемках, живём иллюзиями материального земного мирка, копошимся в тленной глине...

Я не заметил, погрузившись в размышления, как снова очутился во дворе своего дома. На лавочке у столика по-прежнему сидел Влад, рядом стояли два больших пакета с консервными банками тушёнки и рыбы, пачками макарон, гречки, муки, сахара и чая.

— Получил гуманитарку, — удовлетворённо молвил Влад.

Я молча присел рядом. Сосед рассказывал о своих сегодняшних житейских приключениях, а потом, видя, что я его почти не слушаю, сказал:

— Ладно, соседюшка, пойду, а то моя старушка заждалась, видать. — Влад погладил свою шикарную седую бороду и, подхватив пакеты, тихонько пошёл к подъезду.

Простреленный купол храма Святого Александра Невского сиял в закатных лучах солнца. В чёрной дыре раны мне почудилось какое-то странное движение. Мне показалось, что эта дыра стала проводником в необъятное пространство, где встретились души отца и сына и продолжают прерванный войной разговор. И в какие небесные врата войдут они, судить одному Богу, и, наверное, на том Страшном Суде будут и души деда и прадеда Головки, которые сражались с коричневой чумой фашизма во время Второй мировой войны, и... Я испугался той бездонной глубины, где, освободившись от глины повседневности, бродил Вечный Дух, и перекрестился: “Господи, прости мою душу грешную!”

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



НО ТОПЯТСЯ РУССКИЕ ПЕЧИ...

ПРИЧАСТНОСТЬ

Всё больше склонен я к надежде
Среди утрат, среди потерь.
И то, чего не видел прежде,
Открылось явственно теперь.
Простором мир не изумляет.
Земля не так уж велика.
Мне каждый труженик-землянин
Стал кем-то вроде земляка.
Я понял сам в пути исканий,
Что краток век и тесен свет,
Что Микеланджело, тосканец,
Мне, таскинцу, почти сосед.
Сменились время и пространство,
И убыстрился бег светил.
Острее чувствуется братство
Всех тех, кто землю посетил.

ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился в 1939 году в селе Таскино Красноярского края, в старообрядческой крестьянской семье. В разных вузах окончил факультеты истории, филологии и экономики. Окончил Красноярский пединститут и журфак Высшей партшколы в Новосибирске. Работал учителем, журналистом. Автор нескольких книг поэзии и прозы, изданных в Красноярске и Москве. Печатался во многих журналах СССР и России. В "Нашем современнике" выступал со стихами и рассказами. Член Союза писателей России, ныне возглавляет Красноярское отделение СП. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Красноярске.

Я рад подобной перемене.
Такой родной, такой земной,
Сам Пушкин, словно современник,
Теперь беседует со мной.
Я верю домыслу, как факту:
Мой прадед знал ямщицкий труд,
Он мог посланье мчать по тракту
“Во глубину сибирских руд...”
Хотя наш край считают глушью,
Его история громка:
Переворот пошёл от Шуши,
Победа — от сибиряка.
Отец мой был трёх войн участник,
И брат сгорел в огне войны...

Всё резче чувствую причастность
К судьбе завещанной страны.

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГИЯ

Нам покуда весна и не снится:
Степь в сугробах, и лес в серебре.
Но весенние трели синицы
Начинают звенеть в январе.

Ничего, что морозы трескучи,
Ничего, что ветра ледяны,
Лишь бы только надежда, как лучик,
Нам сверкала сквозь хмурые дни.

Пусть не очень-то греют нас трубы
И кончаются в топках дрова,
Мы, коль надо, последнюю шубу
Отдадим и в канун Рождества.

Не за это ли русскую душу
Так светло и так горько люблю?
И тревожусь за всех, но не трушу,
И страдаю, как все, но терплю.

Пусть живём нелегко и непросто,
Но уныние нам не к лицу.
Будем бодрствовать, братья и сёстры,
Остальное доверим Творцу.

В РОДНОМ УГЛУ

Опять спозаранку шагаю в тайгу,
Рюкзак расправляет мне плечи.
Деревня стоит по колено в снегу,
И топят русские печи.

Шуршит под широкими лыжами наст,
Прошитый тропой оленьей.
Таких первозданных лесов, как у нас,
Нигде уже нет во Вселенной.

Мне здесь хорошо и в мороз, и в пургу,
Я здесь защищён и беспечен...
Россия стоит по макушку в снегу,
Но топятся русские печи.

СОЛДАТЫ ИДУТ

Вижу я, как за сизыми далями,
Где теряется времени гуд,
Боевыми сверкая медалями,
С фронта наши солдаты идут.

По лесам, по холмам, по разложинам
Сквозь пространства идут напрямки
Победители, как и положено,
Держат курс на родные дымки.

Здесь их ждут с неизбывной тревогою:
Уже годы зашли за года,
А они той прямою дорогою
Всё идут...

И придут ли когда?

МЕТЕЛЬ

Метель...
Летят сороки боком...
Деревня тонет в снежной мгле.
По вечерам просветы окон
Мерцают углями в золе.

В трубе то гулко завывает,
То тяжело дышит, как мехи.
И, крылья красные ломая,
В печи дерутся петухи.

И, вечерять собравшись вместе,
Расселась в отблесках огня,
Как будто куры на насесте,
У телевизора родня.

Красноярск

15 января 2015 года исполнилось бы 90 лет выдающемуся русскому прозаику, ветерану Великой Отечественной войны Евгению Ивановичу Носову. Его бессмертные произведения “Красное вино победы”, “Шумит луговая овсяница”, “Усвятские шлемоносцы” и многие другие вошли в сокровищницу классической русской прозы. Носов, безусловно, был одним из самых лучших стилистов. Его творения постоянно печатались в “Нашем современнике”, и, поминая Евгения Ивановича в эти зимние дни его юбилея, мы публикуем два его рассказа.

ЕВГЕНИЙ НОСОВ



КАРМАННЫЙ ФОНАРИК

РАССКАЗЫ

По мокрому, туго распыленному брезенту мелко, просяно сеялась назойливая морось, наполняя гулкую утробу палатки шепелявым усыпляющим шепотком. Временами дождь припускал, и тогда вкрадчивый шелест переходил в нетерпеливую раздражённую скороговорку, заглушавшую мой изрядно приспособленный приёмник.

Из палатки виднелась серая плоскость реки в мелких кольчужках дождевого накрапа да край тусклого неба без малейшего намёка на просветление. Заречный берег едва проступал сквозь мгlistую наволочь. Иногда из размытой глубины лугов объявлялись на урезе призрачные, бесцветные и плоские коровы и так же бесследно истаявали, словно растворялись в небытии. Выходил и подолгу стоял у края воды пастух, тоже призрачный и бесцветный, в конусном клубке. Высмотрев мою палатку в мутном хаосе лозняка, он окликнул меня вопросом: “Который час?” Пастухи знают время и без часов, почти с безошибочной точностью они ощущают его неосознанно каким-то своим, внутренним самосчётом, и потому спросил он меня просто так, из любопытства: кто таков, что за палатка? Было начало пятого, я прокричал ему время в ладони, не высовываясь из-под навеса, и тот как-то не-

хотя, неудовлетворённо повернул от реки и растворился в ненастье. Вскоре раскатисто, ружейно громыхнул его набрякший сыромятный кнут, и осерженный хлопок многократ надломился эхом меж старых вётел.

Куртинки раkit и ольх, рассыпанные по лугу, тоже утратили свою плоть, обратясь в зависшие над землей причудливые декорации какого-то плоского одномерного мира. И оттуда, из той зыбкой потусторонности, на эту, мою, хотя и неприятную, но всё же вполне реальную, зримую сторону всякий раз прилетал и с тем же размеренным постоянством возвращался обратно крошечный кулик-перевозчик. Он словно бы выискивал кого-то и тонко, удручённо призывал: “Пои-и... пои-и...”

Помню, в далёком детстве бабушка моя, исконная жительница этой реки, сама вязавшая сети и управлявшая плоскодонкой, просвещала меня, будто сия ничем не приметная птица летает не просто так, сама по себе, а “сполняет Господнее послушание”. С рассвета и дотемна с одного берега на другой перевозит она души усопших. Я, стриженный под овцу, лопухий, не понимал этого и бестактно спрашивал: “А зачем?” Бабушка, возгораясь от моей языческой бестолковости, ревностно наставляла: “А затем, что всякой отошедшей душе перед тем, как явиться пред Всевышним, беспрерывно надобно очиститься от всего земного. Чтобы ни духу, ни запаху. А для этого положено пройти очищение живой бегучей водой, перенестись через реку или даже через малый ручей. — Бабушка верила в эту наивную легенду истово, без колебаний, с восторженной святостью, и я видел, как одухотворялось, хорошо её простое крестьянское лицо. — Вот только через озеро негоже. Ты понаблюдай: на озере кулик полетит-полетит, да тут же и воротится на прежнее место, потому как у озера берег один и вода в нём недвижна”.

“Может быть... Может быть, и так...” — вяло соглашался я спустя более полувека, наблюдая из палатки, как частил крыльями, неустанно трудился кулик-перевозчик. И привязалось почти на весь остаток дня:

*Перевозчик-водогрёбщик,
Парень молодой,
Перевези меня на сторону,
В ту сторону — домой...*

Мне и в самом деле надо бы уже на ту сторону. Рыба не брала: говорят, при низком атмосферном давлении ей не до поклёвок. Я даже перестал спускаться к удочкам, сиротливо торчавшим под берегом. Нанизанные черви, белесые, выполощенные водой, уже более суток висели нетронутыми. Между тем без рыбы, на которую был весь расчёт, мои съестные припасы иссякли до срока, остались лишь соль, лаврушка и чай-сахар без хлеба. Честно сказать, весь сегодняшний день я пробавлялся викой: вытеребливал стручки из охатки викоовсяной соломой, которую ещё по приезду притащил от недалёкого скирда для подстилки. Стручки попадались всё реже и реже, тогда как машина, забросившая меня сюда, по уговору должна быть только завтра во второй половине дня. Впрочем, уговор этот наверняка утратил свою силу: вряд ли какая-либо машина способна теперь пробиться к моему жалкому пристанищу, даже такая, как лихой четырёхсот шестьдесят девятый “газон”.

Позади палатки, метрах в двадцати, за прибрежными лозняками, проходила дорога, если же не говорить преувеличенно, то растерзанный трактором грунтовой просёлок со спёкшимися динозавровыми хребтинами между ямистыми колеями. Таким он был ещё посуху, когда мой приятель, багровея и чертыхаясь, не раз хватался за лопату, чтобы срубить опасные надолбы. Ну, а каким он стал после затяжного дождя... Его состояние можно определить, даже не выходя из палатки: если в первые день-два ещё пробирались кое-какие отчаянные машинёнки, то уже вчера за весь день протащились, надсаживая моторы, едва ли два-три борта. Нынче же с самого утра за палаткой стояла удручающая тишина. Лишь в обед, подоткнув подошлы, возбуждённо галдя все разом, прошлёпали обвешанные авоськами и сидорами деревенские бабы, должно быть, с далёкой электрички.

Дорога эта тянулась вдоль реки из невидных отсюда прибрежных деревень Жаховки и Верхних Чапыг, обезлюдевших, неприятно заросших бурьянами, к единственному в округе бревенчатому мосту и далее — к железнодорожной станции с нефтебазой, лесным складом, крепко, бражно разящим гнилой древесиной, с пивной забегаловкой, парикмахерской и прочими соблазнами глубинной цивилизации.

Конечно, будь мой приятель посообразительней, он мог бы оставить свой “газик” где-нибудь на станции и пешком, вёрст пять-шесть, дотопать сюда, чтобы помочь собрать и унести мои рыбацкие бебехи. Но, скорее всего, по законам современного прагматизма, завтрашнюю поездку он посчитает бессмысленной и перенесёт её до лучшей погоды. Ему, поди, и в голову не приходит, что я сижу тут буквально на бобах. Скорее всего, придётся, взвалив на себя всё это: сырую, вдвое отяжелевшую палатку, рулон спальника, замызганный котелок, неизвестно для чего взятый большой двухлитровый термос, ненужный топор, поскольку рубить им оказалось нечего, приёмник, одежду всякую, пук удилиц, два садка — с учётом того, что одного могло и не хватить! — и прочее, и прочее, также не пригодившееся, — придётся самому месить злосчастные километры до электрички.

*Перевозчик-водогрёбщик,
Парень молодой...*

Да, единственное, о чём я жалел, что не взял с собой, так это о резиновой лодке. Она показалась мне лишней, но сейчас была бы весьма кстати: можно было, погрузив шматьё, сплавиться на ней по течению до ближайшей деревеньки, просушиться, обогреться, похлебать щей и выпросить лошадку до станции.

Между тем, под толщей ненастного неба раньше времени завечерело. Из скудной дневной расцветки исчезло последнее тепло — охра лозы, палевая зеленца отавы, — и всё заволокло быстро надвигавшейся освинцевелостью. Перед долгой сентябрьской ночью, уже по-осеннему ознобливой и жёсткой, неплохо бы испить крепкого горячего чая, чтобы потом, забравшись в нахолодавший спальник, греться изнутри чайным теплом. Но представив, что ради этого придётся лезть в мокрую, обвисшую от накопленной влаги лозняковую чащобу, уже многократно прочёсанную в прошлые вечера, где почти не осталось ничего подходящего для костра, а то, что ещё уцелело, вконец вымокло и осклизло, и вряд ли способно гореть, решил-таки не высовываться, чтобы не забираться в спальный мешок в мокрой одежде.

В мешок я всё-таки не полез: за эти ненастные дни и ночи нутро его насырело и дурно разило погребом, а потому, взбив порыхлей соломенную подстилку, я закопался в неё и накрылся спальником, как одеялом. Так было вполне уютно и телу, и душе. Впереди ожидали двенадцать часов крошечной темени — этого гнетущего беспредела, морозящего, капающего, булькающего, временами напряжённо умолкающего и снова принимающегося шелестеть, что-то нашёптывать и как бы тяжко ворочать тучами, завладевшего, казалось, всем мыслимым пространством, от которого меня отделяли весьма условные палаточные стенки, пропитанные водой донельзя и уже не создававшие иллюзорного чувства какой-никакой обители и защиты. Крупные дождевые капли, копившиеся на швах, провисах и под потолочными растяхками, с пунктуальной размеренностью то тут, то там шлёпались в солому, заставляя подбирать ноги, отодвигаться, избегая прямого попадания. В сущности, мне предстояло коротать долгую ночь, свернувшись на подстилке щепячим калачиком и ощущая боком всю толщу земной тверди, по ту сторону которой ходили вниз головой уже проснувшиеся американцы, а над собой — безмерную глубину Вселенной со всеми её чёрными дырами и запредельной звёздной пылью. И это — в абсолютном одиночестве! Для такого отрешения необходимо определённое равновесие духа. Хотя бы для того, чтобы не прислушиваться с остановившимся дыханием к темноте и не впадать в мистическое оцепенение, если где-то за палаткой явственно хрустнет ветка или под тобой вкрадчиво зашебуршит солома. Испробуйте подобную ночёвку и, право,

вы сполна ощутите своё собственное ничтожество, тем паче если там, за горизонтом, в людском миру, вы занимаете самообольщающее положение и повелеваете другими.

Безмятежно дрыхнуть в такой обнажённой среде в полном одиночестве, без взаимной подстраховки, вряд ли возможно, и я, надо полагать, всего лишь коротко забывался, проваливаясь в грубое и недолгое небытие, тогда как в остальное время пребывал как бы в животном, сурковом анабиозе с замедленным кровотоком и мыслетворчеством, смиренно и терпеливо протискиваясь сквозь ночь, походившую на долгую и тесную трубу, в конце которой через много часов изнурительного прозябания должен забрезжить утренний рассвет. В этот вечер, однако, утревшись в волглом тепле соломенного логова, я сразу же отключился напрочь и очнулся неведь когда от ощущения какой-то перемены. Я нащупал в изголовье электрический фонарик и осветил себе на запястье: была всего только половина девятого. Впереди всё ещё оставалась целая ночная бездна. Приходя в себя и вслушиваясь в явь, я внезапно догадался, что именно могло отпугнуть мой сон и возбудить подсознание: меня обнимала глухая, вязкая тишина, почти осязаемо давившая на ушные перепонки. Дождливая мгла больше не скреблась в чуткие скаты палатки, ничто не капало с брезентового потолка, не тормошило по-мышинному солому, отчего ещё ощутимей, пронзительней сделалась наружная немота, поглотившая всё окружающее пространство: мокретью пресыщенную землю, прореженные лозняки, сронившие почти всю охряно-жёлтую листву, залитый ливнями просёлок, осунувшийся и как-то сразу одряхлевший от сырости викоовсяную скирду среди грубо вздыбленной плутами предзимней пахоты, а заодно — всё живое в этом напрягшемся тишиной ночном мире: вконец продрогшее зверьё по сырым чащобам и раскисшим норам и взъерошенных, нахохленных, изголодавшихся птах на скользких ветках, не успевших отлететь в благие, тёплые края.

И вот в этой предельно натянутой, настороженной глухоте мне почудилось отдалённое чавканье. Я приподнялся и замер: не показалось ли? Нет, не показалось: чавканье походило на замедленные, неуверенные шаги, слышимые пока ещё в отдалении с тыльной стороны палатки. Порой вязкие переступы ног заглушались всплесками стоялой воды, после чего наступала долгая немая пауза. “Кто это? — не понимал я. — Зверь или человек? Может, заблудшая, спутанная лошадь? Или старый одинокий кабан, голодный и свирепый, выбредший на какую-нито поживу, способный в ключья изорвать мою квёлую палатку, а заодно и меня, такого же голодного и полудиавшего, по самые глаза заросшего сивой кабаньей щетиной?”

Через некоторое время за палаткой, за лозняком ещё раз обвально, раскатиисто всплеснулось, и когда возня в калюжине унялась, послышалось глухое, раздражённое бормотанье и даже рваные, задышливые слова:

— Ну, ешь тя... дорога!.. Не яма, дак канава...

Понял я, что никакой это не зверь, не кабан дикий, а некто, бредущий с вечерней электрички. Расквашенным просёлком с залитым сметанной грязью колеями брёл он, надо полагать, в одну из прибрежных деревень, куда, собственно, и вела эта расхристанная дорога, из чего следовало, что этот пробиравшийся в темени некто — не иначе как местный землепроходец, поднаторевший абориген, ибо залётный чужак вряд ли сунулся бы в такую темень в такие разверстые хляби.

— Ну, попал, Ванька! И назад, пля, далеко, и вперёд неблизко, — говорил он сам с собой. — Хоть бы что-нибудь зыркнуло... Надо было, дураку, итить засветло. Хоть и дождь, да зато видно, куда ступить... Давай, пля, ещё по маленькой... Да и просидел, куда не смерклося...

Теперь было ясно, что землепроходец, блуждавший во тьме, был зело пьян, и во мне шевельнулось неприятие и даже опаска, как бы он не набрёл на мое становище. Не было настроения возиться с ним, тащить его, мокро-го и грязного, в палатку, и вообще... Опять же — что за человек? Какой бес в нём сидит? Иной пьяный хуже дикого вепря. Того хоть можно отогнать внезапным окриком или зажжённой спичкой, ну, а залившего зенки до помутнения ничем не смутить...

С неприязненным вниманием вслушивался я теперь в каждый его шаг, в каждый хлоп и чавк, и показалось, что он нисколько не приблизился, а неведь почему барахтался, месил грязь в одном и том же месте в топкой низине, вобравшей в себя всю окрестную жижу.

— Во, пля! Кепку, кажись, потерял... — донеслось, наконец, хриплое восклицание. — Ну, да, нету, пля, кепки... Вот это дак звезданулся! Не то что без кепки, а и без головы, пля, останешься.

Матерился он как-то так, спрехвала — обыденно, самосево, должно, ничуть того не слыша и не замечая, будто с этим и родился на свет. Тем паче пребывал он, как ему казалось, наедине сам с собой, в полном безлюдье, да ещё в непроглядной тьме и непролазной погибели. Тут уж и не хочешь, да пультнёшь... В ущерб достоверности я, конечно, вынужден буду кое-что опустить или заменить отнюдь не эквивалентными синонимами...

А он по-прежнему сокрушался:

— Кепка-то ладная была. К голове притёртая... Никогда не слетала... А тут — на тебе, нету, пля, кепки... Ишо в тем годи с шурыком махнулись... На октябрьские... этим делом... Шурык как раз выгнал... Хорош был первак! В ложке до самого дна выгорал! Только б ракеты б заправлять. На это мастак! Пристал: давай и давай кепками махнёмся. Ну, хрен с тобой, давай... Он свою на другой день потерял... А я, пля, аж до сёдня доносил... Ладная была кепка...

В той стороне завозилось, засопело, зачавкало грязью, а потом снова донеслось пьяное сетование:

— Рази теперь её, лядюгу, найдёшь?... Куда ступаешь, чево руками цапашь — ни хрена не видно. Ровно в погреб. Мобыть, сам же ногами топтал. Кабы б посветить, дак, ешь ты, нема, чем... Был коробок — весь размок на хрен. Карманы полны грязи... Ну, Ванька, жди от бабы выволочки... Спросит, игде, пля, валялся, на четырех лапах ходил? Как — игде? У шурыка был. Точильный брусок надо было спросить... Я рази, пля, виноват, что дорога такая? Канава на канаве. Чево, дура, орёшь? — Тово ору, что я водку таскать не буду... На тебе, пля, сто цибар треба. А у меня и так с бураков мочи нетути... Она, пля, завсегда так... Раззявится, аж видно, чево ела. Крокодил-баба...

Поддавший землепроходец, наконец, смирился с утратой кепки, потому как на просёлке снова зачавкало, донеслись его неверные, медлительные шаги, гибло вязнущие в засосном месиве.

— Ладно, завтра Маньку пошло поискать... Пусть, пля, пробежится до моста... Мобыть, я её не здесь, а ишо где потерял? Сколь разов, пля, падал... Хорошо, хоть зубы не обронил... Ишши их тади... Маньке надо бы сбегать до трактора. А то трактор утром пойдёт с молоком на станцию, тади — звездечкепарю! Гусеницами изорвёт або в грязь утопит. Пятёрку только жалко: в подкладку от бабы спрятал. Кто же знал, что так, пля, получится...

И тут запутавшийся в ночи и бездорожье землепроходец враз впал в неистовство, завопил зло и хрипло:

— А всё, пля, Семибабов, сучий потрох! Морду нажрал, аж на кухвайку обвисла... Какой год обещает защепенить, покрытие положить... Ни хрена! Пустой брёх! Как в район забрали — сразу про всё забыл... Как же так? Игде ж твоя совесть? А вот так: нету вас в списках... Как это — нет?... А Куды ж мы подевались? Ведь и деньги на это были отпущены... Ваша деревня, грит, теперь непереспективная... Подлежит сносу... Дак, а што вместо деревни-то будет?... А ничево... Поле, грит, будет. Бураки посеют... Дак, а мы куда?... Как куда? Старые — на погост, а молодым везде у нас дорога, понял?... Чево ж не понял... Он умотал, теперь по асфальту катается... А ты, пля, ковыряйся тут рылом в грязи...

Сознавая, что здесь он один-одинешенек на всю забытую Богом округу, землепроходец вольно, распахнуто и даже с каким-то сладострастным остервенением обложил всех больших и малых толсторылов, а заодно и ни в чём не повинных святых отцов, не удосужившихся ошепенить просёлок.

— Непереспективная — а-йа! Чевой-то она такая стала? Деньги дорожные, небось, с прихлебателями пропил, вот тебе и непереспективная... Сволочи...

Он, поди, опять-таки не туда и не так ступил, потому что в том месте, откуда сыпались матерки, как бы в отместку за это шумно и грузно всколыхнулись дорожные хляби, да так, будто со всего маху ухнул туда туго набитый мешок.

В ночи повисла неприятно затянувшаяся вакуумная тишина. Сколь я ни наводил ухо — в той стороне больше ничего не ворохнулось, словно бы землехододец, этот подвыпивший Ванька-абориген, с головы до пят грешный в непотребной хуле всех святых и районных праведников, провалился в таратары и накрыло его крышкой.

Уже не питая к нему прежней неприязни, я мысленно понукал его и почти братски упрасивал: “Ну, чево ты там? Давай вставай! Шевелись, что ли... Этак и утопнуть можно. Хлебнёшь жижи и — конец!.. А всё оттого, что распялешь себя... Материшься... От этого вестибюлятор слабнет, и мотор сдаёт от больших оборотов...”

Я торопливо натянул сапоги, запихнул в карман батарейковый фонарик и выбрался из палатки в крошечную тьму, как, поди, космонавты выходят из обжитых кораблей в дикий и неприятный космос.

“Ну, хватит, хватит... Давай вставай... Или хотя бы скажи что-нибудь”.

И он, наконец, внял посылаемым мной флюидам, моим позывным и, больше не трата никаких человеческих слов, рванул гнетущую темень отборным матом без всяких комментариев:

— Там-тара-ра-ра-рам!

Но, вскарабкавшись на твердь, обретя равновесие и отдышавшись, всё-таки пояснил, что он этим хотел сказать:

— Во, Семибабов, радуйся... Ребро, кажись, насадил... Об железяку... как есть со всего маху... Тут не то кардан засосало, не то прицепную вагу... Дак, а сколько этого добра по всей дороге... Кто считал утопленные рублики? Тут нешто асфальтом крыть? Золотом на два пальца...

Сапоги вяло, неуверенно захлюпали в слепом неведении, будто брёл он, шарился с повязкой на глазах, прощупывая ночь охватно расставленными руками.

— Ей-бо, ребро выломал... — хрипел он болезненно и натужно, останавливаясь и передыхая. — Во, вишь, дыхнуть больно... Наружу ипо выдыхаю, а как обратно — аж искры из глаз... А мне завтра в Макарыно на распиловку... Доски пласть...

После того как он ещё раз оступился и тяжело, с отчаянным стоном упал, расплёскивая жижу, из него окончательно ушла недавняя пьяная бесшабашность, голос обмяк и засмирел:

— Ничего не узнаю... — жаловался он потерянно. — Как не своя земля... Всю жисть проходил... А теперь не узнаю... Ни одной верной приметы... Кабы зыркнуло где — месяц, звезда какая... Али собака брехнула, да-ла б знать... А то — нигде ничего...

Он глухо застонал, как бы процеживая боль сквозь стиснутые зубы, и затих, должно, не решаясь больше ступить, сдвинуться с места, будто весь изошёл, растворился, сделался обезличенным наполнителем непроглядной и алчной темноты.

— Где же это я?.. — упавше спрашивал он. — И куда мне теперь? В какую сторону?.. Мост я перешёл али нет? Ежли б переходил, дак, небось доски ногами почуял... А то грязь да грязь... А мобыть, это и не дорога вовсе?.. Поле теперь тоже зыбью взялось, на паханное не ступить...

Я, наконец, выбрался за кусты. Человек находился совсем близко. Теперь я отчётливо слышал его сиплое, загнанное дыхание с каким-то жалобным, птенцовым писком на исходе. И даже разобрал затруднённый полупот, те немощные, недоозвученные слова, которые, как мне представлялось, в обыденности, за её серой чередой прозябания, за опостылевшей земляной бескормной работой на чужом бескрайнем поле с непрменными опосля, раззякими с ног вышивками где-нибудь там же, на обочине, под кустом, и с утеренным мутным похмельем, — за всем тем, что саму жизнь обращало в отупляющую дрему, — запомнил эти слова, а то и вовсе забыл напрочь. Но они, отторгнутые повседневностью, не исчезли, не канули в небытие,

а сами собой береглись до случая где-то, и вот родниково высочились из-под слежавшихся, полусохших подкорок, из-под толщи прожитого и улегшегося однообразной пылью, — воспряли и отлетели в ночь робкой стыдливой мольбой:

— Ос-споди, не дай пропасть...

Наверняка человек не слышал меня, пока я, привыкая к темноте и отводя руками лозины, выбирался к дороге, не чувствовал и теперь, стоявшего в непосредственной близости, и продолжал бормотать, торопя слова:

— Спаси и помилуй... Спаси и помилуй мя, грешного... Не отвернись токмо... Буду век помнить...

Честно сказать, я не знал, что мне дальше делать, и, поскольку в моей руке оказался электрический фонарик, я нажал кнопку и направил луч впереди себя.

Низкий касательный свет имеет свойство зловеще преувеличивать дорожные изъяны. Но и с учётом этого проступившая из темноты лыва, которую я не мог охватить всю разом, а прощупывал жёлтым овалом света по частям, воистину показалась погибельной и ужасной. Луч фонарика скользнул по мазутно мерцавшему, извенно пузырящемуся вязкому разливу, отдававшему равнодушной надменностью всякой коварной прорвы. Простёршаяся хлябь бутрилась коростой множества островов и целых архипелагов, вывернутых из глубин и вознесшихся дыбом, словно в библейские дни сотворения мира. Избегая этой погибели, отчаявшиеся водители пытались проторить объезд по пахоте, но и свежий распуток долго не вынес: осел, провалился глубокими каньонами, сразу же наполнившимися чернозёмным мазутом, вознеся по обе стороны колесных вмятин лунные хребты и неодолимые системы, особенно если те спекутся потом на солнце.

В эти-то свежевздыбленные “кордильеры” и завело вконец потерявшегося землепроходца, не признавшего родные места.

По хриплому, протабаченному голосу и забористому мату во мне заведомо, сам собой сложился облик крепкого, ражего выпивохи, но когда я направил на него фонарь, то зыбкий луч его выхватил неказистое существо — хлипкого мужичонку в подростковой болонье, мокро обвислой и замызанной донельзя. Куртеечка была схвачена под животом женским перламутровым пояском, да и сама она, голубого, не наших полей и дорог цвета, с белыми лупастыми пуговицами, явно относилась не к мужскому покрою. Чуть приподняв фонарь, я увидел и его непокрытую голову, нахохленно вобранную в поднятый воротник. Голое заострённое темя тыквенно желтело от уха до уха, и лишь по бокам торчали мокрые, обсосанные ненастьем застрешные кудельки. В ответ на пучок направленного света в колодезной глубине запавших глазниц жёлтой фольгой, как на дорожных знаках, полыхнули округлые несытые глаза, полные недоумения и страха.

Стоя в глубокой развалистой колее, почти до колен засосанный вязкой трясиной, ослеплённый светом, он не видел меня, и некоторое время оцепенело глядел на фонарь, в самый его воспалённый зрак, но, будто осознав какую-то опасность, внезапно сорвался и, будоража жидкое месиво и руша нагроможденные “кордильеры”, ринулся от меня прочь, в темноту, в глыбисто распаханное поле. Я продолжал удерживать его в пучке жидкого света, сколько позволяли возможности рефлектора. Через несколько судорожных прыжков он, однако, завяз, упал и, повернувшись на спину, по-заячьи замотал зелёными резиновыми недомерками, роняя и на себя, и вокруг земляные ошметки и крича панически высоко и визгливо:

— Не подходи! Не подходи!

Брезгливо, со всеми возможными предосторожностями я преодолел топкий, разбитый объезд и среди земляных глыб, небрежно навороченных “кировцем”, вновь накрыл лучом голубую болоньевую куртку.

— Не подходи! Не подходи, сказано! — продолжал, лежа на спине, вопить землепроходец, хватая тут же распадающиеся комья земли. — Чево пристал? Негу у меня ничево!

— Да ладно тебе! — как можно небрежнее сказал я. — Брось ломать дурочку. Я ведь к тебе по-хорошему.

— Зачем я тебе!?? — тревожно вскрикивал он. — Денег у меня нет, курить нечево... Чево надо!?

— Да перестань! Я ж тебя знаю, — продолжал я, осторожно приближаясь. — Ты — Иван! Верно ведь? Иван, да?

Тот настороженно молчал.

— А жена у тебя — Марья! Угадал? Ну, вот! А живёшь ты в Жаховке, там, за поворотом?

Землепроходец продолжал молчать, должно быть, сбитый с толку этой моей осведомленностью, но, заподозрив что-то неладное, вновь всполошился:

— Все равно не подходи! Я за себя не ручаюсь!

Отталкиваясь пятками сапог, он, как был на спине, принялся юзом ползать из светового пучка.

— Ну, что ты такой... Я ведь в самом деле по-хорошему. Слышу — сто-нешь, думаю, худо человеку... Ты, что, вправду сломал ребро?

— Не твоё дело... — огрызнулся он, застаясь рукавом от фонарика.

— Давай погляжу... Может, перевязать надо? Это ведь не шуточки. Сломанным ребром можно лёгкое проткнуть... Давай, давай гляну.

— Сказано, не подходи! — прошипел он, и глаза его вновь, как тогда, полыхнули жёлтой фольгой. — А подойдёшь — гляди, чево будет...

Привстав и уже сидя на земле, он пошарил рукой в кармане болоньи, достал складник и ловко открыл его зубами.

— Во, видишь? Сунься только...

— Ну, и дурак... — сплюнул я. — Знал бы, что ты такое дерьмо, я бы не пачкался... Сапоги только зря утвиздал...

Землепроходец поднялся на ноги и, оглядываясь на фонарь, не пряча ножа, попятился ещё дальше, в чёрное поле. Свет больше не добивал до него, я потерял его из виду, хотя чувствовал, что он ещё где-то тут, близко: наверно, стоял и, как зверь из укромья, наблюдал за мной, за маневрами фонарика...

— Слушай, там дальше скирд где-то...

— Знаю... — отозвалась темнота.

— Можешь в стогу заночевать...

— Мне домой надо, — несколько ровнее, успокоеннее отозвался тот.

Выйдя из полосы света и как бы обретя свободу, он почувствовал себя более уверенно и надёжно.

— Не дойдёшь ведь... Куда по такой темени?

— А мне надо... — упрямо возразил он.

— Ну, ладно, чёрт с тобой, топай... Не понимаешь ты добра. Совсем одичал. Как брошенный пёс: протянутой руки боишься. Или много пинали тебя?

На всякий случай я обвёл фонариком вокруг себя полкруга, но везде было голо и пусто.

— Эй, где ты там? Чего молчишь?

Он не отозвался.

— Послушай! Хочешь, я дам тебе свой фонарик?! А?! Без него ты всё равно никуда не дойдёшь... Ни полем, ни по дороге. Полем ещё хуже. Полем вовсе заблудишься. Последние ребра доломаешь. На вот, бери!

Но я кричал ровно впустую.

— Или давай так... Я уйду, а фонарик тут оставлю. Понял меня? Фонарик будет гореть один, без меня.

Я притих, вытянулся в струнку, вслушиваясь, не подаст ли он ответного голоса, но тот раздражающе молчал.

— Ты понял, как? Я включу и оставлю его возле дороги... А ты подойдёшь и возьмёшь... И не будешь ломить напролом. Ведь падать тебе больше никак нельзя. А с фонариком потопает в свою Жаховку чин-чинарём.

Отыскав на краю поля подходящую глыбу, поросшую жёсткой стерней, я утвердил на ней фонарик, направив рефлектор ровно вверх, чтобы свет был виден со всех сторон.

— Слушай меня! — обратился я снова. — Я сейчас три раза помигаю. На счёт "три" я положу фонарик на землю. Усёк? На счёт "три"... Ну, вот,

давай считай! Р-раз... Два-а! Три-и!.. Всё! Ты видел, как я помигал? Это значит, что я кладу фонарик... Вернее, ставлю на попа... Вот, слышишь, отряхиваю ладони, стало быть, в моих руках ничего нет. А теперь ухожу... Честное слово! Вот иду... иду... иду... Ухожу без дураков.

Я и на самом деле ошупью, вслепую перебрался обратно сперва через свежераскучроченный объезд, а потом и через старую дорожную лычу и сам едва не шлепнулся в одном месте. Нет, не завидую я ночному путнику — ни пешему, ни, тем паче, на колёсах...

— Эй! Где ты там, чёрт возьми!? — окликнул я с досадой. — Я уже на дороге! Фонарик вон где, а я вот где... Можешь подойти и взять... Ну, давай, бери, чего же ты?

Но фонарик, оставленный там, на краю поля, продолжал недвижно и ровно излучать свет в вышину, редая и истончаясь, он растущёвывался чернильной толщей и исчезал бесследно. И я начал выходить из себя. Может, там уже давно никого нет, а я ору, даю ценные указания... Если тот тип смотался, то надо снова лезть через эту отвратительную топь, которая способна сделать бесперспективной не только деревню, но и саму человеческую судьбу. Глупо же оставлять в поле фонарик, впуская жечь батареек, тогда как свет в любую минуту понадобится здесь — в палатке или около неё.

Я остался стоять у края лозняков, всё ещё медля возвращаться в свой лагерь.

Низко надо мной, так что пахнуло ветром и запахом влажного пера, беззвучно, словно некий дух, пролетела большая птица, должно быть, болотная сова. И хотя она не обронила ни малейшего звука, рождаемого сильными махами, тишина после неё показалась ещё обнажённое, острее. Сделалось беспокойно и тревожно от сознания, что где-то, возможно, совсем рядом, таится другой человек, как и я, напряжённо, опасно слушавший ночь и всё, что таилось в ней.

Но как я ни вслушивался, ни тянул шею, всё же не ухватил предвещающих шагов, хотя на глыбистой пахоте вряд ли возможно пробраться совершенно неслышно: что-то заденешь, ковырнёшь сапогом, что-либо да проломится под подошвой, а в такую мокреть в иных местах и самого сапога не вырвешь без хлопка и чавканья. Я увидел только тот момент, когда ровно струившийся сверху пучок электрического света, схваченный у основания мотнувшейся из темноты рукой, будто вырванное с корнем светящееся дерево, внезапно вздрогнул, судорожно рухнул ниц и тотчас погас, исчез бесследно. И только теперь слух уловил поспешные чмокающие прыжки убегающего человека.

Я не стал его окликать, да и не нашёлся сразу. Много спустя, уже на порядочном удалении, фонарик снова ожил, воровато оглянулся, пошарил позади себя и, отведя своё жёлтое око, зачиркал лучом по неровностям земли.

Свет его ещё долго взмелькивал, пока не иссяк, не изжил себя далью.

Утро прозрело поздно и неохотно. Блеклое, обескровленное, словно после болезни, после её изнуряющего перелома, ещё не способное улыбнуться, оно безучастно и кротко глядело с очистившихся высот на распростёртое по ним осеннее пожухлое пространство в колких отсветах пролитой воды, заполнившей все природные ёмкости и прогибы — от луговых низин до убористых пазух дягиля и белокрыла.

Раздумывая о вчерашнем, я лежал в промятой соломе, закинув руки за голову и глядя в утреннее серебро палаточного проёма. Простенькие реалии видимого там — поникшие купы заречных ракушек, изреженных дождями, обозначающаяся линия далёкого побережья с тонкой жестяной трубой на просветленном горизонте, трудолюбиво сучившей нескончаемую нить сизого дыма, переливчатая вуаль скворцовой стаи, казалось, ничего не поклевавшей, а может, и потому, что нечего, — с утра, на пустое брюхо устремившейся вон из России, и опять вышедший к берегу пастух, уже не в половецком намеренье, а в простой объёмной кепке, и просто так спросивший, не видя меня: “Сколько время?” — и где-то флейтово пойкинувший кулик-перевозчик, подавший кому-то знак к отлёту на ту сторону, — всё это светлое, привычное отстраняло вчерашнее, ночное, творившееся только слухом и взбудора-

женным воображением, и обращало это вчерашнее в какое-то странное саднящее сновидение.

Я, однако, продрог без спальника, а пуще — проголодался ещё вчерашним голодом. Пошарив в рюкзаке, я сунул за щёку кубик пиленого сахара, чтобы не сосало под ложечкой, и на четвереньках выполз к мокрому прибитому кострищу с вялым намерением на ещё не собранном валежном сырье хотя бы как-то вскипятить чаю.

— А может, лучше попробовать пробраться к стогу и притащить свежую охапку с викой? — рассуждал я, как вчерашний землепроходец, тоже полагая, что меня никто не слышит в этой сиротской неперспективной округе. — Или нашелушить стручков прямо там, под стогом, а потом сварить из черных зернышек кашу?

И тут со стороны дороги послышалось:

— Хозя-и-ин!? А хозя-и-ин! Есть ли кто?

Зашебуршали кусты, хлётко стегавшие концами веток по одежке, и на притоптанную, обжитую мной кулижку выпуталась из хмызы невысоких и некрупных статей женщина в белой с накрапом сельповской косынке, поверх которой сидела ещё клеёчатая шофёрская восьмиклинка с чёрным лакированным козырьком. Её плечи облегала таковская ватная стёганка, в коих ныне уже не выходят за околицу, но которая, однако, сидела на ней ладно, с небрежной домашней уютностью. Обеими руками она держала перед собой рыжий дерматиновый кошель.

— Есть хозяин-то?

Осматриваясь, женщина по-птичьи вытягивала шею и любопытствующе шарилась остренькими, заметно выпцветшими глазами, похожими на поздний голубичник.

Медленно, заторможенно, удивлённым питекантропом поднялся я с четверенек — заросший почти недельной сивостью, с овсяной половой в нечёсанных волосах, с отёчными неумытыми глазами.

— Ну, я... хозяин... А что? — не очень приветливо выцедилося из меня.

— Здравсьте вам! — мягко поздоровалась она без лишней робости, и я, все ещё не соображая, что это за утреннее явление, машинально принялся обтирать о свой синий олимпийский зад не очень опрятные после вчерашнего руки.

— Вот, велено передать...

Опустив к ногам кошель, она извлекла из кармана телогрейки блестящий, белого металла фонарик и бережно, на составленных вместе ладонях протянула мне.

— А-а! — сообразил я, наконец, в чём тут дело... — Да-да, это мой фонарик... Мой, мой, спасибо...

— Вы уж извините... Обеспокоили вас...

— Ну, что вы! Какое же тут беспокойство?

Я не знал, что ещё такое сказать, и вместо слов просто так пощёлкал выключателем. Фонарик несколько раз послушно приоткрыл единственный глаз, заспанно и блекло посветил в серое небо.

— Что-нибудь не так? — испуганно шатнулась ко мне женщина. — Я только помыла его, тряпочкой обтерла... Уж не навредила ли?

— Всё так, всё так... — сказал я небрежно, всё же радуясь возвращению фонарика, проделавшего такое странное кругосветное путешествие. По правде, я уже считал его для себя потерянным, вернее сказать, отдавал тогда без возврата. А он — надо же! Чудесным образом опять со мной. — Всё так, всё так... Невелика ценность!

— Ну, как же... Ваня мой говорит, если б не фонарик, ни за что не дошёл бы... Ужасно что было! Гляну, гляну в окно, а глядеть некуда... Дождь и черень! Светопреставление! А Ваня говорит: стою середь ночи и не знаю, куда итти. Не знаю, и всё! Куда, говорит, ни ступлю — или яма, или провальная. Было совсем ослаб духом, аж, говорит, Бога давай кликать... Как на войне... Там будто бы тоже так... Вот прижмёт! Вот прижмёт! Дак иной, даже при хорошем звании, капитан или майор, за минуту до того кочетом глядел, а тут — куды гордыня девалась... Жужелкой тыкается, ищет земную

трещину... А сам шепчет в песок: "Господи! Спаси да пронеси..." Дескать, век не забуду... — Она посмотрела на меня внимательно и пытливо. — Ну, а потом, когда минет-то напасть, стряхнёт с себя пыль да комья и опять ко-четом глядит, кого клонуть...

— Да-а, вы как на передовой побывали. Всё точно так и было.

— Ну, на той передовой я, конечно не была, — улыбнулась она. — У нас тут теперь своя передовая. Это старший брат мне рассказывал... А то, говорит, было такое... Один раз, где-то на Украине, на хуторе поднялась воз-душная тревога. Смотрю, говорит, командир дивизии, генерал, выскочил из хаты и — в лопухи. Там щель была отрыта... А я, говорит, как раз на по-сту стоял, цею хату охранял... Немец как давай молотить! Ну, куда? Бросил я пост и тоже в лопухи. Да на командира дивизии и угодил, прямо ему на спину... А он ничего, терпит... Тут как садануло, совсем близко, как поле-тели ветки да бревна, слышу, генерал подо мной: "Свят, свят, светы наши!"

— Все мы люди! — вскинул я ладони кверху. — И со мной такое было... Ну, а ваш, ваш-то — дошёл? Всё нормально?

— Мой-то? Ой, да едва отполоскала! — подхватила она смешливо, с хо-рошим запасом певучести в чистом голосе. — Вваливается — то ли он, то ли не он. Одни глаза белые зенькают. Голова колтуном взялась. Стоит на поро-ге, вашим фонариком светит, забыл даже, что надо выключить...

— Жаловался, будто ребро поломал...

— Кряхте-е-ел! — подтвердила она. — Когда обмывала в корыте, не да-вал дотронуться. А и правда, аж синяк проступил. Да я мёду с хлебом по-жевала, прилепила к боку, а сверху липучкой крест-накрест... Кашляет, а сам морщится. Видно, не шутейное дело. Крепко бахнулся.

— Может, доктора надо?

Женщина добродушно рассмеялась, даже шлёпнула себя по бедру.

— Кова доктора! Уже нету! Уже в Макарыно утрёхал!

— Как — утрёхал?!

— Убежа-а-ал! На пятой скорости! — продолжала смеяться женщи-на. — Боится, что уговор пропадёт. В Макарынском отделении овощехра-нилище надумали строить, до морозов хотели успеть, а он доски пилить под-рядился. Он у меня росточку не шибокого, говорит, в самый раз на верхнего распиловщика. По бревну целый день бегать — не всякий найдётся. Это же цирк! — засмеялась она. — А Ваня взялся. Он у меня за всё хватается: и за столярное, и за печное, и помалярничать... Правда, у самого в доме — лас-точки на чердак через крышу летают...

— Говорится: сапожник...

— Без сапог! — подхватила она. — Небо-о-сь! С ребром, говорит, об-терплось как-нибудь, пилой отмахаясь, — а сам вострится на меня, смот-рит, что на это скажу, не пошлю ли в больничку. В болезни, говорит, на-добно, чтоб не заклинило. Никак не допускай до этого! А как заклинит — вот тогда кресты! Тогда — в Тополя! Вот такой он прохвесор...

— Тополя — это что? — не понял я. — Кладбище, что ли?

— Да не-е! Больница! Наша районка. Она в старых тополях стоит.

— Поди, барская усадьба.

— Не-е! Так и была больничкой. Ещё до революции. Мужики сложи-лись и сами построили всем миром. Он этих Тополей пуще колочей прово-локчей боится. В прошлом годе у него что-то с печёнкой занеладилось... То не ест, это отпихивает... Ну, уговорила... А через два дня является: "Маня, встречай Ваню, топи баню!" Стоит на пороге, рот до ушей, из авоськи мои тапки торчат и какая-то железяка, на дороге поднял. Там, говорит, одно томление. Окна законопачены, телевизор поломатый, а бессмертника я и сам накошу... Так что мимо Тополей аж в Макарыно умотал...

— И далеко ли?

— Да сперва на лодке через речку, да верст пять до конторы, а там, мож-жет, подвезут... Ополоснулся, прикорнул на сундуке, спал — не спал, а чуть засерело — подскочил! Покряхтывает, лоб тискает со вчерашнего, но терпит, поправки не просит... Щец холодных постребал и побёг, сердешный. Упор-хал без кепки, на босу голову... Пусть, говорит, маленько ветерком обдует,

освежит... Вчера, говорит, обронил где-то... Да где ж: тут вот недалеко и наплась. Кверху кутырками в луже плавает, как ладья. Спасибо, хоть не протекает, не затонула часом...

Женщина сняла кепку, повертела так и сяк, поскребла ногтем в каком-то месте и опять надела, присадила ладонью поплотнее.

— А кабы б не фонарик, то как бы не пришлось не кепку, а самую дурную голову на дороге искать... Уж такое спасибо! Такое спасибо!

Она присела на корточки перед кошельем и, вконец засмущав меня, выставила на землю трехлитровую банку молока: “Кипяченое, из погреба только, хотела в приёмку сдать, да не принимают, возить — дороги нет, — банку накрыла большой, как спелый подсолнух, белой лавашинной: — Вчерась напекла, хлеб весь кончился, а за хлебом на станцию благо ли в такую погоду?” — на лепешку пристроила брус сала и головку чеснока, а то, что не удержалось на лепешке, разложила возле, на лопушках: с десятков яиц и сколько-то солёных огурцов, полоснувших по ноздрям смородиновым листом и укропом. И что меня совершенно растрогало, так это полиэтиленовый мешочек с ядрёными, белыми, как перлы, тыквенными семечками.

— Кушайте на здоровье! — сама волнуясь и пыхая смущением, предложила она напევню, как на большом хлебосолье. — Хотела курицу, да не успела б... Боялась, уйдёте или уедете. Такое спасибо! Такое спасибо!

— Ну, что вы! Простая человеческая обязанность! Слышу, кто-то на дороге стонет... Дай, думаю, пойду погляжу...

— Ну, вот... Ну, вот... Слава Богу! — Она широко, откровенно перекрестилась шепотью. — Это вас Бог надумил... Только кажется, что мы всё — сами... А Ваня мой говорит: после вас будто взял его кто-то за руку да так и довёл до самого дома. Больше ни разу не упал, не запнулся.

— Может быть... Может быть... — неопределенно уступил я, хотя можно было и сказать вроде того, что зло за руку к дому не поведёт. И Бог наш есмь добро. Но не сказал этого, а, пошлепывая фонариком по ладони, согласился:

— Может быть, и так...

Женщина сунула шофёрскую конфедератку в опустевший кошелек, перевязала на голове косынку и протянула мне свою руку — живую, тёплую, проложенную косточками и жёсткими натёртостями ладонь, полную благодарного отклика. И, конечно, не догадываясь она, что никто другой, а именно вот эта рука и к дому, и к храму, и к человеку всю жизнь вела, а иногда тащила и подпихивала непутёвого Ваню-землепроходца, без коей он давно бы сложил свою разудалую подростковую голову.

— Ну, до свиданья! — сказала она, будто просила разрешения отправиться восвояси.

Уехал я на другой день.

Переночевав, я принялся потихоньку свёртывать свой лагерь: вычистил котелок, смыл с бродней бетонно схватившийся родной чернозём, скатал и увязал спальник, сжёг истёртую солому... Потом разобрал и сложил в чехол две удочки, оставив третью, как бы дежурную. Так вот именно её неожиданно загнуло, и я неожиданно-негаданно выволок отменного судака! Вот тоже: помню, на этом крючке больше суток болтался жалкий выполощенный обсосок червяка. Ну, конечно, такой важный чин на два кило солидности с тёмными послужными полосами по серому фракку ни в коем разе не притронулся бы к жалкому обоску. Тут как надо бы рассуждать: на усопшего червя сперва позарился какой-нибудь изголодавшийся, вечно гонимый, без определённого места жительства (бомж), чумазный **слизливый** ершишко. А уж потом только, проверяя виды на проживание, схватил за шиворот ерша, но при этом допустил неосторожность и наш блоститель донного порядка. Но так механистически всё можно препарировать и объяснить. А ежели без учёта ехидства, то не было ни ерша, да вдруг судак! Чудеса! Чистое везение!

Как водится, я сыпнул под жабры солцы, обложил крапивой и, завернув в махровое полотенце, спрятал рыбину на самое дно рюкзака. Другьям на уху. А главное — как наглядность. А то одним словам не поверят.

Меня подобрала цыганская колымажка под парой сытых, гривастых, тёмно-гнедых... Хотел было написать “лошадей”, но это были не лошади, а вот именно кони! Кони, косившие диковатые глаза и отфыркивавшиеся зелёной луговой пеной; в колымажке на дутых колесах и с полосатым тентовым верхом, кроме средних лет цыгана в меховом жилете, гнездилась ещё куча цыганок и цыганят непонятной степени родства.

Цыган прошел на мою кулижку, и пока усмешливо оглядывал приготовленные пожитки, цыганята, препираясь и отталкивая друг дружку, набросились на оставшуюся еду и, азартно сверкая белками и молодыми резцами, миглом схрумкали и счавкали все яйца, огурцы, почти непочатый **шман** сала, полпачки пиленого сахара, запивая всё это молоком из ходившей по рукам трехлитровой банки. Ели они в таком темпе не потому, что были голодны, а от бодрящего сознания внезапно выпавшего фарта.

— Сколько дашь? — всё так же усмешливо спросил большой цыган, буйной зарослью лица похожий на чёрного скотч-терьера.

— Веришь, друг, — развёл я руки. — Нету ничего!

— Ни копейки?

— Вот последний рубль. Но это — на электричку.

Цыган циркнул слюной, обтёр бороду чёрной лапой с белыми ногтями.

— Ладно, поехали! — воскликнул он весело. — Потом всем расскажешь, какой хороший цыган попался. Это дороже денег, верно?

Его готовность отвезти меня, праздного человека, за здорово живёшь заставила моё сердце сделать сильный непредвиденный толчок, ошпаривший меня чувством горячей любви и братства, и, уже искренне любя и счастливо созерцая этого человека, я взволнованно сказал:

— Хотя погоди...

И я развязал рюкзак, достал и протянул ему карманный фонарик.

— Вот...

— Работает?! — прагматично спросил цыган.

— В хороших руках... — сказал я.

— Ну, тогда — хоп!

1992

АЗ-БУКИ

*Не спрашивай меня о том,
чего уж нет,
Что было мне дано в печаль
и в наслажденье...*
А. Пушкин

В ту весну распустило рано, чуть ли не в половине марта, или, как определила моя бабушка Варя, аж на самого Федота, будто бы хранителя санного пути.

Возле бабушкиной избы уличный порядок прерывался никем не занятой излогой, езжий путь прогибался здесь так, что от подводы оставалась видна только одна дуга, мелькавшая в лад с конской побеежкой. Днями в эту ложбину забрела из реки ранняя вода, подтопила зимник, и бабушкину избу возницы стали объезжать стороной, огородами.

— Чево дестся! — поглядывала она в кухонное оконце, выходившее как раз в излогу. — Это же надо: сам Хведот штаны замочил! Ещё недели две опосля Хведота мимо нас на саях ездить бы...

Святочтимого Федота она величала без всякого почтения вроде как обыкновенного деревенского мужика, что-то там не сумевшего спроворить, и не на церковную букву “ферт”, а на простоволосый манер: Хведот. Так же, как фонарь называла хвонарем, фуфайку — кухвайкой, а ругательное “финтифлюшка” произносила как “клинтиклюшка”. За этот её косноязычный выговор я, стыдясь за неё, потом долго считал бабушку деревенской темнотой и лишь много спустя открыл для себя, что, оказывается, в исконно славянском языке не было слов на букву “эф” и что все слова с такой буквой в своём начале и даже внутри — чужие, пришлые, не свойственные нашему звукоречию, а потому истинно славянский говор долго сопротивлялся инородному новшеству и переиначивал привнесённые звуки на свой лад. И получилось так, что славяно-русские города всех раньше сдались на милость чужестранного *ферта*, тогда как удалённые от книжности запредельные селеньица и деревеньки и по сей день упрямятствуют, не приемлют чужое, двухперстно, раскольню твердя: Хвёдор! Хвиллип! Анхвиса! Или: хверма, хвляга, хвуражка, тухли, квасоль, картоха... И было мне, глупому, невдомёк, что все эти искажения не от невежества, а следствие естественного, непроизвольного отторжения органов от чужого слова, и проистекало оно на уровне православного раскола: тремя перстами осенять душу или двумя? С буквой “эф” осмысливать бытие или без неё?

Тем временем, поглядывая в оконце, баба Варя вовсе не сокрушалась из-за нагрянувшей распутицы, разделившей деревенскую улицу на два конца, и, кажется, была даже рада тому, что какой-то Хведот влез в лужу и замочил штаны. Помянув же о скорых “сорока мучениках”, она и тут не померкла лицом в канонической скорби, а как-то озоровато воссияла всеми своими морщинками, верно, своей языческой сущностью больше тяготея не к строгим порталам храма, требующим смирения, а ища и не находя своего Бога в родных займищах и кулигах, день ото дня полнившихся внешним лучезарьем, каплезвонким снеготалом, гамом, вскриками и пересвистом сорока сороков сорок, сарычей, грачей и подсорочников.

— Не успел на двор Хведот, а его уже Герасим взащей толкает, — протерла запотевшее стекло бабушка. — А Герасима — Конон, а Конона Василий поторапливает, своего места хочет... У каждого особ норы. На Василья с крыши капает, а за нос ещё цапает. Ну, да цапай — не цапай, а там уж и сороки — вот они. Знай, готовь квашню, солоди жито... Кулики-сороки полетят...

Был я тогда лет пяти или в начале шестого, медово рыж, острижен наголо, со следами золотушного крапа, ушаст, безбров и конопат, с болтавшимся на единой жилке верхним молозивным зубом, — словом, этакое посконное “чевокало”. У бабы Вари я числился внуком-первенцем, так что, если прикинуть, то какая же она бабушка в свои от силы пятьдесят годов? По нынешним временам такие румянят тыквенно округлые щёки и носят вздыбленные гофрированные юбки выше оплывших колен. Моя же баба Варя уже тогда казалась мне законченной бабuleй, Варварой Ионовной: под белым косым платочком — жёлтенькие швыдкие глазки в прищуре, нос утицей, привядшие губы, будто сдёрнутые шнурочком, чтоб, казалось, не говорила, не просыпала лишнего... Кофтёнка на ней неприметная, из ситцевого мелкотравья — мышинный горошек с вязелем, — но зато юбка — из грубого волосняного тканья, о которое бабушка походившая наводила блеск на всякой меди, — и впрямь первая на ней одежда: без определённых размеров, вся в вольных складках, готовых во всякий миг ринуться вправо ли, влево ли вокруг неё, и всё это почти до пола, и если меня спросить, во что обувалась баба Варя, то я, пожалуй, не вспомню, потому что под этими складками, кажется, ни разу не видел её обуви. Зато памятен ветер, который, сама будучи неказистой, ростом деду Алексею по грудную пуговицу, взвихривала своей юбкой, когда принималась домовничать, шастая бесшумно, словно витая от печи в сени, из сеней снова к печи с беремком лозовой поруби и опять за порог с переполненной лоханью, на погребницу за капустой или в горницу к лампаде за огоньком.

— А сороки — это чево?

— Это когда со всех деревень в урёму слетятся сорок сороков сорок да почнут гнезда ладить.

— А урёма — это чево?

— Лесная чащоба, которую весной половодьем заливает. Урёма, стало быть...

— Дак и чево?

— Ну, слетятся, почнут хлопотать свои хлопоты. Бывалая сорока — та прежний свой домик принимается прихорашивать, а которая впервой — той приходится новый заводить. Сорочье гнездо — не так себе, а затейливое. На него много надо палочек. Сорок прутиков — это токмо на донце, два раза по сорок — на застенки, да ещё сорок — на кровлю, чтоб невзгода не досаждала. Сорочин палочки носит, а сорочица их кладёт, тот принесёт — та положит, опять принесёт — опять положит. Эдак с утра до вечера. Толечки заря наклонется, а они уже за своё. И вот тебе затопорщится по болотным гривам, на недоступных деревьях, в калиновой чаще сколь пар сорок, столь и птичьих починков.

— И чево?

— Как это — чево? Вылупятся сорочата, начнут на весь свет сорочить, есть просить — вот тебе и весна! Птичья забота.

— А кулики — чево?

— А кулики, знай себе, полетят. Каждый кулик со своей куличихой. В одну ночь сорок да в другую сорок, да ещё сорок. Сколь пар, столь надобно и кулижек. Пи-и-ти — пить! — эдак они с дороги просят. Издалека, поди, летели, уж намахались-то! Присядут на песочек, засунут в тинку сорок пар носов, напьются вдосталь и давай дудеть, выдувать пузыри: бу да бу, бу да бу! И оттого у них, у куликов, своя весна получается, свои хлопоты. А от птичьей весны и нам чево ни то перепадёт — хлопот и веселья.

По бабушкиным счётам до сороков оставалось ещё два дня, а мне хотелось, чтобы все делалось сразу, и потому время мне короталось в томлении, похожем на скрытое недомогание. Все эти дни дедушки Алексея не было дома: с ранним светом он уходил к мужикам на деревню смолить чью-то лодку, приходил потемну, от него детярно разило варом, а от усов пахло водкой и сырым головчатым луком. Он ершил мою сонную голову, цокал нескладным языком и шёл спать на поостывшую печь.

Бабушка, опасаясь, что я непременно залезу в мокреть и замочу ноги, не выпускала меня за порог, и я, скучный, готовый реветь, весь остатный день обретался дома, отыскивая себе сколько-нибудь подходящие шкоды. Больше всего я торчал у окна, примечая внешние перемены. Бабушка ставила передо мной блюдце с зелёным конопляным маслом, посыпанным солью, возле клала ржаной ломоть — для моей занятости, а сама, набросив на плечи ватную одежду, в который уже раз шла кликать, заманивать в сени гусыню по прозвищу Матвевна, или просто Мотя, чтобы посадить её на гнездо. Матвевна — серая, дородная, медлительная гусыня — вдрут засвоевольничала, не хотела вылезать из большой замоины перед избой и вместе с соседскими гусями в гомоне и перебранке истово макалась в набрякшую снежную кашу, наплескивала на себя воду изворотами шеи и, довольная, вскидывалась на пунцовых ногах, восторженно простирая крылья, как бы просушивая их на хватком весеннем сквозняке.

От кухонного окна я перебирался вместе с хлебом и блюдцем к окнам безлюдной горницы, где в сумеречном углу перед невнятно мерцавшими образами разновеликих икон ровно, без вздрагиваний и колебаний, процеженный и хранимый синим стеклом лампы, блекло мерещился голубоватый пламенёк, вызывавший у меня, непосвящённого, трепетную робость и желание поскорее пройти мимо. И ничуть не переча этой смиренной горничной тишине и отрешённому свечению негасимо бдящего комелька, бойко, озабоченно маятили ходики, пересчитывая и распределяя секунды: “туда-зюда, туда-зюда...”, металлически подскаргыкивая, вернее, подзюкивая на правом качке.

Эти ходики считались единовластной собственностью дедушки Алексея. Всем остальным раз и навсегда воспрещалось к ним прикасаться. Он един-

ственный во всём доме и даже в деревенском роду имел право подтягивать гирию, запускать маятник, двигать стрелками, поверяя их верность ходом харьковского экспресса, ровно в полдень громыхавшего по гулкому чугунному мосту в трёх верстах от деревни и полнившего заречный лес раскатистым рёвом, многократ повторенным дубравным эхом.

Ходики были приобретены в самый расцвет нэпа на одной из многочисленных тогдашних ярмарок, ломившихся от изобилия еды и добра, и сами имели весьма весёлый, “процветающий” вид, который придавала им лицевая цифирная доска, окрашенная белой эмалью с разбросом по ней синих васильков.

Перед каким-либо большим праздником, когда бабушка Варя устраивала вселенскую стирку, выскребку горшков, чугунков, черепух и черепушек, кислым тестом обмазывала оба самовара — чайный и постирушный, а потом драила их шерстяной рукавичкой, дедушка Алексей тоже ввязывался в уборку: снимал с гвоздя свои ходики и шёл с ними к горничному столу, всегда заправленному скатертью. Там он отдёргивал ситцевую занавеску, чтобы было виднее, и, надев очки в тонкой проволочной оправе, каковые нашивал Добролюбов, и напустив на себя значимости и чина, принимался обстоятельно изучать часовой механизм, время от времени дотрагиваясь ногтем до какого-либо колесика или винтика, пробуя их на долговечность. Не найдя, что следовало бы исправить, дедушка доставал запрятанное на божнице специальное гусиное перышко, на котором оперенье в виде лопаточки было оставлено лишь на самом конце ости, макал им в пузырек с деревянным маслом и дотрагивался прозрачной капелькой до всех причинных мест в механизме, где происходило какое-либо верчение, качание или иная полезная работа.

— Ну, теперь будем ждать харьковца, — удовлетворённо говаривал дедушка, водворяя часы на прежний гвоздь.

Из двух горничных окошек виделась близкая река. Она грозно вздыбилась поднятым льдом с долгими зияющими разломами. Ледовое поле отделилось от берега сплошной чёрной полыньей, которая исподволь, день ото дня скрадывала береговую отлогость и уже подступила к нижним огородам, подтопила плетни, капустные ряды с торчащими кочерыгами, и было видно, как межгрядные тропы уходили прямо в тёмную глубину.

— Не сёдня-завтра вода сорвёт лёд, — говорила бабушка. — Того гляди, пойдёт во дворы...

— И чево?

— А тово! На печи будем сидеть...

В горнице я не задерживался подолгу: быстро наскучивали пустынная затаённость реки, неуют протаявших берегов, и я опять возвращался на кухню, откуда по ту сторону затопленной излоги виделось несколько деревенских дворов. Там всегда находилось что-либо живое. Вон в затишке у забора под надзором осанистого, в золочёных позументах петуха копошились куры, дружно, всей артелью выгребали что-то из-под куста, взмелькивая жёлтыми голеними. По тесовой крыше соседнего сарая, по самому её гребню, поддерживая равновесие отвесно задранным распущенным хвостом, пробирался тётки Затеихи рыжий котиче. Он воровато озирался, надолго замирал в неловкой позе, должно быть, мня, будто его никто не видит, тогда как этот ворох огненной шерсти с белой помаркой на носу уже давно приметили все окрестные воробы, и даже мне издалека было видно, что неисправимый пройдоха и плут крадёт к скворешне. Сама же тётка Затеиха в тени сарая, на синем куске оставшегося снега, налегке, с оголенными до плеч руками, истово, будто провинившегося, колотила веником полосатый половичок. А у воды толпились пацаны, краснолице галдели, меряли заберегу шестами, пускали скачущие “блинцы”... И время от времени всё летели и летели на ту сторону, в лесное заречье, взмелькивали белым, будто вспыхивали при каждом взмахе, долгохвостые сороки.

Иногда перед окном, когда я ел свой хлеб, появлялся дедушкин пёс Сысой — неловкий лопухий увалень желтоватого телячьего окраса. Ему было всего только семь не то восемь месяцев, а он уже спибал с меня шапку дружеским помахиванием хвоста. Дедушка Алексей под весёлую руку привёз его

от знакомого лесничего как гончего щенка. Ружья, однако, у дедушки не имелось и никогда не было, тем паче что к зайцам из-за торчащих жёлтых резцов он относился с брезгливой опаской и сроду не ел их мяса. Для чего понадобился дедушке именно гончак, начисто не способный что-либо охранять по двору, никто не знал, да и сам дедушка тоже.

— А-а, ладно! — Он с добродушной виной махал от себя ладонью, будто кого-то отпихивал, и, смеясь, разрешал все недоумения. — Пускай себе бегает...

Сысой глядел на меня, склоняя свою огромную голову с ложбинкой посередине из стороны в сторону, обвисая то правым ухом, то левым, нетерпеливо пританцовывая передними лапами или же присаживался на зад и скрёб жёсткой когтистой пятернёй дощатую завалинку. Глаза у него тоже тяжёлые, тёплые, совсем как у бабушки Вари, в них не было ни капюшки злости, а лишь открытый и ясный свет доверчивой души щенка, верящего, как и все мы, что он рождён для счастья, и все ему друзья, а ещё — желание пообщаться, дружески лизнуть щеку. Над каждым его глазом бугрилась тёмная родинка с пучком длинных волос. Время от времени он вздёргивал эти родинки, удивлённо морщил лоб, будто недоумевал, почему я, его лучший друг, не отвечаю... И как бы испробовав все способы пробудить моё внимание, приоткрывал адуго, истекающую слюной пасть, встряхивал оборками щёк, коротко и резко выдыхал: “Дай!”

А как я мог дать, если был отгорожен двойной оконной рамой? Хлеб я уже доел, осталось только немного масла на самом донце блюдечка, которое я пытался собрать согнутым пальцем. Давать было нечего, и я замахнулся на Сысой, пробормотав слышанное от взрослых: “Бог подаст!”

Сысой не понял и ещё раз встряхнул брылами: “Дай!”

— Сказано, нету-у! — осерчал я и повернул к нему пустое блюдо. — Видишь, нету ничего? Какой беспонятный!

— С кем это ты балакаешь? — в дверях горницы появилась бабушка Варя.

— Да вон... вытаращился... Лапой скребёт...

— А-а, Сысойка! Щас, щас я ему щец вчорошних... А то, говорят, нехорошо, ежли собака так-то глядит да в своё окно, лается...

— А чево — нехорошо?

— Говорят, не к добру это... Будто к неурожаю, к бесхлебице...

Поди, и верно это: на другой год бабушка уже не выдёргивала лебеду у плетня да по-за сараем, а берегла ее и даже поливала — в хлеб добавлять. Это — в тысяча девятьсот тридцать втором...

И ещё она сказывала, будто перед самой войной точно так же скребся в окно Сысой, уже взрослой собакой, с понятием... Вынесли ему похлебать, а он только понюхал, но есть не стал и сызнова принялся скрести под окном завалинку.

А после войны, в самый раз на день Победы, увидел Сысой в открытом окне дедушку Алексея, сел перед ним и завыл, срывая иссякшим голосом. А вскоре сбежал со двора и больше не вернулся... В том же году по осени ушел из дому и дедушка Алексей — просить милостыню...

В самый канун сороков я проснулся среди ночи от ощущения неюжта, как если бы со мной что-то случилось. Провел языком по тому месту, где ещё днём тепелелся передний зуб, но язык беспрепятственно провалился в ужасающую пустоту. Казалось, что дыра простиралась от уха до уха, будто настезь распахнутые ворота. Большого унижения я никогда прежде не испытывал. Я почувствовал себя таким несчастным, что, отрешившись от всего, одинокий и жалкий, ткнулся ничком в подушку и заревел. Это была моя первая серьёзная потеря, ринувшая меня в бездну предчувствия собственной бренности.

— Што ты? Што ты? — сонной торопью отозвалась из своего угла бабушка.

Я продолжал гундеть в подушку, дёргаться оголёнными плечами.

Бабушка свесила босые ноги с лежанки.

— Иду, голубь мой! Иду...

В просторной полотняной рубахе с выпавшим на грудь крестиком она присела на край моего топчана.

— Приснилось чево?

— Да-а! — заревел я опять, на этот раз обидевшись на бабушку, на её непонятливость, и сердито вытрубил: — Зу-у-б!

— Ах ты, мой голубчик белый! — Бабушка шершаво огладила мое плечо. — Ну, будя, будя... Горе твоё не горькое. Зубки ещё нарастут... Уж не проглотил ли часом?

Она запустила под меня руку, провела ею по простыне и радостно объявила:

— Ан вот он, зубок-то! Нашёлся! Махонький, как зёрнышко! Как пошаничка! На-кось, взгляни!

Глядеть на свой зуб я брезгливо не захотел, и бабушка сказала:

— А вот мы его щас под печку забросим...

Придерживая щепотью долгую ночную рубаху, она прытко, босоного прошлёпала в кухню, тускло озарённую каганцом на припечке, что-то там пробубнила, чёрной тенью отражаясь в простенке, и вернулась весёлая:

— Ну, вот, отдала зубок... Подарочек сделала...

— Кому? — не понял я.

— А старичку-домовику, што в подпечи живёт... На тебе, говорю, зуб старый, а ты нам за то дашь новый. Зубок новый, калёный, стойчей злата, прочней булата. Не будешь ослушником — дак и даст...

— А он — кто?

— Да старичок, говорю. Этакой, меньше пальца. Но не гляди, што мал, зато серди-и-ит бывает! Коль не уважишь. Ежли што не так, ни за што печь не истопишь. Будет дымить, глаза высеет. Топишь, топишь — а картошка в чугушке сырьём грохочит... Потому как огонь без силы: руки в него сунешь — и хоть бы што... Это когда он рассерчает... А ежли уважишь — ну, тогда и хлеб спечётся на славу, и каша духовита да рассыпчата... Вот завтра увидим, когда куликов начнём печь... Доволен ли твоим зубом?..

Прикорнув рядом, бабушка Варя ещё долго наговаривала что-то, её негромкие, шелестящие слова лились обволакивающей струйкой, размягчая тело, затуманивая мысли, и я покотился, покотился было куда-то в заполненное тёплой тишиной пристанище, как вдруг в покинутом мной мире раздался резкий и жёсткий вскрик, от которого я вздрогнул, напрягся тревогой.

— Ба-а! — позвал я, потянувшись рукой.

— Вот она я, вот она... — обняла меня бабушка.

— Это — чево? Чево кричало?

— Дак это Матвевна... Спи давай, спи...

— Какая Матвевна? — начисто запамätовал я.

— Да гусыня наша, Мотыка! Никак не утомонится, оглашенная. Только сёдни на гнездо посадила. Под лавкой в лукошке сидит. Ишь как гагакнула, аж ведра зазвенели.

— Чево ей?

— Гусей чует. Теперь там в темноте дикие гуси летят. Переговариваются между собой, штоб не потеряться. Я не слышу отсюда, из хаты, а Мотя слышит. И как гомонят на лету, и как крыльями посвистывают. Ей ведь тоже с ними охота. Все воли хотят, да каждого своё бремя держит...

— Ке-ге-х! — опять призывно, остро, со стальной звонцой вскрикнула Мотя, и жёлтый косячок ночника на выступе печи закачался ответно.

Проснулся я поздно, разморенно, с ленью во всем теле и не сразу вспомнил, какой ныне день. А вспомнив, подскочил, как подстёгнутый, спрыгнул с топчана и кинулся к горничным окнам в предвкушении увидеть что-то необыкновенное, что ожидалось все эти дни. Но за окном клубился серый туман, заполнивший всё пространство будничностью и скукой. Порой его ватные рулоны подкатывались к самой избе, отчего в горнице делалось сумеречно, как в зимнюю выюгу. И только когда мятущиеся клубы отступали вселять и туманная толща редела, обозначая просветлённые разводы, по скоротечному золочённому сиянию в них угадывалось, что где-то в заречье, понад лесом уже воспряло солнце и принялось за свои неотложные дела.

За космами тумана я не сразу заметил устрашающую близость полой воды. Зловеще тёмная под сизой наволочью, она уже не подбиралась вкрадчиво, а, вся в разводах пенных завитков и воронок, истоиво, напористо мчалась в нескольких шагах от завалинки, так что я поначалу даже отпрянул, устрасась этой её близости.

— Видал, чево деется? — окликнула меня бабушка, громыхтевшая на кухне утварью. — Не упомню такой воды. А теперь вот туман доест последний снежок — того боле прибавит. Хоть берись вязать узлы да на чердак стаскивать... А дедка наш и не ночевал ноне. Все чужие лодки смолит. А своя, небось, щелястая...

В избе было натоплено, половицы ласково теплили босые ноги, сама же печь, уже прикрытая заслонкой, умиротворённо, вся в знойной истоме, ещё издали двошила сухим крепким жаром, источая дух калёных кирпичей с пряной примесью ржаного хлеба.

Вид большой деревенской дежи, уже опорожнённой, заляпанной остатками теста, и это живое обволакивающее дыхание истопленной печи вернуло мне чувство праздничной необыкновенности. И в то же время холодом полоснуло при мысли, что всё уже состоялось без меня, что самое главное я проспал...

— А где кулики? — поспешил я выяснить в испуге.

— Ишо и не думала, — обидно сообщила бабушка.

— Как не думала? — враз разлюбил я её. — Ты же говорила.

— Ну, да не пришёл черёд. Сперва хлеб надобно. Буден день правит всякий праздник. В будни не поешь, дак и в святой день калачом не наешься. Вот токмо хлебушко посадила, помогай Господь. Ну-ка, семь ковриг вымесить: две взаймы брато, ещё две — тоже не себе, остальные — наши. Это же кажную вынянчить да огладить, да на под высадить... Жаркая это затея, небось, кувшин квасу испила... Так што, голубь мой, за куликов ишо не бралась. Вот передохну маненько, да и примемся с тобой за свистульки.

Бабушка присела на лавку, сложила в колени расслабленные руки с грубыми, онемело замершими пальцами, и я, глядя на них, тайно удивлялся, как можно такими корявыми пальцами что-либо вылепить из непослушного теста.

И уже убрав со стола всё лишнее, выскребя ножом столешницу и высевая пшеничную муку тонким волосным ситом, она наговаривала мне, возторженно следившему за каждым её действием:

— Кулик — это тебе не то да сё, да энто самое... Ево из хлебного остатка, из одолев не вот-то скварнакаешь. Сиволапый получится. Кулик — он ба-а-а-рин. Што лепился-то ладно да послаже был... Вот берегла запасец на случай хвори, избавь, Матерь Божья, ну, да ладно, коли слово дала.

Ситечко величиной с обеденную тарелку часто, монотонно мелькало в её руках. Бабушка удерживала посудинку одними только пальцами, тогда как сами ладони оставались свободными, коими она и подталкивала лубяной обод то вправо, то влево, и так часто, что казалось, будто это вовсе не сито, а весёлый плясовой бубен в её оживших руках: та-ти, та-ти, та-ти, та-ти...

Белый ворошок просеянной муки постепенно нарастал на середине стола, мучная пороша тонко рассеивалась вокруг. Я выставил указательный палец и провёл по столешнице произвольную зигзагу.

— Эт ты чево нахудожничал?

— Так просто...

— Уж большой просто так пальцем водить, — осуждающе сказала бабушка.

— А как? — я не понял строгости в её голосе.

— Ты давай учись буквы писать. Знаешь буквы?

— Н-не-к...

— Вот тебе раз! Выходит, я — темень, и ты не больно-то грамотей.

Бабушка стёрла ладонью мою прежнюю загогулину и на том месте подсеяла свежей муки.

— Вот и давай... И бумаги не надо, и карандаш при тебе.

Я этим самым карандашом почесал в раздумье макушку.

- “Аз” знаешь?
- Это чево?
- Буква такая. Самая первая.
- Н-не-к...
- Пиши палочку.

Одoleвая робость, я неуверенно выставил указательный палец, тогда как остальные собрал в кулак. Поразмыслив, как писать: повдоль или поперёк? — я, наконец, решился, опустил подушечку пальца в нетронутую мучную целину и потянул на себя, образуя первую, не очень ровную линию для будущей своей науки.

— Так! — одобрила бабушка. — Теперича энту самую орясину да подпри другой... Чобы та не упала. Понял, как?

- Угу-у! — готовно кивнул я, сообразив, что от меня надобно.
- Подпёр?
- Ага-а!

— Так. А теперича припей между ними посередине тесовину. Одним гвоздём припей к левому столбу, а другим — к правому.

— Готово! — кивал я азартно, принимая бабушкину игру и в гвозди, и в молоток...

— Ну, вот тебе и “Аз”! — она перестала нашлапывать сито и оглядела меня с пристрастием. — Запомнил?

— Ага! — поспешил я заверить, и это была правда: бабушкиного мучного Аза, самую первую букву моих долгих дальнейших университетов, я запомнил навсегда.

— А теперича пиши “Буки”...

— Где писать?

— Рядком и пиши, сперва “Аз”, потом “Буки”...

На “глаголе” — этом суровом аскетическом знаке, всегда потом казавшемся мне орудием Голгофы или знаком Аппиевой дороги, у бабушки закончилась белая мука и моё учение само собой оборвалось. Я сбегал в горницу взглянуть, оставалась ли вода в прежней поре или ещё ближе подобралась к дому. Бабушка же принялась подмешивать в деже остатное от хлеба тес-то, после чего выложила колоб на стол и заходила по нему обоими кулаками, ловко, со шлепками подтётёшкивая и подминая один край под другой.

Но вот тесто готово, бабушка нащипала от него несколько комков, затем, всё так же неуловимо мелькая и шелестя ладошками, бесформенные комья превратила в аккуратные яблочки, которые, в свою очередь пришлапнув на столе, раскатала в удлинённые лепёшки, похожие на подошвы: носочек — пошире, пяточка — поуже. На широкой части подошвы бабушка сделала несколько просечек ножом, обозначивших перья распушённого хвоста, такие бывают у голубей, когда они парят на одном месте. Два боковых отростка, там, где должна быть талия, один справа, другой слева, она отогнула на спину, уложила друг на друга и в этом месте пальцем сделала вмятину — получились как бы сложенные на спине крылья. Узкую же часть подошвы бабушка приподняла кверху, отчего птица тотчас вскинула шею и насторожилась, после чего ловкими, быстрыми щипками она обрамила птичью головку узорчатым кокошником, а двуперстиями каждой руки одновременно оттянула и округлила немного теста, так что у кулика получилось сразу два носа — один спереди, как и положено, а другой — на затылке, вроде как запасной.

— У-ух! — шумным выдохом подытожила бабушка и бережно приподняла на руке кулика. — Ну, здравствуй!

И что-то ещё поправив на фигурке, сказала:

— Сбегай-ка в сени, там калина висит, глаза сделаем...

— Ух ты! — ещё больше завосхищался я и, как был босый, вышмыгнул в дверь.

От вставленных на месте глаз калиновых ягод кулик и вовсе ожил, воспринял каким-то азартom бытия, словно был готов вскочить на лапки, побежать спорными строчками, затрепетать крыльями, а то и запустить один из носов в миску с водой и протрубить свою весну. Ах, как мне не терпелось схватить птицу и помчаться с ней куда-нибудь на волю, на тёплые проталины!

Тем временем бабушка принялась за следующего кулика, а я, опершись о стол подбородком, очарованно созерцал только что родившуюся птицу, полонившую моё воображение.

Единственное, что не очень нравилось мне в кулике, — это два его клюва. Как так? Почему? — недоумевал я и робко поведал бабушке о ее ошибке.

— Неуж? — удивилась она весело, уже живя праздником, родившимся от работы, от чудотворности её рук.

— А вот смотри: один нос тут, а другой тут, — указал я на оба клюва.

— Какой приметливый! — восхитилась бабушка. — А я дак и без внимания. Леплю да леплю. Этак вроде ладнее: щипнул-крутнул и — на тебе.

— Так неправильно! — убеждённо уличал я искусство во святой лжи.

— Матушка моя этак лепила, и её матушка... Спокон веку.

— Ну, неправильно же! — горячился я.

— И пусть себе... — благодушествовала бабушка. — Лишнего не склюет...

— Ну, ба-а! — совсем заобижался я оттого, что не хотели понять очевидное. — Ведь так не бы-ва-е-ет!

— А как, голубь мой?

— Все птицы должны быть с одним носом! — провозгласил я истину, обязательную для всех.

— Ну, ладно, ладно, — закивала она согласно. — Ты уж прости меня, глупую. Все так делали, и я так... Это ж всё для веселья, для праздника.

И, приподняв на ладони ещё одного готового кулика, запричитала напевно:

*Куличок-веснячок!
На тебе зиму,
А нам лето!
На тебе сани,
А нам телегу!*

Голос у бабушки тонкий, паутинчатый, с переливной звенью, пела она не шевеля губами, отчего казалось, будто пение помимо неё возникало из самой тишины. Особенно любил я слушать её пение, когда она строчила на своём “Зингере”: её негромкая звонца вкрадчиво переплетала мерный шелест швейного челнока.

*Кулики куликали.
На кугиклах пикали.
Пикали, пикали,
Красну весну кликали.*

Бабушка тронула меня за плечо: “Давай, запоминай, прилаживайся”, — и продолжила закликать Весну:

*Ты приди, красна девица,
Дай из рук твоих напиться.
Наконец, пришла пора хлеба!*

Взглянув на ходики, бабушка Варя всплеснула руками: “Ох, заигралась я!” Она даже переменялась в лице, посерьёзнела, губы сдёрнула суровым шнурком и не проронила ни единого слова до самого конца хлебного дела. А дело было такое. Из вороха рогачей и ухватов бабушка выбрала нужное оружие — большую кочергу на долгом древке и, повернувшись к Николе, осенила себя знамением, словно собиралась предстать не перед печным устьем, а пред огненной пастью самого Змея Горыныча. Ещё раз мелко покрестив пазуху, она решительно потянула на себя заслонку, следом за которой хлынула волна крутого жара. В чёрном печном нутре завиднелись глянцевиные маковки тучных ржаных ковриг, и в нос ударило помрачающим бражным хлебным духом.

Крючком кочерги бабушка подцепила крайнюю ковригу, вытащив её на загнетку, поворочала туда-сюда, похлопала и вдруг припала к ней лицом — оказывается, затем, чтобы определить, удалась ли выпечка. Если нос терпит, стало быть, хлеб не клёклый и уже не содержит избытка обжигающего пара.

Теперь ковриги можно смело извлекать из печи, раскладывать по свободной деревянной лавке, с чистого гусиного крыла побрызгать водицей, чтобы умягчить корочку, накрыть холщовыми рушником, после чего оставить хлебушко благостно отдыхать и вызревать окончательно, набираться силы, сладости и смаку. Хорошо, говорила бабушка Варя, ежели бы при этом не топали ногами, не грохали топором, не хлопали дверью, не устраивали сквозняков и вообще лучше, ежели дверь притворить и хлеб оставить наедине, без посторонних. Потому как от всяких помех хлеб никнет и мрёт, как ушибленная душа.

— Ну, слава те... — выдохнула бабушка. Она обникла на лавке рядом с хлебными кругляшами, разбросала снова ставшие ненужными руки, недвижно уставилась долгу и вдруг воспрянула, воссияла, как прежде: “Чего я сижу, непутёвая?! Чего дожидаяся! Покамест ослабнет? Пора куликов румянить!”

Бабушкина юбка опять заволнобродила по кухне, и, поди, через полчаса одна из свежее испеченных птах уже была в моих руках. С рубиновыми глазами из калины, сиявшими пуще, чем прежде, весь ещё хрупкий, неотвердевший, пламенный, куличок радостно обжигал пальцы, и я перебрасывал его шершавое ореховое тельце с вкусными подпалинами на боках с ладони на ладонь, терпя жар, ликуя и пролепетывая бабушкино присловие:

*Куличок-веснячок!
На тебе зиму,
А нам лето!*

Я сразу полюбил его, проникся родством и соучастием в вешнем таинстве, напрочь забыв, что у него два носа, не положенных одному едоку. И мы помчались по избе отыскивать благодать. Залетели в горницу, где всё так же озабоченно прихрамывали ходики с жестяной гирькой, внутрь которой было что-то насыпано. В простенке на одиноком гвозде висели чёрные ножницы, похожие на присевшую передохнуть острокрылую ласточку-касатку. Бабушка кроила ими косячки для доскутного одеяла, а дедушка Алексей под праздники обравнивал себе бороду, выворачивая глаза, будто в упряжке его конёк Мальчик, косо заглядывая в квадратик зеркальца, зажатого в большой разлапой ладони, и неловко, криволапо, чаще всего мимо чвыркая стальными крыловидными лезвиями.

Мы присели на сундук, застеленный грубой домотканой попоной, ярко игравшей сочетанием черно-белых полос и красных, зелёных и голубых квадратов между ними. Для обители мы выбрали себе зелёное и голубое, потому что зелёное означало долгожданную зелёную травку, а голубое — чистую светлую воду, заречное Линёво озеро, где, по правде, я и сам ещё ни разу не бывал, а только слыхивал...

Потом перепорхнули на окно, где действительно уже воцарилось лето, потому что там росли настоящие живые цветы — бабушкины фуксии. С подпирающими лесенками из сосновых лучинок, с синими китайскими фонариками самих цветов, выставленными изнутри чем-то розовым, нежным, сияющим, отчего казалось, будто там, внутри, и в самом деле горели, светились маленькие восковые свечи.

А за окном празднично сияло солнце. Оно наконец-то одолело туман и всю голубило небо и воду, слепяще взблескивая на оторочках облаков, клочьях уцелевшего снега, на изломах мимо проносящихся льдин и чешуйчатой ряби под вешним ветром. И не удержалась душа:

— Ба-а! А ба-а! Ладно, я на улицу?..

— Не выдумывай! — решительно отвергла бабушка.

— Ну, ладно?..

— Знаю я тебя: враз по гузку залезешь.

К бабушке я приехал во всем зимнем, а главное — в валенках. Кто же знал, что “Хведот” потопнет у ворот...

— Ну, ба-а?..

— Токмо штоб с крыльца ни-ни-ни!..

...Не бывает на свете стран слаще крыльца отчего дома вешней порой!

Двор неистово сверкал бесчисленными бриллиантами, вытаявшими из подзаборных снегов. С огородов на улицу сквозь щелястый плетень мчался гомонливый поток, полный такого же неудержимого живого сверкания.

С навеса над крыльцом, из водоотводного ковшика бегло, спеша успеть, срывалась бесконечными чётками слепящая капель и била, била в выдолбленную ледышку у порога. Само же крыльцо, залитое солнцем, курилось ленивым парком, и от подсыхающих досок невнятно веяло солодовым запахом ивовой колоды.

*Ты приди, краса-девица,
Дай из рук твоих напиток! —*

завопил я от крыльца от невозможности молчать и воздел кулика к солнцу. — О-йю-йю-ё!

Видимо, услышав моё истинно языческое обращение к небесам, с теплой погребницы поднялся и, потянувшись, вякнув пустым нутром, прямо по всем этим хрусталам и алмазам, кроша зыбкие сверкающие мироздания огромными когтистыми лапами, ко мне побрёл вялый, заспанный Сысой, вовсе не подзревавший, что сегодня такой необыкновенный день. Впрочем, на середине двора он что-то заподозрил, поводит башкой и, уставясь на трубу, откуда, должно быть, всё ещё тянуло печивом, долго, старательно нюхал воздух, шевеля мокрой напшлёпкой носа, время от времени медленно приоткрывая пасть и как бы перекладывая бесполезные челюсти в более удобное положение.

В чём-то убедившись, Сысой присел прямо в отражённое солнце, почесал задней лапой за обвислым ухом, после чего пошлёпал ко мне бесечной развалочкой, ещё издали завилыв хвостом. И чем ближе походил он, тем вилял всё ретивей, так что перед самым порогом принялся вихлять и всем задом.

— Привет! — сказал я ему горделиво с высоты крыльца.

Тот ещё больше завихлялся и, льстиво прижимая уши, ткнулся в мой живот, потом осторожно, деликатно понюхал кулика в моей руке.

— Нельзя! — сказал я неодобрительно.

Сысой неохотно отстранился и уставился на мою руку, не сводя с неё тёплых подсолнечных глаз с черными бусинками зрачков. Но не утерпел и опять потянулся мордой.

— Не лезь, дурак! — я спрятал кулика за спину.

Сысой передними лапами заступил на крыльцо и заглянул за мою спину.

— Говорю, не лезь! — повысил я голос, с трудом отворачивая прочь голову Сысою.

Сысой нехотя попятился с крыльца и, усевшись напротив, нетерпеливо, вожделенно лизнул свой пупырчатый нос длинным и мокрым языком.

— Дай! — произнёс он не очень уверенно.

— Не дам! — решительно отказал я. — Его не едят. С ним играют. Он нам лето принесёт! Травку и тёплое солнышко!

— Дай хоть понюхать... — ёрзнул задом Сысой.

— Сказано, не дам! Иди, дурак, если простых человеческих слов не понимаешь. Был балбес, балбесом и остался.

Сысой вздёргнул тёмные шишки над глазами, отчего морда его обрела скорбное выражение, и заглянул мне в глаза внимательным, смущающим взглядом.

— Ба-а! — загунявил я, не поняв этого взгляда, и на всякий случай приподнял кулика над своей головой. — Сысой кулика нюхает!

На мою беду, Сысой откликнулся мгновенно и решительно: слегка прижав на задних лапах, он дотянулся до кулика и мгновенно спал его вместе с моей рукой. Я лишь успел почувствовать жаркий охват влажной пасти и какое-то kloкочущее всасывание воздуха, а когда Сысой снова опустился на прежнее место, кулика как не бывало. А главное, на моей обслонявленной ладони, только что побывавшей между ослепительно белыми зубами, я не увидел ни единой царапины. Оторопело, не в состоянии ничего промолвить, я глядел то на свою руку, то на Сысою, а он, обмахнув себя долгим пламенным язычком, удовлетворённо переступил передними лапами и добродушно заухмылялся во всю свою безразмерную пасть, как бы подводя общий итог нашим препирательствам: “Ну, вот! Теперь всё справедливо: сам есть не хочешь — отдай другому”.

И тут меня прорвало. Я заревел — заревел некрасиво, каким-то утробным рёвом на самых низких басовых и силовых нотах — так мне сделалось обидно от этой неожиданной выходки Сысой, от грубого его насилия.

На крыльцо выбежала встревоженная бабушка, принялась теревить меня расспросами.

— Да-а-а... — ревел я. — Сы-со-о-ой...

— Сысой? Укусил?! Покажи, где...

— Кулика съе-е-ел...

— Ах ты, проклятуший! — Бабушка схватила в сенях метлу.

Сысой взвизгнул по-щенячьи и, подобрав хвост, опрометью рванул в огорды.

— Вот я т-тя! Наказание на нашу голову! — Бабушка гневно постучала комлем метлы о порог. — Попадись мне! Никак не наглотаешься! Я ж токмо те картоху отдала. Да сам к поросёнку залез, мешанину полопал... Какова ишо рожна?

Сысой, спрятавшись за плетень, опасливо заглядывал в дырку, виновато, понуро слушал попреки.

— Ну, будя, будя... — Бабушка щепотью цапнула за мой мокрый нос и повела в избу.

— Мэ-э... — ревел я бычком.

— Не плачь: я те другова кулика дам... Ну, хочешь, я кулика вареньем намажу?

Я заревел ещё пуще, потому что мне нужен был не кулик-еда, а кулик-праздник, которого я полюбил и которого мне было неутешно жалко. Другого кулика я не хотел, даже намазанного вареньем. Но этой своей утраты я тогда объяснить не мог и только отвергал все бабушкины посулы и увещевания, отказался и от обеда и, забившись под косой столик в красном углу горницы, где расположился киот и горела лампада, горестно оплакивал невосполнимое, что на языке взрослых называлось “не хлебом единым”...

— А вот повой, повой, — ссорилась уже со мной бабушка, утратившая надежду выманить меня из-под стола. — Бог услышит твоё вытьё и накажет. Ибо сказано: грешен тот, кто плачется о самом себе... Понял?

Дедушка Алексей объявился надвечер, по косому солнцу. Он тут же вытащил меня из-под столика, пяткой ладони отёр моё набрякшее лицо и молча усадил есть с ним парящие щи с сушёными опёнками. Это сразу сняло всё моё напряжение, и я стал ровнее дышать и видеть предметы. Перед тем как почать новую ковригу, он тоже перекрестился в моментной строгости, после чего отрезал добрую зажаристую горбушку, посолил круто, встал и вышел на крыльцо. Я слышал, как он повистел Сысою, тот обрадованно прибежал, начал визгливо подпрыгивать, но, получив хлеб, сразу же убежал и затих на погребнице.

— Пойдём настоящих куликов смотреть, — сказал дедушка за обедом. Мы ели из одной большой черепушки, каждый со своего края, и когда дедушке попадались чёрные вёрткие опята, он перекладывал их в мою неловкую ложку.

Собирал он меня по-своему: запеленал в свой старенький полушубок, опоясал суконным кушаком и в таком шубном, пахнущем овчиной куле отнёс на брёвна, что лежали у ворот на улице.

Вода наливалась зарёй в двух саженьях от брёвен. Первым делом дедушка воткнул прутик у её кромки. Он опасался дальнейшей прибылости и потому принёс моток колючей проволоки, топор, битый кувшин с гвоздями и принялся опутывать подо мной брёвна, чтобы не растащило половодьем.

— Проволока-то эта ещё от Колчака, — говорил дедушка сквозь усы, из которых торчал гвоздь. — Тут её полно было намотано. Особенно по тому берегу. Токмо ленивый не натаскал, — и засмеялся: — Теперя друг от друга городимся.

Иногда совсем близко проплывала заблудившаяся льдина, и было слышно, как она пахала и скребла дно, сотрясая берег и брёвна, на которых я обретался, спелёнутый и недвижимый. Я пугался её близости и сокрытой мощи, и чудилось мне, будто это не просто лёд, а огромное животное брело по дну, выставив только спину, грязную, затрушенную соломой и конскими катышами, и я окликал в тревоге:

— Деда-а!

— Тут я, тут...

Дедушка хватал острогу на долгом шесте и, упершись трезубой остьё в лыдину, отводил её зад под струю. Течение медленно воротило громадину, сволакивало с мели и, подхватив, уносило прочь.

— Нечево ей тут делать, — провожал лыдину глазами дедушка. — От них потом грязь одна...

Прибежал Сысой, похлебал возле воткнутого прутика, полил на него и улёгся под брёвнами.

Постепенно засумерило, утонул во мгле, истаял тот берег с лесным за-гравком на краю неба. И чем заметнее угасал день, тем ярче расцветала зоревой позолотой речная гладь с резкими прочерками бегущих льдин, кругами сыгравшей случайной рыбы.

Вот в светоносном вечерющем небе послышался гортанный переклик. Усталые звуки, иссякая, бесследно таяли в просторах безоблачной выси.

— Гуси! — Дедушка восторженно замер, прижав к темени шапку.

Я распахнул пошире полушубок и в просвет ворота увидел долгую вереницу больших тяжёлых птиц, бронзово сиявших крыльями на неспешном махе. Должно быть, завидев воду, стая начала разворачиваться, заметно убавляя высоту. Тысячная цепь, всё время менявшая очертания, наконец, порвалась на две ватаги, и обе, снижаясь порознь — одна всё ещё бронзовея в закатном трепете зари, другая — уже подёрнутая мгlistой синью, — перекликались с тревожной озабоченностью, как бы боясь потерять друг друга.

— Уморились... Шутка ли — Росею перелететь! — сочувственно и уважительно сказал дедушка. — Ночлег ищут. Остров али мелкую снежницу на лугу. Вот ведь как у них строго: все лягут без сил, а сторожа будут стоять на часах, тянуть шею, рыскать туда-сюда, пока не сменит свежая вахта. Чтоб никто не подкрался.

— И волк?

— Дак и волк.

— И лисица?

— Куда ж ей, ежели кругом вода...

— А снежница — это чево?

— А это и есть снежная вода. Она хоть и мелкая, а не подойти: шаги далеко слышно.

А между тем река незаметно догорала, невесть когда сошла с неё позолоченная фольга, и вода взялась сизой окалиной, переходящей в бархатную тьму по кутным местам.

На подоконнике горничного окна жёлтым язычком затеплилась керосиновая лампа. Это бабушка выставила её подсветить нашему деду.

Но дело уже было закончено, и мы оставались на брёвнах просто так, отходя в ночь вместе с окружающим пространством. Мир, погружаясь в темноту, не утихал и даже, казалось, являл своё бытие с новым усердием. Невидимо струилась, всплёскивала, теребила затопленные ивняки, звенела льдистой осыпью и где-то тяжело ухала земляными подмывами ночная река, тысячеголосое квохтало, цвикало, утино побрякивало, попискивало мелкой птичьёю бездонное небо, и тихо прорезался, обозначив восток, ясный коготок молодого месяца.

Совсем низко, так, что мне почудилось прохладное опухание на щеках, пролетели какие-то птицы, и донеслись охватистые взмахи широких крыл: вах, вах, вах, вах...

— Чибиса пошли, — дедушкин голос почему-то отдалился.

— А чибис — это чево?

В тёмной утробе полушубка было тепло, дремотно, и я уже не знал, было ли то явью, когда почудилось свыше: “Братцы, туда ли мы летим?” — и: “Туда, туда!” — “Тут где-то Чевóкало живёт...” — “Да тут он, тут! Вон окно в его избе светится!...”

Летели кулики...

ВАЛЕНТИН СВИНИННИКОВ

ВОЙНА, ПРОШЕДШАЯ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ...

Вступая в год 70-летия Великой Победы (а также в год, официально объявленный Годом литературы), мы вспомним не только героев, отстоявших свободу и независимость нашего Отечества в смертельных боях, но и тех, кто, пройдя жаркие эти сражения, сумел о войне рассказать для потомков — талантливо и в высшей степени правдиво.

Евгения Ивановича Носова, которому исполнилось бы в эти дни 90 лет, критики, привыкшие размещать писателей по различным литературным сусекам, относят то к “деревенской прозе”, то к военной литературе. И в том, и другом определении есть толика истины и много неправды. С тем же успехом его могли бы отнести и к детской литературе (где прочно обосновался другой Носов, Николай, с его “Незнайкой” и блестящей игровой популяризацией научных и житейских знаний).

Ну, какая же это военная проза, если только в двух-трёх эпизодах сверкнёт отзвук недавнего боя? И то в воспоминании бывалого солдата и без всякой патетики, разве что с добродушным восхищением русской смекалкой!.. Как в рассказе “Шопен, соната номер два”. Проклятый дзот с неумолкающим пулемётом преграждает пехоте путь, а высоту нужно к вечеру взять во что бы то ни стало. И с гранатами не подобраться: всё, как на ладони. Но вспомнил “солдатык, пацан пацаном”, в детстве, наверное, не доигравший в солнечных зайчиков, о “секретном оружии”. Отпросился у командира поискать кое-что в брошенной деревушке: “Если я найду то, что нужно, — даю слово, после обеда сковырнём немца”. Поверил командир: жалко ведь людей терять в бессмысленной атаке, а приказ есть приказ. И притащил парень в мешке... зеркало. “А стекло во какое, с газету! Давай, наводи,” — говорит ему командир. “Ну, и уцелил он что ни на есть в самую амбразуру... Кинулись мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не та, а куда попало. А парень ему зеркалом-то всё в рожу, в рожу! Ну, конечно там, кроме пулемётчика, и ещё были, да мы их тут быстро разделили”. Вспомнили собеседники, как на Одере вот так же прожекторами ослепляли. “Э-э, браток, на Одере когда было? А то ещё под Орлом. Оно, может, про наш случай и до генералов дошло, до самой Ставки. Ну, дак, ясное дело, у генералов вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская”. И много ли наберётся подобных боевых эпизодов в пяти томах сочинений Евгения Носова...

Так что же — невоенная проза? И да, и нет. Его проза — о человеке на войне. Если хотите, философская проза, но без всякого рода научных дефиниций.

Философская, поскольку о глубочайших понятиях: смысле жизни, устройении и ладе её — и терпкая, осознанно горькая, когда этот справедливый, веками сложившийся лад рушится проклятой войной. Философская, но и поэтическая, передающая тончайшие оттенки душевных переживаний. Передающая так просто, естественно, как естественна сама жизнь природы и человека в ней. Можно ли считать “военной прозой” повесть Носова “Усвятские щлемоносцы”, если рассказывается в ней всего лишь о том, как собирались на войну в первые же её дни куряне из окрестных деревень: кто добровольцем, кто по призыву. Обычные крестьяне, тогда — колхозники, с простыми именами, которые были даны по святцам: Касьян, Давыдко, дедушко Селиван, Прохор, ну, и Дмитрий, Матвей, Никита, Алексей, Иван... Казалось, ограниченные люди: “весь мир, вся Касьянова вселенная, где он обитал и никогда не испытывал тесноты и скуки, почитай, описывалась горизонтом с полдюжиной деревень в этом круге”. Дальше Муром не бывал он даже во время трёхлетней службы в армии. Запомнилась тогда только дорога, “особенно обратная, когда не терпелось поскорее попасть домой, а поезд всё не спешил, подолгу стоял на каких-то полустанках, потом опять принимался постукивать колесами, и окрест, в обе стороны от полотна простирались пашни и деревеньки... Тогда-то и запало Касьяну, что нет ей конца и края, русской земле”.

... Читал эти строки и вспоминал свои детские грёзы. Небольшая станция на Транссибе, загораешь летом на слиянии двух таёжных речушек — Амазар и Могоча, — посматриваешь на железнодорожный мост, по которому проносятся в ту и в другую сторону поезда, выглядывают из приоткрытых окон какие-то люди, завидуешь им: увидят что-то другое, кроме тайги, сопок. Знал из книжек, что есть другие, дикие края, но... как поверить? А потом, объехав и облетав журналистом всю огромную страну вдоль и поперёк, от Чопы и Бреста на западе до Камчатки, от границы с Турцией на юге до Архангельска и Соловков, смело ввязывался в споры с японскими или китайскими коллегами: вы-то где были, когда мои предки за какое-то столетие прошли одиннадцать тысяч вёрст до Великого или Тихого океана? Одним всего лишь реку перейти, Аргунь или Амур, другим — несколько километров пролива. А поди ж ты, открывали и обживали те далёкие места мои предки-казаки. По сути, те же крестьяне, от земли живущие, но ещё и оружием владевшие мастерами...

Усвятцы, даже и не знавшие всего масштаба великой нашей страны, удивлялись искренне: да как же Гитлер с его крохотной, судя по карте, Германией мог покуситься на такую огромную державу? Тяжело было, дожидаясь повестки или ухода добровольцем, обрывать привычные связи с пашней, с родителями, с жёнами и детишками. Но всё крепло и крепло чувство, что именно это, всё, что зовётся родной землёй, и требуется ныне защищать. А дедушко Селиван, который, наконец, достал свой заслуженный в первой мировой войне и запрятанный от новых властей георгиевский крест, по церковной книжке объяснял каждому, что значит его имя. Получалось: Касьян — “Шлемоносец”, а привычный Лёха, Алексей — “Заступник Отечества, всех страждущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей Божиих”; про Зяблова говорил: “Никола, стало быть, так: “Победитель!” Во как!” И про Афоню-кузнеца выходило — “Не боящийся смерти!” И уже как-то иначе глядели мужики на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухожильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает, может, его и взаправду никакая поруха не возьмёт”.

Выходило по той старинной книге, что все, про кого бы тут ни зачитывали, могли и должны быть под шлемом, защищать Отечество. Но и раздумье подступало к Касьяну (и только ли к нему): “Там ведь того... убивать придётся...” И рассказал дедко Селиван, каково это — своими руками отнимать жизнь, пусть и у врага. Никола Зяблов обернулся к Афоне-кузнецу:

— По мне не умирать — убивать страшно. Али сам не такой?

Афоня-кузнец тяжело повёл опущенной головой и, не глядя на Николу, глухо проговорил:

— Россия вон гинет... Немец идёт, душегубничает, малых детей не шадит...

— Ну, дак кто ж про то не думает? — потупился Зяблов. — Уж и думки за думки зашли. Завтра вот сберёмся и пойдём”.

И пошли, шлемоносцы. С высокого верху видно стало самим, как стяги-

ваются по другим просёлкам мужики из соседних, ближних и дальних деревень. А другой больше армии нету, внушал дедко Селиван уходящему на фронт с тяжёлой от запоя головой Кузьме. Тот возражает:

— Чего это за армия? Капля с мокрого носу.

— Э-э, малый! — задрезжал несогласным смешком дедушко Селиван. — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье собирается. Нас тут капля, да глянь туды, за речку, видишь, народишко по столбам идёт? Вот и другая капля. Да эвон впереди, дивись-ка, мосток переходят, — третья. Да уже николевские прошли, разметнинские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!"

Сказано проще некуда, а слышится колокол набатный. Главная армия поднялась — народ. Крестьянский в большинстве. Сколько передумал сам я позднее, когда составлял один из томов 12-томной антологии "Венок славы" — о Великой Отечественной войне от первого дня до последнего в лучших художественных произведениях и документах. Отбирал, уже крепко, по-сыновьему подружившись с писателями-фронтовиками, отдавая дань своего поколения, мальчишек военных лет, отцам и старшим братьям, сокрушившим фашизм. И крепко убеждение, что воевала, в основном, именно глубинная Россия, из деревень и небольших посёлков. Рабочих-то квалифицированных "бронировали", чтобы в тылу ковать оружие Победы. Правда, не забыть и подвиг народного ополчения из столиц, да и других крупных городов, как в Сталинграде, где тракторный завод готовил танки, и часто рабочие сами вели их в бой. Некоторые ополченские дивизии уже и в сорок первом получили по праву звание гвардейских... Но из песни слова не выкинешь: главная армия — из таких вот усятских шлемоносцев.

Врезается в память и сцена, когда прибывший на мобилизацию офицер зачитывает по списку фамилии призванных... Сколько потом этих простых фамилий осталось на обелисках, на братских могилах. А ведь ещё в рассказе "Шопен, соната номер два" раскрывает Носов простую и скорбную мысль: за каждой из этих фамилий (а то и двух-трёх одинаковых с разными инициалами, где легко угадываются родственные связи) — человек с единственной, неповторимой душой, своей, чаще всего, очень короткой судьбой. Воевали-то, в большинстве своём, люди молодые. Я впервые через повесть "Пастух и пастушка" Астафьева, печатавшуюся в "Нашем современнике", уяснил, что была — и имела право быть на войне! — любовь земная, чистая и возвышенная (разве могло быть по-другому, если в каждую минуту — "до смерти четыре шага!"). Евгений Носов открыл и другую сторону этого глубочайшего вселенского чувства — любви не как просто плотского влечения, а как строительства новой жизни, через детей и внуков ведущей в бесконечность. И какие же уходящие веером в пустоту просеки вырубил проклятая война в человечестве...

Творчество Евгения Носова тревожит, будит бессонную память. Практически в каждом его рассказе или повести вспыхивает память о войне. Вот и в лирической повести "Шумит луговая овсяница" городской посланец, по призыву партии возглавивший колхоз, полюбил Анфису, деревенскую женщину, в одиночестве воспитывающую малолетнего сына. Женщину, так естественно вросшую в сельскую жизнь и так поэтически воспринимающую родную природу, словно о ней писал Николай Рубцов: "О сельские виды, о дивное счастье родиться // в лугах, словно Ангел, под куполом синих небес". Бережно-бережно, тончайшими штрихами выписывает Евгений Носов зарождение и расцвет этой любви.

Евгения Ивановича справедливо числят и в обойме выдающихся "деревенщиков", которые начинали печататься в "Новом мире" у Александра Твардовского и которых "переманил" Сергей Викулов в "Наш современник". Он стоит в литературе рядом с Фёдором Абрамовым, Виктором Астафьевым, Василием Беловым, Борисом Можаевым, Владимиром Солоухиным, Валентином Распутиным. Именно Викулов поднял вырванное чинушами из рук Твардовского знамя глубочайшей народной правды. Носов долгие годы был членом редколлегии "Нашего современника", здесь впервые увидели свет лучшие его произведения.

Но ведь и само определение "деревенская проза" — от лукавого. Так можно отнести сюда и Льва Толстого, и Ивана Тургенева, и, конечно, Ивана Бунина, не говоря уже об Аксакове и других классиках. Только ларчик-то просто

открывается! Кто может передать более точно полные, глубокие и тонкие связи человека с огромным миром природы? Бесспорно, человек, выросший в этом мире и не забывающий о нём “в неволе душных городов” или хотя бы тесно соприкоснувшийся с ним, особенно в детские годы. И философское (другими словами, общечеловеческое) содержание в трудах именно писателей “от земли” очень естественно. Крестьянину, даже если он не держал в руках умных книг, приходилось быть, по сути, поневоле энциклопедистом в мире знаний о Природе. Не постигнешь, на своём ли опыте или на опыте предков, законов Природы, не угадаешь со сроками и особенностями сева, состояния почвы и погоды — и оставишь голодной семью. А семья в деревне — не то, что в городе: надёжная опора, полнота радости бытия, укоренённости в обществе и через это — в человечестве.

Евгений Иванович Носов в этом смысле такой же классик русской литературы, как самые высокие имена. Не верите? Хотите провести эксперимент: на выборку предложите друзьям несколько описаний природы или повадок птиц, зверей, рыб — и пусть попробуют угадать: где Толстой или Тургенев, а где — Евгений Носов.

Не вписывается ни в какие рамки носовская повесть “Моя Джомолунгма”. Относят, правда, к детской литературе — для старшего возраста. Явно не “деревенская проза” — жизнь обитателей городского дома, превращённого в коммуналку, обросшего всяческими пристройками, малыми огородами. Но какой же в повести величавый символ стремления к высоте и в то же время укоренённости в родной земле! И обжигающая память о недавней войне, о мужестве солдата, оставшегося без ног, но сумевшего стать наравне со всеми и духовно быть выше тех “прыщей”, кто мог себе позволить свысока сморхнуть на “колясочника”.

Память о войне осталась и в высоко простёршейся ветви тополя, которую мальчишка, герой повести, про себя так и называл: “Осколочной”. Он и ногу-то сломал, упав с этой ветви зимой. Когда навестившая его подружка, по сути, — первая любовь, спросила, зачем же он зимой на тополь полез, он “отбросил подушку, отвернул матрац и выгреб на одеяло кучу рваного бесформенного железа.

- Что это? — не понимает Тоня.
- Осколки.
- Столько много?
- Ещё не все. Там осталось больше.

Тоня боязливо протягивает руку. Я понимаю её неприязнь. От этих ржавых уродливых кусков и до сих пор веет ощутимым холодком смерти. Они такими останутся навсегда. И через сто, и через двести лет. Как тевтонский меч, найденный под Псковом. На него глядишь так же неприязненно, сколько бы не прошло времени. Эти ржавые куски железа ни на что не похожи. Ни на какие другие предметы. Они ничего другого не напоминают, кроме того, что должны напоминать...

У Носова дальше потрясающие строки:

“— Старые занозы войны, — грустно говорит Тоня. Я знаю, она сейчас думает о своём отце. Он долго носил в себе осколок. Возле самого сердца. Но потом не выдержал... — Бедное дерево, — говорит Тоня. — Как оно ещё живо!

- Борется, как умеет.

Я взял из кучи большой, с мою ладонь, осколок.

— Вот этот был затянут толстым, мозолистым наростом. Тополь не мог от них избавиться, и он старался их изолировать. Но некоторые ветви уже начинают сохнуть. Я хотел вырубить до весны всё, пока дерево ещё не проснулось...”

Мне в этом видится не просто стремление мальчишки помочь тополю, ставшему для него символом стремления к высоте, но самой родной Природе. Верю: прочтает об этом подросток — и не загубит потом ни деревца, ни кустика, не зажжёт бездумно костёр в лесу...

Мальчишку с ногой в гипсе навестил и один из соседей, безногий Иван Воскобойников. Поднялся на второй этаж по узенькой лесенке без коляски. Смотрел на гипс молча, нахмуясь.

“— Знакомая штука, — сказал Иван. — Нагляделся. Но ты не смущайся. Через два месяца опять будешь гонять. Сейчас костоправы хорошие. За войну научились. Если весь гипс, в который люди были замурованы, свалить

в кучу — Казбек получится. Дорого эта наука обошлась... Мне-то в этой глине лежать не пришлось. А лежал со мной один лётчик-таранщик. Так на нём — пуда два. И грудь до пояса. Посмотришь со стороны — не человек, каменная мумия. Один нос да кончики пальцев торчали. Думали, не вылезти ему из этой скорлупы. Вылез! Тогда вылезали. Кажется: ну, совсем сломали человека, не собрать. А он опять свинчивался. Время, брат, такое было! Отмобилизованное до последнего нерва. Медицина только ахала. Да и не только медицина... Весь мир ахал”.

Врезались в память мальчишки (и, думаю, любого, прочитавшего эту короткую, но мощную повесть) и такие слова солдата:

“— Я ведь когда-то тоже в школе, как и ты, изучал человека, — сказал он, усмехнувшись. — Зубрили всякие позвонки, внутренности. Разбирали всего по косточкам. Малая берцовая, большая берцовая... Всего обшарили на макете. Чёрта с два! Разве из этого состоит человек! Он, брат, из чего-то другого.

Иван сидел передо мной, как птица, жилистыми пальцами обхватив края стула, и я, размышляя над его словами, вдруг поразился остроте его мысли: в нём самом не осталось ни большой, ни малой берцовой, а человек в нём остался”.

Вот такая война в книге для детей старшего возраста... И ведь не Эверестом окрестил мальчишка тополь своего двора — Джомолунгмой. Отзвук далёкого и загадочного Востока — не то, что обычная фамилия англичанина-исследователя. Мальчишка искал и осмысливал свой путь к высокому небу, к высотам человеческого духа.

И сколько же любви к людям, понимания их силы, как у безногого солдата Ивана Воскобойникова, или слабостей, как у дворника Никифора, которого во время запоя подменял его верная бессловесная супруга! И какое мастерское владение словом! Знаете, кто лучше всего понимает и ценит это высокое искусство? Те, кто сам прошёл войну, уцелел (какие-нибудь пять-десять процентов от поколения призывного возраста), чтобы Богом данный талант использовать в главном своём предназначении: рассказать правду, только правду, ничего, кроме правды, о своих товарищах-побортиках...

“Евгений Носов, — в оценке Ю. Бондарева, — один из самых талантливых наших стилистов. Современный русский литературный язык с его безграничной ёмкостью, мужественной строгостью и застенчивой нежностью сверкает в его книгах, подобно драгоценному камню, отшлифованному мастером... Читать его — истинное наслаждение и вместе незабываемое путешествие в глубокий и искренний мир его жизненного опыта и чувств, вобравших в себя и трагедию, и красоту человека”.

О том, как требовательно относились к работе над словом писатели-фронтовики, не умевшие, как некие “молодые таланты”, ногой открывать двери в кабинеты литературных начальников, писал в “Зрячем посохе” Виктор Астафьев, с которым Носов сдружился на Высших литературных курсах. Если Женя Носов прочёл и одобрил рукопись, считал Астафьев, значит можно смело нести в любой журнал или издательство. Они друг друга не щадили в строгих оценках. Но как же был важен такой “взгляд со стороны”, а по сути — из самой глубины военного опыта!

А вот отзыв критика из моего поколения, кому не довелось самому воевать, но так хотелось постигнуть правду о войне не из барабанно-пропагандистских, газетно-штампованных творений, коих немало появилось по горячим следам, пока сосредотачивались и учились сами фронтовики. “Каждое слово, положенное Е. Носовым на бумагу, проникнуто этим едва улавливаемым, застенчиво-стеснительным, трепетно-нежным, целомудренно-тихим чувством, названным Л. Толстым *скрытою теплотою патриотизма*. В рамках носовского рассказа, лишённого сюжетной жёсткости, законченности и внешней композиционной строгости, жизнь получает как бы дополнительную упорядоченность и свободу для самовыражения; она словно переносится из реальности в произведение с самими корнями и почвой, их питающей... Такая проза рождается из большой любви к окружающему, из глубокого уважения суверенных прав и законов действительности. Едва оконтуренная сюжетно, она находится словно бы на грани собственно искусства и живой жизни, не соскльзывая ни в поэзию для поэзии, ни в голый натурализм и мелкотравчатость, а сохраняя то внутреннее достоинство стати, которое согласуется с естеством жизненной правды и эстетической природой слова. Не будет преувеличением сказать:

проза Е. Носова просится в хрестоматийные образцы для изучения вопроса о том, что такое *подлинная художественная литература*” (В. Васильев).

Среди многих своих встреч с Евгением Носовым запомнил я на всю жизнь поездку к нему в Курск вместе с Виктором Астафьевым и Анатолием Заболоцким (прекрасным фотомастером и кинооператором, работавшим с Василием Шукшиным в блистательных фильмах) на машине Анатолия. 1989 год. Астафьеву только что вручили Звезду Героя Социалистического Труда (на год раньше, чем Носову). Я ещё работал в “Нашем современнике”, но предстоял решающий разговор с Мазуровым (бывшим членом Политбюро, возглавлявшим на пенсии Всесоюзный совет ветеранов, к которому меня “сватали” главным редактором газеты “Ветеран”). И я просил, чтобы не начинали в Курске намеченную программу: “Догоню вас в поезде”. А Носов обещал показать и открытый срез пласта знаменитого чернозёма и побывать на родине другого писателя-фронтовика из курян — Константина Воробьёва. Ночной звонок порученца Мазурова — Дмитрий Трофимович в больнице (встретаться и работать позднее довелось уже с маршалом Николаем Васильевичем Огарковым). И вот мы едем из Москвы в Курск, местами, запомнившимися Астафьеву с тех пор, как он почти мальчишкой ехал на фронт... Поздним вечером у самого Курска Анатолий проскочил какой-то знак. Остановил гаишник. Пришлось просить Астафьева выйти из машины, не скрывая геройской звезды. Юный гаишник аторопел (наверное, смотрел вчерашние новости по ТВ), отвёл меня в сторонку: “Не торопитесь уезжать, я доложу старшему, он же мне не простит, если сам не увидит живого писателя-героя...” В Курске уже затемно остановили первого попавшего прохожего, чтобы спросить, как проехать по указанному адресу. К изумлению, это оказался... темнокожий студент местного вуза. Как мальчишки, хохотали оба друга-фронтовика при встрече: “Первый встречный в Курске, в самой серёдке земли русской, — негр!...”

А потом за скатертью-самобранкой на одном из холмов, где и виден был срез чернозёма, знаменитого русского, того, что гитлеровцы эшелонами пытались вывозить в Германию, Виктор и Евгений затеяли нешуточное соревнование: кто больше знает названий цветов и трав. Кажется, победил Носов: он-то знал их более трехсот. Я мог только остро завидовать: вот оно, богатство родной речи, которое мне, в Забайкалье, на вечной мерзлоте выросшему, было недоступно. Зато когда зашёл разговор о рыбалке (а кто не читал астафьевской “Царь-рыбы”?), одолевал Виктор Петрович. И опять чисто мальчишеский хохот: вспомнили, как однажды спорили, где рыбачить лучше. Астафьев показывал: “Во какие у нас таймени! А что ваши рыбёшки?...” Носов, рассердившись, тут же забросил удочку... на луг, где паслись дородные гуси. Здоровенного гусака, клюнувшего на необычную приманку, пришлось пустить на “уху”. Я ещё спросил, как поладили с хозяевами такой добычи. Евгений Иванович махнул рукой: “Договорились — мы же русские люди”... Думалось тогда, что настоящий писатель всегда остаётся в какой-то мере ребёнком, хранит в себе чувства и память светлейших лет детства. Рассказы Носова для детей, при всей “взрослой” глубине содержания, несут этот отпечаток...

Съездили мы и к Косте, как по-свойски называл Носов Воробьёва, кремлёвского курсанта, насмерть стоявшего под Москвой в 1941-м, без сознания попавшего в плен и трижды (!) пытавшегося сбежать, воевавшего затем в партизанском отряде. В “Нашем современнике” печатались несколько его повестей, в том числе и последняя — “Это мы, Господи...”, — рукопись которой пролежала два десятка лет в “Новом мире” без движения, конечно, уже не во времена Твардовского. Евгений Иванович с горечью говорил об этом, как и о том, что тогдашние курские чиновники не допустили возвращения Константина Воробьёва на “малую Родину”. Где им было понять, что по-разному попадали в плен и вели себя в плену наши воины... А деревня, где сохранился дом Константина Воробьёва, всего-то в двух десятках километров от Толмачёва, родного села Носова, где отец его был кузнецом. Не случайно же Евгений Иванович работу земляка над словом сравнил с трудом кузнеца: “Константин Воробьёв любил работать в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени пылающего воображения. Оно ещё дышит жаром, стреляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот, благоговей над ним, испепеляющим, непокорным и прекрасным, размашисто, пока ещё не остыло, гранит его на звонкой наковальне. Я представляю, каким усталым, измотанным, весь в ссадинах и ожогах отходил он от своего горнила. Это было по-

истине Прометеево искусство. Да, собственно, на этом огне он и сгорел преждевременно, так и не дочеканив заветных своих страниц". Так ведь это и о самом Носове, как и другие его слова о друге: "В своих книгах он... рождается и погибает вместе с героем, испытывает мучительную боль за человека в дни его бед и тихую гордость за него в пору их преодолений".

Настоящие фронтовики, окопники, не любят рассказывать о боях-пожарищах, оставляя это журналистам. О том, что Евгений Носов был артиллеристом и часто "работал на прямой наводке", я узнал случайно, прочтя его письмо другому автору "Нашего современника", члену редколлегии Ивану Васильеву. Было это в Усть-Держе, в тверских лесах подо Ржевом, где Иван Васильев показывал мне даже линию окопов. Он задумал тогда создать "Фронтовую землянку" — своеобразную библиотеку писателей-фронтовиков, с их автографами и краткими письмами. А потом с тяжким чувством вспоминаю я, как однажды мы с Носовым, будучи в Тарханах, на родине Лермонтова, засиделись и заговорились допоздна. Утром Евгений Иванович идёт в душ, а я с ужасом увидел на его могучей спине шрам, куда запросто мог войти мой кулак. Он перехватил мой взгляд и вдруг стал рассказывать, как выбивали на войне оружейные расчёты. Болванкой в маленький щиток орудия попасть трудно — били шрапнелью, выкашивая расчёты сзади. Нередко после боя расчёт приходилось обновлять почти полностью. А у меня тогда сумбур в голове: неужели он подумал, будто я мог подумать, что он "показал тыл" врагу...

Скромнейший и мужественный человек! Его рассказ "Красное вино победы" — самое необычное произведение, которое довелось мне читать об этом дне. Даже прекрасный фильм, снятый по этому рассказу, не передаёт (для меня) всей полноты ликования и скорби, земных и высоких чувств воинов, для которых война завершилась в госпитале. Закованные в гипсы, — кто больше, кто меньше, — они полны счастья и надежд. Даже Копёшкин, солдатик из пензенской деревни. Копёшкин, который уже никогда не увидит своей деревеньки Сухой Житень, своего дома с деревцем, которое он просил пририсовать, с домиком-скворешником. Рядовая смерть рядового солдата Великой войны в день Великой Победы в госпитале... Сколько же глубоких чувств и размышлений о смысле жизни и смерти вызывает она у автора и у читателей! Это классика о войне — без преувеличения можно сказать...

Так ведь и "Шопен, соната номер два" — не просто репортаж об открытии обелиска — одного из тысяч на многострадальной нашей земле. Молодые парни из оркестра, приглашённого на торжественное это событие, — обыкновенные, привычные к заработкам на похоронах очередных "жмуриков", — не сразу смогли понять своего "старшего": он отпустил машину, на которой они приехали, отпустил, чтобы развезти по ближайшим деревням фронтовиков, в кои-то веки собравшихся вместе поговорить, повспоминать былое, помянуть павших из того скорбного списка на обелиске. Парням пришлось месить грязь просёлочных дорог под дождём, радоваться теплу дома, где их приютили на ночь, тем более что набрались в просторную избу и любопытные девчата (студентки на уборке урожая), которые не прочь были потанцевать. А в этом доме четверо не вернулись с войны, и даже могилки их не навесить — невесть где полегли, одного до сих пор ожидает старая мать: похоронки-то не было, без вести пропал... И "старшой" дядя Саша, сам опалённый былой войной, велит ребятам играть: "Шопен... Соната... Номер два"... Что сдвинулось потом в душе у каждого — додумает про себя любой читатель.

Высочайшее мастерство психологического рассказчика Носова в этом рассказе, полифоническом, передавшем и суховатые дежурные речи на открытии, и простой, по-народному образный язык самих фронтовиков, и раздумья дяди Саши Полосухи, и озорные реплики современной молодёжи, достигают такой вершины, когда и объяснять ничего не надо:

"Вышла и ещё женщина, видно, из колхозниц — в зимней суконной шали, с заветренным лицом. За ней побежал было мальчик лет шести, но на него зацыкали, потянулось сразу несколько рук: "Нельзя, нельзя туда! Ты что ж это?" Однако мальчонка увернулся, прошмыгнул-таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо набычась <...>. А женщина, не замечая парнишку и ещё не произнеся ни слова, сразу побледнела лицом, как только оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула высоким запальчивым голосом:

— Я вам так скажу, товарищи: моих полегло двое. А я хоть и живая, а тоже пораненая на всю жисть...

И вдруг закрылась руками, грубыми, негнушимися пальцами, какие бывают от бурака и стылой осенней земли.

Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим народом, она, наконец, отняла руки, ожесточенно оглядела толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела выразить свою старую боль, и, не сумев найти таких слов, вдруг подхватила мальчика, подняла под мышки и, повернув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче:

— Смотри, Витка! И запомни! Вот она такая, война!..”

“Такая война”, в глубинном понимании и переживании “самого простого” — и далеко не простого народа нашего, светит практически в любом произведении Евгения Носова. Иногда пронзает абсолютно неожиданным поворотом сюжета. Как в повести “И уплывают пароходы, и остаются берега”, когда современные, вполне беззаботные туристы во время неожиданной стоянки затеяли “выход на природу” — на моторке местного жителя онежских островов Савони. Всё обычно, буднично, с флиртом и интрижками, с фуршетом у коистра и нечаянно подпалённым Савоней. И вдруг... Когда кинулись лечить его обожжённую ногу, выяснилось, что это — протез, следствие той, многими молодыми и неизвестной, далёкой войны. Протезу — не больно. Мне, читателю, больно, когда один из туристов бросает на прощание Савоне спортивные штаны и сообщает: в кармане трёшка, за услугу... И уплывают пароходы, а берега — та самая корневая Россия, главная армия страны — остаются...

Всё творчество Евгения Носова — о народе-труженике, народе неодолимом, когда ему приходится браться за оружие, чтобы защитить родную землю и жизненные устои, на которых она стоит веками. Вроде бы совсем не героичны его герои — хоть на войне, хоть в тылу. Ну, что особенного во фронтовом кашеваре или вознице из рассказа “Переправа”, в армейском обозе прошедшем на верблюде (!) от Сталинграда до нашей западной границы? Или во вдове, поставившей на ноги всех своих ребятишек, в рано повзрослевшем мальчишке, — а что делать, если мужиков в колхозе почти не осталось? Видятся в его повестях и рассказах самые обыкновенные русские люди в обычных житейских конфликтах, а встаёт за ними глубинная народная жизнь в неброской красоте и силе самой своей социально-нравственной сути. Всё просто — и глубоко, как... в обыкновенной классике.

Но и “деревенщиком” числят Евгения Ивановича неспроста. Любимые, по-настоящему любимые его герои — коренные, приросшие к родной земле жители села, живущие внешне непритворной, но исполненной поэзии, красоты и труда жизнью. Нет, не приукрашивает нашу действительность писатель-фронтвик, призванный писать правду, только правду. В его книгах немало и “межеумочных персонажей, потерявших себя и поддерживающих своё существование “искусственным питанием”: это и мечтающий о славе Корбюзье архитектор Сараев с его снобистски-сторонним отношением к окружающему — деревенские хаты напоминали ему “сумрачных мужиков с полотен передвигников” (“Храм Афродиты”); и совершенно оторванный от жизни Стремухов, словно в порядке саморазоблачения разъезжающий по городам и весям с лекцией “Есть ли жизнь на других планетах?”; и сапрыковский Игнат, обосновавшийся “промеж городом и селом” (“Потрава”); и туристы из повести “И уплывают пароходы, и остаются берега”... (В. Васильев). Но не им отдано большое, любящее сердце Евгения Носова, а людям цельным в устремлениях своих, в слиянии с Божьим миром, миром Природы.

Цельность и его собственного характера и мировоззрения проявляется в особом отношении к природе, к животным и птицам как к равным нам Божиим существам, “единопланетянам”. Потрясающий его рассказ “Белый гусь” — о подвиге удивительного гусака, под смертельным градом уберегшего своими крыльями жёлтенькие беззащитные комочки утят... Евгений Иванович и величает его Белым с большой буквы, словно павшего в бою товарища... В память о поэте Александре Яшине, написавшем стих-призыв “Покормите птиц зимой...”, Носов смастерил кормушку и вывесил её за окном; само стихотворение размножил и расклеил на видных местах на своей улице. “Недели через две отправился посмотреть окрест, как воздействовал Яшинский призыв. Нигде ничего, ни одной кормушки! Тогда он сел за письменный стол и написал один из последних своих рассказов-поминок “Покормите птиц”. Песню о русской корове назвал один из критиков рассказ Носова “Пятый день осенней выставки”. На самом деле это рассказ о русской крестьянке Анисье, кото-

рая, увидав, как пастух пинал тихую безрогую корову Ладу, сдаваемую на мясо, сжалась и отняла её у пастуха. “Уж и походила она за ней, как за сиротиной бездомной... ну, и повеселела коровка, в один год выладнялась... и грязь не стала к ней липнуть, как раньше... да и сама вроде бы сделалась выше и легче, будто на каблуках стала ходить...” И попали Анисья с Ладой на областную выставку: “А теперь вот породой интересуются. А порода всё одна: руками выхоженная”.

И рассказ “Варька” не только о первой любви молодой крестьянки к цыганёнку Сашке, но — о любви ко всему сущему... Когда она, ещё школьницей, услышала однажды из стоявшей машины какой-то жалобный писк и увидела, заглянув в кузов, как “в решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы, утята”, то “загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник”. И потом все летние каникулы она убегала из дома на птичник. Понятно, что сказала в этом её поэтическая (как и у Анфиски из повести “Шумит луговая овсяница”) натура. Прислушиваясь по вечерам к лугам, “именно в эти минуты прихода ночи Варька испытывала наибольшую близость и своё слияние с простой и ничем не приметной круговиной земли, простершейся вокруг неё. Она чувствовала себя тоже раскованной и отпущенной на волю, и в такую пору луга всегда манили её куда-то. Они манили её своей новой неизвестностью, когда даже стог, много раз виденный днём, вдруг неузнанно выплывал из темноты и воспринимался с удивлением и лёгким испугом, манили своей таинственной оборванностью тропинок, которые, казалось, были протоптаны не просто к балагану... а вели к неразгаданному и где-то совсем близко заплутавшему счастью, заставляя чутко прислушиваться и держать настороже своё тихо и радостно бодрствующее сердце, учащённое острым ощущением бытия”. Она и цыганка Сашку полюбила именно потому, что прониклась жалостью к “его неприкаянному и равнодушно-покорному виду”.

Цельность собственной натуры Евгения Носова явлена всей его жизнью. И биография его проста и обыкновенна. Родился 15 января 1925 года в семье кузнеца. Успел окончить до войны 8 классов. Пережил 16-летним юношей недолгую фашистскую оккупацию, после победы на Курской дуге ушёл на фронт, стал наводчиком орудия, участвовал в знаменитой операции “Багратион” в Белоруссии, в боях на Рогачёвском плацдарме за Днепром, в освобождении Польши. Тяжело ранен был под Кёнигсбергом 8 февраля 1945 года и день Победы встречал в госпитале в Серпухове. Получил пособие по инвалидности, но сумел и среднюю школу окончить, и поработать художником, оформителем, литературным сотрудником в газетах Казахстана, Средней Азии, в родном Курске. Сдав экстерном экзамены за среднюю школу, он вслед за будущей женой Валей Ульяновой, окончившей техникум советской торговли и получившей направление на работу в Казахстан, уехал в город Талды-Курган. В областной газете “Семиреченская правда” начал работу художником-оформителем (рисовать умел с детства и любовь к живописи пронёс через всю жизнь), но вскоре уже стал специальным корреспондентом, заведующим отделом. Вернувшись в родной Курск, работал в редакции газеты “Молодая гвардия”, заведовал разными отделами, но, чтобы выкроить время для творчества, вернулся к профессии художника-оформителя. После выхода в свет первого его сборника очерков и рассказов “На рыбацкой тропе” (1958) участвовал во Всероссийском семинаре в Ленинграде, был принят в Союз писателей. А потом — ВЛК в Москве, публикации в “Новом мире” и “Нашем современнике”, и книги, вошедшие в золотой фонд современной русской прозы.

С Курском связана почти вся его жизнь. Здесь он и умер 13 июня 2002 года, и похоронен, здесь и памятник ему, почётному гражданину Курска, установлен.

Отмечен Евгений Иванович Носов и званием Героя Социалистического Труда, двумя орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды и Знак Почёта, медалями, среди которых особенно дорогая для солдата медаль “За отвагу”. Среди многих его литературных премий — Государственная премия РСФСР имени М. Горького, Международная премия имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства, премия имени А. П. Платонова “Умное сердце”, премия Александра Солженицына с формулировкой: тем, “...чьи произведения в полновесной правде явили трагическое начало Великой Отечественной войны, её ход, её последствия для русской деревни и позднюю горечь пренебрежённых ветеранов”.

МАРК ЛЮБОМУДРОВ

КОЖИНОВ

Моё знакомство и последующая дружба с Вадимом Кожинным связаны с событием, которое стало этапным в моей жизни. Мы впервые встретились на знаменитой Новгородской конференции “Тысячелетние корни русской культуры”. Она была организована только что возникшим Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. В Новгород съехался цвет русской национально мыслящей интеллигенции. Те, кто не забывал и крепко помнил, что мы — русские. Мы — великий народ, и у нас богатейшая культура и славная история.

О конференции меня известил Сергей Семанов, мой давнишний питерский друг, который тогда только что переехал в Москву. Вместе с общим нашим товарищем, филологом Юрием Герасимовым мы и отправились (разумеется, своекоштно) из Питера (тогда — Ленинграда) в Новгород: у нас не возникало сомнений в важности предстоящего события, которое было назначено на 29–30 мая 1968 года. Знаменательно, что завершение конференции совпало с праздником Вознесения Господня.

Тотчас по возвращении в Питер я записал свои впечатления. Воспроизвожу этот отрывок из дневника полностью:

“Эта конференция — событие историческое. По сути, это первый за последние пятьдесят лет на Руси съезд русских людей с целью обсудить судьбу России и русской культуры, судьбу нации. Именно так и развёртывалась конференция, в этом был пафос лучших выступлений: Палиевского, Кожинова, Волкова, Семанова, Афанасьева, знаменитого тенора Ивана Козловского и других.

Необходимы заслоны, и уже не только оборона, но и наступление ради защиты Руси...

О необходимости наступательного духа в пропаганде национальных ценностей говорил академик Петрянов. Он выступил против названия Общества, справедливо указав, что слово “охрана” имеет пассивный характер.

Зам. predisполкома Новгорода П. Кузьменко говорил о продолжающейся гибели ряда ценных памятников в городе. О попытке издать репродукции русских икон, отвергнутой издательством: усмотрели опасность пропаганды религии (!). Рассказал о том, как один американец, которого в России обслуживали по “люксу”, предлагал любые деньги за возможность переночевать в бывших покоях архимандрита Юрьева монастыря. А покои эти разорены, не оборудованы.

Д. С. Лихачёв сделал интересный доклад, но уж слишком академический — ни одного прорыва в современность. Все ограничилось призывом сделать Новгород центром исторического образования.

Потом вышел на сцену Ив. Козловский. Говорил бессвязно, сбивчиво, но с чувством, с болью и тревогой за славянские ценности, культуру. Резко — о памятнике матери-Родине на Волоколамском шоссе, на котором он увидел однажды пионерский галстучек, — оскорбление святыни! Жаловался на снятие “Князя Игоря” в Большом театре, критиковал статью Зимина, опровергающего принадлежность “Слова о полку Игореве” 12 веку. Говорил об уничтожении русской природы, озера Байкал. И в заключение спел “Сейте разумное, доброе, вечное...” под аккомпанемент рояля.

С выступлением Козловского славянский дух, запертый до этого в сердцах, вырвался на простор. Кожинов и Палиевский говорили почти откровенно. Кожинов оперировал Пушкиным, его словами о Радищеве: слабоумное изумление перед своим веком и презрение ко всему прошедшему... Центр его речи — в призыве не только охранять церковные памятники, но и вспомнить о церковной литургии православной, в которой много поэзии, — это прекрасная опера (молодец, бестия! Сумел призыв в защиту религии облечь в очень обдуманные термины, исключающие возможность провокационных наскоков). В заключение цитировал стихи Пушкина из главы, не вошедшей в канонический текст “Евгения Онегина”... *Иди большой дорогой столбовой...*

Наиболее интересен, пожалуй, Палиевский. Его смелая идея: взрыв талантливых людей на Руси на рубеже 19–20 веков связан с тем, что народ как бы в предчувствии катастрофы, грядущей бездны накапливал ценности, чтобы их перенести с одного берега пропасти на другой. Пётр опровергал устарелое, по его мнению, представление, будто искусство России того времени было только критическим. Нет — “Воскресение” (роман Толстого) — его суть в воскресении, а не в срывании всех и всяческих масок.

Палиевский привёл любопытную цифру: в 1886–1900 г<одах> было основано 9 тысяч церквей и монастырей (!). Поднял на щит Менделеева, Василия Розанова и его “Опавшие листья”. Прочитировал абзац, где Розанов говорит о современном ему образовании: большинство выходит из школы, зная лишь то, что у человека 32 зуба и 24 ребра.

На следующий день наиболее значительным было выступление писателя О. Волкова (к слову, он просидел в советских лагерях 28 лет). Он всё назвал своими именами — надо поднимать, возвращать национальное самосознание русских граждан Советского Союза, вернуть величие и культуру Русского государства. Протестовал против отождествления русского национального сознания с великодержавным шовинизмом!

Господи! Как замечательно, что слова эти можно было услышать публично, при большом скоплении людей! Беспощадно высек политику власть предержащих в области национальной культуры архитектор Афанасьев: Дворец съездов чужероден Кремлю, гостиница “Россия” своим масштабом подавила Кремль, сделала его игрушечным и т. д.

Познакомился с группой прекрасных московских парней — это они стоят у колыбели “Общества охраны...” и данной конференции. Кроме Палиевского и Кожинова, это Игорь Кольченко, Дмитрий Жуков, Святослав Котенко, Урнов и другие. Ребята мыслящие, инициативные, искренне озабоченные судьбой России.

Я придаю конференции исключительное значение: это зачатие движения, которого сегодня ждут все лучшие люди России. Если удастся ещё пробить журнал — его предполагают назвать “Отечество” — то движение будет крепнуть более быстрыми темпами. Призыв к организации журнала раздавался почти в каждом выступлении.

В кулуарных беседах выплеснулось множество проблем, вопросов, которые сегодня существуют в нашей действительности. Это русские и жида; интеллигенты и интеллектуалы; левые и правые; очищение от клеветы национальной культуры и искусства; отношение к властям; что понимать под национальными русскими ценностями. Единства в понимании всех этих сложнейших проблем нет.

Ещё из запомнившегося. Москвичи ищут фундамент своей идеологии в наследии Розанова, Меньшикова и др. Из Палиевского: в чистом виде в России никогда ничего не проходит, компромиссы неизбежны. Из Д. Жукова: интеллигенты — главные предатели, предали Россию, ненавижу интеллигентов, я сам — аристократ, дворянин. Из Иг. Кольченко: современная генетика доказала, что смешанные браки ведут к вырождению, генетически вредны.

Два дня пронесли в стремительном вихре. Голова вспухла от впечатлений и мыслей” (конец дневниковой записи).

События, встречи, беседы, споры тех замечательных дней врезались в память на всю жизнь. Ещё довольно отчётливо помню, как в конце первого дня конференции мы собрались в одном из помещений, прилегающих к залу. За очень большим округлым столом расселось человек двадцать. Среди них находился и Кожин. Это была русская московская гвардия, члены т. н. “Русского клуба”. Из Ленинграда, кроме нас с Герасимовым, не было никого (!). Всмотревшись в лица, я испытал некое ошеломление: из двадцати персон не оказалось ни одного еврея! Мне это показалось просто невероятным. В театральной среде, в сообществе искусствоведов, в котором я по преимуществу тогда находился, такого не случалось никогда. В ту пору театр и искусствознание подверглись очередной, весьма агрессивной волне еврейской экспансии.

С этих памятных дней и завязались мои близкие отношения не только с Кожин, но и с Палиевским, И. Кольченко, Д. Жуковым, О. Михайловым и другими московскими патриотами-националистами. Кожин, вероятно, был среди них наиболее многогранно одарённым и с огромным творческим потенциалом: о том свидетельствовала его год от года возрастающая творческая продуктивность, глубина и оригинальность высказанных идей и открытий.

Из ленинградцев к московской патриотической когорте не присоединился более никто. Можно припомнить ещё, что из Петрозаводска приезжал писатель Дм. Балашов. Всё услышанное в Новгороде крепко совпало с моими, тогда уже во многом оформившимися взглядами: Россия — моя земля, русский народ — теснимый и унижаемый — моя боль и ответственность.

Возвращаясь в Кожин. В дальнейшем наши встречи, переписка, телефонные разговоры с ним стали регулярными. После Новгорода прошли похожие конференции в других городах. Я, как и Кожин, участвовал в Смоленской (1970) и Белгородской (1971). В Смоленске, например, я выступил с докладом “Изучение и охрана памятников театральной культуры”

Тогда в нас мощно пробудился интерес к истории нашей культуры, к истокам русской мысли. Мы — каждый по-своему — жадно осваивали богатейшие россыпи, драгоценное наследие, оставленное гениальными русскими пророками, мыслителями рубежа XIX–XX веков. Это, прежде всего, В. Розанов, М. Меньшиков, С. Нилус, С. Булгаков, А. Шмаков, Л. Тихомиров и другие. Их произведения стали для нас родниками настоящей духовности, исторической правды, ошеломляющих прозрений. Через них мы заново осознали великую ложь, русофобию и террор революционной эпохи, смогли понять всю глубину, всю беспощадность закабалённости русского народа. Смысл истории, особенности политических противостояний становились всё более отчётливыми.

В напряженном и очень содержательном информационном обмене энергичное участие принимал и Вадим. Пожалуй, наибольшим для нас авторитетом тогда обладали Палиевский и Кожин. Их яркие таланты, быющая ключом острая мысль завораживали всех, и мы гордились своими духовными лидерами.

Рубеж 1960–1970-х годов вспоминается как время светлое, весеннее. Вероятно, потому, что мы были относительно молоды (большинству не исполнилось и сорока лет), радовались тому, что пробилась, наконец, сквозь партноменклатурный асфальт живая и сильная русская мысль, что не расстреливают за “Протоколы сионских мудрецов”, о которых хотя и вполголоса, но стало возможным говорить. Мы ощущали себя волонтерами национально-освободительной борьбы, которая переживала этап своего подъёма.

Говорили, спорили о серьёзном, но могли и погусарить, и о Бахусе не забывали. В Смоленске, помню, после конференции собрались в каком-то ресторанчике. Надо заметить, что в воздаянии Бахусу тон задавали два признанных “лихача” — С. Семанов и В. Кожин. В застолье тогда принимали участие представители горкома КПСС и администрации города. Но никого из нас это не смущало и не останавливало. Во всё горло пели царский гимн “Боже, царя храни...”, всеми любимые “знаковые” песни “Как ныне собирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам”, “Гром победы раздавайся, веселился храбрый росс” и другие — по тем временам — безусловно крамольные произведения.

Для того чтобы передать атмосферу наших встреч, нашего общения, приведу отрывок из своего дневника. Запись сделана тотчас по возвращении из Смоленска (июнь 1970):

“4–6 июня конференция Общества по охране памятников в Смоленске. Были ребята из Москвы — человек двадцать, костяк Русского клуба. Общее впечатление: движение русской идеи крепнет, хотя и недостаточно быстро. Одновременно наблюдается и некоторое расслоение: в отношении к революции, к нынешней власти, к хазарам. Оселок — какой вопрос главный: русский или хазарский. В головах много каши и прямолинейных подходов. Нет отчётливости в позитивных целях, есть легкомыслие и бравада. Есть небрежение коренными для русской идеи проблемами нравственности, добра, соотношения с общечеловеческим идеалом. Вместо этого упоение политиканского уровня заботами. Не потому ли Палиевский как будто отходит, отслаивается от движения? В Смоленск он не приехал. У Д. Жукова те же ощущения.

Нужна выработка доктрины, остро нужна. Русская идея пока болтается, как айсберг в океане. А надо поставить капитанский мостик, выбрать курс, причалить к берегу” (конец дневниковой записи).

Запомнилась и коллективная поездка в Белгород. Нас тогда возили по разным районным центрам, где мы держали речи, кинорежиссёр Борис Карпов демонстрировал свой замечательный фильм “Рассказ об одной русской матери” — все её девять сыновей погибли на войне. Без слёз смотреть было невозможно.

Кожин был участником поездки. Помню, что всех нас очень тревожило его состояние. Мы ехали в одном вагоне, но обратили внимание, что Кожин из своего купе не выходил и на стук в дверь не отзывался. Было очевидно, что он “загудел”, а к тому же был с дамой сердца. В моём дневнике о Кожинове сохранилась короткая запись: “Кожин был всё время пьян. Но на конференции выступил блистательно. Высший класс. Двадцать минут глубоких идей и верх изыска по форме” (конец записи).

Эту конференцию в зале городского Дворца культуры я запомнил очень хорошо. Проблематика была военно-исторической. Все члены нашей группы выступали с докладами. Участвовали и генералы, воевавшие в Великую Отечественную войну: Ротмистров, Чистяков, Степан Красовский и другие. Лучшими, помнится, оказались выступления С. Семанова и В. Кожина.

На сцене, в президиуме, Вадим сидел впереди меня. Он находился в очень тяжёлом, физически разобранном состоянии. Его едва ли не под руки привели и посадили на место. Сидел он как-то неустойчиво, голова падала на грудь, мутные глаза. На мои попытки пошевелить его за плечо (мне показалось, что он заснул) Кожин не реагировал. Я с ужасом ожидал неотвратимого скандала, когда объявят его выступление. Мои соратники-москвичи, однако, сидели весьма невозмутимо.

Наконец, ведущий назвал фамилию Кожина. И тут на моих глазах свершилось чудо. Вадим вдруг встрепенулся, быстро встал и твёрдой походкой прошёл к трибуне. И сразу заговорил уверенно, внятно, напористо, властно подчинив себе зал. Нужно ли напоминать, что никаких бумажек в руках у него не имелось. Это была великолепная, сверкающая импровизация. Оратор говорил о значении военно-патриотической литературы в общественной жизни. Окончив и сорвав оглушительные аплодисменты, Вадим столь же уверенно, даже молодцевато дошагал до своего стула, опустился на него и — снова погрузился в оцепенелую дремотность. Я не верил своим глазам и ушам. Передо мной свершилось нечто невероятное, какое-то необыкновенное перевоплощение. Какой же огромный ресурс — силы духа, воли, интеллекта — таился в этом человеке!

Этот эпизод меня поразил и заставил ещё раз восхититься талантом Вадима, его способностью моментально от мобилизоваться, собрать себя в кулак в любых сложных обстоятельствах. Но было и от чего огорчиться. Вадим злоупотреблял алкоголем, к тому же он невероятно много курил. Сколько может выдержать организм такие перегрузки? Как оказалось, запаса хватило ещё на тридцать лет!

В отличие от многих других москвичей, Кожин время от времени наезжал в Ленинград. И каждый раз звонил мне, и мы встречались. Наши общие друзья потом передавали мне его реплику: в Ленинграде, кроме Любомудрова, никого и нет...

Иногда мог позвонить среди ночи, в подпитии, грозился немедленно приехать. Чаще мы виделись у кого-либо из его знакомых или... подруг. Одну из наших встреч я описал в своём дневнике. Воспроизвожу запись без купюр и стилистических поправок:

“18 мая 1973. Пятнадцатого виделся с Кожинным, который приезжал сюда на обсуждение своей статьи в “Контексте”. Он ночевал у Инги Петкевич.

Я привёз ему на опохмелку чекушку водки и бутылку сухого, как он и просил. Он сидел без денег: “Шесть статей задержали у меня после яковлевской статьи”. Завёл пластинку Вертинского (“У розового моря...”) — считает эти его стихи гениальными...

Память у него потрясающая, приходится признать, что алкоголь на неё совершенно не влияет. Знает наизусть бездну стихов и песен. Жалел, что не было гитары, — он любит петь. К слову, и любит готовить еду — у него явный поварской талант. Инга принесла две паршивые сардельки, которые Вадим тут же схватил и убежал на кухню. Через десять минут принёс аппетитно поджаренные, с разрезами на концах — блюдо само просилось в рот.

Рассказывал, что в 1956 г<оду>, читая доклад Хрущёва о Сталине, плакал, ибо искренне верил в Сталина. “Он, конечно, мерзавец”, — это Вадим о Сталине.

Вадим считает, что на сознание современников влияет год рождения. По его мнению, рубежным является 1932 год. Все, родившиеся до, — консерваторы, после — либералы. Провёл аналогию с западниками и славянофилами. Славянофилы все родились в 1803–1809 г<одах>. А все западники — после 1811 г<ода>. Говорил о большой роли войны 1812 года.

Я проводил Вадима на Васильевский остров, к Пушкинскому дому, где он получил командировочные. По этому поводу заметил: “Теперь мне хватит на билет и ещё на пол-литра”. Потом отправились в гостиницу для приезжающих учёных на Миллионной. По его просьбе я поднялся на этаж за его вещами. Он не хотел показываться администрации, чтобы не платить за лишние полсутки.

Подарил отпечаток своей статьи в “Контексте”. Статья талантлива, с обилием оригинальных идей, с острыми опровержениями, с глубиной и эрудицией. Общее впечатление от Вадима — бешено талантливый, но и расхристанный человек, который пошёл в распыл. Очень жаль его таланта — природно русского, с удалью и мудрыми прозрениями” (конец дневниковой записи).

Слава Богу, “в распыл” Кожиннов всё же не пошёл (хотя иногда туда и захаживал), и ещё без малого тридцать лет трудился на своём поприще невероятно плодотворно. В “Контексте-1972” Кожиннов опубликовал статью “О принципах построения истории литературы (методологические заметки)”. По её прочтении я тотчас отправил в Москву письмо с выражением своих чувств. Привожу его полностью:

“Дорогой Вадим! Прочёл твою статью “О принципах...” и от души поздравляю тебя с нею. Здесь глубина и блеск твоего таланта раскрылись особенно отчётливо. А идей хватило бы на десятокopusов. Основные твои тезисы показались мне вполне убедительными. Французская сетка стилей явно трещала по швам. Я вспоминаю свои прошлые недоумения при попытках соотнести творчество многих писателей 18-го — начала 19-го в<еков> с канонами наших литературоведческих теорий.

Сопоставления и анализ, из которых ты исходишь, основаны на непредвзятом восприятии сути: эпохи и самих произведений. Приоритет социально-исторического критерия всегда приводит к истине. В конечном счёте, ты ударил по яйцам формальную школу в разных её проявлениях (от Эйхенбаума до...).

Потому и твои термины, определения — не спекулятивно-вымученные, а родившиеся органично — русское просвещение, русский романтизм и т. п. И возникает яркое ощущение самобытности нашего искусства, ибо совершенно справедливо его расцвет ты связываешь и с утверждением национального самосознания, и с<с> освоением стихии народа, созданием языка и пр. В большинстве сегодняшних и прошлых трудов наших коллег эти категории существуют сами по себе... Тов. Яковлев выразил это, так сказать, в классическом виде.

Блестяще дана характеристика европейского ренессанса с его мартирологом казней и бесчинств. Понимаю, что плеснул керосином в муравейник. И коль уж сделал это, мог бы насадить на свой шампур побольше имён всяких систематизаторов. Назвал или не назвал, всё равно они тебе объявят войну. И потому лучше назвать.

Из спорного. Думается, что увлекаясь сопоставлением Европы и России, ты недостаточно раскрыл своеобразие и русского ренессанса, и русского просвещения (у тебя педаль на хронологии). Убеждён, что есть существенная

разница между тиранией Генриха Восьмого и Николая Павловича (об этом говорят хотя бы прозвища — “Кровавый” и “Палкин”).

Слишком бегло и потому спорно, односторонне прописан тезис о том, что к романтизму относятся славянофильство, почвенничество и народничество. Эти движения в один ряд можно поставить только по внешним признакам, с чем ты борешься. Не очевидно ли, что славянофильство и народничество “по сути” противостояли друг другу? Это, впрочем, придирики.

Ещё раз поздравляю, обнимаю и шлю низкий питерский поклон. 18 мая 1973 г<ода>. Марк Любомудров” (конец письма). Упомянутый в письме Яковлев — это сотрудник аппарата ЦК КПСС, автор злобной русофобской статьи “Против антиисторизма”, в которой он оклеветал едва ли не всех тогдашних русских патриотов, в том числе и Кожинова. Статья появилась в “Литературной газете” в ноябре 1972 года, после чего последовали репрессии против многих упомянутых в ней авторов. Яковлев — будущий “архитектор перестройки”. Лютый враг народа.

Все мы, друзья и поклонники Вадима, высоко ценили ещё один его дар — дар собирательства. Он прославился как великий знаток и попечитель русских поэтических талантов. Кожинов отыскивал, поддерживал, помогал с публикациями многим поэтам почвеннического направления. Среди них можно вспомнить Н. Рубцова, Н. Тряпкина, А. Прасолова, Ю. Кузнецова и других. С особым вниманием следил за творчеством наших “провинциалов”. Вадим владел поразительным чутьём на поэтический дар. Его поддержка была особенно дорога для начинающих литераторов, которым он помогал поверить в себя, а в последующем и войти в большую литературу. Его смело можно назвать главным опекуном, наставником и пропагандистом современной ему русской поэзии. Впрочем, эта сторона его деятельности общеизвестна.

Но надо заметить, что поддерживал Кожинов не только поэтов, но любых литераторов, критиков, филологов, искусствоведов, если они были идейно ему близки. Иногда Вадим обращался за содействием ко мне как искусствоведу, представлявшему едва ли не в единственном числе русско-национальное направление в исследовании истории и эстетики сценического творчества. Кожинов знал цену поддержки единомышленников и, если мог, всегда приходил на помощь. Свидетельством чему является одно из его писем, сохранившееся в моём архиве. Вот оно:

“Дорогой Марк! Доходят до меня слухи, что ты был в Москве, и я огорчаюсь — почему не позвонил, не зашёл ко мне? Впрочем, как говорит современная молодёжь, “напряжёнка” у всех.

Посылаю тебе сочинение очень даровитого теоретика о театре. Целый ряд его работ о литературе имел сильное воздействие. Но все театроведческие круги Москвы в штыки встретили данную статью. Они, если не понимают, то чувствуют, что статья выбивает почву из-под самых любезных им понятий.

Был бы очень рад, если бы ты нашёл какой-нибудь путь для этой статьи. Она сложна по стилю, но ведь и проблемы решаются сложнее. И на большой глубине. Словом, посмотри и сообщи. Можешь прямо обратиться к нему: Донецк (Вадим указал адрес и телефон. — **М. Л.**) Фёдорову Владимиру Викторовичу.

Всего тебе доброго, жди статьи в “Волге” № 10 и “Москве” № 11 (если свинья не съест). Крепко жму руку. Вадим Кожинов.

Р. С. Извини, что высылаю второй экземпляр статьи; первый не возвращают *стервы* из “Театра”. Если статья тебя заинтересует, Фёдоров пришлет первый. В. К. (18 августа 1982 г<ода>)” (конец письма).

Комментирую: “театроведческие круги Москвы” — это о подавляющем большинстве московских критиков и театроведов, настроенных антирусски не только по этнически-корпоративным мотивам, но и по идейно-эстетическим. Для них кумиром являлся Вс. Мейерхольд. В журнале “Театр” зав. отделом критики тогда была небезызвестная в московских кругах Нат. Крымова (к тому же ещё и жена режиссёра Анат. Эфроса), которой русские начала были глубоко чужды. Противодействие и травлю со стороны еврейской театральной мафии я сполна испытал на собственном опыте. Подготовленную докторскую мне так и не дали защитить.

Кожинов, конечно, не был — и не мог быть — только филологом. Круг его интересов был весьма обширен и постепенно смещался от филологии к эстетике и истории. Эта особенность привлекла меня и в уже упомянутой статье

“О принципах...” Такая эволюция к приоритетам социально-исторического и даже политического содержания мне оказалась близкой. Я и сам проделал сходный путь: от искусствознания к русской истории, к проблемам общекультурного, социально-политического характера. Сегодня именно они в центре моего внимания. Вопросы “чистого искусства” для меня всегда были чужими.

Мы не только перезванивались, переписывались, обменивались статьями. Кожинов всегда был готов и к практическим действиям, к поддержке, которую он рад был оказать. Поддерживал и меня. Он ясно понимал одиночество (а потому и оборонительную недостаточность) моей позиции не только в Питере, но и в целом, в общекорпоративном театральном пространстве, в котором господствовали многоликие русофобствующие “стервы от театра”.

В 1982 году в популярной тогда “Библиотечке “Огонька” (приложение к журналу) вышла моя книжечка “Судьба традиций”, в которой была изложена парадигма русской театральной традиции – эстетики и школы. Я полемизировал и с ходячими официально-коминтерновскими эстетическими догмами, которых придерживалась тогда каста, присвоившая монополию на театральные взгляды и оценки.

На моё произведение обрушился шквал критики и свирепых обвинений едва ли не политического характера. Чтобы поддержать меня и сделать дискуссию открытой, мои друзья из Московского городского общества охраны памятников предложили организовать обсуждение “Судьбы традиций”, получившей резонанс в самых разных общественных кругах.

Обсуждение состоялось в середине апреля 1982 года в зале знакомого всем москвичам Дома Н. Д. Телешова на Покровском бульваре, 18. Заседание было открытым. Я весьма тревожился по поводу его исхода: оставалось неясным, кто придёт и как будет выступать. Воспроизвожу краткую дневниковую запись:

“Обсуждение прошло удачно (есть магнитофонная запись и стенограмма). В первом ряду в центре, сложив руки на груди, сидел молодой обаятельный незнакомец, часто улыбался мне. Как потом оказалось – чекист... Выступали М. Лобанов, В. Кожинов, А. Полетаев, Эд. Володин и другие. Я чувствовал себя очень неловко – уж очень хвалили меня. Не привык. Никогда в жизни таких комплиментов себе я не слышал” (конец записи).

Конечно, для меня были особенно дороги выступления Кожинова, а также Лобанова и Володиной. После таких слов от столь авторитетных лиц полемизировать с ними или подвергнуть книгу “разносу” было просто невозможно.

И в этом эпизоде выразилась творческая, дружеская отзывчивость Вадима. Он охотно и успешно, а главное – с душой помогал единомышленникам, и я был одним из тех, кому он всегда благоволил.

В октябре 1982 года у нас состоялся очередной обмен письмами и новыми публикациями. Сохранилась копия моего письма Вадиму, которым я сопроводил отправленные ему ксерокопии только что вышедших из печати моих статей – “Горизонты сцены” в журнале “Звезда” и “Проблемы классики” в “Огоньке” (эту статью журнал отметил премией). Вот текст письма:

“Дорогой Вадим! Посылаю тебе два своих опуса на темы, может быть, для тебя интересные. Оба проходили трудно. В “Звезде” так просто детективный сюжет. Мне кажется, что сегодня нужны работы, которые бы начали осмыслять последние четверть века не с казённых позиций, а изнутри, ясно показывая возникающие размежевания. Буду рад получить от тебя то, что выйдет в “Москве” и “Волге”. Можешь не сомневаться: всё это сразу пойдёт в работу. С сердечностью, М. Любомудров. 4 октября 1982 г<ода>” (конец письма).

“Детективный сюжет” в “Звезде” – это злоключения моей статьи внутри редакции, состав которой был по преимуществу нерусский. Тогда отделом критики (по этому отделу шла моя статья) каким-то чудом заведовала замечательная патриотка, журналистка Алла Калентьева, женщина мудрая, умевшая обходить противодействующие хитросплетения. Она имела свои подходы к главному редактору Г. Холопову. Мой текст странным образом исчез из “портфеля” редакции. Вероятно, приложили руку русофобствующие сотрудники журнала, у некоторых из них одна только моя фамилия вызывала приступ ненависти.

Что касается темы “размежевания”, то мне представлялось принципиально важным развести ортодоксальную, партийно-номенклатурную установку

и живую, корневую русскую мысль. Для меня было вполне очевидным, что между ними не было ничего общего.

Когда в конце восьмидесятых я начал составлять сборник “За алтари и очаги”, то, конечно, в первую очередь, включил в его состав нашу московскую элиту. И, разумеется, — Кожинова. Мой выбор пал на его статью “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...” (заметки о своеобразии русской литературы). Я стремился создать своего рода энциклопедию национальной идеологии и в предисловии указывал на такую задачу: “...собрать под одной обложкой статьи, отразившие движение русской народно-патриотической мысли последних десятилетий. Объединяющим центром книги является Россия, судьба её народа, культуры, литературы и искусства...” Работа Кожинова вполне отвечала этим критериям.

Сборник “За алтари и очаги” вышел в 1989 году в издательстве “Советская Россия” — во многом благодаря содействию главного редактора издательства и давнего моего друга Сергея Журавлева. Даже и по прошествии десятилетий я продолжаю получать благодарственные отзывы на этот труд.

С середины 1980-х годов общественная жизнь стала выходить из привычных берегов. У преступной горбачёвской катастрофы оказалась обратная сторона, расширились границы политической свободы, возможности для гражданской инициативы. Русское движение стало искать новые формы самоорганизации. Чаше, чем прежде, мы организовывали конференции, творческие вечера, встречи, на которых обсуждали проблемы национальной культуры. Я стремился посылить в них участвовать, и здесь мы весьма часто пересекались с Вадимом. По преимуществу такие встречи происходили в Москве. Я в те годы регулярно бывал в первопрестольной, по многу раз в год.

Одна из немногих питерских конференций состоялась 18 февраля 1986 года. Её организатором выступила кафедра советской литературы Ленинградского государственного университета, которую тогда возглавлял известный филолог Л. Ф. Ершов. Событие было приурочено к 50-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова, а предметом обсуждения должна была стать “сибирская литература”. Инициативу реализовали с размахом, придав конференции республиканский статус. Для проведения предоставили большой и весьма респектабельный конференц-зал университета в здании бывших двенадцати коллегий. Питерская общественность проявила к событию большой интерес, зал был переполнен.

Выступило множество докладчиков из разных городов. Я сделал доклад о творчестве драматурга Вампилова. Конечно же, среди приглашённых был и Кожинов. Он представил глубокий и оригинальный анализ творчества Рубцова, которого ценил очень высоко. Среди выступавших были Станислав Куняев, Виктор Астафьев, много критиков и литературоведов из разных городов страны. Очень духоподъёмно произнёс свою речь Куняев, закончив словами Достоевского: “Самоуважение нам, наконец, нужно, а не самооплевание”.

По итогам события я записал в дневнике: “Конференция стала символом подъёма национального самосознания русского народа и одновременно его катализатором”.

В тот же день, поздним вечером поехали в гости к питерскому писателю, стойкому патриоту Алексею Леонову. Пригласили Кожинова, Куняева, присутствовали также питерцы Н. Утехин, Евг. Туинов. За дружеской чаркой продолжали обсуждать прозвучавшие доклады, спорили о литературе, оценивали участников. Мне запомнилось, как Кожинов обронил за столом: “В Ленинграде я вижу одну героическую личность — Любомудрова”.

В дальнейшем многожды, на разных литературных и общественно-политических собраниях мы снова и снова пересекались с Вадимом. Он тогда был чрезвычайно граждански активным, старался не пропускать ни одного сколько-нибудь важного мероприятия, всегда являлся желанным их участником. Москва тогда жила очень насыщенной общественной жизнью.

Помню, как 17 февраля 1989 года мы оба участвовали в учредительном собрании Клуба друзей журнала “Наш современник” — в тушинском Доме культуры “Красный Октябрь”. Кроме Кожинова, там выступали М. Лобанов, Ап. Кузьмин, Ю. Лошиц, И. Стрелкова. Зал, в котором находилось около 700 человек, всех принимал восторженно.

На следующий день, 18 февраля состоялось одно из самых массовых патриотических собраний того времени — в спорткомплексе “Крылья Советов” в Сетуни.

Туда съехалось несметное число москвичей. Как я потом выяснил, спорткомплекс вмещает свыше пяти тысяч человек. Чёткой повестки дня не обозначили. Все, кто выступал, говорили о судьбе России, о её будущем. Здесь мы снова встретились с Вадимом. Участвовали также Ап. Кузьмин, Мих. Антонов, поэт Ю. Кузнецов, два священника (отец Лев Лебедев, имя второго я не запомнил), несколько учёных. Вёл встречу С. Семанов. Почему-то он был подавлен и безумно нервничал, перед началом въедливо выпытывал, о чём каждый из нас собирается говорить, очень опасался, чтобы не трогали еврейский вопрос. Особенно волновался за Ап. Кузьмина, помню дословно реплику Сергея (уж процитирую её): “Чтобы только этот идиот не стал говорить о сионизме”. Могу предположить, что он опасался возможных репрессий “сверху”. Но тогда мне это показалось безосновательным и даже смешным... Семанов даже пообещал Кузьмину “бутылку коньяка”, если тот воздержится от “опасной” проблематики. Таков был наш закулисный “инструктаж”.

Многотысячный зал был чрезвычайно наэлектризован. В одном из секторов обосновалась группировка из “Памяти” Дм. Васильева, они вели себя агрессивно. Над рядами неоднократно развёртывали трёхцветные имперские знамена, поднимали плакаты “Русскому возрождению быть!”, “Храму Христа Спасителя быть!” и другие подобного содержания. Не раз звучали громкие крики “Да здравствует Россия!”.

Почти все речи, в том числе и Кожинова, завершались бурными аплодисментами. “Воспалённость” аудитории я почувствовал на себе: моё выступление раз шесть или восемь прерывали аплодисментами и вроде бы на достаточно спокойных фразах. На сцене я сидел рядом с Вадимом, и мы постоянно перешёптывались, поражённые тем, что происходило. В какой-то момент Семанов подозвал меня к себе, посоветоваться — читать ли записки из зала и, соответственно, значит, и отвечать на них. Я посоветовал читать, ко мне присоединился и Вадим, который очень настойчиво убеждал Семанова в том же. Но, в конце концов, Сергей категорично отказался от чтения записок, о чём мы с Кожинвым весьма сожалели.

Несколько записок я унёс с собой и сохранил их. Вот одна из них: “Позвольте пожелать Вам, присутствующим на сцене, нашим именитым и дорогим людям — дорогим для многих и многих Российских сердец — многолетия и помощи Божией. Бог Вам всем в помощь”.

Ещё запомнился вечер, посвящённый краснодарскому журналу “Кубань” (29 июля 1989 года), тогда весьма популярному благодаря своим смелым, острым публикациям. Собрались всё в том же, для многих уже привычном тушинском ДК “Красный Октябрь”.

Кожин, конечно же, был среди участников, представил серьёзный, вдумчивый анализ деятельности журнала. Кроме него, выступали Мих. Лобанов, Ап. Кузьмин, Пётр Паламарчук. Вёл встречу Павел Горелов, тогда сотрудник издательства “Молодая гвардия” (как вскоре выяснилось, в патриотическом движении человек случайный).

В моём дневнике сохранилась такая запись: “Самого Канашкина (главного редактора) на этом вечере не было, у него случился сердечный приступ, и он вынужден был остаться в гостинице. Собрание прошло пристойно, без особых всплесков, как происходило нередко прежде. Привыкли уже к таким вечерам, да и публика всё та же. Я сидел во втором ряду, меня со сцены назвал Лобанов — пришлось встать, поклониться, аплодировали долго. Были записки из зала с предложением дать мне слово, но Горелов просьбу похерил (может, и к лучшему)” (конец записи).

Как я могу судить, Вадим являлся одним из самых энергичных, боевых (и эрудированных) членов сложившегося тогда в Москве патриотического братства, сплочённого, единомысленного, всегда готового отстаивать и пропагандировать русскую идеологию, утверждать наш национальный патриотизм.

Позднее, в 1990-е годы “митинговая”, публичная составляющая русского освободительного движения стала ослабевать. Повлиял и бандитский танковый расстрел “Белого дома” в октябре 1993-го. В этот период реже доводилось видеться с Вадимом. Но я, конечно, продолжал следить за его статьями и книгами, число которых увеличивалось по нарастающей. В серии ЖЗЛ он

опубликовал прекрасную книгу “Тютчев”, создав объёмный, содержательный и во многом по-новому истолкованный портрет гениального поэта и политического мыслителя.

А на исходе девяностых (накануне его неожиданной кончины) произошёл особенно мощный прорыв в публикации новых кожиновских произведений. Один за другим он выпускает объёмные труды по истории России XX века: “Черносотенцы и революция” (1998), “История России. XX век. 1901–1939” (1999), “История России. XX век. 1939–1964” (1999), “История России и русского слова” (1999).

Эти книги, их высокий исследовательский уровень поставили Кожинова в первый ряд русских историков и мыслителей своего времени, вместе с О. Платоновым, М. Назаровым, И. Шафаревичем, И. Фрояновым, Л. Гумилёвым и другими. Особую ценность, на мой взгляд, имеет его труд об истории черносотенного движения и сопутствующей ему эпохи — кануна и периода революции 1917 года. С такой тщательностью, с таким вниманием до Кожинова эту тему не изучал никто. Он раскрыл не только глубинную народность, корневой патриотизм, благородство, бескорыстие и самоотверженность “чёрной сотни”, неотразимую силу её идеологии, но и невероятную прозорливость, пророческую мудрость черносотенных вождей. Их предсказания русской катастрофы сбылись с поразительной точностью.

В своих исторических произведениях Кожинов показал себя необычайно кропотливым и вездельным учёным, обнаружив бесстрашное стремление к правде, умение обобщать огромное количество фактов, мнений, свидетельств, добиваться объективности и непредвзятости в оценках имён и событий столь сложной и противоречивой эпохи.

В исследовании исторических узлов и конфликтов начала XX века автор убедился сам и убеждает читателя в том, сколь точными, обоснованными предстают суждения и оценки о своём времени очевидцев, свидетелей черносотенного направления (в отличие от кадетско-либеральных и красносотенных взглядов, показавших свою абсолютную несостоятельность), таких как Иоанн Кронштадский, М. Меньшиков, В. Розанов, С. Булгаков, А. Шмаков, Н. Марков, И. Родонов, П. Ковалевский и другие истинные духовные вожди русского народа. Увы, они тогда не были услышаны и не могли победить — эту трагедию Кожинов также подробно исследовал.

То, что было открыто черносотенным мыслителям природной мудростью зрения, их обострённым национализмом, любовью к своему родному племени, от Бога полученным даром проницательности, — спустя столетие Кожинов смог подтвердить, опираясь на неотразимую реальность всего, что случилось с Россией в XX веке, суммировав всю совокупность источников, документов и свидетельств трагического столетия.

Историку помогла основательность и точность методологического инструментария. Кожинов убедился, что познать правду истории можно, только распутав три главных политических узла, три “вопроса”: русский, еврейский и масонский, с чем автор и справился более чем успешно.

Я не берусь утверждать, что взгляды и оценки Кожинова свободны от недостатков. Представляется спорным мнение, будто Православие и идея истинной монархии “не способны возродиться и стать основной опорой бытия страны”. Ложной (многократно опровергнутой) является и идеология евразийства, поддержанная историком. Наконец, не могу согласиться с огульным отрицанием расовых проблем и понятий, самой науки расологии, евгеники, вопросов расовой гигиены и чистоты. Эти темы Кожинов отвергает с порога, совершенно бездоказательно объявляя “характерным западным мифом”. Но названные изъяны не имеют первостепенного значения и не влияют на общую мою высокую оценку исторических трудов автора.

С глубокой печалью вспоминаю панихиду по Вадиму (я присутствовал на ней) в конференц-зале Института мировой литературы, которому он отдал не одно десятилетие. Пришло множество людей, в надгробных речах звучала пронзительная скорбь. Сердце сжималось от боли, от сознания того, что уже более никогда мы не увидим рядом с собой этого выдающегося русского Человека, благородного гражданина, блистательного учёного и публициста, душевного друга, так много сделавшего для России.

АНДРЕЙ ГРУНТОВСКИЙ

СЛОВО О РУБЦОВЕ

...и мир устроен грозно и прекрасно.

Предисловие

...Быть может, всё чудо Рубцова только в том и состоит, что он сумел передать ощущение благодати Божьей, разлитой в природе и человеке. Не придумать это, не вычитать где-то, не имитировать, как иные стихослагатели, а ощутить и выразить. Причём благодати не только вечной (ведь не в раю живём!), а и колеблющейся, здешней, готовой вот-вот отойти от грешной Руси.

“Россия, Русь! Храни себя, храни!..”, “Боюсь, что над нами не будет таинственной силы...” — это ведь у Небесной Руси благодать не пройдет, а у земной... — вот оно, творится...

В глубокой древности искусство (а здесь мы говорим о поэзии) и религия представляли собой единое целое. Благодатная особенность русской поэзии в том, что и по сейчас является она поприщем стяжания Святого Духа.

Никому, пожалуй, в русской поэзии не было дано столь прямое Богообщение — почти физическое ощущение присутствия Святого Духа, “иже везде сый и вся исполняя...” Это неложное Богообщение было свойственно народной устной поэзии, поэзии средневековой письменной, последний раз мелькнуло в державинской оде “Бог”, в лучших вещах Пушкина, Тютчева, Есенина...

В нынешние времена, когда благодать от Руси отходит видимым образом, почувствовать “святий остаток” непросто. Оттого и припадаем мы к поэзии Рубцова, чтобы причаститься той, благодатной ещё Руси. Что ждёт Русь в будущем? И туда заглядывал Рубцов — туда, за обрыв, где: “Как странно повисли и грустно/ Во мгле над обрывом безвестные ивы мои...” И молил, заклинал, всем своим творчеством (жизнью!) призывал Божью благодать на Россию. Быть может, и его призывание зачтётся наряду со святыми молитвами. Как поётся в древнем духовном стихе о Василии Великом:

Ай, Василий Великий, Кесаримский чудотворец!

А твои-то молитвы, яко лютые стрелы ко Господу Богу прилетают...

Рубцов ещё во многом не прочитан. Отнюдь не только десяток-другой постоянно цитируемых стихов делают Рубцова Рубцовым. Почти всё его зрелое творчество носит печать необычайной, не проявленной до конца благодати...

“Последняя сказка” Слово первое

Январь — месяц Рубцова. Третьего января — Приход, девятнадцатого — Уход. Тридцать пять лет жизни и сорок с лишним лет после того, как... Отчего же не оставляет и крепнет всё более любовь наша к Рубцовскому Слову? Отчего чем тяжелее Русской Земле, тем яснее и отчетливее тяга к Рубцову? Какое стечение времён и событий, какой такой перст Божий сделал Николая Михайловича Рубцова Русским Национальным Поэтом?

Что есть поэзия Рубцова? Что такое вообще Русская поэзия? Чтобы приблизиться к Ответам, необходимо оглянуться — и не на миг! — на всю многотысячелетнюю историю Русской Словесности, постичь её образы, уверовать в её идеалы... Мы не дерзаем в кратких заметках проследить этот Путь. Да и готово ли современное литературоведение проделать его? Но Путь этот — если думаем мы о завтрашнем дне русской поэзии — пройти должно.

Давайте сделаем хоть пару шагов, снимем первый слой: взглянем на поэзию Рубцова глазами фольклориста (и для примера одно стихотворение — “Прощальная песня”). Вот они — знаковые образы, за каждым стоит его генетический пласт: определённая фольклорная традиция. Образы, о которых так туманно (как кажется несведущему) писал когда-то Есенин в своих статьях. Образы-символы, связующие Судьбу и Слово Рубцова с традиционной народной культурой. Образы, составляющие суть, истинное содержание поэзии, её сакральный язык.

Образ *ребёнка*, — образ продления рода, воскресения, спасения души (что дано здесь через поэтику колыбельной). Образ спасения расширяется: *колыбель, лодка, ковчег*. Отсюда образ перехода в иной мир: *река, пристань, пароход*... Образ *Сада* (Благодати, догrehовного состояния): сад, цветы, дерево, срубленное дерево — пень. Образ *искушения*: грехопадение, запретный плод. Образ *отъезда*, прощания: изгнание из Рая, погибель, смерть, покаяние. Образ *птицы* — связь горнего и дольнего (по народным представлениям, птицы на зиму улетают в рай, уносят туда человеческие души). Образ *матери* как средоточие Рода и Родины (у Рубцова — погибшей матери, то есть подрубленного Рода, погибающей Родины). Вся Россия, со всем её прошлым и будущим, стала матерью для Рубцова. Неразрывно с этим связан и образ *церкви* (у Рубцова — заброшенной, обрушившейся): церкви-матери, церкви-ковчег, церкви-сада. Эти образы имеют своё происхождение в духовном стихе, в протяжной лирической и обрядовой песне, в притче, в духовной легенде... Прислушаемся:

*Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.*

*Мать придёт и уснёт без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.*

.....
*Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеётся во сне?
Может, Ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...*

В народном сознании сон ребёнка оберегают особые мифологические существа: Сон да Дрёма, — а также небесные силы: Ангелы, Богородица... Так сложилось на Руси издревле, что христианская культура не вытесняла дохристианскую, а вовлекала её в свой внутренний мир:

*...Сон идёт по очепу,
А Дрёма по лучикам...
...Баю, баиньки-баю.*

*Не ложися на краю...
...А на завтра Мороз
тебя стянет на погост...
...Не пугайся, Ваня мой,
Богородица с тобой...
Спи со Ангелами,
Со Архангелами.
Херувимы, серафимы
Вьются, вьются над тобой,
Над твоею головой...*

Именно во сне ребёнок растёт — обретает необходимые для будущего качества. Колыбельная — оберег этого средоточия Будущего, Рода, Родины. Смех во сне говорит о том, что Ангелы носят душу дитяти на небеса. Дитя, по невинности своей, достойно взирать на Бога и от созерцания Благодати смеётся. Взрослым такие сны не показываются (разве преподобным, которые “как дети”). Но в мире много и нечистой силы, которая топчет “по тропам”, таится за спиной, стремится погубить дитя — Будущее, Родину: “Будут ночью поскрипывать двери...” — бес ходит, говорят в народе.

Здесь нужен экскурс в народную поэтику и ещё шире — в *народное православие*: бука, кикимора, домовой, баенник, подовинник в одном ряду с Ангелами, Божьими угодниками, Богородицей, Христом — всё это реально, живо, всё взаимодействует, вступает в невидимую брань, наполняет быт и бытие русского человека... “Слышишь, ветер шумит по сараю...” Сарай — одно из мест средоточия нечистых. Опасны также окно, ворота, порог, перекресток, пристань...

*Баю, баю, баю, бай.
Поди, Бука, под сарай!
Под сараем кирпичи —
Буке некуда легчи...*

Функционально колыбельная является заговором, заклинанием — то есть народной формой молитвы, долженствующей уберечь дитя. Такова же по сути “Прощальная песня” Рубцова. Вслушайтесь: он не поёт — он молится.

А по лесам поют навки, мавки, шуликаны, души погибших некрещённых детей. Это именно их пение (“печальные звуки”) слышит поэт: мёртвые взывают от земли. Это особая тема у Рубцова.

*Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня?..*

Вот оно — центральный образ драмы: “Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел...” Помимо метаисторического грехопадения, здесь то, что бывает с каждым из нас... И каждый раз, отпав от Христа, оказываемся мы “у глухого болотного пня”, “на знобщем причале”... Где цветущее древо и сладкий плод?... — Пень и горькая клюква на ладони.

*Не грусти на знобщем причале,
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.*

*Мы с тобою, как разные птицы,
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу воротиться,
Может быть — никогда не смогу...*

“Парохода весною не жди...” Образ лодки-ковчега не однажды всплывает у Рубцова, ибо это главное перед грядущим Потопом:

*Лодка на речной мели
Скоро догнёт совсем...*

Вглядимся в этот стих внимательнее: “В горнице”... Горница — горнее. Там, где у Рубцова о Доме, то — “дом”, где о избе — “изба”. Здесь: “горница” — место действия задано. Представьте свет реальной звезды (без солнца, без луны) — от того ли “светло в горнице”? Речь идёт о Спасении, и потону рядом с Лодкой другой образ — Матери. Через всю жизнь у Рубцова — “Мать умерла, отец ушёл на фронт...”, “Нёс я за гробом матери // аленький свой цветок...” — духовное сиротство (разрушенная церковь, ковчег). В свадебном причитании существует так называемый “сиротский причет”: вне зависимости от того, жива ли мать или нет, брак не может состояться без её благословения. Невеста-сирота накануне свадьбы выходит на угор и, обращаясь к кладбищу, причитает, призывая мать явиться к ней и благословить. И приходит мать, и благословляет. Это оттуда: “тень”, “молча принесёт”, “завтра — хлопотливый день”...

И вот “в горнице светло”, ибо — “матушка” и свет звезды — евангельский свет. И вода, разумеется, не для опары принесена, а для омовения. Завядшие “цветы в садике”, “лодка на речной мели” — всё омоется Материнской Водой покаяния... И будет труд под деревом:

*Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе.*

Удалось ли Поэту построить свой ковчег, ковчежец, лодочку? Всё творчество Рубцова — покаянная песнь за наше нераскаянное поколение. Образ Потопа, образ Дождя, Реки, разделяющей эпохи, судьбы, мира... Образ Лодки найдёт своё завершение:

*А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывёт, забытый и унылый...*

Вот почему: “Парохода весною не жди...”

Вера материалиста в “вечный покой” отринута. Ковчег, обернувшись гробом, отправляется в путь. Впереди — Страшный Суд. “Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи”:

*Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу...*

Тут не сомнение, а твёрдость в следовании Промыслу. Не “хочу” или “намерен”, а — “смогу”. Тут и Любовь, и Крест несомый... Всё точно настолько, что и читать-то больно, а каково было писать?

Рубцовская песня начинает замыкаться в круг (мы опускаем многое). Обозначим лишь главные корни, связующие стих его с Русской Землей:

*Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю —
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.*

*Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна:
— Мама, мамочка, кукла какая!
И мигает, и плачет она...*

Клюква-пень-плод-любовь — “потерянный рай”... Для человека, чуждого Традиции, “кукла” звучит в этом ряду диссонансом. Между тем, Рубцов не

только выводит древнейший мифологический образ, но и (подсказка нам) указывает жанр: сказка, более того, “последняя сказка”. Вспомните “Хаврошечку” или “Василису”... Деревянная куколка — образ и душа усопшей Матери — заступницы и хранительницы. Вплоть до XX века ставили русские люди “куколок” на божницу за иконы. И в сказках “куколки” улыбаются и плачут, как плачет порой Богородица на иконе. Но ведь иконы-то в Рубцовском Доме нет. Даже в Горнице есть “свет”, есть “матушка” и “тень ивы” на пустой стене... И хотя Ангелы прилетают к дочери, но за отцом по ночным тропам бегут совсем не они... И спасительная лодка “на мели”. Такова судьба Русского Народа в XX веке, и таков дар Русского Поэта: увидеть “в безрадостном сером краю” свет звезды и идти за ним. Есть быт и есть Бытие: иконы в поэзии Рубцова нет, но есть Бог — так было с нами.

В последнем четверостишии всё сомкнулось: “Я уеду из этой деревни”, но “весь я не умру” — и вернётся “последняя сказка”... И уже не мать поёт колыбельную над дочкой, а она сама качает “куколку” — Прошлого, которое только одно и может стать Будущим. А настоящее?... По лику Богородицы катится слеза.

Есть и ещё одно ключевое слово-образ у Рубцова, оставшееся в этом стихе за кадром. Помните пушкинское: “На свете счастья нет, но есть покой...” А у Рубцова:

Бессмертных звёзд спокойное мерцанье...

Я не верю вечности покоя...

Звезда Труда, Поэзии, Покоя...

Над вечным покоем...

Или:

*Когда душе моей сойдёт успокоенье
С высоких, после гроз, немеркнущих небес...*

Наконец, Рубцов готовит книгу, которую так и предполагает назвать: “Успокоение”. Покой. Это чистая совесть, это жизнь в Боге — “До конца, до смертного креста”.

Есть у любимого Рубцовым Тютчева стихотворение “Успокоение” (и не одно!):

*...Душа впадает в забытё,
И чувствует она,
Что вот уносит и её
Всесильная волна.*

Что уж тут после Фёдора Ивановича добавишь! Но Николай Михайлович не просто добавил, а и воплотил подлинно народное и православное звучание этого слова-образа...

В будущем, вероятно, придётся создать и словарь слов-образов Рубцова. Но пока... пока ещё о другом...

* * *

Сказав о народности рубцовского стиха, пора сказать и о том, ради чего — то есть о философском или, вернее сказать, богословском его содержании. Оставим ещё разговор о таком генетическом источнике Рубцова, как древнерусская литература, — в другой раз... Но о народном православии Рубцова не сказать нельзя. Народное православие, народное богословие — термины, введенные ещё в начале XX века фольклористами и этнографами. В них отражена та детская, чистая вера, которая реально сложилась в старой деревенской Руси. Городская мещанская религиозная жизнь была во многом

иной. О православной жизни аристократии, впрочем, как и столичного пролетариата, к началу XX века говорить не приходится. Естественно, у каждого из этих слоёв российского общества сложилась своя, обособленная не только религиозная, но и фольклорно-поэтическая культура.

Первое, что отличает наше православие и народное богословие (а в целом — традиционную форму сознания) — это монизм. Монизм реализуется именно в православии, через эсхатологию. Западное христианство новейших времен дуалистично. Сколь угодно долго можно рассуждать, отчего закатилось Пушкинское “солнце”, “наше всё”, отчего у Пушкина нет прямых последователей в русской поэзии (есть-есть, но не на виду!), где ясность и радость мироощущения? Откуда надрыв и расщеплённость сознания, карамазовский бунт постпушкинской литературы? А всё просто: Пушкин через свою приобщённость к Святой Руси, через русское сердце своё, вопреки всему разумному багажу — европейскому, секуляризированному, дуалистичному, — пронёс в поэзию главное — свой монизм, а иначе — теоцентризм. Напомним, что пушкинская плеяда писателей выросла на западноевропейском Просвещении: Шекспир, Сервантес, не говоря уже о Блаженном Августине, оказались за рамками влияния. Результат художественного дуализма — атеизм, антропоцентризм: опрокидывание всей образной системы, всего языка русской поэзии. Богословское кредо Запада дуалистично:

*Люди гибнут за металл...
Сатана там правит бал...*

Действительно, без решения проблемы теодицеи (богопримирения — то есть принятия этого мира как Творения Божьего) преодолеть дуализм невозможно. Потому и карамазовщина, потому и бунтует русская интеллигенция — “возвращает билетки”, ибо налицо несоответствие традиционного содержания русской культуры и западного типа сознания, пытающегося содержание это постигнуть. Алёша Карамазов знает, да объяснить не может, Иван не понимает и бунтует — вот раскол Русского Сознания, вот камень преткновения: теодицея. Не хотим-де принять этот мир — не Божий он! Нет любви к миру, нет принятия Промысла Божьего, и всё тут! В противовес всему этому двухвековому напору русской литературы — Рубцов, на одном дыхании: “...мир устроен грозно и прекрасно...” Или вот: “...Мне приятно даже мух гудение...” или — “Ну, что там отрадней, счастливей, // бывает ещё на земле!”, или совсем конкретно: “мы сваливать не вправе // вину свою на жизнь...” Тут дух евангельский, и иначе этого не объяснишь.

Отсюда ещё одна особенность: в применении к философии об этом писали многие (от Соловьёва до Флоренского): в центре западной мысли — гнозис, в центре русской — историософия в её православном, эсхатологическом контексте. Но это соображение и вернее, и первичнее по отношению к русской словесности. В новейшей литературе, после провала в XVIII веке, Пушкин и в богословском смысле есть ключевая фигура. Он вовсе не создавал, как учат нас Гершензоны, русского литературного языка. Он первый из вновь сложившегося писательского класса (после того как Петр отлучил православную Русь от литературы), кто научился писать и мыслить по-русски. Узки врата и труден путь Русской Словесности, ибо требует целостности сознания: целомудрия. Рассечённое сознание пишущей братии и по сей день бродит в потёмках, и имя уклонившимся от Пушкинской стези — легион.

А что же Рубцов? Его Господь, быть может, как никого другого, рано вывел на эту стезю и хранил

*До конца,
До смертного креста.*

Сознание Рубцова, как и должно в русской традиции, эсхатологично, но не раздробленно. Рубцов теоцентричен (что и Есенину не всегда присуще). Историософия как промыслительный путь истории — главная Рубцовская тема. Молодое вино в старые меха не вливают — для явления Русского Духа, безусловно, необходим именно тот образный строй, тот язык русской поэзии, о котором мы говорили. Оттого и Пушкинская солнечность или, точнее, православная созерцательность:

*Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя, что молчаливый?
— А о чём говорить?..*

Действительно, нужно ли говорить о метафорах, ритмах и рифмах, если речь идёт о Любви...

Здесь мы видим столь редкое для современной литературы, но истинно православное решение темы свободы выбора, свободы воли. Тема эта в православном богословии ключевая: верное понимание Промысла, основанного, тем не менее, на свободной воле — вот подход к пониманию теодицеи, подход к верному пониманию греха, покаяния — и, следовательно, спасения.

* * *

Голос Рубцова...

Сейчас вышло целое море воспоминаний о Рубцове: “Я сидел справа — он слева... мы выпили то-то и то-то...” Ну, что же, для биографа и это важно. Но по сути Рубцовской поэзии... Между тем, ещё один ключ к её сути — голос поэта.

Удивительно: все вспоминают теперь, как замечательно пел Рубцов, и под гармонь, и под гитару, и своё, и не своё. Даже Тютчева и Фета пел...

И когда пел? В начале шестидесятых, когда вышли на свет Божий все наши барды.

И где пел? Чуть ли не в тех же компаниях, где пели и они: в общежитии Литинститута, на квартирах общих знакомых. Отчего же бардовские песни — и хорошие, и не очень — разошлись на плёнках миллионными тиражами, а единичные записи Рубцова канули в Лету?... Посмеялась московская богемка — “юродивым” обозвала.

Удивительное пение Рубцова. Пение в манере старинных русских тюремных песен. Этот жанр восходит к протяжной лирической песне, к духовному стиху, к притче, к былине. Обычно при упоминании о тюремных песнях у современного человека возникает ассоциация с одесским блатным жанром, но это “две большие разницы”. Блатная песня имеет еврейское, отчасти немецкое происхождение, что заметно и в мелодическом строе, и в поэтике, и в манере исполнения. Блатная песня во многом повлияла на развитие городского романса XX века, вышла наружу в творчестве бардов в 60-х, а сейчас просто заполонила эстраду, являя собой гибрид блатного жанра с западноевропейской поп-культурой.

Барды пели именно то, что от них хотела слышать столичная, далеко не русская интеллигенция. Были ли эти барды талантливыми патриотами или бездарными русофобами, выбранный ими жанр, весь дух его и стилистика вели их в сторону от Русского Пути. А Рубцов с его исконно русским пением (и декламацией) был просто не понят и не принят. Посмертная слава Рубцова привела к тому, что за него ухватились профессиональные композиторы: Бог им судья — не ведали, что творят. Мы не говорим уже об исполнении Рубцова на эстраде... Эстрада и Рубцов — вещи несовместные. В фольклорной традиции исполнительская манера не форма — она часть содержания, отражающая иной тип сознания. Это, если угодно, совместная молитва. Какая-то часть Смысла передаётся помимо текста, непосредственно от исполнителя к слушателям. На бумаге мы её теряем, а при самочинном исполнении губим и остальное.

Рубцова нужно слушать. Надо снова стать Русскими Людьми, полюбить Россию, а для этого от нынешнего песнопения придётся отречься: “тьфу — тьфу — тьфу!” Тогда мы и услышим по-настоящему:

*Я уеду из этой деревни,
Будет льдом покрываться река...*

“Я в ту ночь полюбил все тюремные песни...”
Слово второе

*...Я в ту ночь позабыл
Все хорошие вести,
Все огни и призывы
Из родимых ворот.
Я в ту ночь полюбил
Все тюремные песни,
Все запретные мысли,
Весь гонимый народ...*

Вот опять январь. Снежный, холодный. Снова поминаем Рубцова. Упокой, Господи, душу... Да и нашим душам тоже успокоиться бы: вроде и признали уже Русского Поэта. Печатают. Поют... А всё не спокойно как-то на душе. Чего-то недопоняли мы, кажется. Что-то утеряли...

*...Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, моё божество!..*

Тут же, рядом с рубцовским, вспоминается пушкинское: “Не дай мне Бог сойти с ума...” и дальше — про “пустые небеса”...

Человек слагается (и как поэт тоже) лет где-то до семи. Поэтому не книжное слово (оно вторично), а то, что человек услышал до... — важно. Не Литинститут отнюдь Рубцова сделал Рубцовым. Русский фольклор двадцатого столетия — Русское Слово и русский быт деревни, городской окраины, общегития и казармы, — всего того, что было так характерно для нашей Родины, несшей запредельно тяжёлый крест всеобщего спасения, заблуждавшейся, надрывающейся и... поющей...

По ставшему классическим определению Е. Н. Трубецкого, древняя иконопись есть “умозрение в красках”. В другом месте он сказал: “богословие в красках”. Перефразируя его, скажем: фольклор есть богословие в песнях. Именно выражением *народного богословия*, воспринятого через Устное Слово во всем его объёме и многообразии, и стала поэзия Рубцова.

Мы настаиваем именно на том, что “во всём объёме”.

— Ну, — скажут нам, — ну, духовный стих “О Страшном Суде” или там “Голубиная Книга” — это мы понимаем, это действительно явление народной веры. Но вот уж “Камаринский мужик...” — это Бог знает, что такое!

Но мы всё-таки останемся при своём — низких жанров в подлинном фольклоре нет. Просто всему своё время и место. Есть в народном слове своё таинство и своя благодать, есть соприкосновенность через слово со Словом. И это от Адама ещё.

*От всех чудес всемирного потопа
Досталось нам безбрежное болото,
На сотни верст усыпанное клюквой,
Овеянное сказками и былью
Прошедших здесь крестьянских поколений...*

И действительно, воцерковлённость наша, сиявшая по пустыням и монастырям, еле теплившаяся порой по городам, не до всякой деревни дошедшая, покорёженная реформами Петра и Екатерины, надорванная Расколом и много чем ещё... при Советах и вовсе опрокинутая, — благодати всё же не утратила. И верится нам, что не только в церковной ограде, и даже не столько в ограде, но и в миру жила Святая Русь. Во всех “прошедших здесь крестьянских поколениях” жила.

Здесь всё тесно переплелось — духовные стихи, былины и поэзия знаменного распева, обрядовая лирика, колыбельная, причет... Есть фольклорные жанры, которые за тысячелетия своего существования, с дохристианских времён, не претерпели, кажется, никакого внешнего изменения. Но это только внешне... Они изначально в Боге укоренены.

Человек, конечно, пал, но не так, как Денница, нечто Божественное — образ и подобие — осталось в нём. Вот их-то — образ и подобие — и передают нам народный дух и традиция. Слово, обычное, речённое нами, — оно по образу и подобию нашему строится, а потому и закону христианской антропологии подвластно. У слова — тело (звук или начертанные буквы), душа (образ, за словом стоящий) и дух, непосредственно нами не постигаемый, но от Духа Святого исходящий, “сотворённый прежде всех век”.

Если всё же отказаться от секуляризированного нашего литературоведения и попытаться ответить на вопрос, что отличает подлинную поэзию от прочей скоромимоходящей... Так это дух слова. Он изначален и явлен нам вместе с явлением русского языка (при столпотворении, по Писанию). Действительно, образы, ритмы — весь поэтический язык, созданный тысячелетия назад, — современным поэтом только угадываются и интерпретируются, что же до духа слова, то он грешным человеком не творится, а только передаётся. Тут главный вопрос: что есть сознание, — но мы его раскрывать здесь не будем. Отметим только, что сознание, во-первых, есть проявление Слова... через слово, в том числе. Это и есть содержание поэзии, её подлинная, не поверхностная (тематическая, словесно-телесная) воцерковленность.

Рубцовская судьба (с сиротством, невостребованностью и ранней смертью) — это судьба Русского Фольклора, то есть Русского Народа в нашем веке. Умирает народное слово, и вот уже уходит, как вода в песок, русский народ, сменяется русскоязычным населением. Чтобы понять, что есть поэзия Рубцова, нужно вслушаться в этот удивительный напев, всмотреться в эту последнюю, ускользающую страницу великой летописи русской культуры.

XX век для России (если говорить о внешнем, политическом) — это век революций, прихода коммунизма и его крушения... Если же о сути, о существе, то XX век — это век последнего взлёта, ухода, отлёта куда-то Туда народной культуры (это и в демографии видно: как только отлетела душа народная — начали русские вымирать). Так, перед татарским нашествием расцвела и взлетела высоко культура Киевской Руси, прежде чем пасть под “тупой башмак скаластого Батыя”...

Что же было, что звучало, пело в этих вологодских, архангелогородских, североморских, питерских, московских скитаниях? Звучали над зыбкой колыбельные матери, звучали молитвы (мать — Александра Михайловна — пела в церковном хоре), звучали песни детских игр и вечёрок. Великая Война звучала далёкой — аж до Камчатки! — канонадой и причетами, этой древнейшей скорбной поэзией Руси. Потом было то, что в фольклористике называется романсовой культурой: детдом звучал разбойничьими, тюремными песнями...

*Вот умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
На мою да на могилку,
Знать, никто не придёт...
Только ранней весною
Соловей пропоёт...
Пропоёт и просвищет,
И опять улетит...
.....
Позабыт-позаброшен
С молодых-юных лет,
Я остался сиротой,
Счастья-доли мне нет...*

И здесь весь Рубцов. Ведь эти “тюремные” песни из духовных стихов идут, из протяжных воинских и обрядовых песен. Здесь — драма (или, по-народному говоря — притча), предчувствие гибели, но и радость, любовь, Родина — и чистота, какая нам уже недоступна, быть может. Иные считают эти песни низким жанром...

Рубцов — драматический поэт. Сущность драмы определяется не тем, насколько развит сюжет, а наличием промыслительного действия — участием

Промысла в течении событий. Таким образом, “лирический герой” Рубцова – это драматический герой, а его стихи – “маленькие трагедии”.

Морская жизнь Рубцова и пролетарская – по общагам и рабочим посёлкам – тоже звучала – и как звучала! – в те 40–50-е годы...

*Три гудочка прогудело,
Все на фабрику пошли...*

*Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов...*

*Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья...*

Таганка! Все ночи, полные огня...

На фоне лживых салонных романсов, на фоне бравурных маршей, несущихся из радиоприёмников, всё это было как глоток чистого воздуха. И это был голос подлинного, ещё живого, не погребённого русского народа. Созвучен этому голосу и Есенин, так любимый Рубцовым, да и Пушкин, и Тютчев, и Фет... А Вологодская земля ещё хранила свою архаику, свои досюльные песни. Это только, пожалуй, в послевоенную пору и было возможно услышать за одним столом и обрядовый фольклор, и тюремную песню, и... “Катюшу” на слова М.Исаковского...

*Ой, ты молодость моя молодецкая,
Ты куда прошла-прокатилась...
А со мной, с молодым не простилась...
Я пойду, молодец, да во конюшенку,
Оседлаю я коня ворона,
Полечу стрелой — ясным соколом,
Догоню-верну свою молодость...*

Так поётся в старой народной песне. Тут и философская глубина, и... но суть-то не в том, что “прошла-прокатилась”, а в покаянии. Тут мы вернёмся к образам русского поэтического языка. Ранее была обозначена цепочка слов-образов из рубцовской “Прощальной песни”: ребёнок–колыбель–лодка, дерево–сад–женщина, родина–церковь–мать–ребёнок. А здесь мы снова вернёмся к саду и дереву. О листьях: (человек–судьба–лист – ср. Псалом 1: “И будет он, как дерево, посаженное при потоке вод, которое приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет...”):

*Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях,
Лучше оторваться и броситься в воздух, кружиться...*
(Есенин)

А у Рубцова – листья уже опавшие (опавший лист – символ смерти, жатвы – эсхатологический образ):

*А последние листья
Вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись,
Выбиваясь из сил...*

Или:

Облетели листья с тополей...

Осень, отлёт птиц. Образ осени у Рубцова особый. У Пушкина это “в багрец и золото одетые леса...” – время накануне жатвы, некое торжество.

У Рубцова – эсхатология: “за ограду летят лепестки...”

И:

*...в этот день осеннего распада
И в близкий день ревущей снежной бури
Всегда светила нам, не унывая,
Звезда труда, поэзии, покоя...*

За отлётом птиц и опаданием листвы наступает Покой — один из центральных образов Рубцова... “Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего в месте светлом, в месте значнем, в месте покойном...” Православная эсхатология — это тоже торжество, но иное: не страх, не ужас... Так у Рубцова:

*Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу!
Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объемлет и сушу...*

Рубцовская звезда полей есть, в первую очередь, Звезда Покоя, что через Труд даётся и через Поэзию явлена. Рубцову чужд дуализм, его сознание теоцентрично: вроде бы “отговорила роща золотая...”, но есенинского надрыва нет. Значит, тут о чём-то другом ещё...

Есенин и Рубцов. Это настолько очевидно. Об этом писано и говорено. Каждый, кто приникнет к их поэзии, почувствует удивительное родство. Но в чём оно? Рубцов абсолютно самостоятелен, нет у него ни есенинской метафоры, ни живописности языка. Даже хулиганство их какое-то разное. Есенин сказочен, эпичен, он из мифа, его судьба и поэзия — мифотворчество. Рубцов — персонаж духовного стиха, юродивый; тут трагедия, притча... Иван-царевич и Алексей — Человек Божий. Юродство не мнимое, подлинное — во Христе. В Есенине это только начинает проглядываться, в Рубцове — поёт. Почти как в стихе об убогом Лазаре:

*...я пришёл к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои.*

А что всё же их объединяет?

Прямое прикосновение к Русскому духу, к душе народной, через образы и суть, а не через метафору и форму.

Тем не менее, не по форме, по духу Рубцов — продолжатель Есенина, но и Тютчева и Фета, а также крестьянских поэтов XIX века: Кольцова, Никитина, Плещеева, Сурикова...

Продолжает Рубцов и Пушкина. Если есть у нас в ком-то пушкинская простота и ясность, так это в Рубцове:

*Зачем ты, ива, вырастаешь
Над судоходною рекой
И волны мутные ласкаешь,
Как будто нужен им покой...*

Это уже лермонтовская “лодка”, сквозь пушкинские “покой и волю”, мелькает...

*А есть укромный край природы,
Где под церковною горой
В тени мерцающие воды
С твоей ласкаются сестрой...*

Да, “под церковною горой” “воды глубокие плавно текут”, но зачем, “зачем крутится ветер в овраге...”? “Обитель дивная”, куда “бежит” Пушкин и из которой, навстречу ему, — Рубцов.

Образ Покая у Рубцова — это образ Храма:

Живу вблизи пустого храма...

*Купол церковной обители
Яркой травой зарос...*

*С моста идёт дорога в гору,
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит бывлая Русь...*

Храм пуст не потому, что большевики разорили, а потому разорили, что пуст оказался. Тут не ругаться надо, а каяться... Мёртвый храм — наглядная эсхатология. Из современников ближе всего Рубцову Шукшин: во все переломные моменты судеб его героев (в прозе ли, в кинематографе) где-то на заднем плане — разрушенная церковь. И это не просто констатация, тут глубоко: у Константина Симонова есть хорошее стихотворение: “Жди меня, и я вернусь...”, но насколько сильнее в первоисточнике (у Н. Гумилева): “Жди меня — я не вернусь...”

Птицы отлетели, листья “несутся вдоль по улице гулкой” (“сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют...” — опять пушкинское слышится) и храм порушен и... будет хуже “в близкий день ревущей снежной бури...” Но — “как будто спит бывлая Русь”, “...я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...” Так сказано, “ибо не умерла девица, но спит”. Оттого и светлы песни рубцовские, что сколь бы трагично они ни звучали, есть в них вера в истинное бессмертие. Истинный Храм нерушим — для народного сознания Родина и Церковь тождественны. Россия — Третий Рим, Дом Пресвятой Богородицы — это с молоком матери... И покаяние перед Родиной, и благодать — через неё:

*...О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно Ангел, под куполом синих небес!..*

Усомнившиеся строили (Толстой, Горький) “новую церковь”, отворачиваясь от старой (порой заслуженно, порой от непонимания), строили, соблазненные зыбкими миражами западного гуманизма. Есенин — что говорить! — от этой стези не уберёгся, побогоборчествовал до срока. Ничего подобного у Рубцова нет. Покаянный опыт XX века не прошёл даром. Да чист он был, детдомовщиной своей крещенный, “до конца, до смертного креста”. Всякое богоискательство ему чуждо. Тот грех — от уныния (“всегда светила нам, не унывая, звезда труда...”), от утраты традиционного мышления (монизма). Дар Рубцова — и в этом истинное проявление народного богословия — переплавлять в песнях своих земную скорбь в чистую благодать поэзии.

*Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет, тот и правит,
Поехал — так держись!*

Вот и вся теодицея. Вот над чем бился Иван Карамазов, а Алёша только молчал в ответ. Ответил-то Ивану — Николай Рубцов.

Ходасевич, когда-то разложив Есенина по косточкам, “доказал”, что тот “полужычник”. Что бы он сказал о Рубцове? Но по отношению к Есенину это неверно, а по отношению к Рубцову — вдвойне. Ибо авторского тут нету, а есть душа народная, которая “язычницей” никогда не была.

Вернёмся к эпиграфу: “Позабыл... все огни и призывы из родимых ворот”... Вообще-то родные ворота уже были — была какая-никакая избушка... и жена, и дочка, но не про это... Был отказ от дома во имя креста Юродства, пути, издревле выбираемого каликами перехожими. Их дом — Россия, и храм их — Россия, и долг их — плакать и каяться за весь народ.

Вечный странник, “неведомый отрок”, одному старому солдату-калеке (своему же брату-юродивому), да и то в бреду лишь, зримый...

Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...

И пока скачет — слышится его голос, поёт и трепещет бессмертная душа Рубцова. Ибо бессмертна Отчизна и бессмертна её словесность. А нам — зде сущим — “в близкий день ревущей снежной бури” завещано, как оберег, чтобы

*...Всегда светила нам, не унывая,
Звезда труда, поэзии, покоя,
Чтоб и тогда она торжествовала,
Когда не будет памяти о нас.*

**“Грусть и святость...”
Поэтическое богословие Николая Рубцова
Слово третье**

*И свет во тьме светит, и тьма не
объяла его...*

Евангелие от Иоанна

*...И эту грусть, и святость прежних
лет
Я так любил во мгле родного края...*

Николай Рубцов

Один известный православный литературовед — а их у нас раз, два и обчёлся! — назвал Рубцова душевным (читай: бездуховным) поэтом, другой обозвал пантеистом... Жаль хороших, в общем-то, людей — не расслышали они слова рубцовского...

Рубцов — “пантеист”. Ах, ах, грех какой!

Нет, конечно же, ничего пантеистического, тем более “языческого” в поэзии Рубцова. Его восприятие природы, да и всего Бытия носит православный, традиционно народный характер.

Пантеизм не в том состоит, чтобы одушевлять природу. У природы есть душа. Обездушивают природу атеисты. Истинное христианство предполагает в природе и Дух (“иже везде сый и вся исполняй...”), и душу (“и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей”). Так учит нас Писание, так учили Св. Отцы (подбор высказываний по теме см. у Св. архимандрита Луки в его книге “Наука и религия”). Беда наших современных пантеистов от литературы в том, что они вовсе не одушевляют природу, как это в действительности (в согласии с народной традицией) делает Рубцов, а придают ей антропоморфные черты, мыслят природу не Божьим Творением, а продолжением (отражением) своего “Я”. Но:

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык... —*

прозревал столь любимый Рубцовым Тютчев.

Разница между язычеством и христианством в том, что за одушевлённой природой христианство видит Творца, а само бытие воспринимает как Творение. Вот это-то ощущение, как ощущение или прямым текстом, — и становится лейтмотивом поэзии Рубцова:

*Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу!*

*Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объёмлет и сушу...*

Кто ещё в русской поэзии сумел выразить такое! Здесь “Покой” — это и Отец, и Сын, и Дух Святой. И “всякое дыхание” у Рубцова “хвалит Господа”. И как замечательно, что не преступал Рубцов заповеди “Не поминай Имя Господа Бога всуе!”, а всякий раз находил слово, точно передающее Божье присутствие и Промысел. (Здесь совсем не в цензуре дело. Сколько раз в те же годы поминали имя Божье в стихах Вознесенский или Евтушенко и, кажется... ни разу по сути.) Потому-то и нет в поэзии Рубцова богоборчества, столь традиционного для русской литературы последних двух веков, что ощущение Бога у Рубцова — реальность не преходящая. В этом его уникальность и в этом его не явленная со времён древнерусской словесности тождественность народной поэзии.

В чём же он “язычник”? Может Рубцов, где-то хулит Дух Святой? Отнюдь. Может, проявляет дуализм в своём творчестве? Где же? Или его поэтическая эсхатология оказывается за рамками православной традиции? Нет, и тут у него в десятку. Некий “православный” деятель воспылал гневом, — да не на меня, грешного, а на рубцовскую фонограмму, что вставил я в свой рассказ о Рубцове: “...лучше выпьем с тобой на прощанье/ за недолгое счастье в груди...” — пропел в эфире крамольник. Вот “язычество”-то!

Дай волю нашим деятелям, они не только “Буря мглы небо кроет...” — и дальше там про кружку что-то, но и Кану Галилейскую из Евангелия вымарают.

Да и не в этом же дело! Если серьёзно, что всё-таки мешает иным воцерковлённым деятелям воспринимать Рубцова? Причём уж и Есенина — со всеми-то грехами! — приняли давно, — отмолил, видать, народ, а Рубцова?..

Ну, хорошо... — “язычник”.

А чего мы, собственно, испугались?

Конечно, на нас действует тысячелетняя традиция борьбы с язычеством. Когда-то оно выступало гонителем христианства, потом суровым конкурентом (заметим сразу: не народная традиция гнала, а “мир сей”). Не то теперь. Пора бы оглянуться и понять, что страшны не “язычники”, а безбожники. Кто такой “язычник”? Это уже верующий человек, ближайший кандидат на воцерковление. Вот с безбожником сложнее... Но беда в том, что и подлинных “язычников” давно нет, а есть мелкая игра в неоязычество. За ней, естественно, не традиция, а рефлексия на непонятое христианство, нежелание понять и принять. (Есть в неоязычестве и тяга к “народности”. Что ж, это потому, что мы, православные, не уделяли “народности” этой должного внимания. Наш грех...)

Вернёмся к поэзии. Приглядимся...

Где язычники-то? Есенин? Клюев? Нет, это *запоэтизированное православие*. Окружённое, правда, Сиринами и Алконостами, но — православие! Вот Городецкий с Хлебниковым... “шаманят” (по выражению Рубцова) — тут есть некая неоязыческая игра (от незнания народа), но кому это надо? Если что-то осталось от них в литературе, то как раз там, где они христиане. И, наконец, Рубцов: нет и не было, пожалуй, в нашей поэзии более точного *православного катехизиса*:

*До конца,
До тихого креста,
Пусть душа
Останется чистой!..*

Богословие Рубцова может быть раскрыто и понято только через раскрытие *народного богословия*. Но как далеки мы ныне от него...

Короче и проще: Русский дух — не пустые слова (не только там какая-то *народная душевность!*) — есть проявление Духа Святого, “Промысел Божий о народе”, а ещё проще: то, что мы называем Родиной. По-русски слово “Родина”, как и “Бог”, пишется с большой буквы. И действительно, доказательство тому — всё творчество Рубцова, поскольку истинное познание Родины возможно только через Богопознание.

Вот одно из замечательных мест в воспоминаниях Сергея Багрова (Багров С. Детские годы Коли Рубцова. Вологда, 2003. С. 27):

“ — Как много здесь русского! Как я люблю эту местность! Откуда всё это? И для кого? Ты не знаешь?

- Не знаю, – ответил я.
- Значит, мне предстоит.
- Что предстоит?

Рубцов показал на двор, огород, ров и ропщущие деревья:

– Узнать: почему всё это так сильно действует на меня...

Удивительно точная (и программная!) для пятнадцатилетнего Рубцова и ключевая для нашего понимания его творчества фраза: “Мне предстоит...”

Отнюдь не такова была общелитературная тенденция восприятия Родины: “Я оглянулся окрест – душа моя страданиями узвлена стала...” (Радисhev).

“Видь на Волгу! Чей стон раздаётся...” (Некрасов).

И совсем уж тупиковая формула при взгляде на Россию: “Куда смотреть не стоит...” (Бродский).

Беспроблемно. Не “действует всё это...” Приплыли.

У Рубцова: “Когда душе моей // земная веет святость...” Не приземлённая, а земная, то есть от земли исходящая. Тут о культе Богородицы, вмещающем в себя культ Матери Земли, рассказать бы надо... А у них: “Куда смотреть не стоит...” Правда, у наших, по выражению Евтушенко, “больше, чем поэтов”, за гнётом и стоном впереди – светлое будущее. NB!: Светлое будущее, разумеется, только у *наших*! Но именно у Рубцова дан истинно христианский взгляд на историю и бытие: эсхатологично не настоящее, а будущее: “Таким всё было смертным и святым, // Что до конца...”, “До конца, до смертного креста...”

Чёткое православное ощущение Богобытия (адамово, догреховное) было мало свойственно нашей классической поэзии (в отличие от поэзии народной). Пушкин, Лермонтов, Есенин только проложили пути... С наибольшей ясностью это мироощущение явилось именно у Рубцова. Он как бы завершает русскую классическую литературу, смыкая её с народной по существу: преодолевая затянувшуюся на несколько столетий секуляризацию русского литературного сознания. Именно этим Рубцов и дорог народу. И это, конечно, ну-трём познаётся.

Никакая внешняя словесная наполненность не может сделать поэзию христианской (и народной, русской), если нет в ней этого дара – ощущения присутствия Божия, ощущения Промысла, Страха Божьего и Божьей Любви.

Дар Рубцова в том и заключался, что он ничего не сочинял, а умел прислушиваться и слышал “печальные звуки, которых не слышит никто...” Рубцов умел отбросить “голоса” и соблазны и услышать глагол Божий, то есть умел **предстоять**:

...о дивное счастье родиться

В лугах, словно Ангел, под куполом синих небес...

Сначала кажется: как будто Ангел, но нет: здесь подлинная ангельская ипостась, ибо: “боюсь... **разбить свои крылья** и больше **не видеть чудес...**” (выделено мною. – А. Г.).

Можно бесконечно долго вчитываться в каждую рубцовскую вещь. Особенно в такую, как своего рода “Памятник”: “Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...”. Но разбор *такой вещи* превратится у нас в богословский трактат... Мы остановимся на небольшом и редко поминаемом (хотя тоже программном – название стиха вынесено в название книги!) стихотворении “Душа хранит”.

Предельно просто и осязаемо доступно открывает Рубцов факт бессмертия души* (выделяем логическую цепочку):

...О, вид смиренный и родной!

Берёзы, избы по буграм

* Интересно проследить связь всех шести стихотворений, вынесенных Рубцовым в заглавия книг: “Мачты” (книга вышла с редакторским названием “Лирика”), “Звезда полей”, “Душа хранит”, “Сосен шум”, “Зелёные цветы”, “Успокоение”. В каждом из них развит свой образ: корабль, звезда, храм, дерево... Но связующей нитью проходит идея бессмертия.

И, отражённый глубиной,
Как сон столетий, Божий храм.
О, Русь — великий звездочёт!
Как звёзд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечёт,
Не тронув этой красоты,
Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлён
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времён...

Итак: **Красота** отражается вроде бы **глубиной** воды, но **Красота**, по Рубцову, есть **Божий Храм**, а глубина, оказывается, это и есть **душа**, которая одна лишь способна хранить **Красоту**, причём **Всю Красоту**. Параллельно развивается целое древо образов: Храм над водой — ковчег, лодка; Русь-звездочёт — страна, чтящая звёзды (небо) и в переносном смысле, и в прямом (см. культ Рождественской мистерии в народной поэзии: колядки, фольклорный театр, эпос... образ звезды Вифлеемской). Избы по буграм, в общем контексте поэзии Рубцова, — тот же ковчег, та же память о Потопе (“От всех чудес Всемирного Потопа...”)

Первое четверостишие, которое мы не случайно опустили:

*Вода недвижимее стекла.
И в глубине её светло.
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло. —*

Оно может показаться лишь экспозицией, призванной снять философскую напряжённость стиха. Но уже здесь дана истинно богословская предпосылка: “и в глубине её светло”. А дальше поэт как бы готовит место (“и свет во тьме светит...”) для отражения предстоящей Красоты:

О, вид смиренный и родной! —

Взгляд не по принципу “Я оглянулся окрест...” (значит, до этого не видел ничего?), а истинное видение того, что отражено в **светлой глубине**. Бессмертие души прямо следует из бессмертия Красоты, где бессмертие носит не условно-эстетический, относительный характер, но абсолютный.

Отсюда и “сон столетий” — это не буквально. Это мысленное “скакание”, как “мыслью по древу”, “по холмам задремавшей Отчизны”. Разумеется, не о “русской лени” (столь любезной интеллигентской поэзии лжи на русского человека!) здесь речь. А речь об уровне поэтического взгляда, когда земное представляется лишь сном по отношению к небесному.

Вернёмся к эпиграфу. Святость Богоданной красоты Отчизны очевидна (сто́ит, сто́ит на неё смотреть!), но почему грусть...

Может быть, “выдь на Волгу” и... “Как скучно жить на белом свете, господ...” Нет, это не про русский народ, это про “господ”. Словом, как говаривал сам Рубцов: “Грусть, конечно, была, да не эта...”

У Валентина Непомнящего есть верное замечание: в Пушкине-де содержится “эмбрионально” вся русская литература. Верно, хотя, конечно, не в Пушкине, а в Боге, что через Пушкина (и, главным образом, через фольклор) отражено. Просто и Пушкину, и Рубцову дана была общая истинная нота:

*Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружающих гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
И ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.*

*Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку,
И пожелать счастливых много лет...*

О, сколько можно было бы припомнить здесь рубцовского! Тут, понятно, и:

*Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда...*

Но главным образом:

*Мне грустно оттого,
Что знаю эту радость
Лишь только я один:
Друзей со мною нет...*

Нет, на самом деле он знал, что мы есть, мы придём и радость эту с ним разделим. Иначе зачем же всё! Но это Здесь, а Там... "Многими скорбями Царствие Небесное даётся..."

Потому что Здесь — "Сон столетий...", "Я буду скакать по холмам задремавшей...", "...как будто спит бывлая Русь". Это не про летаргию — про павший и ветхий, а потому только и **грустный**, но, тем не менее, прекрасный, а потому и **святой**, — ибо не Богооставленный! — наш здешний мир... И ещё — про зримый и слышимый сквозь него мир иной — "жизнь будущего века"...

*Когда душе моей сойдёт успокоенье
С высоких, после гроз, немеркнущих небес...
.....
Когда душе моей земная веет святость,
И полная река несёт небесный свет...*

Или — "В святой обители природы":

*...Усни, могучее сознание!
Но слишком явственно во мне
Вдруг отзовётся увяданье
Цветов, белеющих во мгле.*

*И неизвестная могила
Под небеса уносит ум,
А там — полночные светила
Наводят много-много дум...*

"Много-много дум", "...и полная река несёт небесный свет", и "...незабываемые виды! Незабываемый покой!..." Вот отчего "так сильно действует" на нас творчество Рубцова. Он вполне ответил на вопросы, которые перед ним поставил Господь.

Вернёмся к другому эпиграфу и продолжим.

"...Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете..."

**Акафист России Николая Рубцова
Слово четвёртое**

*Я буду скакать по холмам
задремавшей Отчизны...*

Поскольку выше слово о стихе этом замолвлено было, то значит, и нельзя не сказать о нём теперь...

О чём, собственно, речь? Один из авторов воспоминаний о Рубцове отсылает нас к холмам Бродского.

Это вряд ли.

Вряд ли холмы Бродского могли хоть как-то привлечь внимание Рубцова. В тех холмах вопросы скорее для психоаналитика, чем для поэта. Безусловно, и не косвенно, а прямо Рубцов напоминает нам о Бояне из “Слова о полку Игореве”:

*Боян бо вещей
Аще кому хотяше песнь творити,
То растекашися мысию по древу,
Серым волком по земли, шизым орлом под облакы...*
.....
*...скача, славию, по мыслену древу,
Летая умом под облакы,
Свивая славы оба полы сего времени,
Рища в тропу Трояню
Чрес поля на горы...*

(Заметим в скобках, что Троян, по мнению некоторых исследователей, — языческий бог, которого мы можем понимать как некую предтечу Троицы).

Вот мысленное “скакание” по древу бытия в поэзии Рубцова:

Я буду скакать по следам миновавших времён...

Это весьма развёрнутый образ, овеванный

*...сказками и былью
Прошедших здесь крестьянских поколений.*

Или ещё:

*То по холмам, как три богатыря,
Ещё порой проскачут верховые...*

Тут эпос слышится, былинный дух. Тут многие строки аукаются со “Словом”:

“Рыща... себе чти, а князю славы” — “Как прежде скакали на голос удачи капризной”... “Восторженный сын удивительных вольных племён...”

Или вот, самое очевидное: “Взбегу на холм...” — и... открывается историческое зрение: “С моста идёт дорога в гору, а на горе...” Здесь речь о горнем (“По косогорам Родины брожу...”), и не только о горнем... Вся онтология России строится из движения по косогорам (холмам) истории.

О “Сне” Отчизны мы уже писали не раз. Это удивительная рубцовская тема: “Как будто спит былая Русь...” Здесь сон есть некая остановка времени: “Уж на часах двенадцать прозвенело // И сон окутал Родину мою...”

Художник останавливает время, ибо сей мистический акт необходим ему для свершения “мысленного” скачка по древу времён. Здесь (“Я буду скакать по холмам...”) явлено время мифологическое, подвластное автору и присутствующее днесь в его поэзии, но отнюдь не очевидное нам.

Нас — читателей — автору ещё предстоит ввести в своё временное измерение.

Первое четверостишие заканчивается многоточием, что у Рубцова знак особый — некий внутренний период:

*Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны,
Восторженный сын удивительных вольных племён!
Как раньше скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времён...*

Далее мы, не вдаваясь в подробности, посмотрим, что происходит в этих периодах, отмеченных многоточием: 4 строки, 8, ещё 8, 7, 5 и 8 строк.

Итак, второй период: “Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность...” — из мифологического прошлого мы переносимся в прошлое недавнее, в счастливое детство. Вроде бы реальное и памятное лирическому герою, но... не менее мифонасыщенное: былинный председатель колхоза, доблестный труд, честность жнеца (жито, житницы — см. и фольклорные, и евангельские притчи). Наконец, “майский костюм” — чуть ли не адамов!

Вот как выглядит этот “скок по холмам” в одном из самых ранних и удивительных стихов Рубцова — “Деревенские ночи”, где скачет герой в “майском костюме”, и манят его “сумерки полей, мерцание звёзд, ржание коней...” (всё это вместе выльется потом в “голос удачи”):

*...Для меня, как музыкой, снова мир наполнится
Радостью свидания с девушкой простой...*

В семнадцать лет писано! Перекликается со зрелым уже Пушкиным: “Од-ной любви музыка уступает, // но и любовь — мелодия...”

“Веселье воскресных ночей...” — да не покажется вам сие лишь плотским движением души! И здесь Бог — ибо заповедь первая: “Плодитесь и размножайтесь”. С ужасом задумываешься об этом “во мгле над обрывом” вымирающей России. И девушки есть хорошие, и парни, а страна вымирает: радости нет — мир “музыкой не наполняется”... Или наполняется — да не той...

Вернёмся ко второму периоду: “пенье и смех на лужке” — рай, райские кущи, но... “мимо неслись в торопливом немолкнувшем шуме” — это восьми-стишие заканчивается образом потопа: “в немолкнувшем шуме (заглушающем постепенно “пенье и смех”. — А. Г.) // весенние воды и брёвна неслись по реке...”

Сразу вспоминаются многочисленные “потопы” из поэзии Рубцова:

*“...из моей затопленной могилы // гроб всплывёт...”**

Следующий период (ещё один временной скачок — в настоящее):

*Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!***

Россия после схлынувшего потопа. Тут не только о катастрофе российской судьбы XX века. Не так уж и плох был XX век: и рай был с “пением и смехом”, “а мимо неслись” — то есть рядом бушевало... Но не только об этом. Тут уловлена более глобальная катастрофа:

*Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели...*

Вот и брошенный после потопа ковчег. Что же случилось вследствие “померкших звёзд”? А вот что — рухнувший храм и растоптанная корона:

*И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей...*

Звёзды померкли, померкли и поля. Ещё о звёздах: “А надо мной бессмертных звёзд Руси...”, “Светятся тихие, светятся чудные...”, “как звёзд не свергнуть с высоты...” Но почему же “пустынно мерцает померкшая звёздная люстра...”? Возможна ли гибель “бессмертных звёзд Руси”, то есть гибель Руси небесной и, значит, безвозвратная уже гибель Руси земной? Вот о чём задумывается автор, но отложим пока...

Итог восьмистишья: “Но жаль мне, но жаль мне...” Этот период, характеризующийся понятием **ныне**, закончен. Это “ныне” настолько кратко, что если бы не “пенье”, его можно было бы определить как “безвременье”.

* И это, кстати, у Пушкина мелькнуло — потоп в “Медном всаднике”: “гроба с размытого кладбища”... И, опять-таки, тючевское “Успокоение”...

** А вот в “Слове”: Ничит трава жалочами, а древо с тугою к земли приклонилось... — и далее: Уныша цветы жалобю...

Ещё скачок, и возникает следующий временной период: **присно** (если вернуться к ещё более могучему и великому древнерусскому языку), что означает длящееся настоящее:

*О сельские виды! О дивное счастье родиться
В лугах, словно Ангел, под куполом синих небес!..*

А что открывается рубцовскому взгляду из-под купола небес? Россия — Дом Пресвятой Богородицы, Россия-Храм, Россия — Третий Рим. Это уже не взгляд Радищева: “Я оглянулся окрест...” (или, как в стихе “Однажды Гоголь вышел...” — взгляд Гоголя). Здесь, в этом временном измерении, — обращение к нам. Здесь не о 40-х или 60-х. Тут всякий раз, обращаясь к этим строкам, мы будем внимать, чего там — участвовать присно! — в молитвословии Рубцова.

Словно отзвук на слова молитвы Святому Духу: “*иже везде сый и вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны...*” И сколько раз об этом у Рубцова: *Светлый покой простираясь окрест, воды объемлет и сушу...*

И это уже на века — Покаянный канон:

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы...

Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом...

(Антипотоп — засуха Апокалипсиса...)

...Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...

Строка многого стоит. Это “путь без солнца, путь без веры...” Или — в Писании: “...ели, пили и веселились...” и “Внезапно Судия придет и коегождо деяния обнажатся, ...ибо не знаете часа...”

Или короче, по-рубцовски: “Скот размножается, пшеница мелется...”. Словом — “без грусти пойду до могилы”, то есть без Страху Божьего. Опять-таки — эхо “Медного всадника”: “И станем жить, и так до гроба // рука с рукой дойдём мы оба...”

И снова скачок — на седьмой строке: многоточие переносит нас в новое временное измерение: “**и во веки веков**” (неограниченно длящееся будущее). Здесь в пяти строках заклинание, здесь молитва об Отчизне и воле:

Отчизна и воля — останься, моё божество!

Воля у Рубцова категория богословская, онтологическая: “вольная птица” — Ангел. Если сказать в простоте, то в чём суть христианства? Через все заповеди, молитвословия, Таинства осуществить волю Божию, то есть спастись! Тут, в грехопадшем мире, воля Божия всегда искажена, и мы молим: “Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...”

В этих строках у Рубцова совсем не та бесшабашная воля, которая “вольному — воля, спасённому — рай”. Тут именно воля-рай, то есть “яко на небеси”. Поэтому “Отчизна и воля”, по Рубцову, — Божество. Ибо только такую Отчизну он и приемлет, которая “яко на небеси”. Божья воля, бывает, противоречит воле земной. И о том часто можно прочесть у Рубцова: “...не умчаться, глазами горя... не порвать мне мучительной связи...”

Далее — само молитвословие, ради которого (ради приснодействия которого!) и написан стих. Это уже не покаяние, а акафист России:

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!

(то есть останься, Россия-храм!),

Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!

Это о народном, фольклорном начале, но это и радость первой райской заповеди: “радости свидания” — мир, “наполненный музыкой”.

*Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..*

“Иное зерно упало при дороге, иное на места каменистые, иное в тернии, иное на добрую землю, и дало и тридцать, и шестьдесят, и сто зерен, а те — погибли...”

Тут многоточие, тут надо перевести дух...

Осталось восемь строк. Некая духовная мистерия во имя сохранения России ныне, присно и во веки веков сотворена.

Осталось выйти из инобытия в бытие. Вернее, не выйти (поста покидать нельзя!), а просто бросить взгляд на себя самого, *присно скачущего*, не нарушив ночного дыхания, снова тем самым отроком, который в “майском костюме”, и тем самым “восторженным сыном”, что рыскал “через поля на горы”... И этот скак уже не доступен глазу.

И лишь юродивый нашего века: калека-десантник, прошедший пекло войны, — “расскажет в бреде...” о чудесном видении. Снова многоточие... Конец? Нет. Можно вернуться к первой строке. Кольцо в сорок строк запаяно навечно. Перечитайте сразу, не откладывая... и с каждым витком будет вскрываться нечто новое.

“...Но жаль мне, но жаль мне порушенных белых церквей...”

Рубцов и Православие

Слово пятое

*Красным, белым и зелёным
Заливаем сладкий бред...
Взгляд блуждает по иконам:
Неужели Бога нет?*

Начинать надо с предков поэта, ибо “как ношено, так и рожено”, и “яблоко от яблони...”, и “каков поп, таков и приход”...

Родители Николая Рубцова происходили из деревни Самылково, что на берегу реки Стрелицы (приход села Спасского Тотемского уезда Вологодской области). В Спасском — два храма: престольный во имя Преображения Господня, и ещё один — во имя Рождества Богородицы. В 1870 году при храме было открыто церковно-приходское попечительство, председателем которого избрали крестьянина деревни Самылково Михаила Васильевича Рубцова — “человека честного и к церкви Божией усердного”. (Здесь и далее цитируем по книге Андрея и Марины Кошелевых “Что вспомню я?”) 12 сентября 1899 года в этой же деревне в семье Андриана Васильевича Рубцова и его жены Раисы Николаевны родился сын Михаил — будущий отец поэта. Крещён приходским священником Феодосием Малевинским. Отец Феодосий — потомственный священник, выпускник Вологодской духовной семинарии, рукоположён в 1895 году. Его стараниями при церковно-приходской школе была открыта библиотека-читальня, а из учениц школы организован женский хор... Среди певших в этом хоре была и прихожанка из деревни Загоскино Александра Михайловна Рычкова, 1901 года рождения, вышедшая в 1921 году замуж за Михаила Андриановича Рубцова. Отец Феодосий был большим любителем народного пения: записи народных песен сохранились в его книге о Спасо-Преображенской церкви: “За два дня до свадьбы бывает скрутник. Невеста ходит во всей скруте (в самом лучшем платье). Она причитает:

*Неси-ка ты, матушка,
Мою скруту добрую,
Платьецо разноцветное,
Да неси во светлую светлицу,
Во светлую горницу...”*

“Не отсюда ли — волшебная в своей красоте песня “В горнице”?” — продолжают А. и М. Кошелевы.

Отец Феодосий арестовывался трижды: в 1918-м, в 1932-м и в 1937-м году. Он принял мученическую кончину (был расстрелян) на Крещенские морозы — 19 января (!) 1938 года.

Мученицей была и Александра Михайловна. Прожив сорок один год (скончалась от сердечной болезни), она родила шестерых детей: Надежду (1922–1940), Галину (1928–2009), Альберта (1932–1984), Бориса (1937 – год смерти не известен), вторую Надежду (сентябрь 1941 – май 1942) и Николая (1936–1971).

Был ли Николай Рубцов крещён? Нам это не известно. С одной стороны, как и многие советские граждане, он мог быть крещён тайно при рождении. Но в Емецке, где он родился, в Няндоме, где жил после, поблизости не было действующих храмов. Впрочем, известны случаи тайного крещения и на дому... Но это маловероятно. Гораздо вероятнее, что Николай мог быть крещён, когда Александра Михайловна была прихожанкой храма Рождества Богородицы в Вологде в 1941–1942 годах. По воспоминаниям соседей Рубцовых Наместниковых, а также со слов сестры поэта Галины Михайловны Александра Михайловна пела в церковном хоре этого храма. Надо было иметь большую истинную веру, чтобы отстоять, отпеть службу на клиросе: на руках были дети, и она брала младших Колю и Борю с собой на службу. Шла война, муж всё время был на работе (а в 1942-м его призвали на фронт). Кроме того, у неё было больное сердце, она была беременна (в сентябре 1941-го родилась её вторая Наденька). Об этом в 2006 году я рассказывал нынешнему настоятелю храма. Батюшка записал Николая Рубцова как прихожанина своего храма на вечное поминание. У нас нет документальных свидетельств, но можно полагать, что крещение Николая Рубцова могло иметь место в 1941 году в храме Рождества Богородицы в Вологде.

Итак, в Самылково имелся действующий храм, замечательный батюшка, знаток народного пения, а позже – новомученик, принявший смерть, как и сам Рубцов, 19 января. Но... Промыслом Божиим Рубцову было предназначено было написать:

*С моста идёт дорога в гору.
А на горе, — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь...*

И ещё:

Живём вблизи пустого храма...

*Отражённый глубиной,
Как сон столетий, Божий храм...*

И – многое, многое. И потому Господь повёл его по тем местам, где храмы были порушены или закрыты: Емецк, Няндомы, Никола... Да, была благодать посещения Храма Рождества Богородицы в Вологде, но благодать эта промыслительно слилась с памятью о войне, со смертью матери, с уходом отца – сначала на фронт (и Коля долго думал, что отец погиб), а потом – в другую семью, с потерей братьев и сестёр, со смертью (видимо, на Колиных глазах) – младшей сестрёнки... Потом – детдом... В семь лет Коля пишет уже свой первый стихотворный шедевр: "Вспомню, как жили мы с мамой родною..."

Однако Господь Колю хранил: таких добрых, чутких людей посылал ему! Воспитателей детдома, а позже – учителей в техникуме (да и на литинститутских преподавателей грех жаловаться!). Документальный фильм "Зелёные цветы" сохранил образы Колиных детдомовских учителей. Были ли среди них люди верующие, воцерковлённые?... Мы не знаем. Но благодать Божья на этих лицах очевидна. Они согрели Колю, спасли – в самом прямом, христианском понимании. Помимо киноленты, сохранились воспоминания друзей Николая по детдому, по учёбе, воспоминания его учителей (см. например, воспоминания учительницы Нины Николаевны Алексеевской). А порой Господь посылал Рубцову и верующих людей, с которыми, как рассказывала Нинель Александровна Старичкова, Николай Михайлович очень любил общаться. Большой радостью для него было, если кто-то дарил ему икону (а где их было достать тогда?) – пусть расколотую, ненужную, – это было для Рубцова лучшим подарком. (Нинель Александровна вспоминает, как, копая огород,

Николай нашел бронзовый образок. С радостным криком: “Это моё!” — выхватил он его из земли.)

Одна из таких встреч описана матерью Александра Романова — Александрой Ивановной (см. “Последняя осень”. М., 2004. С. 303):

“Только ты укатил в Вологду, а к вечеру, смотрю, какой-то паренёк запостукивал в крыльцо. Кинулась открывать. Он смутился, отступил на шаг: “Я к Саше — Рубцов я”. Ведь я его не видала, да догадалась, что это он. Стоял на крыльце такой бесприютный, а в спину снег-то так и выёт, так и выёт. Ну, скорей в избу, пальтишко-то, смотрю, продувное. Расстроился, конечно, что не застал тебя. А я говорю ему: “Так и ты, Коля, мне, как сын. Вон надень-ко с печи катанчики да к самовару садись...” Гляну сбоку, а в глазах-то у него — скорби. И признался, что матушка его давно умерла, что он уже привык скитаться по свету...”

А он стеснительно так подвинулся по лавке в красный угол, под иконы, обогрелся чаем и стал рассказывать мне стихотворения. Про детство своё, про старушку, у которой ночевал, вот, поди-ко, как у меня, про молчаливого пастушка, про журавлей, про церкви наши Христовые, поруганные бесами... Я спугнуть-то его боюсь — так добро его, сердечного, слушать, а у самой в глазах слёзы, а поверх слёз — Богородица в сиянии венца. Это обручальная моя икона... А Коля треперением-то своим так и взмахивает над столом, будто крестит стихотворения...

Потру он встал рано. Присел к печному огню да попил чаю и заторопился в Воробьёво на автобус. Уж как просила подождать горячих пирогов, а он приобнял меня, поблагодарил и пошёл в сумерки.

Глянула в окошко — а он уже в белом поле покачивается. Божий человек...”

Многочисленны воспоминания, где упоминается о том, что Николай Михайлович совершал крестное знамение, проходя мимо церкви, поздравлял друзей с церковными праздниками (особенно он любил Пасху), присылал поздравления с Пасхой по почте... Слово “Пасха” у Рубцова в тексте написано с большой буквы.

Существует мнение, что Рубцов был мало образован. В институте отучился кое-как, мол, однако знание знанию рознь.

Приведём здесь одно из высказываний близкого друга Рубцова — Сергея Багрова:

“Философствовать Николай любил. Гегель, Кант, Аристотель, Платон... Трудно поверить, что Николаю, при всей его внешней беспечности, почти безалаберной жизни... удавалось познать их работы...” (“Россия. Родина. Рубцов”. Вологда. 2005. С. 84).

Просто не с каждым встречным писателем любил пофилософствовать Николай Михайлович, не с каждым это было и возможно.

О более раннем периоде (Кировский техникум) практически то же самое, что и С. Багров, рассказывал нам друг Рубцова Николай Никифорович Шанторенков: “Любимыми его книгами были книги по философии и Библия”. О литинститутском периоде мы читаем в воспоминаниях Михаила Шаповалова: “Два раза только видел я Рубцова с книгой в руках. Поэтому и помню: книгами этими были Библия и Пушкин...” (“Последняя осень”. С. 194).

Да... Рубцов прогуливал лекции, у него были сложности с преподавателями общих дисциплин (но не по поэзии!), да и чему он мог научиться у московских профессоров! Вернее было бы им учиться у него...

Из письма Николаю Сидоренко. Село Никольское:

“Вообще, зачем это сидят там, в институте, некоторые “главные” люди, которые совершенно не любят поэзию, а значит, не понимают и не любят поэтов. С ними даже как-то странно говорить о стихах! Они всё время говорили со мной только о том, почему меня вывели откуда-то, почему, почему... как будто это главное... Они ничего не понимают, а я всё объяснял, объяснял, объяснял...”

И ещё: “Только я вот в чём убеждён: поэзия не от нас зависит, а мы зависим от неё. Не будь у человека старинных настроений, не будет у него в стихах и старинных слов, вернее, поэтических форм. Главное, чтоб за любыми формами стояло подлинное <...>, которое, собственно, и создаёт, независимо от нас, форму...”

“Во всём остальном... я не имею никаких убеждений... Записать любыми стихотворными словами могу что угодно. Но найдёт ли на меня, осенит ли меня... — это не от меня зависит...”

Совершенно иному Рубцов учился у простых верующих людей (это была его истинная школа), таких как мама Александра Романова Александра Ивановна или “добрый Филя”, ставший персонажем его стиха... Кстати, удивительное по своей философской насыщенности стихотворение “Русский огонёк”, так похожее на посещение дома А. Романова, было написано ещё до этого. Словом, как сказано в другом стихе: “ищу предмет для поклонения // в науке старцев и старух...” Вот эти-то самые старцы и старухи, “в простой одежде, с душою светлою, как луч”, и были истинными учителями Рубцова, с ними он раскрывался, с ними он был самим собой...

Притчей во языцех стала история с каким-то партийным секретарём. Вот она в версии Виктора Астафьева: “Забрёл как-то Коля пьяненький в горком... Среди колонн стоит... и малость дремлет ещё... Так вот, партиец на него... “Ты кто такой? Вы почему здесь пьяный стоите?” Коля открыл глаза и говорит: “Пошёл ты...”... Долго потом разбирались, потащили его к какой-то шишке, заведующему отделом агитации, тот начал права качать, а Коля: “Чего вы ко мне лезете? Я к нему не лез. Стою и думаю, как примирить две идеологии: учение Христа и Ленина, а он лезет...” Те за голову схватились: “Две идеологии”! С Колей разбираться — это, Господи, помилуй!” (“Последняя осень”, с. 383).

Виктор Петрович несколько, по обычаю своему, огрубляет, но... история эта повторяется. По другой версии фразу о Христе и Ленине Рубцов выдал онемевшему соседу по квартире — тоже партийному работнику... Видимо, история повторялась не однажды и не дважды... Итогом было то, что партийное руководство, ценившее талант Рубцова, помогло ему получить отдельную квартиру.

Перу В. П. Астафьева принадлежит воспоминание о том, как причащался Рубцов:

“Мы втроем сорвались на самолёт и улетели в Усть-Кубену — Витька Коротаев, он и я... [далее описывается малоудачная рыбалка. — А. Г.]... а вдали там работающий собор был, так, на высотке стоит. Коля говорит: “Ну, ладно, вы рыбацкие, я пошёл...” И вот он ушёл, долго его нет... А нам улетать вечером... Смотрим — идёт. Ме-едленно так идёт... Благостное лицо, сияющие глазки такие, излучают какой-то свет... “Ребята! Как я погулял-то хорошо, в храме был, книжки старинные смотрел, с попом разговаривал, а на обратном пути началось во мне стихотворение...” (там же, с. 386). Ряд исследователей поставил под сомнение факт причастия Рубцова (в другом издании об этом прямо пишет Астафьев): как мог причащаться Рубцов, да и крещён ли он был, да и опоздал к исповеди, да и не постился накануне... Замечания справедливые, но вспомним те времена... Да заодно и апостольские правила вспомним: причастие и исповедь — два независимых Таинства. В современной практике к чаше допускают только прошедших исповедь. В шестидесятые, когда в храмах многолюдства не отмечалось, священник мог пригласить к причастию всех желающих — в этом нарушения канона нет. С автором этих строк был похожий случай, когда в советское время сам, будучи невоцерковлённым, зашёл с товарищем в храм к концу службы (маленький провинциальный храм в г. Вельске). Батюшка пригласил нас к чаше: я как некрещёный ещё в ту пору — отказался, а друг с удовольствием принял причастие (он был крещён в детстве). Даже и в наши времена, если вы подойдёте к священнику и попросите принять исповедь, предупредив, что не готовились, не постились, но очень надо исповедаться, то вам не откажут. История, изложенная Виктором Петровичем, весьма правдоподобна.

Из воспоминаний в воспоминание кочуют, обрастают подробностями указания на пьянство Николая Рубцова. Да... случалось. Но не будем осуждать его — и нынешняя православная пишущая братия (а тогда-то!) отмечает порой... (ведь эта работа такая не простая — писать стихи, — что редко кто удерживается в абсолютной трезвости!). Нет, Рубцов не был алкоголиком, грубияном, невоспитанным хамом (как пишут иные, а в особенности убийца поэта). Истинный облик поэта виден в воспоминаниях его близких друзей: С. Багрова, Н. Старичковой, А. Романова и многих других, а те, иные... Не зрят пока в глазу своём бревна... Каким-то недобрым мистицизмом окутана (в их подаче) гибель поэта. Во многих изданиях повторена ложь убийцы о том, что во время убийства (которого, с её слов, вроде и не было!) Рубцов спровоцировал драку, уронил стол, с которого упала-де икона Николая Чудо-

творца и раскололась. Во-первых, воспоминаниям Л. Дербиной-Грановской, многократно уличённой во лжи, нельзя доверять — это и неэтично, да и с научной точки зрения недопустимо для исследователя творчества поэта. Во-вторых, иконы Николая Чудотворца у Рубцова не было. Имелась икона деисусного чина (в середине — Христос, а по сторонам — Богородица и Иоанн Предтеча, внизу — Георгий Победоносец и Святой Никита). Даже человек, далёкий от церковной жизни, заметит разницу. Икона, действительно, расколота — я сам держал её в руках, — но расколота давно, лет сто-двести назад. Как рассказывала Нинель Александровна Старичкова (на квартире которой, в частном музее Н. М. Рубцова — г. Вологда ул. Зосимовская, 2, кв. 6 — вплоть до её кончины в 2008 году, хранилась эта икона), икону эту, расколотую и не годную к богослужению, Рубцов выпросил у какой-то бабушки. После гибели Рубцова Нинель Александровна забрала икону с собой*.

Что же касается измышлений Л. Дербиной... Они давно опровергнуты следствием. Ознакомившись с материалами уголовного дела, опубликованными М. В. Суровым, мы убедимся, как удивительно менялось изложение событий со слов убийцы: от “я убила” до “мы были одарённой мистической парой, а он умер от пьянства или сердечного приступа”. И не унимается... По сей день в печати и в интернете появляются её всё более невероятные версии. Однако все они были следствием отклонены, кассационные жалобы в Верховный суд рассмотрены и также отклонены. Осуждённая на восемь лет, отбыв пять, была она досрочно освобождена (видимо, по хлопотам Е. Евтушенко и других “заступников”, которые доселе не оставляют убийцу своим вниманием). Из всех документов мы процитируем только один, дабы показать истинное лицо убийцы, называющей себя “вдовой”, “женой” великого поэта (у Н. М. Рубцова была только одна жена — Генриетта (в крещении Ксения) Михайловна Меньшикова). На странице 605 в суровском издании помещена докладная записка в органы КГБ от зам. начальника оперчасти со слов агента: “Мною... 20 июня 1974 г... получены новые сведения о поведении ос. Грановской.

Источник, будучи с Грановской на прогулке, имела с ней беседу. В процессе таковой источник спросил: “Люда, ты мужа своего сама убила? Зачем? Не жалко теперь его тебе?” На это Грановская высказала недовольство и ответила: “Я бы его и ещё раз убила. Всю жизнь мне сломал. Пьяница, никчёмный человек. Видите ли, поэт... учил меня. А мои стихи не хуже, а намного лучше. Но ничего, в Ленинграде есть люди, и за меня вступятся, и за границей тоже знают. Вспомнят ещё Людку Дербину”.

Вот это маниакальное “мои стихи лучше”, “вспомнят ещё...” и движет до сих пор нераскаявшейся убийцей. Стихи же Дербиной, как замечал ей сам Рубцов, — патологичны, и — добавим мы от себя — не отмечены печатью таланта.

И ещё одна цитата из уголовного дела (Суров, с. 549): “Объяснение Грановской Л. А. о том, что Рубцов Н. М. в этот вечер собирался убить её, опровергнуто материалами дела. Утверждение Грановской Л. А., что Задумкин, Лапин, Третьяков предлагали ей спрятать нож, опровергнуто этими свидетелями.

Утверждение Грановской Л. А. о том, что потерпевший бросал в неё горящие спички, опровергнуто актом осмотра... Утверждение Грановской Л. А. о том, что потерпевший в течение 5 часов искал предметы для того, чтобы совершить убийство, неправдоподобно...”

Мы бы и не стали поминать всё это, но пора уж давно очистить имя поэта от клеветы, продолжающей оставаться в многочисленных изданиях, звучащей с телеэкрана.

Убийство было. Было попущено...

Что ещё было... Уместно вспомнить — те немногие! — действующие храмы, что отмечают путь Николая Рубцова: во-первых, храм Рождества Богородицы в Самылково, где Николай должен был бы родиться, где прихожанами были его предки, где пела мама. Затем — Рождества Богородицы в Вологде, где он бывал на службах, где — возможно — был крещён (а значит, и принимал Таинства). Потом ещё два Богородичных храма: Ферапонтово, столь любимое поэтом, воспетое им в удивительных стихах:

* В настоящее время икона хранится в квартире дочери поэта — Елены Николаевны Рубцовой, в Санкт-Петербурге.

*В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте...*

И храм Рождества Богородицы в Питере, на Васильевском острове (угол Малого проспекта и Пятой линии), где под ветвями берёз, на фоне старинного белокаменного храма (что для питерской архитектуры — редкость) Николай Рубцов любил сидеть с друзьями, читать стихи (по воспоминаниям Лидии Дмитриевны Гладкой). Все храмы Богородичные. Случаен ли этот далеко не полный перечень? Не о Рубцове ли эти древние слова Богородичной молитвы:

“Царица моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь: помози ми яко немощну, окорми мя яко странна: обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши, во веки веков, аминь”.

Ведь сколько раз Рубцов был на краю гибели — не помощь ли Заступницы Небесной, не молитва ли матери спасала его! Как бы ни коротко прожил он свою жизнь, а главное — должное сумел написать.

Не стало постоянного и хорошего автора нашего журнала. 12 декабря 2014 года из Воронежа пришло скорбное известие о кончине Ивана Евсеенко.

Родившийся на Украине в 1943 году Иван Иванович работал в родном селе Займище Черниговской области учителем, затем — в Калининградской области корреспондентом газеты. В 1973 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар С. П. Залыгина). Долгое время возглавлял воронежский журнал “Подъём”.

В литературном мире Евсеенко являлся заметной фигурой — печатался в журналах “Новый мир”, “Москва”, “Смена”, “Дон”, “Роман-газета”. В “Нашем современнике” ярко сверкнули его повести “Однودворец Калашников”, “Смертный час”, “Пока печалятся колокола” и в особенности “Сарабанда”. Творчество Ивана Ивановича отмечено множеством престижных премий — имени И. А. Бунина, И. С. Шмелёва, В. М. Шукшина, И. С. Тургенева и других.

В редакции “Нашего современника” всем сердцем скорбят о кончине Ивана Ивановича Евсеенко и выражают соболезнование родственникам усопшего писателя.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНОВА

“ЗДЕСЬ ВСЁ СИМВОЛИЧНО”

Лирика Николая Рубцова

Стихотворения Николая Рубцова, пожалуй, одни из самых загадочных в мировой культуре. Они передают сокровенную тайну и красоту окружающего мира. Сквозь временное и повседневное поэт видит и постигает вечное. При этом мистичность его образов несколько не связана ни с прямым описанием фантастической ситуации, ни с многозначительным и весомым умолчанием. Всё очень просто. Даже незатейливо. Ну, что может быть очевиднее, разве кто сомневается, что

*Звезда над речкой — значит, ночь.
А солнце — значит, день.*

Тем неожиданнее внутреннее свечение, что возникает за текстом. Дымка. Полуявь-полусон. Мгновение — и дневной мир, удобный и привычный, мерцающая, выплывает чудесным видением. И невозможно уже понять, кто изображён в стихотворении: обычные жители Вологды, что спешат по тёмным улицам домой, или тени, бесплотные души, тревожной чередой возникающие из тумана. Как это возможно? Ведь всё так знакомо! Всё просто — до улыбки?!

Или... не так просто? Попробуем разобраться, прочитав хотя бы два его стихотворения.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОРНИЦЕ?

Обращаясь к единичному и конкретному фрагменту человеческого существования, к случайному, на первый взгляд, мгновению, которое вот-вот исчезнет навсегда, Николай Рубцов выявляет вечные и неизменные закономерности невидимого идеального мира. Так проявляется способность к широчайшему обобщению, которое происходит не любыми путями, но согласно традициям, определяемым народным мировоззрением.

Так, тип художественного конфликта первого поэтического сборника Н. Рубцова “Волны и скалы” соответствует, по нашему мнению, сказочному противоположению мечты и действительности, чудесного иного царства и своего, условно-реального мира. При определённых художественных предпосылках мечта и реальность могут соединиться, образовав особый идеаль-

ЧЕРНОВА Анастасия Евгеньевна родилась в 1987 году в Москве. Окончила Литературный институт им. М. Горького и аспирантуру. Победитель II Славянского Литературного форума “Золотой Витязь” в номинации “Дебют” (2011) и Всероссийского литературного конкурса-фестиваля “Хрустальный родник” (2014). Ответственный секретарь газеты “Православная Москва”.

ный замкнутый мир. Рассмотрим это поэтическое явление на примере одного из самых загадочных стихотворений Н. Рубцова “В горнице”.

Обращаясь к этому стихотворению, исследователи (А. К. Передерев, В. В. Кожинов, М. П. Лобанов, Н. Н. Зуев, И. Г. Панова) отмечают, с одной стороны, удивительную простоту, даже элементарность поэтического мира, а с другой — наличие разнообразных символов. Впрочем, одно другому не противоречит: за простотой, как утверждают критики, скрывается глубинный символический пласт.

Современников Рубцова удивляла эта странная, будто даже несвоевременная, чуждая бурному веку космических открытий и новых технологий простота его художественных образов. Такой творческий подход казался устаревшим; простые, “наивные” стихи Рубцова далеко не всегда воспринимались читателями и слушателями. Николай Попов в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды поэт читал свои стихи: “Как-то на одной из студенческих вечеринок читались стихи — по кругу. Кому-то было тесно во Вселенной, он задевал волосами звёзды. У другого играли ассонансные рифмы вроде “интересно — интеллекта”, в белых стихах третьего рифма роскошно отсутствовала... Настал черёд поэта-первокурсника из Вологды. И произошла некоторая заминка: больно уж всё просто, даже наивно было в его стихотворении. Так и было сказано: мол, парень ты хороший, но поэзия — дело серьёзное. Дружески похлопали автора по плечу”.

Несмотря на то, что произведения, отделанные по последней эстетической моде, набирают всё большую популярность, Рубцов следует своим путём, не обращает внимания на современные художественные веяния. Так зарождается новое направление, в котором за внешней простотой и непритязательностью формы скрывается сложный и богатый мир, до конца не объяснимый. И литературоведы, и простые читатели обычно замечают: что-то привлекает, завораживает в его стихах, но что именно — объяснить сложно; можно только почувствовать.

Несмотря на различие жизненного опыта, исследователи творчества Рубцова подмечают в стихотворении одни и те же символы: горница, звезда, красные цветы, лодка и река. Они-то как раз и транслируют тайный смысл высшей, невидимой реальности.

“Здесь всё символично, — говорит Ирина Панова. — Горница — душа поэта, его искусство; вода — символ чистоты, очищения души; красные цветы — память о матери (“Нёс я за гробом матери // аленький свой цветок”); лодка — как у Харона, перевозчика в страну мёртвых у древних (“С правого берега на левый, // среди цветов в обыденном гробу...”).

Для того чтобы уяснить значение художественных образов и прочесть в их сплетении скрытый сюжет, сначала необходимо определить пространственно-временную основу стихотворения, границу между земным миром и тем светом.

В стихотворении “В горнице” земной мир и тот свет оказываются едиными:

*В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды...*

*Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.*

*Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!*

*Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...*

С одной стороны, ничего сверхъестественного вроде бы не происходит. В горницу заходит матушка, приносит воды, а лирический герой между тем, мысленно обозревая свой садик, собирается в скором времени заняться налаживанием хозяйства: починить лодку и полить красные цветы. С другой стороны, стихотворение исполнено таинственного смысла.

Матушка приносит в горницу ведро воды. А. Грунтовский высказывает предположение, что “вода, разумеется, не для опары принесена, а для омоения”. Но для нас здесь возникает вопрос: для чего могла использоваться вода, набранная в ночное время. Ведь по народным поверьям, ходить ночью за водой категорически запрещено, это то самое время, когда вода становится нечистой и обретает отрицательные магические свойства: “...широко известный запрет ходить за водой ночью мотивировался тем, что в ночное время вся вода в источниках оказывается “нечистой”, что в ней “дьяволы купаются” и т. п. По сербским поверьям, набранная ночью вода, безусловно, нечистая, не годится пить такую воду. Кроме того, в “ночной воде” (т. е. принесённой в дом ночью), по представлениям белорусов, нельзя купать младенца и стирать его пелёнки, иначе на ребёнка “нападут ночницы”. Вообще тёмное время суток (как и темнота во время солнечного затмения), согласно народным представлениям, негативно воздействовало на качество воды, набранной в такие моменты. После захода солнца не принято было ходить за водой, и уж, во всяком случае, такую воду не использовали для питья или для купания младенцев. Исключение составляют праздничные дни, “когда — как считалось — в полночь происходят чудесные превращения с водой, она якобы сама собой очищалась в источниках, становилась здоровой, целебной, сильной либо превращалась на короткий миг в вино, кровь, молоко или золото. Именно перелом суточного или сезонного времени воспринимался как момент радикальных перемен в природе, как время чудесных превращений с водой. Поэтому в праздничные дни за водой ходили в полночь, на рассвете, до восхода солнца”.

Думается, найти и указать причину (если это вообще возможно), по которой матушка ночью пошла за водой, не столь важно. Существенно другое: необычность и неоднозначность самого действия, наделяемого в народных представлениях мистическим смыслом.

Молчание матушки также переводит событие из обычного, мирского измерения в область таинственного, ведь “молчание — форма ритуального поведения, соотносимая со смертью и сферой потустороннего”, более того, “отказ от речи часто выявляет принадлежность некоего лица к потустороннему миру и сверхъестественным силам”.

Сакральный смысл художественных образов ночной воды и молчания подтверждает справедливость утверждения исследователей творчества Рубцова, что поэтическое действие стихотворения “В горнице” совершается не в обыденной реальности, но на границе с тем светом. При этом тот свет и этот оказываются едиными.

Матушка переступает временную границу, является из мира усопших, но её приход никак не нарушает тишины и покоя светлой горницы. Ничто не тревожит лирического героя, ничто не угнетает, как, например, в стихотворении “Памяти матери”:

*Вот он и кончился, покой!
Взметая снег, завывла вьюга.
Завыли волки за рекой
Во мраке луга.*

*Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.*

*Там поле, небо и стога,
Хочу туда, — о, километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!*

*Но я смогу, но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!..*

*Кто там стучит?
Уйдите прочь!
Я завтра жду гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь —
Ночные ветры?*

В этом стихотворении чётко вырисовывается картина *двоемирия*: существует пристанище живых — комната лирического героя, а где-то далеко, во мгле снегов, простирается царство усопших — кладбище. Этот и тот свет направлены друг к другу: с одной стороны, лирический герой стремится “по доброй воле” навестить родную могилу, а с другой — сама матушка стучится в дом. Покой кончился не из-за смутных видений, пугающих звуков, но именно из-за трагической разобщённости двух миров. Ночная пурга, препятствующая желанной встрече, сродни дьявольскому наваждению: “Меня ведь свалят с ног снега, // Сведут с ума ночные ветры!” Не случайно в народе “...опустошительные бури и зимние выгои почитались порождением нечистой силы — рысущими по полям бесами”.

Пространственно-временные координаты стихотворения “В горнице”, напротив, образуют идеальное царство, существующее обособленно, вне линейных законов земного времени. Противоречие между невидимым, идеальным миром и реальностью оказывается полностью разрешённым благодаря символической многомерности стихотворения. Горница, матушка, звезда, цветы, лодка и др. символы в одинаковой степени принадлежат сразу двум мирам: как небесному, так и земному. Например, свет звезды “как бы соединяет земное и небесное, настоящее, прошлое и будущее” [И. Панова. “В светлой горнице”, 2008]. В литературно-фольклорной традиции символы не только обобщают и замещают то или иное событие, предмет или понятие, но и (что самое главное) — раскрывают его бытийную сущность.

Как верно замечает Н. П. Бабенко (на примере прозы К. Зайцева): “образы церкви, креста, небесных светил в произведениях писателя возводят к высшей реальности и приобретают значение символа: за миром вещей и явлений — феноменальным миром — встаёт мир невидимый, идеальный, ноуменальный”.

В лирике Н. Рубцова действуют те же художественные законы, особенно наглядно они выражены в стихотворениях “Душа хранит”, “Ферапонтово”. Здесь образ Святой Руси представляет собой сотворённую вечность — сакральное пространство, которое никак не меняется во времени. Такие же духовные параметры характеризуют идеальное царство и в стихотворении “В горнице”. Даже то, что подвержено разрушению (в садике завяли цветы, догнивает лодка), не исчезает окончательно и бесследно, но должно обновиться (“буду поливать цветы”, “буду до ночной звезды // лодку мастерить себе”).

Приведём пример изображения идеального царства в творчестве других писателей. И. С. Никитин в стихотворении “Музыка леса” (1855) описывает таинство захода солнца, чудесную игру света, теней и облаков. Розовый лес, открытые небеса, гряда облаков, превращающиеся в медные горы, мосты и золочёные дворцы, как предметы волшебного иного царства, исполнены золотого сияния. Тихая музыка леса навеивает лирическому герою воспоминания:

*Разливайтесь,
Звуки чудные!
Сам не знаю я,
Что мне весело...*

*Всё мне кажется,
Что давным-давно
Где-то слышал я
Эту музыку.*

*Всё мне помнится
Сумрак вечера,
Тесной горенки
Стены тёмные.*

*Огонёк горел
Перед образом,
Как теперь горит
Эта звёздочка.*

*На груди моей
Милой матушки
Я дремал, и мне
Песни слышались.*

*Были песни те
Звуки райские,
Неземная жизнь
От них веяла!..*

*И тогда сквозь сон
Всё мне виделся
Яркий блеск и свет
В тёмной горенке.*

*Не от этого ль
Так мне весело
Слушать в сумерки
Леса музыку,*

*Что при ней одной
Детство помнится,
Безотрадный день
Забывается?*

Никитин прямо сравнивает песню матушки с райскими звуками, “яркий блеск и свет” в тёмной горенке, мерцание лампы перед иконой, похожее на свет звёздочки, матушка — всё навеивает лирическому герою ощущение неземной жизни. Это ощущение можно назвать вечным, оно повторяется вновь и вновь, когда звучит на закате дня таинственная “музыка леса”. Художественные описания в стихотворениях И. Никитина и Н. Рубцова во многом перекликаются: действие происходит в ночное время, “сквозь сон”; в полутёмной горенке Никитина горит звёздочка лампы, в горнице Рубцова светло от ночной звезды, при этом на стене дремлет “ивы кружевная тень”.

Если стихотворение Н. Рубцова устремлено в будущее (“буду до ночной звезды // лодку мастерить себе”), то взгляд И. Никитина обращён к прошлому (“детство помнится”). Детское воспоминание преображает “безотрадный день”, два мира — идеальный и реальный — оказываются едиными.

Ощущение соприсутствия божественного мира передаётся двояким образом: как трагическая разобщённость между земным и небесным миром, с одной стороны, и как их духовная цельность — с другой.

Герой волшебных сказок отправляется на поиски чудесного тридевятого царства, тридесятого государства, которое оказывается мифическим царством мёртвых. В стихотворениях Н. Рубцова лирический герой точно так же желает пересечь границу обыденности, устремляясь к далёкому и неизвестному миру. Сквозь пургу и ночные ветры он мечтает попасть на могилу матери или, например, — в другом стихотворении — жаждет найти таинственные зелёные цветы на белых стеблях, увидеть которые, хотя они и не существуют в земной реальности, стало для него неиссякаемой душевной потребностью:

*Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь... чего-то не хватает...
Недостаёт того, что не найти.*

*Как не найти погаснувшей звезды.
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зелёные цветы...*

Идеальность мира в народном поэтическом творчестве предполагает возможность такой полноты жизни, когда зелёные цветы не только вырастут, но окажутся близкими и доступными для человека, ищущего их. “Вот в этом, можно сказать, четвёртом измерении, — писал о Н. Рубцове Р. Винонен, — коренится его своеобразие и его значение для поэзии наших дней. Он не искал для своих стихов совсем уж необыкновенного слова. Но и в том, что ему удалось сказать, чувствуется знание какой-то невидимой в быту границы, за которой угадывается нечто нравственно незыблемое, где обрываются большие и малые неправды и обиды. Остаётся лишь Добро, безгрешность и святость...”

Иной мир стихотворения Рубцова “В горнице” так же, как и в сказке, соответствует царству мёртвых, чудесному *инобытию*, которое, однако, следует отличать от полного небытия. Без этого важного уточнения наше представление о художественных особенностях стихотворения будет неполным.

В волшебных сказках прослеживается разделение мёртвых на *сущих в инобытии* и ушедших в небытие. Если из *инобытия* умершие могут не только подавать определённые сигналы, но даже вернуться, пройти путь в обратную сторону, как, например, в сказке “Жена-покойница”, то для небытия характерно полное и окончательное уничтожение: так исчезает, рассыпаясь в прах, нечистая сила, если её окропить святой водой (сказка “Упырь”). Герой волшебной сказки стремится попасть именно в *инобытие* — в тридевятое царство, тридесятое государство, для этого, однако, он должен внутренне или внешне измениться. По наблюдению О. Г. Щербининой, переходным мостом из одного мира в другой нередко служит чудесный сон. “Сновидения воспринимались в древности как реальный потусторонний мир, куда на время отправляется спящий. Не удивительно, что для отправки на *тот свет* герою нужно заснуть. А потом опять поспать, пройдя в обратном направлении”. Так проясняется скрытое значение сказочных формул: “Ложись-ка спать, утро вечера мудренее”, “Ты сперва напои-накорми, да спать уложи, потом и выпрашивай!”

Если мы обратимся к первому варианту стихотворения, то заметим, что автор, прежде всего, описывает своё ночное сновидение. Первый вариант стихотворения так и назывался: “В звёздную ночь”. Единство прошлого и настоящего претворяется здесь в чудесном сне, оживляющем “тысячи безвестных лет”. В этой иной реальности, окутанной сном, лирический герой обращается к матушке с вопросом:

*— Матушка, который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?*

Но матушка, как в первом, так и во втором варианте стихотворения, ничего не отвечает. Близость смерти ощущается по сгущению тишины, которая является прообразом запредельной божественной тишины, отображением той вечной тишины, что ждёт нас, “по молчанию людей, как будто хранящих какую-то невыразимую тайну”.

Подчеркнём, что смерть в народном восприятии не равна состоянию небытия. Мир усопших вечно жив, это — *инобытие*, которому лирический герой оказывается сопричастным благодаря сну. Так же, как и в волшебной сказке, сон служит переходным мостом между разными измерениями:

*Сколько же в моей дали
Радостей пропало, бед?*

*Словно бы при мне прошли
Тысячи безвестных лет.*

*Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальных сёл...
Сон, сон, сон
Тихо затуманит всё...*

Происходит смысловое сближение темы смерти и главного христианского праздника — Воскресения Христова. Несмотря на то, что сёла давно вымерли, пасхальный звон церковью слышен так же явственно, как и тысячу лет назад. Временный свет “земной ночи” соединяется с праздником Вечного Воскресения.

Такое сближение является не единичным, но постоянным и закономерным явлением в лирике Н. Рубцова. Например, в стихотворении “Конец” завершение жизни также связано с пасхальными образами весны и колокольного звона:

*Смерть приближалась,
приближалась,
Совсем приблизилась уже —
Старушка к старику прижалась,
И просветлело на душе!*

*Легко, легко, как дух весенний,
Жизнь пролетела перед ней,
Ручьи казались, воскресенье,
И свет, и звон пасхальных дней...*

Кладбище, могилы которого пребывают в состоянии сна, приравнивается к временному пристанищу, к переходному “пункту” в *инобытии*. Так возникает представление, а то и ощущение, что миры живых и усопших разделяет некоторая граница: пространство спящих могил. В черновом варианте стихотворения “Конец” сохранились такие строки:

*А он, взволнованный и юный,
Как веселился! Как любил!
Как за оградой чугунной
Покоил сон родных могил!*

Как герой волшебной сказки, засыпая, переступает из одной реальности в другую, так и в стихотворениях Рубцова чудесный сон, окутывая земной простор, раскрывает иное, существующее вечно царство.

Сохранилось воспоминание поэта Сергея Багрова о том, как Николай Михайлович распевал своё стихотворение “В звёздную ночь”: “Долго сидели мы так, отдыхая. Потом Николай поднялся. Взглянул в окно на покрытую снегом реку и запел <...>. Голос Рубцова плыл на спокойной задумчивой ноте. Я забылся, что я за столом. Песня схватила меня за самое сердце и понесла куда-то сквозь стены дома, и я разглядел большое село над рекой с белокаменной колокольной, откуда звонил и звонил старолицый звонарь. Былое смешалось с сегодняшним, было грустно, но и отраднo, как на вокзале или на пристани, когда уезжает кто-то из близких, однако твой друг остаётся с тобой и снова споёт тебе лучшую песню”. Ощущение нездешнего мира связано с грустью, но грустью особого рода — светлой, зовущей в неведомую даль.

КУДА ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ?

Первый вариант стихотворения Николая Рубцова “Журавли” был написан ещё в середине 1960-х годов и вошёл в сборник “Звезда полей” (1967). Однако потом, на протяжении нескольких лет поэт не раз возвращается к стихотворению, переписывает его, меняет отдельные слова, подбирая более точные;

трансформирует ритмический рисунок, спуская ниже последнее слово строки по подобию “лестницы” и расставляя тем самым интонационные и логические ударения более чётко, с нажимом; некоторые изменения коснулись и знаков препинания — всё это свидетельствует об особо пристальном внимании Рубцова к форме стихотворения.

Но работа над формой не являлась основной и единственной задачей поэта. Форма связана с внутренним содержанием и определяется им. Как замечал сам Н. М. Рубцов в письме к А. Я. Яшину: “Главное, чтоб за любыми формами стояло подлинное настроение, переживание, которое, собственно, и создаёт, независимо от нас, форму. А значит, ещё главное — богатство переживаний, настроений (что опять не от нас зависит), дабы не было бедности, застоя интонаций, форм...” (3 ноября 1964).

Итак, подлинное настроение и богатство переживаний — занимают в творческом кредо Николая Рубцова первое по художественной значимости место и определяются им не как что-то рациональное, достижимое кропотливой работой и ежедневным трудом, но, напротив, уподобляются некоей силе, нисходящей и словно бы озаряющей поэта.

Воздействие этой “некоей силы” мы обнаруживаем и в работе Н. Рубцова над стихотворением “Журавли”. Напомним его:

*Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...
Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...*

*Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц.*

*Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят всё, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...*

*Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на любимцев своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеют душа и природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их...*

Внешние реалии стихотворения, на первый взгляд, просты и обычны. Наступила осень. Природа увядает, и стаи перелётных птиц — журавлей — проносятся над городами и сёлами. Мотив “осени” и “октября” как средоточия осенних примет — один из ведущих в русской литературе.

Пожалуй, в творчестве любого поэта можно найти стихи, посвящённые осеннему увяданию, где описание природы соответствует печальным, элегическим размышлениям лирического героя. Вспомним хотя бы Пушкина:

*Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей...*

“Журавли” Н. Рубцова, продолжая традицию русской литературы, таят в себе особое содержание.

Прямых отсылок к устному народному творчеству в стихотворении Н. Рубцова мы не найдём. Ни диалектных особенностей на лексическом уровне, ни каких-либо колоритных, свойственных конкретной местности деталей и описаний на предметном уровне.

Месяц года — сентябрь в первом варианте стихотворения — уже во втором варианте преобразуется в октябрь. Тем самым Н. Рубцов отсекает переходность, размытость временных оттенков, когда летние признаки — тёплая погода, густая зелень, сухой ветер — могут соответствовать и признакам ранней осени, сентябрьским дням. Лето в народном сознании — время зрелости,

расцвета природы, пробудившейся весной; время полноты и завершения развития. Осень — пора увядания, она связана с темой утраты и смерти. Об этом напоминает всё: и “забытость болот”, и “утрата знобящих полей”...

Пространство “Журавлей” можно разделить на две сферы: земля и небо. Причём если земля описывается подробно, представлена через конкретные детали, то небесное пространство скорее подразумевается. Основная характеристика земли — болото. В небольшом стихотворении, состоящем из 84 слов, слово “болото” повторяется 3 раза. (“Болотные стволы”, “болото, забытое вдали”, “забытость болот”). “Забытость” — один из главных признаков болота — содержит в себе значение обездоленности, оставленности, тленности, оторванности от “небесной сферы”. “Забытость” — это и забытьё, без-памятие.

В первой строчке стихотворения мы находим многозначное слово “восток”: “красовался восток огнеликий”. Но здесь из всех нравственно насыщенных и духовно нагруженных значений этого слова используется лишь одно — земное и конкретное обозначение части горизонта, где восходит солнце. И хотя восток “огнеликий”, хотя он “красовался”, заключён восток всё же “меж болотных стволов”, а потому попытка противостоять исходящим от болота “забытости”, обездоленности, оставленности, тленности, разрыву с “небесной сферой” не реализуется. Образ “огнеликого востока”, напротив, усиливает давящую тяжесть характеристик болота.

Если основная характеристика земли — утрата и забытость, связанная с болотом, то небо, по принципу антитезы, характеризует категория обретения и памяти. Тема памяти передаётся через фольклорный символ перелётных птиц, — журавлей. А. Н. Афанасьев в книге “Поэтические воззрения славян на природу” пишет, что славяне “сохранили много трогательных рассказов о превращении усопших в легкокрылых птиц, в виде которых <они> навещают своих родичей. Как скоро душа покидает тело, она, смотря по характеру земной жизни, принимает образ той или иной птицы, преимущественно белого голубя или чёрного ворона”. Такое значение образа птицы подтверждают и многие славянские предания. Например, “кашубы твёрдо убеждены, что души усопших до погребения оставленных ими тел сидят в образе птиц на дымовых трубах и что детские души бывают одеты нежным пухом. В уездах Мосальском и Жиздринском в течение шести недель после чьей-либо смерти стелют на окно белое полотенце, выпуская один конец на улицу, а на полотенце кладут хлеб и верят, что душа покойника есть та самая птица, которая станет прилетать к окну и клевать положенный хлеб”.

Подобное восприятие птицы, свойственное народному сознанию, не раз воспроизводилось в художественных произведениях. Вспоминается фильм Михаила Калатозова “Летят журавли”, созданный по мотивам пьесы Виктора Розова “Вечно живые” в 1957 году. Стихотворение Рубцова, написанное на несколько лет позже, не продолжает ли ту же самую тему, дополняя и развивая её?

Действие фильма разворачивается до и после Великой Отечественной войны, и образ летящих в небе журавлей — один из главных. Вбирая в себя душу усопшего, журавль воплощает непрерывающуюся связь поколений; сближает, соединяя, землю и небо, живых и мёртвых. И не случаен текст шутильной песенки, которую исполняет героиня пьесы Вероника:

*Журавлики-кораблики
Летят под небесами,
И серые, и белые,
И с длинными носами <...>*

*Журавлики-кораблики
Лягушек увидали,
Спустились, садились
И тыщи их пожрали.*

Такие образы послужили толчком к появлению знаменитой песни на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева “Мне кажется порою, что солдаты... превратились в белых журавлей”.

Николай Рубцов жил и творил в то время, когда память военных лет была ещё особенно острой, когда боль утраты ощущалась каждой семьёй, постоянно напоминала о себе не только через письма и фотографии, но и непосред-

ственно, через свидетельства и воспоминания участников. Сам Рубцов стал сиротой в раннем детстве: в начале войны умерла мать, Александра Михайловна; отец, Михаил Андрианович, ушёл на фронт и к детям уже не вернулся. Эта тема — тема смерти, войны — и тема жизни, что ищет себе смысла и опоры, постоянно будет развиваться в его творчестве, обретая всё новые образы и смыслы.

“Журавль — душа усопшего, его прощальный зов”, — такое понимание птицы свойственно не только древнему, мифологическому сознанию славянских народов, но и сознанию современного человека, что свидетельствует о целостности “фольклорной матрицы”. Простой полёт журавлей — уже событие, и необычное. Словно продолжением стихотворения, его своеобразной интерпретацией является рассказ основателя московского Музея Н. Рубцова М. А. Полётовой: “Это произошло 27 марта 2006 года. Жена Попова Николая Васильевича — Ольга Николаевна — с сыном шла в военкомат по улице Вавилова <...> Ольга Николаевна подняла голову и увидела в небе над этим зданием (музеем Н. Рубцова) журавлиный клин. Одна линия клина была короче другой. Известно, что журавли над Москвой почти никогда не летают. Будто сама Душа Поэта ликовала в этот юбилейный год, пролетая журавлиным клином над Рубцовским музеем”.

Журавли появляются в середине осени, в период увядания природы, и громко зовут, будят и возвещают “предназначенный срок увяданья”. Их весть подобна древним библейским сказаниям. В первом варианте сохранилась отсылка на библейскую историю: “сказание библейских страниц”, и позже эпитет “библейских” был замещён эпитетом “древних”; “срок увядания” летящие журавли возвещают, подобно “древним страницам”. Можно предположить, что замена “библейских” страниц на “древние” была вынужденной, редакторами правились и другие стихи поэта; слова, несущие в себе христианский смысл, вычёркивались и заменялись общими фразами, нейтрального значения: “крест”, “Пасха”, как правило, опускались, а “Бог” заменялся словом “жизнь”, как, например, в стихотворении “Выпал снег”.

Вестников из иного царства, из вечности — журавлей — на земле ждут и принимают: “Отворите скорее ворота! Выходите скорей, чтоб взглянуть на любимцев своих!”.

“Отворите скорее ворота! / Выходите скорей...”; “широко по Руси машут птицам” — все эти решительные экспрессивные действия характеризуют душевное состояние человека, пребывающего на земле. Это тоже характеристики земли, наравне с забытостью, обездоленностью, утратой, принадлежащими болоту и полю. Но только воля и решимость отворить ворота, выйти за пределы земных представлений и переживаний, широко распахнуть руки навстречу небесному и вечному проявляются как отклик на призыв журавлей, отклик, порождённый посланным с небес журавлиным криком.

Если сравнить первый вариант стихотворения с последним, мы увидим, как отношение земного и небесного от характера простого наблюдения, внимательного, но всё же отстранённого, приближается к характеру живому, взаимодействующему. Жители земли, которых разбудил журавлиный зов, в первом варианте — “наблюдатели”. В последнем варианте они уже “участники” действия. “Прощально” поднятые руки меняются на “согласные”, и журавли из “высоких” путников становятся “любимцами”.

Сравните:

Широко по Руси машут птицам прощальные руки — первый вариант.

Широко по Руси машут птицам согласные руки — последний вариант.

Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих — первый вариант.

Выходите скорей, чтоб взглянуть на любимцев своих — последний вариант.

Таким образом проводится мысль о стремлении к неразрывности, к соединению земного и смертного с высшим и вечным, а подобное соединение — согласие — характерно для народного сознания.

В стихотворении Н. Рубцова оно раскрывается через композиционный приём фольклорной лирики — психологический параллелизм, в основе которого лежит принцип аналогии между миром природы и внутренним миром человека. Поиск созвучия между человеком и природой оказывается в стихотворении ключевой творческой установкой.

Своим прощальным криком журавли выражают скрытые, бытийные реалии окружающей действительности, и в этом выражении — их основная художественная роль. Ведь душа и природа оказываются слитными, нераздельными и цельными.

Журавлей ждут и встречают, потому что они творчески возрождают земной мир, наполняют его смыслом. Но смысл возникает не из отдалённых абстрактных теорий, а из самого мира, через его раскрытие и выражение:

*И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят всё, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...*

Воплощая звуки мира, журавли передают одновременно и волнения, боль и страдания души:

*Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц.*

В стихотворении “Журавли” мы видим пространство земное, исполненное забытостью и помрачением, и пространство небесное, которое содержит в себе память и вечное время. Поля, болота — всё это можно назвать одним словом — природа. Это есть пространство земли. А душа — как явление иного, духовного порядка — принадлежит небу, вечности. Красующийся “огненный восток” смягчает ощущение полной оставленности земли, однако упоминается он в начале стихотворения всего один раз и принципиально не меняет поэтическую ситуацию. Основное внимание автор уделяет образу журавлей.

Пролетающие журавли оживляют земное пространство, наполняют его смыслом. То, что было разрозненным, противостоящим, становится единым и цельным. Именно на этом этапе, в подобном взаимодействии земли и неба можно говорить о третьей сфере пространства, которую мы пока не упомянули и которую невозможно причислить ни к области звучащего неба, ни к области оставленных болот и полей земли. Это Русь. Возникает она в тесном соединении, наложении признаков забытости и памяти, потери и обретения. В поэзии Н. Рубцова Русь выражают не столько конкретные места, города и деревни, со своим особым, традиционным бытом, сколько само стремление к цельности, к единству земного и небесного. В стихотворении “Последний пароход” летящие журавли и тёмный лес образуют единый согласный хор:

*Одно поют своим согласным хором
И тёмный лес, и стаи журавлей...*

Но и жители земли, в свою очередь, откликаются на призыв хора не разрозненно, но именно цельно, согласен, в одно и то же время:

Широко на Руси машут птицам согласные руки...

Русь — широкая, бесконечная — вмещает в себя не только настоящее, но и прошлое. В письме к А. Я. Яшину за 1964 год (25 сентября) Рубцов рассказывает, как живёт в селе Никольском. Кажется, реалии “Журавлей” взяты из жизни, из окружающей поэта родной природы. “А ещё потому нахожусь именно здесь (в селе Никольском), что здесь мне легче дышится, легче пишется, легче ходится по земле. Много раз ходил на болото”.

Но за всем этим стоит глубокий смысл, познавая который, мы познаём одновременно и особенности народного мышления, народного сознания, выразителем которого и был русский поэт Николай Рубцов.

ЮРИЙ КИРИЕНКО-МАЛЮГИН

ШАЛАМОВЫМ — ПО РУБЦОВУ

В газете “Литературная Россия” от 20.09.2013, № 38 (2624) опубликована статья Валерия Есипова “Неизвестное стихотворение Варлаама Шаламова о Николае Рубцове”. К сожалению, эту статью я не видел в момент публикации (невозможно всё перечитать одновременно!) и только неделю назад, в конце ноября 2014 года, передал мне её копию один из литераторов. Статья носит тенденциозный характер, и оставить её без ответа я не могу, поскольку проблему знаю не понаслышке как автор трёх изданий книги “Тайна гибели Николая Рубцова” (август 2001, 2004 и 2009 годы) и ряда статей-отповедей адвокатам Л. Дербиной (Грановской по первому мужу). Итак, по порядку: о статье по тезисам В. Есипова.

1. Валерий Есипов (В. Е.) пишет: “Возможно, это стихотворение предполагалось к публикации в последнем прижизненном поэтическом сборнике Шаламова “Точка кипения”, который вышел в 1977 году в издательстве “Советский писатель”. По каким-то причинам публикация не состоялась...”.

В. Е. делает прозрачный намёк на то, что цензура проигнорировала это стихотворение. В большинстве случаев автор (то есть сам Шаламов, как и любой поэт) снимает какое-либо стихотворение из сборника как слабое (по содержанию, логике изложения или технике и уровню стихосложения). Вот текст 1-й строфы:

*Я чётко усвоил, где “А” и “Б”,
И русской грамматикой скован.
Мне часто бывало не по себе
От робкой улыбки Рубцова.*

Первые две строки не связаны логически с 3-й и 4-й строками. Далее. Что значит: “И русской грамматикой скован”? Чем автору помешала русская грамматика? Думаю, что большинству литераторов грамматика не мешает. 3-я и 4-я строки несут самостоятельный нестандартный смысл восприятия личности Рубцова.

Далее:

*За тот поразительный тотемский рай,
Отпущенный роком поэту,
За тот не вполне поэтический край.
В каком расположена Лета.*

Никакого смыслового перехода от 1-й строфы ко 2-й не наблюдается: в первых двух строках 2-й строфы спрашивается, почему “поразительный тотемский рай” отпущен роком поэту-земляку? Нет логики. Как раз в тех местах, где “тихая моя родина”, Рубцов создавал шедевры русской поэзии. В 3-й строке заявляется “не вполне поэтический край”, что просто недосто-

верно, так как во времена Н. Рубцова были признаны вологодские поэты А. Яшин, Вик. Коротаев, А. Романов, О. Фокина, Б. Чулков, Н. Груздева, поэтизировавший Вологодчину В. И. Белов. Вероятно, вспомнив о них, вологжанин В. Шаламов понял недостоверность 2-й строфы. Далее:

*Поэты, купаясь в горниле столиц,
Испытываются без меры.
И нету пределов — глубин и границ,
И нету химерней химеры.*

Предполагаю, что редактор шаламовской книги В. Варламов, критически посмотрев, в частности, на взаимосвязь слов в 1-й строке, решил, что “в горнилах” не купаются. 2-я строка сама по себе достоверна, так как поэтов неизвестных испытывают в журналах редакторы “без меры” (не печатают). Смысл 3-й и 4-й строк так завуалирован, что, как говорится, без чего-то не разберёшься, и этот ребус каждый может разгадывать в меру своей зашоренности.

Поэтому считать стихотворение В. Шаламова шедевром не приходится, да и сам автор, вероятно, это знал.

2. В. Е. заявляет: “...Шаламов страшно не любил сплетен и тем более грязных, связанных с женщинами, можно предполагать, что он сам, отсекая всё лишнее, интуитивно, и опираясь на опыт, вывел общий знаменатель этой истории — именно смерть “от водки” как первопричина трагедии многих русских поэтов. И в этом отношении он был очень близок к истине: как показывают непредвзятые исследования жизни и смерти Рубцова, поэт в последние свои годы неотвратимо шёл к гибели, и случай с Л. Дербиной лишь ускорил его конец, придав ему столь некрасивую, мрачно-скандальную окраску. Я тоже занимался проблемой и могу это со всей ответственностью утверждать”.

В этом абзаце “смешались в кучу кони, люди...” Откуда это В. Е. знает мысли и выводы Шаламова? “Некрасивую, мрачно-скандальную окраску” убийству 35-летнего Николая Рубцова (03.01.1936 — 19.01.1971) придавали именно ненавистники русского национального поэта, то есть скрытые рубцовофобы и русофобы, они же либералы и демагоги, распуская слухи о его алкоголизме. По поводу утверждения: “Я тоже занимался проблемой”, — напоминаю В. Есипову и неосведомлённым читателям малоизвестные факты 2001 года.

Привожу фрагмент информации, которая не понравится В. Есипову и которая опубликована в книге “Тайна гибели Николая Рубцова” (МГО СП России, М., 2004. С. 88–89) и в книге “Тайна гибели Николая Рубцова” (НО “Рубцовский творческий союз”, М., 2009. С. 79):

“А события вокруг обстоятельств убийства Рубцова нарастали. В вологодской газете “Русский север” от 8–14 сентября 2001 года журналист В. Есипов опубликовал статью с провокационным названием “Рубцов не был убит?” Газета вышла в тот день, когда в Вологде проводился праздник “Рубцовская осень”, во время которого поэты и барды представляют песни на стихи Рубцова.

“Вологодская неделя” от 20–27 сентября 2001 года в рубрике “Кто есть кто” ответила Есипову статьёй А. Сиверцева “Пляски на гробах, или Возвращаясь к ненапечатанному”, где опровергнуты доводы медицинских “экспертов” из Петербурга. В. И. Белов на доводы адвокатов убийцы привёл следующие факты:

“Пока же я первый скажу прокурору, что своими глазами (без очков) увидел наполовину оторванное ухо покойного. Не сам же Рубцов отрывал себе ухо, вся щека его и висок были в крови. Это помимо так называемой асфикции, то есть удушения, что знает вся Вологда. Как не вспомнить, что говорили в СМИ после смерти Сергея Александровича Есенина”.

И далее А. Сиверцев пишет:

“Автор этих строк имел возможность получить доступ к негативам снимков из уголовного дела по расследованию убийства Рубцова. Именно к негативам, а не к самим снимкам... Это действительно была сенсация, с чем не могу поздравить Есипова, который всего лишь воспользовался информацией из чужой книги. **В солидной газете сенсационность — не единственный критерий оценки материала. Приходится ещё и о последствиях своих выступлений думать”.**

3. В. Есипов в статье от 20 сентября 2013 года старательно обошёл сенсационную информацию. Корабли и миноносец “Острый”, на котором служил

Рубцов, стояли в оцеплении зоны испытаний воздушных ядерных взрывов на “Новой земле” в 1956–1958 годах. Рубцов был дальномерщиком, находился на верхней палубе корабля и по роду службы наблюдал за испытаниями. Всё, что взрывалась, летело во все стороны, в том числе в зону оцепления. Матросы и офицеры получали различные дозы радиации в зависимости от расположения на корабле.

Из авторской книги “Николай Рубцов: “Звезда полей горит, не угасая...” (М., НО “Рубцовский творческий союз”, 2011) привожу фрагмент:

“После проведения ядерных испытаний, в которых участвовал в отряде оцепления и визуально-приборных исследований миноносец “Острый”, дальномерщик Н. М. Рубцов, находясь на фок-мачте миноносца, наверняка получил облучение. В связи с этим он был направлен на обследование в госпиталь в Мурманск. Вскоре после этого матросу Рубцову предоставили отпуск, и он уехал в Приютино (проезд туда и обратно был бесплатный, и даны суточные на проживание, как это было при советской власти).

Как сообщил адмирал флота Капитанец И. М., корабли Северного флота, в том числе миноносец “Острый”, стояли в оцеплении зоны серии пятнадцати воздушных ядерных взрывов (“Хочу, чтоб вечно шторм звучал...”, “Российский писатель”, № 5–6, март 2008). И тогда Рубцов, который нёс палубную службу, получил довольно высокую дозу радиации. Во всяком случае, командир миноносца Капитанец И. М. сообщает, что у него количество лейкоцитов после испытаний уменьшилось в два раза. Что сказалось на его зрении к 90-м годам прошлого века. А у Рубцова вследствие участия в испытаниях через несколько лет выпали волосы на голове. В одной песне тех лет есть строка: “Водка очень хороша от стронция”. Этим лекарством пользовались все, кто получил радиацию. В том числе Рубцов, не афишируя конкретных причин”. Н. Рубцов не мог говорить в общежитии и Литинституте о ядерных испытаниях, так как моряки, наверняка, давали подписку о неразглашении этих секретных сведений.

Знал ли Н. Рубцов о том, что рано, преждевременно уйдёт из жизни? Конечно. Об этом говорят стихи поэта, опубликованные после 1964 года.

*Родимая, что ещё будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.*
(“Прощальное”)

*Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комыа желтеющей глины
За ограду летят лепестки.*
(“Посвящение другу”)

*Прощай, костёр! Прощайте, все,
Кто нынче был со мною рядом,
Кто воздавал земной красе
Почти молитвенным обрядом.*
(“Прощальный костёр”)

*Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный свято погребён
В такой же белой горестной рубашке...*
(“Над вечным покоем”)

*Красным, белым и зелёным
Мы поддерживаем жизнь.
Взгляд блуждает по иконам,
Настроенье — хоть женись.*
(“Гость”)

“Красным” — это вином, “белым” — это водкой, “зелёным” — ликером “Шартрез”, который тогда имелся на прилавках магазинов. Вином Рубцов продлевал свою жизнь! Известен целый ряд свидетельств, что студент и поэт предпочитал красное вино.

Догадывалась ли Дербина-Грановская о лучевой болезни Рубцова? Судя по её проницательности, да. Это косвенно объясняет её согласие на поход в загс в январе 1971 года и напористость в прописке на квартиру поэта сразу после подачи заявления, что юридически без регистрации брака было противозаконно.

Моя статья “Красным, белым и зелёным мы поддерживаем жизнь” была опубликована в 2011 году на сайте www.rubcow.ru “Звезда полей. Николай Михайлович Рубцов и народное творчество” (сайт действует с марта 2006 года) и в альманахе “Поэзия” (М., МГО СП России, № 2, 2011. С. 70–75). Не мог В. Есипов не читать указанный альманах.

4. В. Есипов заявляет: “Разумеется, у Шаламова сегодня могут найтись оппоненты — многочисленные ревнивые поклонники Н. Рубцова, видящие причину гибели поэта в Л. Дербиной и только в ней”.

А в ком же ещё искать преступника? Дербина-Грановская осуждена по суду и признала свою вину тогда. А затем кто-то её научил отказаться от своей вины, и началась вакханалия адвокатов преступницы. В 1996 году Верховный суд РФ подтвердил решение суда от 6 апреля 1971 года.

5. Валерий Есипов применил известный метод замалчивания неудобных для темы публикаций. А именно мои статьи:

“Не кормитесь за счёт преступления” (как ответ на выпад Дербиной “Не кормитесь с нашего несчастья”, журнал “Дети РА”, № 1, 2013) опубликована на сайте “Звезда полей” в мае 2013 года;

“А от раздора пользы не прибудет...” (на том же сайте в январе 2013) — как ответ на статью “Живые и мёртвые online” (“Литературная газета”, № 1, 2013);

“Субъективизм или дезинформация от сотрудника “Литгазеты” (тот же сайт от марта 2013) — как ответ на статью “Санта-Барбара от Куняева, или Немного о “жёлтой” журналистике” (“Литературная Россия”, февр. 2013).

Вопрос: какова ЦЕЛЬ публикации В. Есипова? Ответ: опорочить Н. Рубцова. Вопрос: чем же Рубцов стоит поперёк дороги старым и новым *заклятым* друзьям его из либерального крыла литературы? Ответ: народностью, патриотизмом, исповедальностью и песенностью поэзии. Годами замалчивается творчество русского национального поэта, например, на телевизионных каналах.

Вызывает удивление позиция “Литературной России”, которая печатает тенденциозные материалы о жизни Рубцова, члена Союза писателей СССР с 1968 года и выпускника Литературного института им. А. М. Горького 1969 года.

Суд приговорил убийцу к 8 годам вместо 15 лет по факту садистского убийства (более 40 рваных кровавых ран на шее Рубцова). Суд пожалел Л. Дербину из-за её дочери от Грановского.

6. Ещё один посыл от В. Есипова: “И кто может сомневаться, что стихотворение Шаламова является достойнейшим памятником Рубцову?”

Отвечаю. Я, член Союза писателей РФ, Кириенко Ю. И., не только “сомневаюсь”, а вышеуказанными фактами и логикой доказываю, что редактор Варламов *специально* не стал публиковать это неотработанное стихотворение в официальной печати. Напомню, что Рубцов говорил: “Я тоже могу ошибаться”. Оставим такое право Шаламову и оценим благородство поэта, снявшего стихотворение из сборника “Точка кипения”.

P. S.: Известно, что Шаламов является жертвой репрессий и писать о нём престижно, особенно для тех, кто, кроме ГУЛага, ничего не хочет видеть в России. Для полноты информации сообщаю, что мои родители (инженеры — выпускники Ленинградского политехнического института) в 1935 году были высланы из Ленинграда по заявлению доносчиков, и я по их милости родился в Казахстане, а не в России. Ничего против Казахстана и казахов я не имею, в студенческие годы по комсомольской путёвке ездил на уборку урожая на целине. А при советской власти я бесплатно и со стипендиями получил в СССР высшее образование, как, вероятно, и В. Есипов.

ВЛАДИМИР ЧИКОВ

ШЕФ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

Павел Михайлович Фитин родился в Тобольской губернии в крестьянской семье. Жизнь его (1907–1971) была недолгой, а чекистская слава хоть и громкой, но короткой. Нынешнему читателю трудно поверить, что было такое время, когда имя Фитина ставилось рядом с легендарными фамилиями разведчиков Конона Молодого, Рудольфа Абеля, Рихарда Зорге, Дмитрия Быстролётова и Павла Судоплатова. О трудной и драматической судьбе этого талантливой человека стало известно только во второй половине прошлого века.

Дарование и природные способности молодого Фитина проявились ещё в годы учёбы в Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и в период работы редактором в издательстве “Сельхозгиз”. Здесь его карьера росла, как на дрожжах: сначала был заведующим редакцией, а через год стал заместителем главного редактора.

Всё складывалось у него как нельзя лучше и всё удачно устраивалось в его жизни. Но не тут-то было: не успел он поработать и пару лет в должности замглавреда издательства, как его вызвали в райком партии и после короткого собеседования сообщили, что он по партийному набору в числе ещё нескольких человек с высшим образованием направляется на ускоренные курсы разведки в Школу особого назначения НКВД.

Не у всякого сердце может позволить в тридцать лет пойти новым путём, особенно когда человек нашёл уже своё призвание, и жизнь у него начала складываться благополучно. Не всякий и годится для работы в разведке, в которой в те годы (1937–1938) за ошибки часто расплачивались жизнью. Знал всё это и тридцатилетний Фитин, но махнул рукой: “Не я первый, не я последний. И никто не сможет меня заставить делать то, что я буду считать неправильным...”.

После окончания ускоренных курсов спецшколы НКВД Фитин всего месяц стажировался в центральном аппарате наркомата госбезопасности, потом ещё через месяц он был назначен оперуполномоченным, а через два месяца – начальником отделения по разработке троцкистов и правых за кордоном. С этого назначения и началась, по словам самого Павла Михайловича, его карьера в разведке: у него появились хорошие возможности для продвижения по службе. Прежде всего, это широкое поле деятельности и гораздо больший объём оперативной работы, которая только радовала и вдохновляла его. Свободное владение всеми секретами разведывательного и контрразведывательного ремесла обогащало его и побуждало творчески мыслить, что способствовало повышению результативности работы всего подразделения, которое он возглавлял. И это не осталось незамеченным со стороны руководства наркомата: не прошло и трёх месяцев после предыдущего назначения, как в но-

ябре 1938 года по приказу наркома Фитин в возрасте тридцати одного года вступил в должность заместителя начальника внешней разведки ГУГБ (Главное управление государственной безопасности) НКВД СССР.

Но и это ещё не всё: ровно через полгода, 13 мая 1939 года Фитин по решению Политбюро ЦК ВКП(б) становится самым молодым в истории советской и российской разведки руководителем: в ту пору ему было всего 32 года. Для многих рядовых сотрудников того времени это было невероятным, для других, более искушенных, ничего необычного в этом не было. Были и более разительные метаморфозы из-за острой нехватки руководящих кадров. Кровавые “чистки”, сопровождавшиеся при “ежовщине” волной массовых необоснованных репрессий в самих органах госбезопасности, вывели из строя более 20 тысяч чекистов.

Но вернёмся в 1939 год, который стал годом начала подлинного восхождения молодого Фитина к славе. В том году фашистская Германия полностью оккупировала Чехословакию и, растоптав Мюнхенское соглашение, захватила Польшу. Эти факты свидетельствовали уже о начале Второй мировой войны. Учитывая сложившееся в Европе положение, новый начальник внешней разведки начал свою деятельность с главного — с восстановления за границей боеспособности нашей резидентуры, от которой никакой информации на этот счёт почти не поступило. Правительству же тогда было необходимо знать реальные замыслы Гитлера.

Несмотря на то, что наследство Фитину досталось очень тяжёлое, он проявил себя умелым организатором, способным решать поставленные задачи любой сложности. Павел Михайлович предпринял энергичные усилия по восстановлению европейской агентурной сети. Со второй половины 1939 года за кордон для связи с законсервированными агентами были срочно направлены самые опытные разведчики: Василий Зарубин, Александр Коротков, Михаил Аллахвердов, Борис Рыбкин, Дмитрий Федичкин и ещё несколько человек, в том числе Зоя Воскресенская, Елизавета Зарубина и Елена Модржинская. Это сразу же сказалось на активизации работы сорока воссозданных зарубежных резидентур: в московский разведцентр потёк ручеек важной секретной информации из Англии, Германии, Италии и США. Через “Кембриджскую пятёрку”, в частности, были получены ценные сведения о том, что британское правительство не намерено заключать серьёзный пакт о взаимной обороне с Советским Союзом против фашистской Германии. Информация об этом, доложенная П. М. Фитиным Сталину, побудила его пойти на заключение договора о ненападении с Германией (так называемый “пакт Риббентропа-Молотова”).

Зная о том, что двуличная Англия стремится направить Гитлера на СССР и что теперь будет крайне необходима информация о её политике, Фитин ставит вопрос перед резидентурой о более рациональном использовании агентов знаменитой “Кембриджской пятёрки” Кима Филби и Антони Бланта, который к тому времени получил назначение в Службу военной разведки, а также Гая Берджеса, имевшего доступ к докладам МИДа Великобритании. И вдруг в феврале 1940 года, вопреки стараниям Фитина улучшить работу заграничечек, нарком НКВД Лаврентий Берия, сменивший Н. И. Ежова, дал указание ликвидировать лондонскую резидентуру как “не вызывающую политического доверия”. Официальным же мотивом, послужившим поводом к закрытию заграничной, была названа “дезинформация”, якобы поставляемая её агентурой.

На самом деле причина такого решения крылась в другом: Берия ещё до назначения на должность наркома видел в Фитине, — успешном и необычайно притягательном молодом человеке, — своего соперника, и потому у него хватило духа приостановить его прыть. Фитин же, понимая очевидную абсурдность решения Берия, в августе 1940 года направил в Лондон в качестве резидента Анатолия Горского и двух его помощников — Бориса Крешина и Владимира Барковского, — а в конце того же года — ещё четырёх оперативных работников. Вот тогда внешняя разведка, руководимая Павлом Фитиным, и начала работать в полную силу.

Из зарубежных резидентур шли ежемесячно в Москву десятки сообщений, в них содержались сведения о переброске первых германских дивизий на советскую границу и о военно-хозяйственных приготовлениях к эксплуатации русских территорий, которые будут захвачены вермахтом. Нелегко приходилось тогда начальнику разведки Павлу Фитину: обжигающее дыхание войны становилось всё ощутимее.

Близость войны заставила Кремль провести очередную реорганизацию органов: в феврале 1941 года был создан Наркомат госбезопасности СССР. Его возглавил В. Н. Меркулов. 12 апреля Ким Филби сообщил из Лондона, что у советских границ немцы развернули уже 127 дивизий (на самом деле их было на пятьдесят больше, как стало известно после войны). От разных источников информации приходили разноречивые сведения о начале гитлеровского нападения, назывались восемь дат фашистского нашествия. В те дни Фитин сутками находился в своём кабинете на Лубянке. В представлении П. М. Фитина на должность начальника 1-го управления (внешняя разведка) нового Наркомата отмечалось:

“Тов. Фитин П. М., находясь в должности начальника разведки с предвоенных лет, обеспечивал добросовестное выполнение всех задач, которые ставились руководством страны. В трудных условиях нагнетаемой обстановки перед началом войны он проявил себя принципиальным руководителем, умело и оперативно решающим организационные вопросы, связанные с восстановлением разведывательной деятельности заграничных аппаратов.

Профессиональный подход к делу, требовательность к себе и подчинённым, заботливость о них, обстоятельность и коммуникабельность, большая ответственность и твёрдость в принятии непростых решений — именно в этих качествах тов. Фитина таится его талант, который давал ему возможность успешно продвигаться по службе и добиваться значительных успехов в многосложной оперативной обстановке.

В данное время тов. Фитин П. М. вполне соответствует занимаемой им должности...”

* * *

16 июня 1941 года из берлинской резидентуры поступило на имя Фитина срочное сообщение о девятой дате нанесения удара фашистской Германией. В шифровке говорилось: “Все военные приготовления Гитлера по подготовке вооружённого выступления против СССР полностью закончены, и начала войны можно ожидать в любое время”. Эту шифровку Фитин доложил наркому Меркулову, тот хотел об этом поставить в известность Берия, но вспомнив, что Лаврентий Павлович грозился “стереть в лагерную пыль” всякого, кто заговорит о неотвратимости войны, передумал и позвонил Сталину с просьбой принять его вместе с начальником разведки. Вождь назначил им встречу на следующий день.

Перед тем как войти в кабинет Сталина, нарком, знавший о том, что и Иосиф Виссарионович не хотел войны и не желал ничего слышать о приготовлениях Германии к нападению на Советский Союз, предупредил Фитина:

— Докладывать будешь сам. Сталин, я уже убедился, будет сомневаться в достоверности разведывательной информации и в искренности её источников, которых я не знаю.

— Как скажете, — не колеблясь, согласился Фитин.

В назначенное вождём время — час дня — помощник “Большого хозяина” (так называли тайком в разведке И. В. Сталина) Поскрёбышев пригласил наркома Меркулова и его подчинённого в кабинет Сталина. Вождь поздоровался с ними кивком головы и, не предложив им сесть, стал слушать доклад начальника разведки, расхаживая по кабинету и попыхивая трубкой. Иногда он прерывал Фитина, задавая вопросы, потом остановился и спросил:

— Выходит, Германия всё же собирается напасть на Советский Союз? А что за человек, сообщивший эти сведения?

Меркулов молчал. Тогда Фитин дал подробную справку на агента из “Красной капеллы” — героя-антифашиста под кличкой “Старшина” — и подчеркнул, что оснований сомневаться в нём у разведки нет.

Наступила пауза. Сталин, постоянно опасавшийся провокаций и считавший, что войну между Германией и СССР может спровоцировать Англия, подойдя к столу, сказал:

— Дезинформация это очередная! Можете быть свободны.

После этой встречи все дни до начала войны начальника внешней разведки Павла Фитина неотвязно мучал один вопрос: неужели сообщение “Старшины” дезинформация? С этой тяжелой мыслью он приехал домой на рассвете

22 июня после работы и прилёг, однако отдохнуть ему не удалось: резко зазвонил телефон. Было пять часов утра. В трубке раздался голос дежурного по НКГБ:

— Товарищ генерал, вас срочно вызывает нарком.

Прибывшим по вызову Всеволод Меркулов трагическим тоном сообщил:

— Подтвердилась информация нашей и военной разведки: началась война. На всём протяжении западной границы — от Балтийского до Чёрного моря — идут бои. Учитывая сложившуюся обстановку, нам надо продумать план действий всех подразделений органов госбезопасности...

Через два часа во все резидентуры внешней разведки ушли телеграммы, подписанные Фитиным, в которых уточнялись задачи в связи с начавшейся войной. Главная для всех задача — выявление реальных военно-политических планов нацистской Германии и её союзников в отношении СССР: какие цели преследует Гитлер, где будет направление главного удара и какими силами. Одновременно с этим остро встал вопрос о том, вступит ли в войну на стороне Германии Япония.

В связи с быстрым продвижением немецкой армии вглубь территории нашей страны ЦК ВКП(б) 18 июля 1941 года принял специальное постановление “Об организации борьбы в тылу германских войск” и — в который уже раз! — решение о реорганизации органов госбезопасности. НКГБ и НКВД были объединены в единый Комиссариат внутренних дел под руководством Л. П. Берии. Начальником внешней разведки остался генерал-лейтенант П. М. Фитин. По его рекомендации главой вновь созданного тогда Четвёртого разведывательно-диверсионного управления НКВД был назначен П. А. Судоплатов.

В очень сложном положении оказалась берлинская резидентура. Участники “Красной капеллы” — свыше двухсот человек — были арестованы, большинство из них были казнены. С утерей разведвозможностей в Германии генерал Фитин делал ставку на активизацию работы загранточек в таких странах, как Англия, США, Китай, Япония, Иран и Турция. Наиболее весомых результатов советская разведка под руководством Фитина добилась в Великобритании, где успешно действовала знаменитая “Кембриджская пятёрка”... Благодаря им внешняя разведка и Государственный Комитет Обороны СССР в течение всего периода имели доступ к секретным документам кабинета министров Великобритании и её военного ведомства, к переписке премьера Уинстона Черчилля с президентом США Франклином Рузвельтом и другими главами государств и правительств. Лондонская резидентура читала постоянно переписку британского министра иностранных дел Энтони Идена с послами Англии за рубежом.

В самый тяжёлый начальный период войны лондонская резидентура стала основным источником важной военно-политической информации, значение которой было трудно переоценить. Понимая это и зная о запредельной нагрузке резидента и его сотрудников, П. М. Фитин направляет в Англию в сентябре 1941 года известного советского разведчика И. А. Чичаева и ещё двух оперработников. И словно в ответ на эту чуткую, насущную заботу шефа, в конце того же месяца в Центр из Лондона поступает сногшибательный документ — доклад “Уранового комитета” премьер-министру Черчиллю, в котором говорилось о начале работ по созданию в Великобритании и США атомной бомбы. Сообщалось также, что научные исследования англичан ведутся торопливо, потому что их подгоняет страх перед гитлеровской Германией, которая может первой в мире изготовить суперсекретный боеприпас, обладающий колоссальной разрушительной силой, и с его помощью одержать победу в войне.

Когда Фитин доложил Берии о работах по созданию ядерного оружия на базе химического элемента “уран-235”, то Лаврентий Павлович, обрушив на начальника разведки поток ругани за легковесный подход к оценке полученной информации, заявил, что она явно надуманная и направлена на отвлечение сил и средств Советского Союза от решения главных задач в начавшейся войне. Однако доклад “Уранового комитета” попросил оставить ему и на другой день для перестраховки доложил этот архиважный документ самому Сталину. Выслушав Берию, вождь раздражённо бросил:

— Блеф это всё! Я не верю, что с помощью какого-то одного химического элемента, которого никто и в глаза не видел, можно выиграть войну... А не кажется ли тебе, Лаврентий, всё это чистой дезинформацией?... По-моему, нас хотят умышленно отвлечь от разработок новых видов вооружения, разбалансировать нашу экономику и перевести её с военных рельсов на другое направление...

Сталин долго молчал, раскуривая трубку, потом вспомнил вдруг, как однажды, в начале войны, к нему поступило письмо, в котором высказывалась мысль о возможности создания атомной бомбы, обладающей чрезвычайной мощностью. Но Сталин тогда даже не мог осознать и предвидеть значение этого открытия для судеб мира, поскольку само выражение “ядерное деление” мало что говорило ему. И всё же это письмо, убежденность его автора, что “надо, не теряя времени, делать урановую бомбу”, заставили вождя задуматься. Однако, продолжая считать, что в условиях, когда Советская Армия терпит поражение за поражением, главной задачей должно являться обеспечение фронта снарядами, самолётами и танками, Сталин свёл разговор о разведанных из Англии к лаконичному замечанию:

— Я хотел бы знать, Лаврентий, допускают ли законы природы взрыв такой силы, который приравнялся бы к нескольким тысячам тонн тротила?... Кстати, передайте материалы разведки на экспертизу нашим учёным... И не занимайтесь пока этой ерундой...

Удивлённый сообщением наркома госбезопасности о том, что и Сталин посчитал агентурные данные о ведущихся в Англии работах по созданию атомной бомбы ерундой, генерал Фитин как человек, беспокоящийся за своё дело, всегда основательно подходивший к своим обязанностям, решил доказать и наркому, и вождю необходимость незамедлительного начала работ по созданию в СССР аналогичного сверхмощного оружия. Продолжая жить по собственным законам чести и совести, Павел Михайлович, проигнорировав колкие замечания наркома и вождя, через своих сотрудников в загранаппаратах убедился, что разработки атомного оружия полным ходом ведутся уже в Англии, Германии и США. В резидентуры этих стран были срочно посланы подписанные им шифровки, в которых говорилось: “Просим выявить научные центры, где могут вестись секретные исследования по урану в военных целях, и обеспечить Центр информацией оттуда о практических работах...”

Атомная эпопея 1941–1945 годов стала новым поворотным пунктом для начальника разведки. Пока Фитин выяснял, как обстоят дела за границей с идеей создания супероружия, косный и чрезмерно подозрительный Берия встретился с самым авторитетным в то время учёным страны, академиком А. Ф. Иоффе и, узнав от него, что в ближайшее десятилетие сделать урановую бомбу не представляется возможным, поспешил на доклад к Большому хозяину. И, как всегда, начал с похвалы:

— Вы были правы, товарищ Сталин, когда говорили о сомнительных данных нашей разведки, поступивших из Англии. Наши учёные считают, что применение урана в военных целях — это пока не больше, чем фантастическая идея. И вообще их вывод таков: атомное оружие — это гипотетическое оружие, оно может быть, а может и не быть. Судя по всему, доклад “Уранового комитета” Черчиллю подброшен нам, чтобы втянуть страну в непомерные затраты. Мы не должны пойти на это! — сердито сверкнув стекляшками пенсне, заключил Берия.

Сталин долго молчал, потом медленно заговорил:

— Да, Лаврентий, нам сейчас рискованно разбазаривать научные кадры и финансовые средства. Пусть пока учёные сидят в шарашках (НИИ и ОКБ, созданные в системе НКВД, в которых содержались и работали репрессированные учёные и инженеры. — **Прим. авт.**) и создают там новые образцы новейшей военной техники, так необходимой для фронта. Но ты всё же отслеживай исследования по урану наших союзников.

Привыкшему ловко лавировать, подстраиваясь под настроения Большого хозяина, и докладывать ему только то, что он хотел услышать, Берия, как всегда, как ответил: “Хорошо, товарищ Сталин”.

А тем временем смолodu бывший твёрдым, волевым, способным терпеливо и настойчиво преодолевать препятствия на пути к достижению цели, генерал Фитин попросил недавно назначенного им начальника отделения по научно-технической разведке Леонида Романовича Квасникова тщательно изучить разведданные по урановой проблеме, поступавшие из загранточек в ответ на запрос Центра об атомной бомбе. Квасников, дотошно вникнув во все материалы, узнал, что английские физики определили даже критическую массу урана-235 и сферическую форму заряда, они же высказали предположение о том, что первая бомба может быть изготовлена через два-три года.

Вложив в одну папку свою обобщённую справку и как приложение к ней — письмо Сталину с фронта капитана Георгия Флёрова*, который за год до начала войны совместно с К. А. Петраком открыл спонтанное деление тяжёлых ядер, — а также обнаруженные в сумке убитого под Таганрогом немецкого офицера инженерных войск записи формул по урану и тяжёлой воде, Квасников передал всё это Фитину в присутствии его заместителя Гайка Овакимяна.

Ознакомившись с содержащимися в папке материалами, Павел Михайлович удовлетворённо кивнул и, глядя на своего зама, сказал:

— Давайте вместе определимся, как нам лучше назвать операцию по проникновению в зарубежные атомные центры и само дело оперативной разработки, в которой будут накапливаться сведения по ядерному оружию.

— Я предлагаю, — растягивая задумчиво это слово, начал Овакимян, — назвать операцию и саму разработку одним ёмким словом — “Энормоз”.

— А что это означает? — поинтересовался Фитин.

— В переводе на русский язык это что-то такое громадное, страшное. Или даже чудовищное, несущее всему живому на Земле смерть.

— Хорошо, пусть будет “Энормоз”, — махнул рукой начальник разведки. И, обращаясь к Квасникову, добавил: — Готовьте на основании своей справки и приложенных к ней материалов записку в инстанцию. А через два дня жду от вас постановления о заведении ДОР “Энормоз” и план мероприятий по нему. — Бросив взгляд на часы, — было уже около двух ночи, — он быстро встал и сказал: — Всё, товарищи, вы свободны. Возьмите дежурную машину и поезжайте домой. А я должен идти на доклад к наркому.

Прежде чем войти в кабинет Берии, Овакимян вполголоса сказал Фитину: — Главное, Павел Михайлович, надо нам как-то убедить наркома, чтобы он с должным пониманием отнёсся к материалам по урановой проблеме. Поэтому проект записки на самый верх надо подписывать не одному наркому, но и кому-то из наших именитых академиков. Скажем, Капице или Иоффе. В США, например, прежде чем приступить к началу работ по созданию атомной бомбы, было оказано давление на президента Рузвельта через мировое светило науки Эйнштейна. Почему бы и нам не подключить кого-то из плеяды крупных советских учёных?..

— Но наш “железный” нарком при подписании каких-либо секретных документов не терпит рядом со своей фамилией ничьей другой, — улыбнулся Фитин. — Вот если он будет упрячиться, тогда мы подготовим другой вариант записки. За моей подписью, и я сам доложу товарищу Сталину...

* * *

Предчувствие и на этот раз не обмануло Фитина. Прочитав обобщённую справку, подписанную начальником отделения по НТР Л. Р. Квасниковым, Берия вскинул прищуренный взгляд на Павла Михайловича и с нескрываемой злостью обронил:

— Почему вы позволяете этому бумагоمارаке подписывать такие серьёзные документы? Был бы он вашим замом, тогда другое дело! И вообще, ничего нового в его справке нет. Пока это всё теоретизирование и предположения о возможном использовании урана в качестве взрывчатого вещества. Поэтому докладывать эту справку товарищу Сталину я не буду. Можете доработать её и доложить самостоятельно. О результатах встречи с вождём сообщите мне устно. А Квасникову, этому умнику-правдолюбцу, передайте, чтобы он не подсовывал вам “сырые” документы! И нужно как можно скорее активизировать работу по делу “Энормоз”! И еще: надо срочно организовать в США подрезидентуру по научно-технической разведке. Пока же оттуда очень мало поступает к нам информации по этому направлению разведдеятельности...

Фитину было известно, что Берия с неприязнью относится к Квасникову, и потому он стремился любой ценой оградить своего подчинённого от возможной опасности:

* Флёров Георгий Николаевич после войны стал академиком, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии и трижды лауреатом Государственных премий СССР.

— Вы напрасно, Лаврентий Павлович, сомневаетесь в подготовленной Леоном Романовичем аналитической справке и в нём самом. Заверяю вас, что он — профессионал в своём деле, он, как никто другой из наших сотрудников, близок к отечественной науке. Мы с трудом вырвали его в разведку из аспирантуры Института химического машиностроения, где он зарекомендовал себя перспективным научным сотрудником и мог бы стать большим учёным. У нас в управлении он отслеживает все научные исследования и открытия за рубежом, а вы вот...

Начальник разведки сделал паузу, подбирая слова, чтобы потактивнее выразиться, хотя раньше он перед всеми всегда открыто высказывал своё мнение, не считаясь с заслугами и чинами других начальников. Вероятно, эта решительность и принципиальность и сыграли свою роль при назначении его в 32 года на высокую и ответственную должность в органах госбезопасности.

— Так договаривайте, что — я?.. — поторопил Фитина Берия, который не переваривал его спокойную, рассудительную манеру вести беседу.

Взгляд наркома потяжелел, стал пронзительным и испытующим. Павел Михайлович давно знал, что означает такой взгляд: или угрозу, или очередную грубость. История взаимоотношений Фитина с Берией представляет особый интерес — их отношения складывались, прямо скажем, далеко не гладко. В конце 1939 года по указанию Берии, сменившего на посту наркома Н. И. Ежова, Центр отозвал в Москву для проверки лояльности почти всех резидентов внешней разведки, уцелевших в кровавой вакханалии «ежовских» расправ. В числе других предписывалось тогда выехать в Москву, якобы для отчета о работе и получения дальнейших указаний, и успешному резиденту — нелегалу «Юнгу»*. Прежде чем выехать из Штатов, он обратился к Берии с просьбой разрешить ему вступить в брак с американкой Хелен Лоури** и вместе с ней прибыть в СССР. Это вызвало негодование всесильного наркома. Пригласив к себе Фитина, он набросился на него с обвинениями в том, что «Юнга», возможно, завербовали, и теперь он намерен приехать в Москву со своей пассией — «шпионкой».

— Прошу «разобраться» с ними и доложить мне завтра! — выпалил Берия.

— Я готов доложить прямо сейчас, — парировал Фитин.

— Докладывайте, а потом подготовьте мне справку о них в письменном виде.

— Нелегал Ахмеров — порядочный и добросовестный человек, профессионал высшего класса. Поступавшая от него информация получала всегда высокую оценку. Хелен Лоури привлечена им в качестве содержательницы конспиративной квартиры, она же добывала для нас ценные сведения из высших кругов американской администрации, используя для этого личные связи в аппарате Белого дома. Сблизила их общая успешная работа и связанный с ней постоянный риск. «Юнг» не был женат, в США он находился один и обладал при этом привлекательной внешностью. Поэтому стоит ли говорить, что Хелен ответила ему взаимностью. Кстати, она — племянница Эрла Браудера, которого, как вы знаете, высоко ценит сам товарищ Сталин, — как бы между прочим добавил Павел Михайлович, который вёл себя в разговоре с наркомом в высшей степени благородно и честно.

Усилия Фитина по спасению «Юнга» оказались не напрасными: высказанный им аргумент, что Сталин высоко ценит Браудера, сыграл решающую роль. Опасаясь вызвать гнев вождя, Берия дал «добро» на заключение брака и на въезд молодожёнов в Советский Союз.

Человеколюбие, стремление помочь своим подчинённым в сложных условиях того времени, когда жизни разведчиков угрожала опасность, проявлялось не только в заступничестве за них, но и в защите их оперативных источников. Особенно тех, в ком Фитин был уверен и кого хорошо знал по результатам работы. Перед войной, в конце мая 1941 года из Франции на родину вернулся ценный советский разведчик, бывший царский генерал Павел Дьяконов. Он принимал непосредственное участие в проведении острой операции по захвату руководителя РОБС*** генерала Кутепова и успешно выполнял все задания Центра по разложению этой белогвардейской организации, занимавшейся

* Ахмеров Исхак Абдулович, он же Майкл Грин и Майкл Адамец. Умер в 1975 году.

** Она являлась племянницей генерального секретаря компартии США Эрла Браудера.

*** Русский общевоинский союз.

подготовкой и заброской в СССР террористических групп. От него же поступала важная информация о “пятой колонне” фашистов во Франции и о прогерманском крыле русской эмиграции во главе с генералом Туркулом. И вдруг после нападения на Советский Союз гитлеровских войск Дьяконова и вернувшуюся вместе с ним дочь Марию арестовывают “по подозрению в поддержании связи с иноразведками и шпионаже против СССР”. По окончании первого же допроса Дьяконов написал на имя Фитина докладную записку: “В моей голове не укладывается, как можно подозревать меня в преступной деятельности против Родины, если за 17 лет заграничной работы мне довелось выполнять много ответственных заданий и осуществлять по заданию ваших товарищей много сложных оперативных комбинаций...”

Недолго думая и не поручая подготовку рапорта своим подчинённым, Фитин собственноручно написал его и направил в следственные органы НКГБ. В рапорте говорилось: “Дьяконов Павел Павлович и его дочь Мария известны нашему управлению. Считаю необходимым срочно их освободить...” Через два с половиной месяца Дьяконовы вышли на свободу. Примерно в то же время возникли серьёзные неприятности у заместителя начальника англо-американского отдела Константина Кукина: из Лондона на него поступил донос от “некоего русского эмигранта”, обвинявшего его в принадлежности к контрреволюционной организации при акционерном обществе “Аркос”*. Помимо Кукина, в доносе фигурировали имена ещё нескольких человек. Все они были арестованы, но на допросах никто из них не упоминал его имени в принадлежности к такой организации. Не боясь подставить себя, Павел Михайлович, беря на себя ответственность, решил вывести агента из-под удара Берии и опять собственноручно написал рапорт на имя наркома:

“Прошу вашей санкции на командирование в Англию на должность советника посольства СССР в Великобритании заместителя начальника отдела старшего лейтенанта Кукина К. М.

Тов. Кукин накопил к этому времени достаточный опыт руководящей работы в центральном аппарате и разведывательной деятельности в США и Китае...”

Докладывая этот рапорт Берии, Фитин устно убеждал его в том, что уверен в надёжности этого человека, что Кукин отличался всегда умением правильно подбирать за рубежом кандидатов на вербовку, строить с ними хорошие деловые отношения и обеспечивать с их помощью успех при решении самых сложных задач.

— Это во-первых, — продолжал Павел Михайлович, — а во-вторых, из Лондона пришла вчера шифровка, в которой резидент Горский просит командировать к нему дополнительно четырёх оперработников. Он обосновывает пополнение кадров загранаппарата тем, что на связи у каждого его сотрудника находится по двенадцати и более агентов. А это уже перебор, превышение предельной нагрузки, что может отражаться на качестве и риске их работы...

Прекрасно понимая позицию Фитина и его предупреждение о риске работающих в Англии разведчиков — легалов и нелегалов, — Берия согласился с его мнением, и вскоре все наветы недоброжелателей с Кукина были сняты. Однако санкцию на командирование его в Англию Берия не дал и после этого ещё больше невзлюбил строптивого начальника разведки. А Кукин** продолжал работать в центральном аппарате разведки в должности замначальника отдела.

* * *

А теперь вернёмся к проблеме возможного использования урана в качестве взрывчатого вещества. Не веря в эти возможности, Берия поручил Фитину докладывать об уране Сталину. Как настоящий дипломат, Павел стал упорно доказывать необходимость начала работ по атомному проекту. Настойчивость Фитина неожиданно нашла поддержку у Сталина и, не отпуская начальника разведки, он вызвал Берию.

* Акционерное торговое общество, представлявшее советские внешнеторговые организации за рубежом.

** В апреле 1943 года, когда наркомом НКГБ стал вновь Меркулов В. Н., К. М. Кукин был назначен резидентом в Лондон. Через четыре года он стал главным резидентом и одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Великобритании.

Увидев при входе в кабинет вождя начальника разведки, Берия сразу догадался, по какому поводу пригласил его Сталин.

— Проходи, садись, Лаврентий. В ногах правды нет. Как нет ее и в твоей лысой голове.

Берия внутренне содрогнулся: он понял, что Сталин им недоволен. По-дойдя к столу, нарком госбезопасности медленно опустился в кресло.

— Так вот, товарищ Берия, — Сталин перевёл взгляд на Фитина, — на этот раз мы доверимся мнению товарища Фитина. Напрасно ты раньше убеждал меня, что разведке не всегда можно верить. Материалы разведки и второе письмо Флёрва убеждают меня в том, что мы должны теперь, в первую очередь, заниматься атомными делами. Поручаю тебе, Лаврентий, подготовить специальное заседание Государственного комитета обороны по вопросу создания атомной бомбы. Пригласи на это заседание академиков Иоффе, Капицу, Вернадского, Семёнова, Хлопина и некоторых известных молодых физиков...

Как высокую награду воспринял Павел Михайлович решение вождя начать практическую работу по атомному делу “Энормоз”.

Затем Сталин не спеша подошёл к Фитину и, пожимая ему руку, громче обычного сказал:

— Вот как получается, товарищ Фитин. Выходит дело, вы были правы, а мы нет.

Это признание вождя партии и страны сняло некоторое напряжение, существовавшее между наркомом Берией и начальником разведки Фитиным. Можно сказать, что на той встрече со Сталиным Павлу Михайловичу повезло: если бы не второе письмо Флёрва с фронта, — в правдоподобности содержащейся в нём информации оснований сомневаться не было, — то неизвестно, как могла бы сложиться дальнейшая судьба начальника разведки. Как писал он впоследствии в своих воспоминаниях: “Могло ведь случиться и так, что Сталину что-то не понравилось бы в моём докладе, или в чём-то усмотрел бы он промах с моей стороны, и тогда бы я оказался в весьма незавидном положении...” Но этого не произошло.

Вдохновлённый поддержкой вождя, Фитин показал все свои организаторские способности. Разведка, руководимая им, заработала ещё более активно и продолжала успешно справляться со стоявшими перед ней задачами. Помимо атомной проблемы, она с тем же успехом решала массу других важных задач. Чего стоили ценнейшие сообщения агентурной разведки о том, что Япония в первые годы войны не собирается нападать на СССР, что позволило Сталину в период битвы за Москву снять с Дальнего Востока и перебросить на Западный фронт сибирские дивизии, которые обеспечили исход сражения за советскую столицу. Или, скажем, сообщение о том, что летом 1943-го фашистские войска намерены предпринять наступление в районе Курска. Фитин докладывал об этом лично Сталину. Благодаря данным разведки, советским командованием были предприняты все необходимые меры, которые сыграли решающую роль в разгроме гитлеровских войск на Курской дуге и которые способствовали переходу стратегической инициативы в руки Советской Армии.

Руководимая Павлом Фитиным внешняя разведка внимательно следила за сепаратными переговорами союзников по антигитлеровской коалиции. Тогда же совместными усилиями разведслужб СССР и Великобритании во время проведения Тегеранской конференции “Большой тройки” — Сталина, Рузвельта и Черчилля — было предотвращено не только покушение на глав государств, но и была разгромлена германская разведывательная сеть в Иране. Точно также была тогда ликвидирована в Афганистане агентурная сеть разведок стран “оси” Рим—Берлин—Токио. Делать подобное в годы военного лихолетья было непросто: для этого требовалось большое умение Фитина управлять огромным коллективом легальной и нелегальной разведки, сотрудники которой самоотверженно служили Родине во многих странах мира.

За качественное и оперативное решение разведывательных задач Павел Михайлович в ноябре 1944 года был награждён орденом Боевого Красного Знамени. В представлении на орден говорилось:

“Тов. Фитин П. М. возглавляет внешнюю разведку страны с 1939 года. Все пять лет он самостоятельно, оперативно и качественно решал многие вопросы разведывательной деятельности. С января по июнь 1941 года лично направил товарищу Сталину свыше ста разведдонесений о подготовке Германии к нападению на Советский Союз.

В годы войны обеспечивал руководство страны ценной информацией о стратегических замыслах германского командования. Важный вклад принадлежит тов. Фитину в овладении Советским Союзом сокровеннейшими американскими секретами по созданию атомного оружия и доведении информации о них до советских учёных, что способствовало впоследствии ликвидации в кратчайший срок ядерной монополии США.

Критерием руководящей и служебной деятельности тов. Фитина является результативность работы и творческое отношение к труду...

Ещё два ордена — Боевого Красного Знамени и Красной Звезды — Павел Михайлович получил за неоценимый вклад внешней разведки в Победу над фашистской Германией, за добывание в послевоенный период ценных документальных материалов о планах союзников СССР по антигитлеровской коалиции и за постоянное информирование Кремля о всех нюансах политики Запада в отношении нашей страны.

Нельзя, однако, не отметить, что все высокие награды Фитина, в том числе и ряда зарубежных государств, были получены тогда, когда органы госбезопасности СССР возглавлял не Берия, а В. Н. Меркулов и В. С. Абакумов. Как уже говорилось, Берия с весны 1941 года невзлюбил молодого начальника внешней разведки за его смелость докладывать лично товарищу Сталину достоверную информацию о подготовке Германии к нападению на Советский Союз. Фитин практически один шёл против Берии, потому что нарком Меркулов и сменивший его министр госбезопасности Абакумов, как и сам Берия, стремились любой ценой угодить Сталину: они докладывали ему только то, что “хозяин” хотел услышать. И только поэтому они иногда поручали самому Фитину докладывать вождю агентурную информацию. Павел Михайлович был человек не робкого десятка, он не боялся поручиться за своих людей, всегда отстаивал своё мнение перед руководством и никогда не поступался своими принципами. Поэтому Берия и считал его строптивым.

Фитин знал об этом и переносил это, как подобает человеку своей эпохи: спокойно, мужественно и с большим достоинством. Любимая фраза его в те годы, по рассказу П. А. Судоплатова: “Время всё расставит на свои места. Пусть не скоро, но люди будут знать, на чьей стороне была правда”. Он продолжал проявлять поистине высочайшее гражданское мужество и верность присяге, докладывая высшему руководству страны ценнейшую разведывательную информацию. Конечно, он рисковал иногда жизнью, ибо обстановка в те годы была опасной: ему постоянно грозила расправа со стороны всеильного Берии. Но на физическое сведение счётов с генерал-лейтенантом разведки в годы войны, когда авторитет начальника разведки в глазах Сталина упрочился, Берия не решился. Он знал о том, что вождь часто прислушивался к мнению молодого Фитина и положительно оценивал его работу.

Однако после войны злопамятный и мстительный Берия всё-таки сполна рассчитался с не прогнущимся перед ним руководителем Первого управления МГБ СССР: в конце июня 1946 года Фитин был освобождён от занимаемой должности. Полгода он находился в распоряжении управления кадров МГБ без какого-либо назначения. Руководители других подразделений министерства и оперативные сотрудники разведки были ошеломлены таким неожиданным решением по отношению к человеку, который столь блестяще зарекомендовал себя в годы военного лихолетья. Коллеги по работе отзывались о нём, как об основательном, духовно богатом, смелом, волевом и исключительно порядочном руководителе, который стремился всегда к честности и справедливости. Его неизменный заместитель, генерал-лейтенант П. А. Судоплатов считал, что Фитин мог бы ещё многое свершить в разведке и в своей жизни.

Действительно, творческая отвага и молодой запал намного опережали реальную оценку его способностей. Сотрудники разведки чувствовали всегда уверенность в успехе любой закордонной, даже самой серьёзной операции, если разрабатывал её Фитин со своими заместителями Г. Б. Овакимяном и П. А. Судоплатовым. Возможности для свершения благих и полезных дел для страны и для своей успешной карьеры у сорокалетнего генерала Фитина были большие, но конфликты с Берией не всегда позволяли их решать безболезненно. Случилось так, что после долгого выжидания в Управлении кадров из-за трусливости Берии перед Верховным Главнокомандующим генерал-лейтенанта Фитина, несмотря на его большие заслуги перед советским государством, направили с понижением в должности заместителем Уполномочен-

ного МГБ в Германию. Не проработал он там и четырёх месяцев, как Берия опять понизил его в должности и назначил заместителем начальника областного управления госбезопасности в Свердловске.

Но и на этом коварный Берия, будучи уже заместителем Председателя Совмина СССР, не успокоился: в 1951 году Фитина перевели в Алма-Ату на пост министра МГБ Казахстана. А ещё через два года, снова по личному распоряжению Берии, его уволили из органов госбезопасности без военной пенсии, так как он не имел к тому времени необходимой выслуги лет: она составляла у него лишь пятнадцать лет.

Вот так, не по своей воле, произошёл окончательный разрыв с органами госбезопасности талантливого организатора советской внешней разведки Павла Фитина, который внёс свой достойный вклад в обеспечение нашей победы над фашистской Германией. Из всех предыдущих одиннадцати начальников иностранного отдела ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ Фитин дольше других – семь с лишним лет – руководил внешней разведкой СССР.

К сожалению, не оправдались надежды его соратника, генерала Судоплатова на то, что Фитин может ещё многое свершить. Лишь после суда над Берией и его расстрела Фитину удалось устроиться на государственную службу. Концовка его праведной, честной жизни оказалась грустной: трудовую свою деятельность он закончил директором фотокомбината Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. В своих дневниках Фитин позже напишет: “Вся моя жизнь – это небольшая дорога. На ней было немало колдобин, и потому мне приходилось тряско ехать по ней...”.

Трудные испытания в годы военного лихолетья и особенно в послевоенные годы подорвали здоровье генерал-лейтенанта разведки Павла Михайловича Фитина. 24 декабря 1971 года его не стало. В истории осталась светлая память о талантливом человеке, много сделавшем для своей страны.

ЕЛЕНА ЛАРИНА, ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ

РУССКОЕ ЧУДО ПРОТИВ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ

Часть 1

Украденное чудо

Более 50 лет назад, в июне 1963 года в Кремлёвском дворце съездов состоялась премьера фильма, на которой присутствовало не только руководство Советского Союза, но и весь дипломатический корпус. Это был двухсерийный художественно-документальный фильм “Русское чудо”, снятый кинематографистами уже не существующей страны – ГДР – о другом канувшем в Лету государстве. Начало съёмок фильма было приурочено к запуску первого советского спутника, а завершение – к полёту Юрия Гагарина в космос. Это было время, когда Джон Кеннеди произнёс свою знаменитую фразу: “Если не хотите учить русский, учите физику”.

Фильм рассказывал, как страна с разрушенной до основания экономикой и инфраструктурой, лишившаяся каких-либо технологий и организационной культуры, поголовно безграмотная, погрязшая в идеологических словопрениях и политических дрязгах, за короткий срок превратилась не только в мощную индустриальную и военную державу, одержавшую победу в Великой войне, но и научно-технологический гигант, успешно соревнующийся с Соединёнными Штатами Америки за мировое господство.

Как это ни кажется сегодня удивительным, если открыть подшивки ведущих западных газет того времени, пролистать книги крупных экономистов и политологов, отнюдь не просоветски, а, скорее, антикоммунистически настроенных, обнаружится, что они обсуждали лишь один вопрос. И заключался он не в том, победит ли СССР или США в соревновании двух систем, а в том, когда именно это произойдёт. Это не преувеличение, а проверяемый факт. Благо сегодня, во времена интернета, оцифрована вся бумажная пресса за все периоды времени, начиная с XVIII века.

История рассудила по-другому. Сегодня в силу конъюнктурных соображений можно рассказывать сказки о том, как агенты вражеских разведок развалили Советский Союз и привели его к гибели. Это злостная и вредная неправда. Причины крупнейшей геополитической и человеческой катастрофы эпохи лежали, главным образом, внутри самого Советского Союза. Они были связаны с интеллектуальной беспомощностью, слабоволием и эгоизмом его партийно-хозяйственной элиты. С деятельностью военного лобби по неоправданному раздуванию расходов на различного рода вооружения, чье производство изнуряло и лишало ресурсов все остальные сектора советской экономики.

Свою лепту внесли потребительские устремления и отсутствие навыков самостоятельного ответственного принятия решений у широких слоёв населения. А за граница, как всегда, помогла России разрушить саму себя.

Поэтому неудивительно, что уже в 70–80-е годы многократные попытки вновь показать по центральному телевидению фильм “Русское чудо” наталкивались на отказы высших телевизионных начальников, действующих по указке тогдашнего ЦК КПСС. “Русское чудо” к тому времени было уже не нужно и даже вредно для подавляющей части правящего партийно-бюрократического слоя. Ведь главный смысл фильма состоял в том, что потенциал Страны Советов позволял в конце XX – начале XXI века совершить ещё одно “Русское чудо”. На протяжении четверти века после выхода фильма на экраны советская наука и техника успешно подтверждала вывод восточногерманских кинематографистов. Практически во всех ключевых сферах – от космоса до исследований морского дна, от биотехнологий до энергетики, от вычислительной техники до новых типов вооружений – были совершены прорывы. При должном инженерном, промышленном и организационном подкреплении, политической воле и финансово-экономической сметке они могли бы произвести переворот в мировом хозяйстве.

Это не преувеличение. Сразу же после прихода на пост Президента США Рональда Рейгана по решению его администрации был запущен проект “Сократос” под руководством физика, полковника М. Секоры. Проект должен был найти ответ на советский научно-технический вызов, мобилизовать западный потенциал на нанесение СССР научно-технологического, а затем экономического и, как результат, политического поражения. Наиболее детальный, документированный и ориентированный на сегодняшний день отчёт о проекте “Сократос” опубликован в книге Эрвина Экмана *“President Reagan’s Program to Secure U. S. Leadership Indefinitely: Project Socrates”*. Главная цель проекта состояла в объективном анализе уровня конкурентоспособности критических отраслей промышленности США, выявлении сфер науки и техники, где США отставали от СССР, Европы, Японии и осуществлении экстраординарных мер по преодолению отставания и обеспечению лидирующих позиций во всех критических технологиях уже в течение 80-х годов. Проект реализовывался во всех ключевых отраслях науки, промышленности и технологий Соединённых Штатов с вовлечением в него всех крупнейших высокотехнологичных корпораций, университетов, исследовательских центров и т. п.

А в СССР в это время случилась перестройка. Технологии были забыты. Научно-технические направления прикрывались и лишались финансирования буквально ежемесячно. В какой-то мере научно-технологический погром эпохи перестройки стал продолжением падения научно-технического фактора в экономическом развитии СССР, которое началось ещё со второй половины 70-х годов. Тогда науку и технику в СССР подменили открытые в Тюмени месторождения, и высшее партийное руководство подсадило страну на нефтяную иглу. Именно в 70-е годы были посеяны семена развала, которые в полной мере проявились в 1991 году. В общем, пока американское государство взялось за ликвидацию технологического отставания, массированное направление средств и лучших ресурсов в науку, технологии и высокотехнологичное производство, Советский Союз предпочёл тупиковую модель нефтепотребительского социализма. Тогда же в стране приняли как руководство к действию слова заокеанского президента Д. Кеннеди, только с точностью до наоборот: бросили учить физику и стали учить английский по *Rolling Stones* и *Led Zeppelin*.

Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, внутри различных сегментов российской экономики и, прежде всего, военно-промышленного сектора продолжали развиваться островки высоких технологий. Как это ни удивительно, наибольших успехов практически в большинстве сфер науки и техники Советский Союз достиг на технологическом уровне в самом конце 80-х годов, когда в полной мере начал действовать ранее созданный научный задел. Символом триумфа советской технологической мощи стал до сих пор не воспроизведённый в мире вывод на орбиту крупнотоннажного непилотируемого, возвращаемого орбитального комплекса “Буран” с его успешным возвращением на Землю. Другой поразительной иллюстрацией этих достижений является недавняя предновогодняя публикация одного из крупнейших американских журналов, где выделялись семь наиболее перспективных энергетических технологий на ближайшие 15 лет в сфере ядерной энергетики. Пять из них

к 1991 году уже существовали в Советском Союзе либо в виде опытных образцов, либо доведены до стадии инженерных расчётов и стендовых испытаний.

В постсоветской, так называемой “демократической, рыночной России” о фильме “Русское чудо” уже никто не вспоминал. И никто уже не говорил о приукрашивании действительности. На глобальном уровне стояли иные задачи: признать ту советскую действительность преступной, забыть о ней и никогда к ней не возвращаться. Поставленные цели во многом были реализованы. Главное же — в общественное сознание была вбита устойчивая установка, что никакого нового русского чуда уже быть не может, что новая Россия должна быть встроена в общемировой процесс и пользоваться благами западной цивилизации, не претендуя ни на первенство, ни, тем более, на чудеса в развитии.

На пороге Третьей производственной революции

Тем не менее, случилось то, что случилось. После краха СССР в мире окончательно восторжествовала мутация капитализма — потребительский финанси́зм. В 90-е — нулевые годы показалось, что научно-технический прогресс остановлен навсегда, и все разработки сводятся к выпуску новой модели iPad или других гаджетов. Возможно, так бы и продолжалось, если бы не глобальный финансово-экономический кризис, начавшийся в 2009 году. Под угрозой тотальной крупномасштабной катастрофы на Западе и на Востоке пришли в действие ослабленные и подавленные крахом СССР научно-технологические силы, которые соединились с государственными, венчурными и рисковыми капиталами, вставшими на ноги в ходе интернет-революции и накопившими огромные ресурсы всех типов информационными гигантами, и определенными политическими силами, заинтересованными в выживании глобальной мировой системы.

Параллельно с проведением частично целенаправленных, а частично — стихийных — мер по ограничению всевластия спекулятивно-финансового и банковского капитала произошло усиление корпоративных, государственных и социальных сил, делающих ставку на высокие технологии как гарантию выживания современного социума и обеспечение его развития.

Любопытно, что даже сейчас, когда страна вырвалась из хаоса 90-х годов, идеологическая машина и левых, и правых в основном говорит о тяжёлых перспективах экономического, финансового развития, страшает тяжёлыми социальными последствиями. При этом в современном российском обществе практически не обсуждаются проблемы, связанные с новым технологическим чудом и Третьей производственной революцией. Между тем, именно эти темы сегодня стоят на повестке дня, активно разрабатываются бизнесом, находятся в центре общественных дискуссий на Западе и Востоке.

С каждым днём все больше фактов свидетельствуют, что при всех несомненно острых проблемах, противоречиях и трудностях, которые имеются в США, Западной Европе, Южной Корее, Китае, Японии и т. п., буквально на наших глазах разворачивается и набирает темпы Третья производственная или промышленная революция.

Своим названием она обязана международному бестселлеру Джереми Рифкина “Третья промышленная революция”, которая стала настольной книгой многих политиков и Востока, и Запада. Её автор признан одним из наиболее влиятельных экономистов современности. Он является советником Еврокомиссии. Среди его поклонников — Барак Обама, Политбюро Коммунистической партии Китая, правительство Бразилии, а на постсоветском пространстве — руководство Казахстана. На основе идей Рифкина разработан план дальнейшего экономического развития Евросоюза, который уже принят Европарламентом.

Наряду с книгой Дж. Рифкина Третьей производственной революции посвящены ещё два бестселлера: книга Питера Марша “Новая индустриальная революция: потребители, глобализация и конец массового производства” (*The New Industrial Revolution: Consumers, Globalization and the End of Mass Production*) и книга Криса Андерсона “Производители: Новая промышленная революция” (*Makers: The New Industrial Revolution*). Они стали настольными книгами не только в высоких государственных кабинетах, штабах военачаль-

ников, офисах разведслужб, но и, прежде всего, у руководителей бизнеса новой генерации, у научно-технического, инженерного, производственного и программистского сословий.

Кластеры Третьей производственной революции

При всём различии позиций, авторы едины в том, что производственная революция означает глубокие, быстрые в исторической перспективе, скачкообразные (фазовые) изменения в самих основах техники и технологий, используемых во всех основных отраслях хозяйства. Эти изменения ведут к необратимым и качественным сдвигам в организации труда и производства, системах снабжения, маркетинга и потребления. Производственная революция изменяет базовые структуры экономической жизни. Полностью перестраивает социум и привычные способы его регулирования. Преобразует политические институты. Любая производственная революция имеет неоспоримые положительные эффекты и неизбежно связана с целым рядом негативных, как правило, острых и тяжёлых социальных последствий и проблем для широких масс населения.

Третья производственная революция по своим масштабам, последствиям и сдвигам стоит не только наравне, но, возможно, и превосходит первую и вторую производственные революции. Первая производственная революция конца XVIII – начала XIX века была связана с текстильной отраслью, энергией пара, углем, железными дорогами и т. п. Вторая производственная революция конца XIX – первой половины XX века стала детищем электричества, двигателей внутреннего сгорания, триумфом машиностроения и конвейера как метода организации производства.

Уже на начальных стадиях Третьей производственной революции можно выделить несколько определяющих её черт:

- во-первых, одновременное широкое производственное применение различных независимых кластеров технологий. Прежде всего, робототехники, 3D-печати, новых материалов с спроектированными свойствами, биотехнологий, новых информационных технологий. И, конечно же, диверсификация энергетического потенциала производства и общества;
- во-вторых, постоянно возрастающее взаимодействие между отдельными технологическими кластерами, их своеобразное “слипание”, взаимное кумулятивное и резонансное воздействие друга на друга;
- в-третьих, появление на границах технологических кластеров принципиально новых, не существовавших ранее технологий и семейств технологий, в которых кластеры взаимодействуют между собой.

Основа основ превращения отдельных технологических кластеров или паттернов в единую технологическую платформу – это информационные технологии. Они буквально пронизывают все стороны технологической и производственной жизни, связывая между собой отдельные технологические блоки. Наиболее яркими примерами этого являются такие технологические паттерны, как биотехнологии, робототехника, управляемая на основе больших данных и т. п. По сути, уже на начальном этапе индустриальной революции можно говорить о формировании единой технологической платформы Третьей производственной революции.

В сфере организации производства и труда отличительной чертой Третьей производственной революции является миниатюризация производства в сочетании с сетевой логистикой и персонификацией потребления продукции. Как отмечал в своей работе К. Андерсон: “Если раньше эффективные производства и действенные сети маркетинга и продаж были под силу только большим заводам, крупным ритейловым сетям и транснациональным корпорациям, то в самое ближайшее время это будет доступно всем”. Правда, при всей миниатюризации и демократизации производства одновременно будет возрастать зависимость мелкого производителя от поставщиков Больших Данных, программных продуктов и интеллектуальных услуг, которыми останутся, по мнению Дж. Рифкина, крупнейшие информационные компании, типа IBM, Google, Amazon и проч.

Иными словами, децентрализация производства, переход к прямым связям в сфере распределения и персонификации потребления будет происходить в условиях сохранения господства цифровых гигантов, контролирующих

ключевую технологию Третьей производственной революции – системы сбора, хранения, интеллектуальной обработки и распределённой доставки цифровых данных и компьютерных программ всех типов и размеров.

Первым ключевым направлением Третьей производственной революции является стремительная автоматизация и роботизация производства. Как отмечают эксперты, многие элементы автоматизации и роботизации могли быть внедрены в промышленное производство ещё в 90-е годы прошлого и первое десятилетие нынешнего веков. Однако в те времена экономически выгоднее оказалось использовать вместо роботов практически дармовой труд рабочих из Китая и других азиатских стран. Однако по прошествии времени ситуация изменилась. С одной стороны, труд в Азии заметно подорожал. С другой стороны, деиндустриализация Америки, многих стран Европы и частично Японии нанесла сильнейший удар по экономике этих стран. Наконец, в последние годы появились принципиально новые программные и микроэлектронные решения, позволяющие в разы повысить эффективность и функционал роботов при снижении себестоимости их производства. Сегодня, например, типовой американский робот на конвейере окупается в течение полутора – максимум двух лет.

Уже сейчас в Америке действует или готовится к пуску в ближайшие годы более 15 тыс. полностью автоматизированных производств. Уже в настоящее время в Соединённых Штатах на 10 000 рабочих мест в производстве приходится более тысячи комплексно автоматизированных рабочих мест, в Японии – менее 500, в Корее – почти 400, в Китае – более 150. Не менее впечатляющая статистика имеется по так называемым человекоподобным индустриальным роботам всех типов.

В настоящее время безусловным лидером по производству промышленных высокотехнологичных роботов являются Соединённые Штаты Америки. В этом году на предприятия США поставлено чуть менее 20 тыс. единиц высокотехнологичных антропоморфных роботов. В нашей стране в текущем году в промышленности занято менее одной тысячи роботов. Из них примерно 70% поступило из-за рубежа.

Ради справедливости надо сказать, что США не являются лидером по уже установленным промышленным роботам. Первое место уверенно держит Япония. Второе место занимает Китай. И лишь на третьем месте – Соединённые Штаты. Лидирующую пятёрку замыкают Южная Корея и Германия. При этом, по оценкам специалистов, китайские роботы менее технологичны и применяются в основном на элементарных сборочных работах, связанных с выпуском традиционных гаджетов и бытовой техники.

Вторым направлением Третьей производственной революции, а по мнению, Криса Андерсона, даже главной её движущей силой является 3D-печать. В основе 3D-печати лежит технология под названием Additive Manufacturing, то есть аддитивное (впору сказать “поэтапное”) изготовление. Метод подразумевает, что принтер послойно формирует изделие, пока оно не примет окончательный вид. 3D-принтеры не наносят на бумагу краску, а “выращивают” объект из пластмассы, металла или других материалов.

Методы трёхмерной печати также заметно разнятся. 3D-принтер может слой за слоем наносить жидкий материал (например, керамику или пластик), который сразу же застывает. Широко используется более технологичный метод, где сырьем служит порошковый металл (например, сталь, титан, алюминий). В этом случае лазерный луч скользит по отдельным слоям и, согласно заданной программе, плавит и склеивает те или иные крупинки друг с другом. Существует ещё множество различных типов 3D-печати. К настоящему времени выпущено уже более тысячи моделей различных 3D-принтеров, рассчитанных как на принципиально различные методы печати и используемого материала, так и на совершенно различный бюджет. В настоящее время ряд крупных производителей 3D-принтеров выступили вместе с интернет-гигантами, типа Google и Amazon, с предложением к правительству США бесплатно поставить 3D-принтеры сначала в подавляющее большинство, а затем и во все школы. А в последующем наладить обязательное обучение на уроках труда работе с 3D-принтерами.

Если на первом этапе принтеры в основном использовали продвинутые дизайнеры, то затем наступила очередь инженеров и конструкторов. Ведущие

компании стали активно использовать 3D-печать для моделирования. Затем 3D-печать пошла в массы. Например, выпускник Принстона Марчин Якубовски создал целую социальную сеть, объединяющую инженеров, конструкторов, энтузиастов 3D-печати, которые совместными усилиями разрабатывают *Global Village Construction Set* – всё, что вам нужно в “глобальной деревне”. В сети публикуются в открытом доступе 3D-чертежи, схемы, видеоинструкции, бюджеты и пользовательские инструкции. В результате появляется то, что К. Андерсон называет “индустрией облака” или “облачным производством”. По его словам, “Вы загружаете в глобальное сетевое облако заказ на продукт, который вас интересует. Дальше это задание находит своего оптимального исполнителя, который может выполнить его максимально быстро, качественно и дешево”.

В текущем году произошёл прорыв в области промышленного использования 3D-печати крупнейшими корпорациями. Линии 3D-печати в настоящее время строят Boeing, Samsung, Siemens, Canon, General Electric и т. п. В результате к концу 2013 года мировой рынок продажи 3D-принтеров оценивался от 3 до 3,5 млрд долларов и в среднем удваивается в течение полутора лет, то есть следует знаменитому компьютерному закону Мура.

Бесспорным лидером как в производстве 3D-принтеров, так и в их использовании являются Соединённые Штаты. На них приходится почти 40% мирового производства 3D-принтеров. Около 10% – доля Японии. Практически столько же приходится на Германию и Китай. Пятёрку лидеров замыкает Великобритания (6%). Россия в сфере промышленного применения 3D-принтеров занимает десятое место. Что же касается сектора применения 3D-принтеров как основы мини-фабрик, то в России вместе с Африкой таких производств, по данным ведущего мирового эксперта в сфере 3D-печати, нет вообще, за исключением нескольких учебных лабораторий.

Третьим направлением новой производственной революции является производство новых материалов, включая материалы с заранее спроектированными свойствами, композитные материалы и т. п. Необходимость появления широчайшей гаммы новых материалов диктуется, с одной стороны, требованиями широкого внедрения экономичной, эффективной 3D-печати, а с другой – развитием микроэлектроники, биотехнологий и т. п.

В своё время новое материаловедение связывали исключительно с наноматериалами, т. е. с новыми материалами, производимыми на основе миниатюризации. Однако действительность оказалась несколько иной. При всей важности нанотехнологий, на сегодняшний день ключевое место заняло производство материалов с заданными, спроектированными характеристиками, которые, с одной стороны, требуются для выполнения изделия, изготовленного из этого материала, его функций, а с другой – возможности использования для обработки таких материалов новых технологических методов, типа 3D-печати. Лидерами в новом материаловедении и производстве принципиально новых материалов являются Соединённые Штаты, Япония и Германия. Россия, несмотря на колоссальный научный и, частично, технический задел, созданный ещё в советские годы благодаря достижениям институтов АН СССР и деятельности композитной промышленности, в настоящий момент не входит в число лидеров. Хотя отдельные разработки у российских учёных имеются. Ярким подтверждением этого стал факт присуждения Нобелевской премии по физике за 2010 год А. Гейму и К. Новосёлову за новаторские эксперименты с графеном. Нобелевскую премию они получили как исследователи Манчестерского университета, но работу проводили, ещё будучи сотрудниками Научного центра в Черноголовке.

Ключевым направлением Третьей производственной революции являются, без сомнения, биотехнологии в широком смысле этого слова. По сути, сюда входит индустрия индивидуализированных лекарств, на которые делают ставку и фармацевтические гиганты и новые, молодые, быстроразвивающиеся компании. Сюда же относятся различные виды регенеративной медицины. Широко используются возможности 3D-печати для производства донорских органов. Сегодня это уже не фантастика, а прошедшая клинические испытания обыденность, которую взяли на вооружение, например, медицинские учреждения Франции, Германии, Соединённых Штатов.

Особым направлением является биоинформатика. Четыре года назад группе исследователей во главе с Джоном Крейгом Вентером удалось впервые в истории создать искусственную жизнь, используя ДНК одного из вирусов. Теперь эта команда может, что называется, производить новые виды бактерий и живых организмов прямо из компьютера. Дж. Вентер так и заявил, что им удалось сделать “первый самовоспроизводящийся биологический вид на планете, родителем которого является компьютер”. В 2009 году, после приёма учёного Б. Обамой, исследования хотели засекретить. Но в итоге приняли решение открыть разработки миру. Сегодня, по мнению Дж. Вентера, синтетическая биология — это “мощнейший набор инструментов, который в ближайшие годы приведёт к созданию эффективных вакцин против самых различных заболеваний, начиная от гриппа и заканчивая СПИДом”. Правда, он же предупредил о страшной опасности, попади эти инструменты в руки террористов и экстремистов.

Нельзя не отметить, что вплоть до 1991 года советская микробиология и биоинженерия занимали лидирующие позиции в мире. По оценкам американских экспертов, благодаря существованию специального ведомства — Главмикробиопрома с большой сетью подчинённых ему научно-исследовательских и производственных центров и учебных институтов, — Советский Союз заметно опережал все другие страны мира во многих направлениях биотехнологий и геномной инженерии. Однако под флагом борьбы с биологическим оружием и в условиях погрома высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности значительная доля потенциала оказалась утерянной. Хотя, по оценкам зарубежных экспертов, при должной мобилизации сил Россия может, базируясь на имеющихся разработках и достижениях, действующих научных школах и диаспоре российских биотехнологов, работающих за рубежом, наверстать упущенное.

Первая и вторая производственные революции в корне меняли основной энергетический источник. Если первая промышленная революция была реализована на угле, то вторая производственная революция стала детищем нефти и электричества. В отличие от других направлений, относительно энергетического базиса Третьей производственной революции единодушия среди специалистов нет. В частности, автор первой и самой популярной в своё время книги о Третьей производственной революции, Дж. Рифкин являлся убеждённым сторонником “зелёной” — возобновляемой энергетики. Более того, он стал одним из инициаторов разработки принятого в ЕС плана, связанного с закрытием АЭС, сокращением использования, по его мнению, экологически вредных электростанций на угле, нефти и т. п. Сегодня европейские промышленники, отдавая должное Дж. Рифкину в других областях, часто недобрым словом упоминают его в части “озеленения” энергетики, а также продвижения идей замены газа ветряками и подобными шалостями “зелёных”.

Без лишнего шума большинство теоретиков, а главное — практиков на высоких правительственных постах считают, что будущее принадлежит не возобновляемым источникам энергии, а принципиально новым видам ядерной энергетики, прогрессивным технологиям добычи газа и нефтесодержащих элементов, а также совершенно новым типам энергетики.

Стержневой составляющей, пронизывающей все технологические кластеры Третьей производственной революции и превращающей их в единый технологический пакет, являются без сомнения, информационные технологии. Применительно к теме Третьей производственной революции в структуре информационных технологий выделяются три ключевые составляющие.

Первая. Это — **Большие Данные**. Большие Данные — это сбор, хранение, оцифровка, обработка и предоставление в удобном для пользователя виде в любое время и в любой точке планеты всей совокупности сведений о тех или иных событиях, процессах, явлениях и т. п. Ключевым в Больших Данных является то, что они позволяют работать именно со всей информацией в режиме онлайн. Главным является слово “всей”. У пользователя Больших Данных имеется вся картина, не зависящая, как раньше, от каких-либо выборок, ограничений по источникам, времени предоставления данных и т. п. Большие Данные могут включать в себя любые форматы — от таблиц до потокового видео, от оцифровки старых отчётов до текстовой записи, сделанной теми или иными источниками. Никогда раньше в истории человечества у лиц, занима-

ющихся анализом, прогнозированием, конструкторско-инженерной деятельностью, принятием решений, не было возможности оперировать со всей информацией. Причем, не просто оперировать, а получать эту информацию в удобном и доступном для восприятия виде. Сегодня безусловными лидерами в сфере Больших Данных являются США, Великобритания, Япония и Китай. В этих странах имеется большое количество платформ, обеспечивающих работу с Большими Данными, специальные курсы подготовки, множество центров, где компании могут получить консультации или услуги, связанные с Большими Данными.

В России, надо прямо сказать, ситуация плачевная. При том, что в нашей стране разработана мощнейшая алгоритмическая и математическая база для интеллектуального анализа Больших Данных, самих Данных, по большому счёту, у нас нет. То, что у нас называют Большими Данными, в подавляющей своей части – это уже много лет применяемая за рубежом традиционная бизнес-аналитика. Специалисты по Большим Данным в стране пока не готовятся. Нет центров ускоренной их переподготовки. У нас издана на сегодняшний день единственная книга, посвящённая этой теме, которая носит скорее не учебный, а научно-популярный характер: В. Майер-Шенбергер и К. Кукьер “Большие Данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим”.

Сами по себе Большие Данные являются важнейшим государственным и корпоративным активом, который при должном использовании обеспечивает их владельцам устрашающее интеллектуальное превосходство и деловое доминирование.

Вторая составляющая. Это – **когнитивные вычисления и экспертные системы**. За последние два-три года Соединённым Штатам и частично Великобритании удалось осуществить подлинный прорыв в области создания экспертных систем, базирующихся на так называемых когнитивных вычислениях. В основу когнитивных вычислений заложены программы, в определённой степени моделирующие и имитирующие некоторые известные психофизиологические процессы. За счёт этого созданы программы, которые обладают возможностями самописываться и совершенствоваться, учитывая допущенные ими при решении тех или иных задач ошибки. Наиболее известной экспертной системой, базирующейся на когнитивных вычислениях, стал знаменитый компьютер Watson корпорации IBM, победивший во вполне человеческой игре “Своя игра”. После победы на игровом поле Watson показал высокие результаты как экспертная система в медицинской онкологии, фармацевтике, полицейских расследованиях, биржевом деле. По оценкам различных экспертов, в ближайшие 7–12 лет он может вытеснить до 70% работников, занимающихся рутинным умственным трудом в самых различных сферах деятельности. Главное даже не в этом. Экспертные системы дают их обладателям и пользователям огромную интеллектуальную мощь, ставя на службу всё богатство человеческого знания, помноженного на мощь вычислительных алгоритмов. При этом надо отметить, что IBM уже не является монополистом. Об активной работе в этом направлении объявили Google, Facebook, Amazon.com и проч.

Третья. Это – **облачные и распределённые вычисления**. Как нетрудно заметить, огромные мощности и программные ресурсы, потребные для работы с Большими Данными, когнитивными вычислениями, созданием мощных экспертных систем класса Watson по карману только крупнейшим корпорациям. В этих условиях развитие облачных распределённых вычислений, то есть создание платформ, которыми одновременно могут пользоваться десятки, сотни, а то и миллионы пользователей, делает Большие Данные, когнитивные вычисления и мощнейшие экспертные системы доступными для самого маленького бизнеса и отдельных граждан. Уже сегодня компания IBM открыла для сторонних разработчиков облачный Watson, и они делают программы под заказ для небольшого бизнеса.

Иными словами, три составляющих информационных технологий позволяют наделить децентрализованное маленькое и сверхмаленькое производство на основе робототехники, 3D-печати, биотехнологий и проч. мощнейшими интеллектуальными ресурсами, предоставляемыми крупнейшими корпорациями.

Правда, ценой такого наделения и вообще широкого использования интеллектуальных облачных технологий является отказ от прокламируемой рядом пионеров Третьей индустриальной революции, типа Дж. Рифкина

и К. Андерсона, исключительно демократического, полностью сетевого характера Третьей индустриальной революции, где не будет места иерархии. Это, конечно же, иллюзия. Но она ни в коей мере не отменяет будущее, которое наступает в странах, где разворачивается Третья индустриальная революция буквально не по дням, а по часам.

В настоящее время информационные технологии являются своего рода платформой технологического развития точно так же, как во время второй производственной революции такой платформой выступало машиностроение. Наступает эра цифрового производства.

Цифровое производство приобретает самые неожиданные формы. В настоящее время несколько американских компаний, занятых производством роботов и 3D-принтеров, включая Google, заняты реализацией проекта *Factory-in-a-Day*. Первые такого рода мини-заводы планируется запустить уже в 2015 году. Проект должен позволить разворачивать автоматизированное производство не только на крупных предприятиях, но и на средних, мелких и сверхмелких не более чем за 24 часа. Эти заводы комплектуются гибкими многофункциональными роботами, 3D-принтерами, лазерными резаками и т. п. Роботы, принтеры и другое оборудование поставляются с уже загруженными в них наиболее популярными программами, обеспечивающими их эффективную работу. То есть завод поставляется примерно так, как сегодня продаётся смартфон или планшетник с предустановленным ПО. Всё необходимое в течение дня можно получить из "облака". Заблаговременно, до поставки предприятия, его владельцы и персонал получают учебный курс работы на предприятии с компьютерной игрой, обучающей реальной деятельности. В ходе эксплуатации завода так же, как и в случае бытовой техники, 24 часа в сутки с пользователями находится на связи служба поддержки и консультации. Плюс из "облака" имеется возможность подгружать необходимые дополнительные программы, получать экспертные советы, обрабатывать Большие Данные.

Ещё дальше пошли производители *фаблабов*. Эти производственные лаборатории оснащаются многофункциональными станками, 3D-принтерами, другими необходимыми приспособлениями. Особенность этих лабораторий состоит в том, что они не только позволяют произвести в натуре ту или иную разработку или изобретение, но и обладают потенциалом для собственного расширенного производства. То есть *фаблаб* спроектирован таким образом, что, используя имеющееся оборудование, способен дорабатывать и расширять имеющийся функционал. Никогда раньше такого не предусматривалось. Хорошо известно, что всегда существовали предприятия по производству средств производства для производства средств производства и т. п. Теперь же в рамках одного предприятия можно расширять и само предприятие, и производить средства производства и предметы для конечного персонализированного пользователя.

Идеолог *фаблабов* — преподаватель Массачусетского технологического института Нил Гершенфельд — доказывал, что производственная революция уже произошла, только она находится в латентной стадии: "Охват сети интернет каждый год удваивался в течение примерно десяти лет. Казалось, что интернет возник из ниоткуда, но на самом деле он просто долгое время развивался и мало кто его замечал. То же сейчас происходит с *фаблабами*, *хакерспейсами* и *мейкерспейсами*. Или другая параллель: когда только стали появляться персональные компьютеры, почти все производители больших компьютеров решили, что это игрушки, что-то несерьёзное. И все они потерпели крах, кроме IBM. То же и с новыми машинами для цифрового производства: они замечают привычную промышленность и создают новую, подрывая сложившийся порядок". В мире насчитываются уже сотни, а в следующем году будут созданы и тысячи *фаблабов*. В 2013 году первый *фаблаб* в России был открыт в Москве на базе МИСИС Нилом Гершенфельдом.

Одним из первых плодов ранней стадии Третьей производственной революции становится возврат производства в Америку и Европу. В 2013–2014 годах более половины компаний с оборотом миллиард долларов объявило, что в ближайшие несколько лет полностью вернёт производство из Китая и других азиатских стран в Соединённые Штаты. В США за последнее время темпы роста промышленности превышают динамику многих других секторов экономики. За два последних года в промыш-

ленности создано более 700 тыс. несезонных рабочих мест. Это, конечно, не идёт ни в какие сравнение с 6 млн рабочих мест, потерянных промышленностью США. Но это места, в своей массе отвечающие требованиям Третьей производственной революции с соответствующими показателями производительности и эффективности. **Следует также иметь в виду, что 75% новых разработок и технологий и почти 90% новых зарегистрированных патентов создаются в США именно в сфере промышленного производства. Нельзя также не отметить, что в настоящее время Соединённые Штаты контролируют более 65% высокотехнологичных разработок и 55% высокотехнологичных патентов в мире.** Подобные процессы активно разворачиваются в Южной Корее и Японии. Началась реиндустриализация Великобритании. Спыхватилась Германия, длительное время почивавшая на лаврах самой успешной высокоиндустриальной экономики XXI века. Пытается развернуть у себя Третью производственную революцию и Китай. Хотя именно в Китае в силу чрезвычайно высокой избыточной доли сельского работоспособного населения и занятости традиционным индустриальным трудом основной части городского населения реализовать достижения Третьей индустриальной революции очень и очень тяжело. А что же Россия?

Санкции: что и зачем

Санкции, по сути, являются инструментом финансово-экономической войны, которую ведут правительства и немалая часть элит Соединённых Штатов и ведущих стран ЕС против России. Их можно разделить на две группы. К первым относятся официально объявленные руководителями западных стран и опубликованные в качестве юридически обязательных к исполнению документов ограничительные и запретительные меры различного характера в отношении российских физических и юридических лиц. В данном контексте не будем касаться санкций, связанных с ограничениями на посещение тех или иных стран, введённых в отношении немалого числа российских государственных деятелей, политиков, военных и даже представителей бизнеса. При всех личных неудобствах, они мало влияют на экономическое, социальное и иное развитие нашей страны.

Что же до санкций, введённых в отношении юридических лиц, то их значение не стоит ни преувеличивать, ни преуменьшать. Эти санкции ориентированы на конкретные секторы российской экономики, а именно оборонно-промышленный комплекс, энергетику и банковскую систему.

Прежде всего, под санкции попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, как в части ограничения экспорта их продукции, так и поставки им различного рода оборудования, комплектующих и т. п. По оценке председателя президиума экспертного совета Военно-промышленной комиссии М. Ремизова, **санкционный удар нацелен, прежде всего, на электронно-компонентную базу, радиоэлектронную аппаратуру, оптику, тепловизионные приборы, микропроцессорную технику и т. п. военного или двойного назначения. Например, по электронно-компонентной базе до настоящего времени импортозависимость составляла 80–90%. По авионике коэффициент локализации в ОПК был ниже, чем в гражданском сборочном производстве, где он в последние годы достигал 30%.**

Также уязвимыми позициями являются высокоточные прецизионные станки и современные промышленные роботы и автоматизированные линии, рассчитанные на работу со сложными изделиями. Достаточно обратиться к фактам. Мировой рынок высокоточных станков в настоящее время монопольно держат Швейцария, Германия и Япония. Относительно сложных робототехнических комплексов бесспорными лидерами являются США, Южная Корея и Великобритания. В этом году в Соединённых Штатах произведено более 30 тыс. сложных роботов и высокоавтоматизированных линий. Для сравнения, в России – 12. За последние годы производство станков, других видов технологического оборудования, робототехнических комплексов и т. п. наладил Китай. В определённом смысле, китайская продукция может заменить продукцию стран, выступивших инициаторами санкций либо присоединившихся к ним. Однако надо отдавать себе отчёт, что такая замена не вполне равноценна, поскольку китайские изделия обладают более низким качеством

обработки, точности, гибкости в перенастройке и в значительной степени являются ухудшенными клонами американских, японских, западноевропейских и даже южнокорейских образцов. Подобная проблема возникает и при замене электронно-компонентной базы ведущих западных фирм и их тайваньских дочек на китайские изделия.

Пока от большинства экспертов и аналитиков укрывается **потенциальная возможность распространения санкционного списка, ориентированного на ОПК, на все виды высокотехнологичных изделий, поставляемых в Россию, в гражданские отрасли.** Такая потенциальная возможность (а в политике, как известно, возможность — зачастую инструмент шантажа) связана с принятием Соединёнными Штатами Третьей инициативы оборонных инвестиций и инноваций. Этот важнейший документ Пентагона, помимо прочего, говорит о том, что отныне внутри Соединённых Штатов перестаёт проводиться различие между предприятиями и организациями, производящими гражданскую и военную продукцию. Впервые официально не просто объявлен, а возведён в ранг государственной политики принцип, согласно которому любое высокотехнологичное изделие априори имеет двойное — военное и гражданское — назначение. Согласно новой инициативе весь потенциал американской экономики впредь будет задействован для производства самых современных вооружений для всех типов конфликтов и всех сфер противоборств, включая киберпространство, финансово-экономическую сферу и т. п.

Данный тезис — не пропагандистское преувеличение, а практически точная цитата одного из ключевых пунктов Третьей инициативы. Соответственно, зная американский образ мышления, несложно предположить, что теперь именно с подобной мобилизационной точки зрения они рассматривают и все иные экономики как стран союзников, так и стран — актуальных или возможных противников. В этой связи неудивительны резолюции, которые в декабре 2014 года приняли Сенат и Палата Представителей Конгресса США. Они предусматривают, в том числе, максимальное свёртывание любых технологических, научно-технических и промышленных контактов с нашей страной. В то же время следует ещё раз подчеркнуть, что речь пока идёт о возможности, а не о практической реализации такой жёсткой линии. Помимо прочего, это связано с тем, что далеко не вся американская элита, и особенно деловые круги, в восторге от сверхжесткой линии в отношении России, мешающей бизнесу и нормальным научно-техническим контактам, которые установились за десятилетия.

Соответственно, чрезвычайно важно отдавать себе отчёт в том, что врагом России является не Америка как общество, не американский бизнес и наука, а вполне определённые правящие политические силы и поддерживающие их внутренние и наднациональные элиты. Работа с потенциальными друзьями, и пусть временными, но союзниками, является не менее важной, чем борьба с врагами.

Особое место в системе санкций занял российский энергетический комплекс. **Санкции нацелены, главным образом, на максимальное ограничение возможностей России в разработке новых сложных месторождений, использовании наиболее передовых технологических решений.** Эти санкции стали возможными в значительной мере из-за того, что по объективным и субъективным причинам **до этого года 80% российского рынка нефтесервисных услуг, включающих обслуживание нефтескважин, геологоразведку, глубоководное сложное бурение и т. п., занимали три крупнейшие западные инжиниринговые компании.** Всем им в соответствии с санкциями запрещено продолжать работу в России.

Важной составляющей объёмных экономических санкций стали различного рода ограничения для российских финансовых институтов и компаний в части доступа к американским и европейским рынкам капитала. Часть этих санкций носила объявленный, юридически значимый характер. Другие санкции явились неизбежным следствием снижения рейтинга России в целом и её финансовых институтов и нефинансовых компаний как заёмщиков на рынках капитала вследствие возрастания политических и экономических рисков.

Фактически введение санкций лишило банки и компании возможности новых займов и рефинансирования уже полученных кредитов. Более того, российские юридические лица после объявления санкций в IV квартале 2014 года и I, II кварталах 2015 года должны выплатить около 100 млрд долларов для закрытия кредитов либо процентов по их обслуживанию.

Сами по себе финансовые санкции, с учётом в целом устойчивого состояния крупнейших российских банков и корпораций, принимая во внимание накопленные государством резервы различного рода, не могут оказать сколько-нибудь серьёзного воздействия в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако, являясь одним из элементов системы, они, бесспорно, усилили негативную нагрузку на экономику России.

Однако, на наш взгляд, гораздо большие надежды планировщики финансово-экономической войны против России связывали и связывают не с объявленными, а с необъявленными санкциями. Уже в мае-июне этого года ряд экспертов высказал предположение о возможности финансово-экономической войны против России в виде повторения операции “Победа”, осуществленной администрацией Р. Рейгана против СССР.

Напомним, что в 80-е годы американцам удалось резко снизить цены на нефть и соответственно экспортные валютные поступления Советского Союза. Это было осуществлено через значительное увеличение добычи нефти Саудовской Аравией по прямому указанию У. Колби, тогдашнего директора ЦРУ. Все перипетии и тонкости этой истории весьма красочно и достаточно достоверно описаны в книге П. Швейцера “Победа”.

Однако большая часть аналитического сообщества и подавляющее большинство специалистов справедливо сочло такой вариант маловероятным из-за коренных отличий ситуации на рынке нефти в 80-е и нынешние годы. Коротко говоря, эта ситуация в силу очень многих обстоятельств не позволяла серьёзно манипулировать объёмами добычи.

В то же время авторы настоящего материала в своей книге “Кибервойны XXI века. О чём умолчал Эдвард Сноуден” прямо указали на возможность финансово-экономической войны против России на нефтяном фронте. Но в отличие от оперирования объёмами добычи физической нефти, на этот раз оружием могла стать, по мнению авторов, так называемая “бумажная нефть”. Книга была сдана в печать в мае, а появилась на прилавках в августе этого года.

Детальный механизм использования бумажной нефти как оружия был описан авторами с привязкой к конкретным реалиям текущей ситуации в самом начале октября 2014 года. Однако материал вызвал в то время со стороны различных экспертов и специалистов нефтяной отрасли обвинения в конспирологии и недостаточном знании реалий.

Впрочем, время расставило всё по своим местам. В первых числах декабря 2014 года глава службы внешней разведки России М. Фрадков обвинил США и западные финансовые институты в атаке на российскую валюту и снижении цен на нефть. Чуть позднее президент Ирана Х. Роухани заявил, что падение цен на нефть произошло по политическим мотивам.

Доказать правоту точки зрения, что снижение цен на нефть имеет целенаправленный характер и вызвано согласованными действиями нескольких крупнейших банков, занимающих господствующее положение в ФРС и, с одной стороны, непосредственно зависящих от администрации США, а с другой — прямо воздействующих на неё, не составляет труда.

Как известно, цена на рынке регулируется соотношением спроса и предложения. Соответственно, в прошлом веке американцы заставили Саудовскую Аравию резко увеличивать добычу нефти, чтобы создать значительное превышение предложения над спросом. Что же происходит со спросом и предложением в настоящее время? Обратимся к статистике. Согласно данным, опубликованным различными международными и государственными официальными источниками, добыча нефти в последние семь лет характеризовалась следующими показателями: в 2008 году добывалось 74 млн баррелей в сутки, в 2009-м — 72,7, в 2011-м — 74,5, в 2012-м — 75,9, в 2013-м — 76, в текущем году будет добыто 77–77,1 млн баррелей в сутки. Таким образом, за шесть лет добыча нефти увеличилась примерно на 4%. За этот же период совокупный рост мировой экономики составил несколько более 17%. Иными словами, даже с учётом программ ресурсосбережения и замены невозможных источников энергии возможными, нефть и нефтепродукты становятся всё более востребованными.

Существует точка зрения, что обвал цен на нефть произошёл из-за того, что Саудовская Аравия резко нарастила добычу нефти. Однако и это не так. Посмотрим график добычи нефти в Саудовской Аравии по месяцам: в январе 2014 года добывалось 9,7 млн баррелей в сутки, в феврале — 9,8, а марте — 9,6,

апреле – 9,7, мае – 9,7, июне – 9,8, июле – 10, августе – 9,5, сентябре – 9,7, октябре – 9,8, ноябре – 9,8.

Безусловно, в общей структуре мировой нефтедобычи происходят изменения: растут объёмы и доля в мировой нефтедобычи США, уменьшается – Венесуэлы, Нигерии, Ирака... Но на мировой объём структурные сдвиги не оказывают никакого влияния.

В чём же дело? В чём секрет *бумажной нефти*? Рынок *бумажной нефти* сформировался в конце прошлого и в нынешнем веке. В решающей степени своим существованием он обязан двум обстоятельствам: появлению производных спекулятивных ценных бумаг – деривативов – и отмене в 1999 году действовавшего с 30-х годов прошлого века в США закона Стигола–Гласса. Этот закон запрещал банкам, наряду с банковской, заниматься и коммерческой деятельностью. Значение этого закона прекрасно понимала американская элита. После крушения Советского Союза в 90-е годы прошлого века стал развиваться рынок деривативов – производных ценных бумаг самого различного рода. Сегодня мировой рынок деривативов превышает объём всей мировой экономики как минимум в 10 раз.

После отмены администрацией Б. Клинтона закона Стигола–Гласса банкам разрешили заниматься коммерческой деятельностью, и они ринулись на товарные рынки и, прежде всего, на рынок нефти и металлов, а особенно – на рынок деривативов, связанных с биржевыми энергетическими и сырьевыми товарами. В результате двух отмеченных обстоятельств и родился рынок *бумажной нефти*. Следствием рождения этого рынка стало то, что цена на нефть во все возрастающей степени начала формироваться не реальным спросом и предложением нефти, а ценами на финансовые инструменты, связанные с нефтью и их производные ценные бумаги или деривативы. По мнению инвестиционных аналитиков, в 2014 году от 30 до 60% цены нефти приходилось на спекулятивную составляющую, обусловленную “бумажной” или “деривативной” нефтью.

При этом биржевой рынок нефти и связанных с ней деривативов является рынком только по названию. Фактически это узаконенный институт отъёма денег у средних и мелких институциональных и частных инвесторов крупнейшими финансовыми институтами планеты. Среди них ключевую роль играют шесть финансовых институтов, по странному стечению обстоятельств, – резидентов США. *Goldman Sachs* и *Morgan Stanley* на сегодняшний день являются лидирующими фирмами по продаже энергоресурсов в США. *Citigroup*, *BlackRock* и *JP Morgan Chase* – основные игроки и спекулянты энергоресурсами и связаны с наиболее крупными энергетическими хедж-фондами. Кроме того, важно, что цена на нефть сегодня определяется за закрытыми дверями в трейдинговых залах гигантских финансовых институтов, таких, как *Goldman Sachs*, *Morgan Stanley*, *JP Morgan Chase*, *Citigroup* и т. п. Важнейшей котировочной площадкой является Лондонская фьючерсная биржа *ICE* (бывшая Международная топливная биржа). Биржа *ICE* является дочерним предприятием Международной товарной биржи в Атланте, Джорджия. Одним из основателей *ICE* в Атланте является *Goldman Sachs*. Любопытно также, что во всех финансовых институтах, контролирующих крупнейшие финансовые рынки планеты, в том числе и рынок *бумажной нефти*, против людей действуют так называемые алгоритмические торговые роботы. Это мощнейшие программы, быстрое действие которых составляет сотые доли секунды, ежедневно оперирующие средствами в сотни миллиардов долларов. Особенно мощные и продвинутые программы такого рода имеются у инвестиционной компании *BlackRock*, тесно связанной с администрацией Б. Обамы.

Любопытно, что все перечисленные институты с начала кризиса 2008 года получили в виде беспроцентных и постоянно пролонгируемых кредитов, то есть фактически даром, триллионы долларов от Федеральной резервной системы. Американские сенаторы выявили, что таким образом гигантские финансовые институты получили более 17 трлн долларов, сама ФРС признаётся в том, что их было чуть более трёх. Но в любом случае, крупнейшие финансовые институты в значительной мере своим благополучием обязаны ФРС.

Здесь наступает момент истины. Понятно, что американская администрация в неمالой степени зависит от ФРС, а сама ФРС, мягко говоря, не может игнорировать мнение хозяев и топ-менеджмента крупнейших американских банков. Но точно так же верно и обратное. Крупнейшие американские банки

зависят от ФРС, а ФРС прислушивается к мнению администрации президента США.

Администрация Б. Обамы встала во главе нового восточного крестового похода против России, посмевшей выступить в защиту своих национальных интересов и оспорить роль мирового доминанта. Поэтому мировой доминант, состоящий из части американских и наднациональных элит, через администрацию Б. Обамы дал “отмашку” на перенастройку рынка бумажной нефти и соответственно радикальное снижение цен на реальную нефть.

Резкое снижение цен на реальную нефть было призвано решить сразу несколько задач. Прежде всего, ухудшить ситуацию в экономике России, столкнуть её в кризис и максимально ослабить национальную валюту, безусловно, связанную с нефтегазовыми доходами. Бесспорно, американцы и саудовцы держали в уме и максимальное ослабление Ирана, для которого снижение цен на нефть намного более болезненно и неприятно, чем для России.

Видимо, существует и третья цель, которую совершенно выпускают из виду аналитики и специалисты. В третьем квартале этого года ФРС прекратила политику так называемого “количественного смягчения” или, попросту говоря, печатания долларов. Эта политика позволяла в течение трёх лет обеспечивать фантастический рост цен на фондовом рынке США и спрос на американские государственные казначейские обязательства. Рост стоимости акций полностью оторвался от динамики реальной экономики и доходности компаний и превратился в фактор накопления пресловутым “одним процентом богатейших людей” спекулятивного богатства. Одновременно рост стоимости акций позволял решать определённые внутриполитические задачи Соединённых Штатов, связанные с поддержанием сложившегося уровня жизни достаточно широких слоёв населения и улучшением ситуации с государственным бюджетом. Когда ФРС прекратила эмитировать доллары, для поддержания фондового рынка акций и рынка государственных облигаций потребовались новые объёмы средств. Их надо было откуда-то взять. Источник был найден. Это рынок товарных деривативов и, прежде всего, деривативов на нефть. Испуганные инвесторы и спекулянты, увидев первые признаки падения цен на нефть, начали тут же продавать свои фьючерсы и опционы, бежать со спекулятивного рынка бумажной нефти, переводя свои средства в акции и государственные ценные бумаги США и ведущих стран ЕС.

Таким образом, целенаправленное организованное снижение цен на нефть — это не только очень серьёзный инструмент финансовой войны, но и способ в очередной раз за счёт России и ряда других стран решить внутреннюю проблему США и некоторых других стран.

На данное обстоятельство надо смотреть трезво. Более того, пора уже самим учиться у противников методам ведения нетрадиционных жёстких противоборств, в том числе в финансово-экономической сфере. Причём вести эти противоборства так, чтобы в результате не только ослаблялся соперник, но и усиливалась собственная экономика.

Остаётся ответить на заключительный вопрос: почему против России именно сейчас применены санкции. Казалось бы, ответ очевиден. Санкции — это ответ на воссоединение Крыма и России, политику России по защите своих национальных интересов. В немалой степени это действительно так. Однако вполне вероятно, что в том или ином виде подобные санкции, особенно в необъявленной, но наиболее болезненной их части, были бы так или иначе применены, даже если бы на Украине ничего не происходило, а президентом этой страны по-прежнему оставался бы В. Янукович.

К такому достаточно парадоксальному предположению подталкивает одна, чётко прослеживаемая историческая закономерность. В 1774 году в России в самом разгаре была Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва, о которой А. С. Пушкин ёмко написал как о “русском бунте — бессмысленном и беспощадном”. В том же 1774 году в Британии был изобретён революционизирующий тогдашнюю ведущую отрасль — лёгкую промышленность — ткацкий станок, а Д. Уатт внёс решающие изменения в свою паровую машину, которая, собственно, и возвестила начало решающей стадии Первой производственной революции. В декабре 1825 года на Сенатскую площадь вышли войска, возглавляемые мятежниками, которые впоследствии превратились в героев-революционеров. Осенью того же 1825 года Д. Стефенсон запу-

стил первый локомотив на первой общедоступной железной дороге в мире Стоктон–Далингтон на северо-востоке Британии. Железные дороги сделали Первую промышленную революцию необратимой.

В 1905 году началось сооружение завода Генри Форда, где впервые в мире было применено массовое конвейерное производство, сформировавшее облик современной индустрии. В 1908 году из стен завода выехал знаменитый “Форд-Т”, первый массовый автомобиль в мире, который, собственно, и ознаменовал начало Второй производственной революции. Россия же в 1903–1905 годах участвовала в трагически закончившейся Русско-Японской войне, а затем на три года погрузилась в пучину смуты и первой русской революции.

В 1923 году в США главным энергетическим источником для индустрии, транспорта и т. п. стала нефть. К этому моменту на США приходилось 72% мировой добычи. Америка стала лидером Второй производственной революции. Что же касается России, то страна, на которую в 1913 году приходилось почти 20% мировой добычи нефти и которая успешно конкурировала с ведущими державами в электротехнике, энергетике, авиастроении и т. п., к 1923 году в результате кровавой смуты, двух революций и гражданской войны откатилась в дикость, по сути, уничтожив свою промышленность и транспорт. Показательно, что в 1923 году на СССР приходилось менее полутора процентов общемировой добычи нефти.

В 1979 году в Соединённых Штатах большая часть компаний, входящих в список Форчун-500, стала использовать в коммерческой и инженерной деятельности электронно-вычислительные машины. В 1981 году IBM создал первый персональный компьютер: стартовала информационная революция. СССР в 1979 году втянулся в войну в Афганистане, где его войска находились до 1987 года. В 1991 году стал общедоступным интернет. Мир вступил в эпоху информационной революции. Этот год в наших календарях отмечен демонстрациями, митингами и августовским путчем. В декабре 1991 года в результате Беловежского сговора с политической карты мира исчез СССР и страна погрузилась в очередную смуту. С 1993 года, с появлением первого браузера, интернет из прибежища высоколбых превратился в доступную для всех виртуальную реальность. У нас этот год случились октябрьские бои в Москве и расстрел Белого Дома.

Сегодня, как мы старались показать, мир стоит на пороге начала решающей стадии Третьей производственной революции. Соответственно, значительная часть западных наднациональных и национальных элит использует против России, своего конкурента, апробированные, успешные в прошлом, методы отбрасывания нашей страны назад. Россию в очередной раз хотят погрузить в смуту, беспорядки, разрушение экономики и инфраструктур, с тем чтобы в последующем обречь на бесперспективное догоняющее развитие. В этом нет ничего метафизического или конспирологического. Как говорится в нынешних фильмах и книгах, “ничего личного — просто бизнес”.

Понимание проблемы — это первый шаг к её решению. Об остальных шагах — во второй, заключительной части работы.

(Окончание следует)

БОРИС КЛЮЧНИКОВ

СУМЕРКИ ВАШИНГТОНА

О новых элементах метаполитики

*Давайте же! Откройте, наконец, уши,
Я буду говорить вам о смерти народов.
Так говорил Заратустра.*

Ф. Ницше

История вновь ускоряет бег. И мир, затаив дыхание, наблюдает грандиозные перемены, выбросы в мировую политику всё новых и новых протуберанцев. Таких неожиданных и грозных, что они могут спалить мир в планетарной войне. Китай теснит США; центр мировой экономики впервые за сотни лет, со времён Колумба, перемещается из Атлантики в Тихоокеанский бассейн. Огненная лава радикального исламизма заливают Ближний и Средний Восток. Мираж нового халифата тревожит умы и сердца миллионов мусульман, которые ненавидят Америку и презирают Европу. Рушатся светские арабские государства. Европа — гигантская медуза — вновь и вновь показывает миру несамостоятельность во внешней политике. Исламистский джихад стоит у ворот дряхлеющей Европы. Евроцентризм, рыночная демократия и неолиберализм отступают. Гендерная революция и гей-культура сползают из вырождающейся Скандинавии на католическую Европу. А эта революция много страшнее эпидемии Эболы, потому что она крушит остатки христианства.

На первый взгляд эти и десятки других протуберанцев-процессов не связаны между собой. Они проявляются разрозненно во времени и пространстве. Но это на первый, поверхностный взгляд. Не конспирологические домыслы, а тщательный анализ многих учёных приводит к заключению, что в мире есть и занимается мироустройством некий мировой проектор, что эти протуберанцы следует рассматривать как элементы метаполитики. Метаполитика не занимается мелочами, а прокладывает долгосрочные глобальные тенденции развития планеты. Это знал, например, президент США — великий политик Ф. Д. Рузвельт, который повторял: «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, значит, так было задумано».

Задуман был процесс целенаправленного уничтожения наций и их государств, традиционных ценностей, религий и культур. Мировой проектор шаг за шагом создаёт искусственный, им управляемый унифицированный «человейник». Мир, описанный Е. Замятиным в повести «Мы» и О. Хаксли в повести «О, дивный новый мир», становится реальностью. «Смерть Запада» — так

озаглавил свою книгу известный во всём мире учёный, кандидат в президенты США Патрик Дж. Бьюкенен*. Да, первой жертвой задумано сделать Европу, европейцев, самых образованных и законопослушных. С прочими народами будет много легче справиться. Задумано величайшее преступление, и если мы вместе с европейцами не проснёмся, не мобилизуемся, то в конце намеченной траектории просматривается полное, окончательное искоренение христианства, смерть европейских народов и вслед за этим — всех великих мировых религий. Но есть надежда выстоять, потому что цели мирового проектора не совпадают с путями Промысла Божьего. Только он вершит метаисторию!

Мировой проектор

— Мировой проектор? — спросит читатель. — Кто он, где находится, каковы его цели?

Он невидим, но о нём давно говорят, его давно называют то “закулисой”, то мировым правительством, то невидимым кукловодом и т. д. Он выбрасывает свои щупальца то в Трёхсторонней комиссии, то в Бильдербергском клубе, то на мировых биржах и финансовых рынках, посредством которых он координирует и контролирует *своих кукол* — “национальные” правительства. Уже многие годы этот проектор с дьявольской напористостью меняет быт, нравы, образ жизни народов, создавая выгодную только для себя среду обитания, среду безжалостного ростовщичества, паразитизма, среду, где деньги становятся божеством, всеподавляющим оружием. В итоге народы “золотого миллиарда” забыли Бога. Богом стали деньги. Но человек предполагает, а Бог располагает, и потому, казалось, победный марш мирового проектора ныне неожиданно заканчивается на краю пропасти. В перспективе неизбежный коллапс мировых финансов и вслед за этим — мировой экономики.

Когда начинается череда поражений, отступлений, кризисов, сразу возникают противоречия. Так произошло и с мировым проектором. Они проявились особенно явно в скандале с директором Международного валютного фонда (МВФ) Стросс-Каном. Последний пытался превратить МВФ во всемогущий Центральный банк планеты, по сути, в явное, легализованное мировое правительство, которое бы властвовало над центральными банками всех стран, в том числе над американской Федеральной резервной системой (ФРС) и, следовательно, над самим Вашингтоном. Но этот замысел столкнулся с гегемонистскими целями американских государственныхников. Они под флагом борьбы за демократию ослабляют и крушат все прочие государства и нации, но своё бережно охраняют и укрепляют. Исходят из доктрины, что США — исключительное, мессианское государство. И на это “чудо-государство”, на эту американскую мечту о “сияющем граде на холме”, возвышающемся над мерзостью запустения и распада прочих народов и государств, замахнулся Стросс-Кан и стоящие за ним *транснациональные* банки и корпорации. Его замысел угрожал полностью растворить США в среде транснациональных банков и транснациональных монстров-корпораций. Эта угроза реальна и нарастает.

Из-за этого в монолите властителей мира уже в 90-е годы начались трения, а затем произошёл раскол. Сторонники мировой гегемонии США сплотились вокруг тех сил, которые эксперты условно называют “американцами” или группой Рокфеллера. Они не смогли противостоять деиндустриализации, но когда транснационалы Ротшильды замахнулись на доллар как единственную резервную валюту мира и стали выводить активы и перемещать банки из США в Лондон, а затем в Гонконг, тесное сотрудничество между Рокфеллерами и Ротшильдами было нарушено. Впервые за сто лет существования ФРС, учрежденной в 1913 году, конгресс США утвердил Акт о введении прямого аудита ФРС. Это была большая победа группировки Рокфеллеров над Ротшильдами и их “частной лавочкой” ФРС. ФРС многие годы была кондоминиумом Рокфеллеров и Ротшильдов. Но Ротшильды поддержали введение евро, затем стали поддерживать юань. Это стало началом тайной войны против доллара, а следовательно, — против гегемонии США, ибо США — это не столько во-

* Бьюкенен Патрик Дж. Смерть Запада. М., Act, 2004. С. 443.

енная империя, сколько империя доллара. Именно империя доллара, несмотря на то, что более половины военных расходов всего мира приходится на США. Эта страна может себе позволить такие чудовищные расходы на вооружение только потому, что доллар является мировой резервной валютой. Ему пока нет замены.

В мире давно знают, что США и его ФРС являются невиданными по масштабам фальшивомонетчиками. Они бесконтрольно включают печатный станок и самолётами развозят по всему миру доллары. Немцы, французы, итальянцы, вся Европа, весь мир возмущаются этим мошенничеством. Немцы кричат об этом: “Dollarweltbetrug!” — “Всемирный долларовый обман!” Мировой валовый продукт вырос с 1971-го по 2000 год в два раза, а денежная масса в обращении — в 40 раз! Главное, что 75% этих ничем не обеспеченных бумажных денег в мире составляют доллары. Если бы удалось покончить с американским мошенничеством — фальшивомонетничеством, — Вашингтон оказался бы банкротом. Ему не на что было бы содержать армию, флот, 28 разведывательных служб, 750 военных баз, сеть покрывших весь мир.

После Второй мировой войны вашингтонские и лондонские стратеги чётко обозначили Советский Союз как главного противника. Сотни аналитических центров годами изучали советское государство, выискивая его слабые места, ударив по которым можно было бы его развалить. В случае с США и без углублённых исследований ясно, что доллар и его обеспечение — это их ахиллесова пята. Основное обеспечение доллара — энергоресурсы планеты, арабская нефть, в первую очередь, нефть Саудовской Аравии и нефтегазовых эмиратов.

Генри Киссинджер, — бесспорно, влиятельнейший политик и учёный — ещё в 70-х годах сформулировал геополитическую максиму: “тот, кто контролирует нефть, господствует над нациями; кто контролирует продовольствие — покоряет народы; кто контролирует деньги — властвует над миром”. Жизнь подтверждает эту максиму. Вот почему так опасно для США решение, принятое в ноябре 2014 года Китаем и Россией: избегать доллара и переходить в торговле на рубли и юани. Так же ныне поступают уже десятки стран, включая таких американских союзников, как Япония. Японцы после трагедии на атомной станции Фукусима сами предложили Китаю торговать в национальных валютах и покупать китайские гособлигации в юанях. К этому склоняются и страны БРИКС. То, что доллар — самая уязвимая брешь США, показывают их военные интервенции.

Разгром Ирака и Ливии произошёл, главным образом, из-за того, что Саддам и Каддафи попытались заменить в расчётах за свою нефть доллар на евро. Европейские политики проглотили эту горькую пилюлю в Ливии, обнажив свою несамостоятельность. Они в долларовом капкане, потому что евро тоже, как и рубль и прочие национальные валюты, привязаны не к золоту, не к корзине самых необходимых природных ресурсов, а к доллару. Несерьёзны и опасны выводы, что интерес США к Ближнему Востоку слабеет и перемещаются на Тихий океан, что на Ближнем Востоке они уже добились своих целей. Без нефти и газа Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья монополия доллара не устоит! Тем более, что на тропу войны против доллара и против своего диссидента — Рокфеллеров — вышел сам мировой проектор — могущественная группировка финансовых олигархов, тех, кого эксперты называют Ротшильдами*.

Двуликий проектор и антиатлантизм

Разногласия между Рокфеллерами и Ротшильдами возникли по фундаментальным проектам будущего мироустройства. Ротшильды раньше других поняли, что глобализация — американизация, однополярный мир во главе с США — неосуществима и не состоится. Объективные процессы влекут мир

* Бытующие названия “Ротшильды” и “Рокфеллеры” весьма условны. Рокфеллеры, например, тоже входили в группировку Ротшильдов, но откололись. В группировку Ротшильдов входят и банкирские кланы Оппенгеймеров, Кунов, Шифов, Варбургов, Барухов и другие. Барухи — самый родовитый клан, корни которого уходят в финансы Римской империи.

к созданию экономических макрорегионов или импероподобных образований. Банкирские кланы контролируют финансовые потоки. И поэтому им необходима конкуренция между экономическими регионами. Они поддерживают возникновение новых мировых или региональных резервных валют. Кандидатами уже выступают евро, юань, фунт стерлингов. Поэтому Ротшильдам не нужна ни монополия доллара, ни однополярный мир. Им нужны регионы со своими резервными валютами, растущий спрос на рынках денег, спрос на обмен валют. Они, Ротшильды, способствовали мощному подъёму Китая, присматриваются к Евразийскому Экономическому Союзу, подают надежду Европе, мнящейся, как кролик, перед американским удавом. Вырисовывается картина двуликого мирового проектора. Или проще — два крыла глобального бизнеса: Рокфеллеры с проектом американской гегемонии одного мирового полюса, где сияют и правят США, и Ротшильды-Виндзоры — *many changers* — менялы, с проектом многополюсного мира*. На растущее влияние англо-голландского финансового спрута Виндзоров — Ротшильдов уже многие годы указывают исследования американского политика и учёного Линдона Ларуша (*Lyndon Larouche*).

Однако помимо Ротшильдов и Рокфеллеров в проектировании будущего мироустройства ныне всё заметнее и чаще появляется и третий игрок или актор: корпорации и бизнесмены реального сектора экономики, прежде всего, в Европе, национал-патриоты, евроскептики, популистские левые партии, даже финансовый олигархат и старая аристократия континентальной Европы. Всех объединяет стремление ослабить или покончить с зависимостью от США. Кратко назовём этого актора антиатлантизмом. Политическое течение, называемое атлантизмом, стало доминирующим в годы холодной войны. НАТО было создано именно на его основе для защиты от “большевизма” Восточной Европы.

Атлантизм основывается на каркасе двухсотлетней Британской империи. Это империя мировых финансов, империя медиасферы, культуры рока, наркотиков, сексуальных извращений, цифровых социальных сетей. Империя, где целью ставится сокращение населения планеты с 7,2 миллиарда до 1 миллиарда. Наследник английского престола принц Филипп как-то позволил себе высказаться о 6 миллиардах лишних ртов на планете. После развала СССР в Европе нарастали выступления против атлантизма, ибо он оставался основой неолиберализма, монетаризма, мультикультурализма и доминирования Вашингтона во внешней политике европейских стран. Старая Европа, её историческое каролингское ядро — Германия-Франция-Северная Италия — осознали, что они более не нуждаются в американской защите. От кого ныне их защищать? Нет советской угрозы, но остались цепи НАТО и её политическая надстройка — Европейский Союз.

Это один из самых явных новых элементов мегаполитики XX века. И его следствием стало то, что в сознании европейцев нарастает понимание, что Западная Европа — это только атлантический фасад великого континента Евразии, тихоокеанским фасадом которого является Россия, общий дом европейцев от Рейкьявика и Гибралтара до Берингова пролива и Владивостока. А в наш век тихоокеанский фасад становится более важным, чем атлантический, так как центр экономической жизни планеты стремительно перемещается в бассейн Тихого океана.

Противовесом атлантизму стал континентализм, различные проекты Большой Европы, Евросибири, Державы Северного полушария, Евразии, бо-реального пространства, оси Париж-Берлин-Москва. Непокоримой верной атлантизму оставалась только Англия. И вдобавок — Польша да прибалты. Но разве можно было Вашингтону полагаться на таких союзников? И потому американская дипломатия предложила проект Трансатлантического сообщества с целью устранить все оставшиеся препятствия для свободной торговли и циркулирования товаров и услуг**. Но проект завис, потому что связи евро-

* *Many changers* — менялами — их называл президент США Ф. Д. Рузвельт. Он освобождал свою страну, как он сказал 26 июня 1936 года, “от экономической тирании некоторых”. Сказал очень осторожно, потому что реально оценивал могущество противника.

** *Resolution du Parlement Européen du 26 mars 2009 sur l'état de relations transatlantiques.*

пейского бизнеса с США становятся всё менее выгодными. 75% экспорта Германии, например, направляется на рынки Большой Европы, включая Россию. Зарплаты в США стали ниже, чем в некоторых странах Европы, и американские товары стали успешно конкурировать с европейскими.

Когда в августе 2008 года канцлер Меркель заняла позицию, крайне враждебную к России и Южной Осетии, то немецкий бизнес, да и многие политики дали ей понять, что они не желают конфликтов с Россией. И фрау Меркель сникла, стала отступать, как и президент Франции Саркози. В Европе уже тогда почувствовали, что Вашингтон не может претендовать на роль арбитра и безусловного мирового лидера. На Украине Германия имеет свои особые интересы. Но не Франция. То же произойдёт и в конфликте вокруг Украины. Вашингтон воюет на нескольких фронтах: на Ближнем Востоке против Исламского государства, в Сирии, в Ливии и на Украине. Турция действует без прежней оглядки на Вашингтон. Ей не по пути с ним в курдском вопросе. Саудовская Аравия определённо устала от объятий американского удава, от пустышек-долларов.

Китай объявил, что к 2020 году намерен стать не только мастерской мира, но и его лабораторией, а к 2050-му стать лидером научно-технического прогресса. Тайвань де факто становится частью КНР. США безуспешно гонятся за китайским миражом. Китай обгоняет Америку во многих областях, быстро наращивает вооружённые силы. Несколько лет назад китайцы за бесценок купили у Украины недостроенный советский авианосец. Вначале из него в Макао сделали казино, но вскоре решили достроить его, и он стал первым китайским авианосцем “Лиаонинг”. Китай уже располагает более чем 500 крупными военными судами. Это третий по мощи флот мира, и он бросает вызов американскому морскому могуществу.

И тем не менее, в современной геополитической конфигурации именно “Россия, — писала *Financial Times*, — становится центром гравитации всего мира, который всё более удаляется от Вашингтона”*.

Итак, идёт грандиозное соперничество наднациональных акторов. Что о них известно? К сожалению, очень мало. Но кое-какие элементы не вызывают более сомнения. Например, что самой могущественной является группировка транснациональных банков, возглавляемая Ротшильдами. Они постепенно выходят из парадигмы американоцентристского мира, поддерживают бег от доллара. Это видно, например, в спекуляциях небезызвестного Дж. Сороса. Шаг за шагом они создают инфраструктуру региональных менял — *many changers*. Они же контролируют центральные банки большинства стран мира, в том числе Банк Англии и банки Гонконга в Китае. Главным агентом Ротшильдов в Гонконге является банк HSBC. Гонконг уверенно становится финансовой столицей мира.

Активы Ротшильдов оцениваются экспертами в 500–600 триллионов долларов в сравнении с 11,5 триллиона Рокфеллеров. Что значат 500 триллионов долларов? Мировой валовой продукт ныне составляет 71,5 триллиона долларов. Это значит, что Ротшильды скопили активы, равные сумме всего того, что человечество произвело в минувшие десять лет. Ротшильды, как отмечалось, поддерживают Китай и присматриваются к перспективам Евразийского Союза и его особой валютной зоны. Они обычно не плывут против течения, тщательно следят за объективными процессами геоэкономики и рубят то, что, как говорит Сорос, клонится. А клонятся ныне к закату США.

Итак, приходим к выводу: среди атлантистов уже наблюдается разброд и шатания. Раскол будет углубляться по мере нарастания кризиса, провалов и неудач США. Кто и куда склоняется в этой тройке мировых проекторов, можно ориентироваться по источникам доходов: Ротшильды устанавливают контроль над обменом валют и направлениями финансовых потоков. Рокфеллеры — американцы — делают ставку на “станок”: эмиссию доллара как всемирной резервной валюты. И, наконец, антиатлантисты делают ставку на реальное производство, на золотой стандарт нескольких резервных валют. Этот разлад и раскол проецируются и на российскую элиту. Это особая, очень актуальная тема.

* *Financial Times*, 25 August 2008.

Дипломатия неоконсервативов

Особый интерес ныне представляет группировка Рокфеллеров. Это не только военно-промышленный и энергетический сектор США. Её поддерживают и миллионы государственных и патриотов, которые верят в исключительность и мессианство США. Они как-то не удосуживаются усвоить уроки своей истории: США стали сверхдержавой потому, что их мудрые отцы-основатели были, в основном, изоляционистами, даже в мировые войны вступали на исходе их, пожиная плоды побед России, Франции, поражений Германии. К большому несчастью американских патриотов, они допустили к рычагам внешней политики своей страны ныне широко известных **неоконсервативов** — неоконсервативов.

Традиционная Америка была сломлена при президенте Клинтоне. Патриоты-изоляционисты, те, кто создал чудо-государство США, последователи президента Ф. Д. Рузвельта оттеснены от власти. Именно неоконсервативы ответственны за военные преступления в Югославии, за организацию и подъём движения исламистов, в том числе талибов, братьев-мусульман, “Аль-Каиды” и джихада ИГИЛ. Это они разбомбили светское мусульманское государство Ирак, разгромили благополучное государство Ливию, ввергли религиозно терпимую Сирию в нескончаемую гражданскую войну. Они авторы программного проекта “Новое американское столетие”, которое нацеливает простодушного американца на мировое господство посредством локальных войн, “управляемого хаоса”, цветных революций, превентивных ударов, гуманитарных интервенций, “надправовой легитимности” и т. д. Это попрание международного права.

Идеолог неоконсервативов Лео Штраус воспитывает соратников так: “Есть только одно естественное право: право высших править низшими. Страх и ненависть — это могучий объединяющий принцип, он обеспечивает контроль над вульгарными массами”. Для своих и среди своих он апологет нацизма, который вновь угрожает Европе, теперь из Украины. “То, — писал он, — что Германия пошла в 30-е годы направо и изгнала нас, вовсе не означает, что принципы правой доктрины должны быть отброшены. Напротив, только на базовых принципах правой доктрины — фашистской, авторитарной, имперской — можно эффективно бороться против посредственных фикций, жалких призывов соблюдать “неотъемлемые права человека”*. Сравним с наставлениями Гитлера: “Человечность является чем-то средним между глупостью, трусостью и самоубийством”**.

Плоды стратегии неоконсервативов мы ныне пожинаем на Украине: военные преступления “Правого сектора”, недобитые бандеровцы Тягнибока, национальные “гвардейцы”... Не будем забывать, что нацизм начинал в 20-е годы свое победное шествие по Европе в периферийной, обиженной Версальским договором Венгрии при адмирале Хорти, затем в Италии при Муссолини и привёл путём голосования к созданию “государства фюрера” в Германии, которое залило мир кровью 50 миллионов европейцев, в том числе 13,5 миллиона немцев. 75% мобилизованных немцев погибло. Ныне надо помнить слова чешского антифашиста Юлиуса Фучика: “Люди, будьте бдительны! Фашисты рвутся к власти”. Запад смертельно болен, и бактерии нацизма быстро множатся и становятся перед лицом исламистского джихада всё более востребованы. Неоконсерватив Норман Подгорец разжигает ненависть не к радикальным исламистам, а к исламу в целом. В статье “Почему надо бомбить Иран?” он страшит “исламо-фашизмом”, называя саму великую религию ислам “мутацией тоталитарной болезни”. Коран неоконсервативы называют “Исламской “Майн Кампф””.

Лик перманентно пассионарных неоконсервативов всё чаще проглядывает в официальных речах и документах вашингтонских политиков: хамство, кипучая ненависть, контрпродуктивная наглость. Это не было свойственно ни традиционной дипломатической культуре Америки, ни, тем более, английской. Да, они были напористы, безжалостны, целеустремлённы по сути, но по форме вежливы, деликатны, даже аристократичны. Что случилось с американской дипломатией? Смена поколения дипломатов? Неумение держать удары? Поте-

* Цит. по Nicolas Xenos. Leo Strauss and the Retic of War and Terror. Logos Journal. Com.

** “Моя борьба”. Таллин. “Ода”. С. 114.

ря самообладания из-за множасьихся неудач и жестоких поражений? Куда подевались знаменитые *“understatement”* и хладнокровие? При чтении дипломатических документов Вашингтона, которые публикует Викиликс, наступает даже разочарование в противнике: некомпетентность, низкая квалификация, авантюризм, надменность, мелочность, явная лживость, презрение к фактам и доказательствам, действия напролом. У них ведь квазимонополия в СМИ. А монополия ведёт к загниванию. Это особенно ясно проявляется в истории катастрофы малайзийского “Боинга” на Украине.

Пресловутую стратегию “Анаконды”, стратегию окружения, изоляции и удушения России разработали и осуществляют опять же неоконь. Этот геополитический удав забросил свои кольца уже на православную Украину и полностью контролирует недалёких “безбашенных” националистов-уков, которые не видят явного: их используют и бросят. Деяния таких политиков-неконов, как бывший вице-президент Д. Чейни, М. Олбрайт, П. Вульфовиц, Н. Либерман, Д. Фейс, многие исследователи уже квалифицируют как преступления против человечности. Устои миропорядка подрывают и писания таких идеологов-неконов, как Р. Пёрл, У. Коэн, С. Бергер, У. Кристол, Н. Подгорец, Л. Штраус, П. Каган и многие другие. Прославившаяся на киевском майдане Виктория Нуланд — жена неоконь П. Кагана. В Госдепе она ведаёт делами сателлитов Восточной Европы и матерно кроет Западную Европу. Друг России, экс-депутат Европарламента итальянец Джульетто Кьезе уже давно изучает неоконь и вполне обоснованно пришёл к следующему выводу: “Я твёрдо убеждён, что внутри США действует в буквальном смысле слова криминальная и безответственная группа людей, так называемые неоконь...”^{*}.

Ренессанс голлизма

Человечество ныне стоит перед грандиозной задачей: создать сбалансированную систему безопасности многополярного или полицентристского мира. Инициатором выступает Россия, её национальный лидер. Мир устал от авантюры Вашингтона. Многие ищут новых союзников. Взорь обращаются, в первую очередь, к России, да и сама Россия ищет союзников. И не только на Востоке, но и в Европе. Союз с атлантистами, которые стоят у власти в странах Евросоюза, ныне исключён. Они безоговорочно и спешно исполняют заказы Вашингтона.

Атлантисты засели на командных постах в Евросоюзе. Дело в том, что сам генетический код Евросоюза — атлантистский. Отцом Евросоюза был вовсе не Роберт Шуман, вознесённый на Олимп, а госсекретарь США Дин Ачесон. Его целью была замаскированная оккупация европейских государств, постоянный надзор, присутствие в Европе власти и военной мощи США, конечно, “в общих интересах европейцев и американцев”. Генсек НАТО лорд Исмей кратко определил ещё в 50-х годах задачу: *“America in, Russia out, Germany down”* — “Америка в Европе, вон из неё Россию, пригнуть Германию”. Этот замысел распознал гениальный Шарль де Голль, метко назвав “федеративную Европу самоблокирующим ансамблем”, управляемым “внешним федератором” — США. Де Голль выдвинул альтернативу: нет “отечеству “Европа”, вперёд, к Европе отечеств”, т. е. не за федеративную, а конфедеративную Европу до Урала и Владивостока.

Украинский кризис высветил полную зависимость и брюссельской бюрократии, и канцлера Германии, и других европейских политиков от диктата неоконь в Вашингтоне. В такой мере, что в Москве по поводу санкций официально было заявлено, что Россия примет во внимание несамостоятельность европейских властей. Гордые своим имперским прошлым, своими победами и научными достижениями, европейцы глубоко оскорблены и унижены: американцы вновь показательно выкрутили им руки. На виду всего мира заталкивают европейский капитал в трансатлантическое сообщество, бесцеремонно заставляют порвать взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

^{*} См. подробнее статьи Б. Ф. Ключникова “Россия под прицелом неоконь” и “Анаконда” в журнале “Наш современник”, соответственно в № 10 за 2008 год и № 5 за 1999 год.

Европейцы, в первую очередь, предприниматели в реальном секторе экономики Германии, Франции, Италии, уже два десятка лет с недоумением, а ныне с негодованием наблюдают, как “национальные” правители часто действуют в угоду американцам, вопреки национальным интересам. Зачем, в чьих интересах было бомбить и дробить Югославию?

Зачем европейцам в подбрюшьях мусульманские государства Албания, Босния, Косово с 13 американскими военными базами? По первому зову они начнут джихад против стареющей Европы. В мусульманском мире, напротив, 40% населения относится к возрастной группе менее 15 лет. Зачем “гениальные художники” американских разведывательных служб ляпают по всему Ближнему и Среднему Востоку, в странах на постсоветском пространстве “цветные” революции? Не потому ли, размышляют ныне европейцы, что Большой Брат, осуществляя геополитику нефти и газа, решил поставить жизненно важное снабжение Европы энергоресурсами под свой контроль? Иначе Европа начнёт закупать нефть только за евро, а доллар будет всё более хиреть. Помимо этого, американцы ищут рынки сбыта для своего сланцевого газа и нефти. Устранив поставки энергоресурсов из России, сорвав посредством украинских бандеровцев работы по “Южному потоку”, надавив на слабую Норвегию, Вашингтон готовит энергетическую зависимость Западной Европы, подрывает её конкурентоспособность и кредитоспособность, ставит её в зависимость от своего сланцевого газа и нефти. В итоге, мечтают в Вашингтоне, США станут единственной в мире тихой гаванью для капиталов, а доллар укрепится, как единственный якорь спасения. Главное в этой стратегии — не допустить возникновения центра сопротивления: оси Париж–Берлин–Москва. Цели и планы США в Европе медленно, но верно становятся ясными и неприемлемыми для общественного сознания европейцев.

Особенно болезненно воспринимаются непрекращающиеся титанические усилия Вашингтона остановить сближение Европы с Россией. Об этом писал 12 мая 2012 года Г. Д. Геншер, 18 лет бывший министром иностранных дел ФРГ. Статья его озаглавлена “Не конфронтация, а союзничество с Россией”. Особо выделена как элемент новой метаполитики формула Геншера: “Решение больших проблем нашего времени возможно совместно с Россией, но ни в коем случае не вопреки ей”. Статья была приурочена к конференции в Вене “Европа отечеств или отечество “Европа”. Или, например, что писал ещё пять лет тому назад главный редактор французского журнала *Revue de la Defence Nationale* Оливье Ведрин в книге “Идеи для единой Европы”: “Европа от Лиссабона до Владивостока — это единственное решение, приближающее нас к планетарному консенсусу”. И далее прозорливая оценка личности Путина: “Путин — единственный в Европе лидер, который излагает свои взгляды ясно и конструктивно”*. В. Путин вновь подтвердил это выступлением в Сочи 25 октября 2014 года.

Долговая бомба

Есть у Вашингтона и правящих там неоконцов ещё одна срочная, трудно решаемая задача: заставить весь мир, прежде всего, богатую Европу оплачивать государственный долг США. Он уже достиг 17,5 триллиона долларов, то есть превысил ВВП страны, и нарастает ежегодно на один триллион. Это беспрецедентное долговое бремя можно сбросить или во время всемирного кризиса путём объявления государственного банкротства — дефолта, или серией больших войн и хаоса, когда миру, прежде всего, европейцам можно будет сказать: мы вас защищаем от агрессии *русского медведя* или от ислама! Так платите! В этом цель и смысл неслыханной русофобии и исламофобии, разжигаемых СМИ, десятками тысяч продажных европейских журналистов, посаженных на иглу грантов спецслужб. Медиасфера, где монопольно распоряжаются американцы, переполнена клеветой о России и Путине. Речь не об украх. Речь о таких типах, как Ж. Баррозу, который лгал, будто Путин готовится за пару недель захватить Киев, о провокаторе и недавнем генсеке НАТО Фог Расмуссене; о Сикорском, уверявшем мир, что Путин предложил ему раздел Украины. Такая геббельсовская низость в большой политике — признак бессилия и надвигающегося краха атлантистов.

* Vedrine Oliver. “Idees pour une Europe unies”, Paris, 2009.

Пугают европейцев Россией! Она-де захватила Крым, а завтра возьмёт Прибалтику, Финляндию и т. д. Скрывают, что подлинная грозная опасность исходит от бандеровцев, захвативших Украину, от ползучего неонацизма, штаммы которого живы в Европе. Вашингтон натравливает Европу на Россию потому, что считает её главной виновницей своих поражений: именно Россия, спасая Сирию, отвела удар от Ирана, Египта, Йемена. Даже Саудовская Аравия и Эмираты, зная коварство американцев, меняют своё отношение к России: может, она поможет, когда неоконцы начнут перекраивать границы государств на Ближнем Востоке. Не случайно лидеры арабских государств зачастили в Москву, просят на приём к Путину.

Из-за множасьихся неудач, очевидных провалов и скрытых язв США теряют уверенность, творят глупости. Почва уходит у них из-под ног. Это сумерки великой страны и виновники тому — неоконцы. Вдруг внутренняя оппозиция оповещает мир, что бесконтрольная эмиссия долларов зарезервирована, в основном, для “параллельной экономики” — для наркобизнеса, для нелегальной торговли оружием, для чёрных рынков, где правит бал ЦРУ. Затем мир узнаёт, что США — вовсе не самая большая экономика мира. Многие эксперты утверждают, что Вашингтон систематически фальсифицирует статистику: расходы на оборону, число безработных и др. занижает, доходы завышает. Полагают, что ВВП США завышен на 35%. Китай якобы, напротив, занижает свой ВВП чуть ли не на 50%, так что реальный ВВП Китая — 17 триллионов долларов, что больше, чем ВВП США. Если это так, то госдолг США уже превышает их ВВП! Проблема госзадолженности США — это грозная опасность для всего мира. Она должна решаться без промедления, под надзором ООН. Это бомба, заложенная под мировыми финансами в целом. В метаполитике наших дней следует сходить из того, что уже идёт мировая финансовая война. Можно уже сейчас сокрушить доллар, но по последствиям это сравнимо с применением ядерного оружия. Исход — война без победителя!

“Аннушка уже пролила масло” — оружие против доллара уже готово: Китай держит 4 триллиона долларов в казначейских билетах США; Япония и Саудовская Аравия — по 2 триллиона. Среди крупных держателей — Германия, Россия, Франция. Но Китай идёт другим путём: за доллары-пустышки он скупает золото и реальные ценности — шахты, порты, заводы и прочую недвижимость. Когда ситуация позволит, он нажмёт кнопку финансового взрыва. Китай и страны БРИКС, как дамклов меч, нависают над США. Россия инициирует создание финансово-экономических структур, альтернативных атлантизму. Это, бесспорно, новейший элемент метаполитики. Китай мог бы скупать ежегодно до 4 тысяч тонн золота! Но ему мешает “денежная НАТО” — США, Англия, Европейский центральный банк. Они сами сгребают золотые запасы и реальный сектор экономики задолжавших европейских стран, таких как Греция, Португалия, Ирландия, постсоветские страны.

Широко известно, что неоконковский банк “Гольдман Сакс” годами охотился за национальными богатствами Греции и довёл её до дефолта. Затем Германии и Франции пришлось спасать эту страну. У них не было выбора, ибо дефолт Греции ставил под угрозу в целом европейскую валюту евро. Спасение 9-миллионной Греции обошлось Евросоюзу, в основном Германии, в 231 млрд евро. Сколько потребуются для спасения 40-миллионной Украины? На что надеются киевские *яценюки*? Заметим, что в таких кризисных ситуациях вырисовывается ещё один трюк новой политики Вашингтона: поставить немцев в такое положение, чтобы они платили за всех бедолаг Евросоюза плюс за его ассоциированных членов. “Украина — цэ ж Европа!” — горланят майданщики. Это обескровливает Германию, озлобляет немцев. Среди них зреют *гроздь гнева*. А европейские атлантисты втуне пытаются устранять финансовые преступления, не смея даже назвать финансовых мошенников за океаном. Канцлер Меркель беспомощно жалуется: “Возможности Германии не безграничны!” — *Nicht unbegrenzt!*

Немцы возмущены также тем, что Вашингтон отказывается выполнить договорённость возвратить Германии её золотой запас в 1800 тонн золота. Всё чаще высказываются подозрения, что этого запаса в хранилищах США давно нет, что он использован для покрытия американских долгов. В общественном сознании европейцев растёт протест против Вашингтона и его тиранического управляющего — брюссельской бюрократии Евросоюза.

20 лет назад началась первая чеченская война. Мятёжная республика под руководством генерала Д. Дудаева объявила о выходе из состава Российской Федерации. В Грозном и других городах развернулись репрессии против русского населения и сторонников центральной власти. Тогдашний министр обороны генерал Грачёв заявил, что с одним батальоном возьмёт столицу Чечни. Начальственная “импровизация” обернулась новогодним разгромом российских войск, штурмовавших Грозный. Трагедии войны, бушевавшей на территории России, посвящены материалы известного телекорреспондента и писателя Алексея Борзенко.

АЛЕКСЕЙ БОРЗЕНКО

ЯНВАРСКИЙ СНЕГ

ГОРЯЧИЕ ПИСЬМА

5 января 1995 года густой туман покрыл не только улицы Грозного, но и его пригород. Боевые вертолёты взлетали и садились на свой страх и риск. Было три часа дня, когда два столичных журналиста и оператор со стареньким “Бетакамом” сошли с борта “восьмёрки” прямо в грязь импровизированной “взлётки” в укреплайоне в Андреевской долине. Собственно говоря, на площадке в открытом поле не более километра диаметром концентрировалась бронетехника и пехота, и колоннами уходила в сторону Грозного. “На штурм дворца Дудаева”, как говорили солдаты. По периметру укреплайон охраняла “мабута” — пехотинцы-одногодки, а подходы к полю были густо засеяны минами и сигнальными “растяжками”.

Михаил и Антон должны были сделать материал для телеканала, который в основном работал со стороны боевиков. Чтобы оправдаться в непредвзятости, Антона, который только переходил работать на канал, послали освещать события со стороны российской армии. Михаил был заведующим военной редакции в информационном агентстве. Двух старых приятелей объединила общая задача и общая командировка на войну.

Они вдохнули туманный, промозглый воздух чистого поля, поёжились в своих пуховиках. Обоняние улавливало щекоцущий ноздри запах керосина от работающего двигателя “вертушки” и еле уловимый сладковатый привкус пороховых газов.

“Откуда порохом пахнет, боя-то нет?” — подумал Михаил, проваливаясь ботинком в десятисантиметровый слой чеченского пластилина, как здесь называли местную грязь.

Оператор Фёдорыч, которому было за 60, аккуратно ступил в грязь в своих лёгких осенних туфлях и сразу же поскользнулся. Михаил подхватил его за

БОРЗЕНКО Алексей Сергеевич — специальный корреспондент новостей канала ТВ-Центр, работал военным репортёром на 1-й и 2-й чеченских войнах, ходил в первой группе журналистов к Шамилю Басаеву в захваченную им Будённовскую больницу. Автор документального фильма о Льве Рохлине “Исповедь генерала”. Освещал войну в Югославии, встречал приход батальона российских миротворцев в Косово. Он также работал на американо-иракской войне в Багдаде, войне в Ливане и Южной Осетии.

плечи, оператор цепко удерживал камеру в руках, готовый плюхнуться в грязь спиной, но только чтобы не повредить аппаратуру.

— Ещё спину сломать не хватало на старости лет... — сказал он. Журналисты отошли от “вертушки” и огляделись.

Чуть в стороне были выкопаны землянки, накрытые сверху мокрым брезентом, из труб вился дымок “буржук”. Слева шеренгой выстроились танки Т-72, БТРы и БМП в количестве не более 30 единиц.

“Пойдут на Грозный”, — подумал Михаил и сразу пошёл к ним, разъезжаясь ногами по скользкой грязи.

У брони копошились чумазные механики, кто-то проверял гусеницы, кто-то копался в двигателе.

— Эй, мужики, когда ваша колонна пойдёт на Грозный? — спросил Михаил у молоденького водителя с соломенными волосами, выбивавшимися из-под танкистского шлема.

— А кто же знает? Или вечером, или завтра рано утром, — был ответ. — Сходи в штабную палатку, её сразу узнаешь, она за госпиталем. Командиры знают лучше...

Михаил поблагодарил и побрёл в сторону штаба. Увидев выходящего из палатки полковника в засаленном бушлате и простой солдатской ушанке, направились к нему.

— Скажите, когда колонна пойдёт на Грозный? Мы журналисты, можете взять нас с собой? — спросил он.

— Колонна пойдёт утром, а пока ночуйте у медиков, вон там их землянки, рядом с операционным модулем. Не спешите в Грозный, там ничего хорошего нет, — полковник сурово посмотрел на журналиста. В его серых глазах читалась многодневная усталость и озабоченность. — Журналистов нам ещё не хватало. На войну спешат... Всё увидите, только пишите правду. Грачёва бы сюда... — полковник пошёл в сторону машины связи, на крыше которой стояла высокая антенна.

Фёдорыч уже снимал вовсю расположение лагеря, Антон что-то писал в блокноте размашистым почерком. Михаил подошёл к ним.

— Ночевать будем у медиков в землянке, колонна уйдёт утром, — сказал он коллегам.

— А смотри, какое движение в лагере, — отметил телевизионщик.

Тут только Михаил заметил, что Андреевская долина напоминала муравейник. Если у бронетехники движения не наблюдалось, то к фронтовому операционному модулю — несколько машин с кунгами и пристёгнутыми к ним операционными палатками — подвозили на БТРах раненых. Их сразу несли на операцию на носилках. А чуть в стороне, за операционной, были расстелены куски брезента. На них лежали тела убитых и умерших от ран. Михаил насчитал до полусотни тел.

Антон пошёл в сторону операционной, но Фёдорычу не разрешили снимать в ней. Военные врачи валились с ног от работы, операции шли одна за другой. Михаил заметил, что из операционной время от времени выходил врач, который на ходу принимал решение об очередности: кого сразу на стол, кто ещё может подождать.

На носилках принесли парня с обмотанной кровавыми бинтами головой. Врач, бегло взглянув на него, жестом показал — пусть ждёт, всё равно безнадёжный. На стол он так и не попал. Вскоре его тело отнесли к убитым и переложили на брезент. Видимо, врач сразу понял, что он не жилец.

У землянки журналистов встретили отдыхающие санитары, они были не прочь поболтать с вновь прибывшими.

— Разместим вас без проблем, поближе к печке. Не замёрзнете. А вы спирт пьёте?

— Мы все пьём, — ответил Антон.

Землянка имела форму куба, где и по бокам, и в центре были спальные места — не выкопанный квадрат земли, на котором разложили ватники убитых. Чуть в стороне ютилась буржуйка, которую топили без остановки. 80 процентов тепла уходило наружу через брезентовую крышу, а уже в метре от раскалённого докрасна металла было холодно.

“Спать придётся в пуховике, иначе застудим спины”, — подумал Михаил. Им выделили места на эту ночь. Телевизионщики должны спать сбоку по стенке, а его положили на центральный квадрат, где ночевали врачи.

Бросив свою сумку на лежанку, Михаил вышел на воздух.

Быстро вечерело, свинцовые тучи придавили землю, туман усиливался. Со стороны штаба слышался звук молотящего генератора. Вдруг журналист услышал тягучий звук и треск рубящих воздух лопастей тяжелого вертолёта. Со стороны Моздока показалась транспортная "корова". Она сделала круг над лагерем и тяжело села на "взлётку". Открылись аппарели, и в грязь стали выходить солдаты с рюкзаками за спиной и новеньким, ещё в масле оружием в руках.

Михаил и Антон, прихватив Фёдорыча, пошли к вертолёту.

В грязи, переминаясь с ноги на ногу, в зелёных бушлатах старого образца и синеватых армейских ушанках стояли первогодки, морские пехотинцы. Их было десятка три.

— Откуда вас прислали? — спросил солдата Михаил.

— Да мы из-под Питера. Кинули нас сюда, ничего не объяснили, только ночью узнали, что едем на войну. Дома у нас не знают, где мы... Будем воевать, — ответил совсем молодой паренёк Василий. Из задранного кверху воротника ватника торчала худенькая шея молодого солдата.

Командир взвода, сержант, парень чуть больше двадцати лет с открытым лицом и ясными голубыми глазами, присоединился к разговору.

— Командир наш сбежал, отказался ехать на войну. Меня назначили командиром взвода уже на погрузке. Ребята все необстрелянные, в армии только три месяца. Вот такие вот дела.

Михаил смотрел на шеренгу мальчишек, которые вжимали головы в поднятые воротники и с любопытством оглядывались по сторонам. Кто-то нахмурился, разглядывая брезент, на котором лежали трупы.

— Как вы будете воевать, братцы? — спросил Михаил. — Стрелять-то умеете?

— Стреляли в "учебке", по три патрона каждый, — ответил Василий. — Мало, конечно, но ничего, ещё научимся.

Журналисты поснимали солдат на камеру, записали интервью с ними.

Михаил, вдруг поддавшись порыву души, предложил:

— Вот что, пишите письма домой, на обороте чётко напишите адреса. Мы через неделю вернёмся в Москву, купим конверты и разошлём ваши письма. Да, читать не будем, обещаю...

— А листик бумажки дадите? — спросил рядовой Василий. Михаил вырвал из блокнота два десятка страниц. — Берите, у кого нет.

Ребята пристроились на патронных ящиках и стали писать. Их лица были сосредоточены.

— Письма пусть старший соберёт и принесёт к землянке медиков, мы там ночуем, — сказал Фёдорыч. Он, убеждённый сединой оператор, с отеческой печалью смотрел на молодёжь, которая склонилась над квадратиками белой бумаги. Казалось, всё было грязным здесь: бушлаты, лица, руки, только бумага была девственно чиста. Она даже светилась в наваливающихся на долину сумерках.

Журналисты ушли, чтобы не смущать солдат. Написать весточку родным — дело святое и интимное, требует тишины и одиночества. Письма принёс сержант.

— А вы на дворец Дудаева с нами пойдёте? Может, снимете нас в бою? Было бы здорово...

— Мы пойдём с вашей колонной утром, а там как получится, — ответил Михаил, разделяя письма на две стопки. Одну запихнул во внутренний карман пуховика, другую передал Антону.

Сержант пожал руку Михаилу.

— Спасибо вам за письма, а то у ребят родители так и думают, что они в "учебке". Никому ведь не сказали, куда едем... — он печально улынулся. Михаил с трудом различил улыбку на его лице в сгустившейся темноте.

— До утра. Наверное, с вами на броне пойдём, если места будут.

— Потеснимся, найдём, — тихо ответил сержант.

Михаил спустился в землянку. Вскоре пришли с операций врачи. Они были измучены. Кто-то предложил выпить спирта, кто-то свалился молча на лежанку. Оставшиеся тихо разлили выпивку в металлические армейские кружки и сгрудились у печки, разговор шёл вполголоса.

— Бойня здесь, — сказал военный врач Владимир, закусывая спирт куском хлеба, на котором блестел кусочек сала. — Сами увидите.

— Так мы побеждаем или на месте стоим? — спросил Антон.

— Трудно сказать, генералы молчат. Но по их лицам видно, что там, в городе, всё далеко не так хорошо, — ответил один санитар. — Да мы и по раненым видим: косят нашего брата...

За пределами землянки послышалась редкая стрельба. Это явно был не бой, но журналисты вышли из палатки посмотреть, что происходит. Чуть в стороне, на пустом пятачке, морская пехота лежала в грязи и пристреливала свои новенькие автоматы по патронным ящикам. Ребята стреляли сосредоточенно, как будто за десять минут можно было научиться стрелять. Над ними склонился офицер, что-то объясняя и жестикулируя руками. Этот импровизированный тир не сулил ничего хорошего. Солдаты набивали рожки патронами, боеприпасов никто не жалел.

Журналисты вернулись в землянку к медикам. В духоту и тепло. За разговором прошло более часа.

Тут Михаил вдруг уловил какой-то гул. «Да это звук работающих двигателей. Колонна прогревается!» — пришла ему в голову мысль. Михаил пулей выскочил из землянки, поскользнувшись на продавленной сапогами земляной ступеньке. В темноте ночи он увидел, как колонна бронетехники медленно потянулась к выходу из укрепрайона. На броне БТРов и БМП он еле различил силуэты знакомых морских пехотинцев.

— Нас забыли! Никто не предупредил! — выпалил он, вернувшись в землянку.

Военный врач в годах, подправлявший дрова в печке, вдруг тихим голосом сказал Михаилу:

— Может, это и к лучшему. Утром по-светлому пойдёте в Грозный, со следующей колонной. Утро вечера мудренее. Спите, ребята, уже поздно.

Сон не шёл, спать было неудобно, что-то больно упиралось в рёбра. Михаил нашёл позу на боку и всё-таки задремал. Перед глазами стояли молодые лица мальчишек, которые ушли штурмовать дворец Дудаева. Он тогда не знал, что бои в этот день шли в городе повсеместно, и до дворца было ещё далеко.

Кто-то тряс его за плечо, журналист проснулся.

— Мужики, извините, что будим вас, но нам нужна ваша помощь, — произнёс санитар.

— А что делать? — спросил, вставая с лежанки, Михаил.

— Трупы таскать, людей мало.

Журналисты вышли в предрассветной мгле на свежий воздух из душной землянки. Небо уже стало ярко-синим.

Михаил увидел много расстеленных брезентовых кусков за операционной.

— Пошли, — позвал санитар, — дело нехитрое. А то мы одни не справимся.

Из Грозного стали приходить БМПшки, которые использовали в качестве труповозок. Сзади на броне на таком же брезенте лежали тела убитых. Их нужно было опустить на землю и рядами разложить на брезенте рядом с остальными. Пoutру придут «вертушки», и тела увезут на базу в Моздок, а оттуда в цинковых гробах — по всей России.

Сгружать тела было несложно. Санитары опускали их вниз на носилках, а журналисты несли носилки дальше. У брезента просто ставили носилки на землю. Другая группа санитаров уже укладывала погибших на брезент. Попадались тела солдат без ноги или руки. Один был даже без головы. Чьё-то тело было с переломанным позвоночником, лежало в неестественной для человека позе.

И вдруг Михаил опешил. На носилках лежал командир того самого взвода морской пехоты, у которого он брал интервью несколько часов назад. На лбу было небольшое пятно запекшейся крови. Убит снайпером прямо в голову.

Журналисты бережно перенесли тело знакомого сержанта от труповозки к брезенту. Санитары привычными движениями уложили парня на землю. Ему никто не закрыл глаза. На войне такими вещами не заморачивались. Михаил стоял над телом, на глаза наворачивались слёзы. Незнакомый санитар положил рядом с ним новенький автомат сержанта. Миша поднял автомат, на котором сохранилась заводская консервация. Отстегнул магазин. Рожок был почти полный, сержант сделал не более 3–4 выстрелов.

“Даже и не повоевал совсем, погиб в первые минуты боя”, — подумал журналист. Он передёрнул затвор и на тело солдата, лежащего рядом, выпал патрон от Калашникова калибра 5.45. Михаил поднял патрон, на ладони тусклыми отблесками раннего утра блестела дешёвая жестяная гильза, покрытая зеленоватым лаком, и кончик маленькой пули с трассирующим ободком. Он выбросил патрон в грязь, а автомат поставил на предохранитель.

Журналист так и стоял над телом, молча, не поднимая головы. Перед глазами ещё стояла белозубая улыбка и печальные глаза сержанта перед отправкой колонны, перед боем. Ещё живого.

И тут началось. БМПшки стали приходить из города каждые полчаса, привозя на горячей броне по несколько тел. Журналисты взмокли, пуховики набирали влагу. Холодный пот тёк за шиворот. Почти на каждой труповозке Миша находил ребят из отряда морской пехоты. Когда окончательно рассвело, всё прекратилось. Видимо, бой закончился. Журналист подсчитал: из тридцати человек, чьи горячие письма хранились в карманах пуховиков, на холодном, заиндевевшем брезенте лежали двадцать пять тел.

“В живых осталось только пять человек. Все полегли за какие-то два часа боя. Зачем послали на смерть этих необученных и необстрелянных мальчишек?” — с горечью думал Миша, бредя по грязи к землянке медиков.

Новая колонна бронетехники формировалась очень медленно, и он понял, что ещё может вздремнуть часок. Журналист повалился на лежанку, что-то снова больно впилося ему между рёбер в то же самое место. Он отодвинул ватник. Оказалось, что сбоку горкой стояли автоматы, собранные после убитых. Михаил вытащил за ствол мешавший ему автомат, разрядил магазин и передёрнул затвор. Автомат был на боевом взводе, патрон в патроннике. Он так и дремал в начале ночи, когда заряженный Калашников упирался ему в бок.

Сон не шёл, но усталость потихонечку забирала сознание. Увиденное трудно было осознать сразу. “Зачем надо было гнать на верную смерть мальчишек, имея артиллерию, танки, штурмовую авиацию?” — с этой мыслью он забылся на двадцать минут.

С новой колонной журналисты попали в Грозный. Они шли по улицам перебежками от дома к дому. Сверху кое-где работали снайперы, пару раз Михаил с коллегами ложились в грязь лицом, пока где-то наверху наши снайперы вели бой с чеченскими ополченцами. Они шли дальше, перешагивая через заиндевевшие тела наших солдат, погибших ещё во время новогоднего штурма.

Отработав командировку, записав и генералов, и местных жителей, журналисты вернулись сначала в Моздок, потом в Москву. Они сделали большой материал для воскресного выпуска новостей. Ключевым кадром в репортаже стал молоденький паренёк Василий в салатовом бушлатике, не по размеру большой шапке, с автоматом на плече, говорящий о том, что дома не знают, что они в Чечне. Потом этот кадр попадал во многие фильмы о первой чеченской. Некоторые образы и некоторые кадры цепко попадают в историю и становятся её частью.

На следующий день Михаилу позвонил мужчина, который представился полковником в отставке. Оказалось, что это отец Василия, который с удивлением увидел своего сына на войне. Он попросил переписать материал и приехал в гости к журналисту. Михаил отдал ему письмо Василия. Тела паренька журналисты не обнаружили среди погибших. Значит, была надежда, что он выжил в том бою. Отец молча сидел перед экраном телевизора и несколько раз подряд посмотрел репортаж. Прошло полгода, когда отец позвонил Михаилу и сообщил, что сын живой вернулся из Чечни по ранению. Он получил пулю в ногу, хромает, но остался жив.

Самое страшное для Михаила было разослать те самые горячие письма убитых. Он переписывал адреса на конверты, боясь подглядеть хоть строку из самого письма. Это были письма с того света, родители и близкие люди ещё не знали, что авторы писем уже погибли. Журналисты честно исполнили данное обещание — разослали письма.

На всякий случай Михаил переписал репортаж и исходник материала на отдельную кассету, думая о том, что журналисты скопируют эти последние кадры живых пехотинцев их родным. Последнюю весточку с той войны. Но ни на Михаила, ни на Антона из родственников так никто и не вышел. А кассета пылится на полке уже семнадцать лет.

Осенью 2012 года Михаил, который уже работал военным корреспондентом телеканала, снимал похороны Павла Грачёва. С бывшим министром обороны пришли проститься все генералы, которые участвовали в первой чеченской войне. Гроб, сверкавший дорогим лаком, бережно вынесли из Дома российской армии и загрузили на роскошный катафалк. Вокруг суетились офицеры и солдаты в бушлатах. Один молодой солдатик повернул голову в шапку, и Михаилу на мгновение почудилось, что это был тот самый сержант морской пехоты, а вокруг него — весь его погибший взвод.

“Ну, вот и встретились, у вас будет о чём поговорить, долго же вы ждали”, — печально подумал журналист.

Ноябрь 2012 года

МОЛЧУН

Егору в подразделении дали кличку “Молчун”. В свои 20 лет он был водителем БМП и, по мнению его сослуживцев, очень хорошим водителем. Несколько раз на спор он, прямо как в фильме “Четыре танкиста и собака”, вгонял в дерево гвоздь “сотку” ребром лобовой брони своей боевой машины. Егор всё время молчал. В армию он попал, вылетев с первого курса института за какой-то конфликт с деканом. Но кличка “Студент” к нему так и не прилипла, две драки один на один со старослужащими поставили всё на свои места. К нему окончательно перестали задираться после того, как он тихо сказал на ухо одному накачанному дураку-дембелю: “Полезешь ко мне — тихо убью тебя ночью так, что никто не узнает...” Впоследствии к Егору приходили со своими проблемами сослуживцы и получали от него хорошие и вдумчивые советы.

Так сложилось, что Молчун со своим БМП попал в центр Грозного в новогоднюю ночь 1995 года. Он тогда не знал, что этот дурной и необдуманный приказ прошёл по генеральской цепочке после телефонного разговора Генштаба с частями группировки, введённой в Чечню для захвата Дудаева и “сепаратистов”, как их тогда вежливо называли в Москве. Не знал, что умные генералы, такие как Лев Рохлин, от этой глупости отказались. Не знал, что у министра обороны Павла Грачёва был день рождения, и в пылу водочного застолья руководящие лица Минобороны пообещали за быстрое окончание грозненского “блицкрига” звезды Героев России.

Приказ был прост: прорваться в центр города и захватить дворцовую площадь и дворец.

Ещё тогда, когда его батальон получил приказ выдвигаться в Чечню, Молчун где-то нашёл карту Грозного и долго её изучал, рассматривая анатомию центральных улиц, Черноречья, Минутки, Заводского района и берегов Сунжи. Егор улыбался чему-то, подсвечивая карту карманным фонариком.

— Что ты там ищешь, Молчун? На такси, что ли, хочешь покататься? Командир знает, как идти, идём колонной, чего всё это изучать? — спросил его боец с соседней БМПшки.

— На всякий случай, мало ли что... — ответил Егор.

В части за Егором заметили ещё одну особенность: у него всегда всё было. Как в боевой машине он возил кучу всяких инструментов и приборов для двигателя, так и в личной сумке, переделанной из сумки санинструктора, было всё, что могло понадобиться в экстренной ситуации, от иголок и батареек для фонарика до бутылки чистой воды. Пятнадцать пакетов бинтов, даже операционные иглы, как в ноже Рэмбо. К нему все обращались, если нужно было что-то починить или приспособить. Даже новая присказка появилась в части: “Если чего нет, сходи к Молчуну, у него найдёшь”.

Начинало темнеть, когда плотная колонна брони втянулась в боковую улицу. Видимо, ведущая машина с командирами всё-таки сбилась с маршрута. Колонна начала вилить по переулкам, пытаясь найти более широкую улицу. Указатели повсюду были сняты. Везде было пустынно, ни одного человека. Это было зловеще, в воздухе ощущалось недоброе. Время от времени бойцы, сидевшие сверху на броне, замечали, что на них внимательно смотрят из окон пятиэтажек люди. Бойцы инстинктивно сжимали автоматы, снятые с предохранителей. Никто не вышел к колонне, никто не захотел показать путь к дворцу.

Егор, хоть и видел в свой узкий триплекс только корму впереди идущей БМПшки, всё это прекрасно ощущал своей кожей.

“Змейка” из бронемашин свернула в переулок, где-то впереди послышалась автоматная и пулемётная стрельба, загрелись сухие разрывы гранатомётов.

“Бой! Значит, и нас встретят огнём. Тихого Нового года не будет!” — подумал Молчун. Больше всего ему хотелось в этот момент оказаться за праздничным столом с родителями, открыть бутылку шампанского, наесться салата оливы перед телевизором.

“Мечты, мечты... — ухмыльнулся он про себя. — Сейчас нас накормят...”

Он прекрасно понимал, что только самоубийцы могут идти по враждебному городу на бронетехнике. Или наивные люди. Его лейтенант, командир экипажа, сформулировал мысли водителя одной фразой: “Что-то мне это не нравится”. Но комбат ещё надеялся, что дворец удастся захватить без боя. Он, видимо, не читал записок генерала Ермолова об упорстве чеченцев в бою. А зря.

Пулемётная струя резанула БМПшку Молчуна по касательной, энергетика пуль сразу отдалась в больном зубе водителя.

Машина с ходу врезалась в затормозивший впереди броник. Егор не видел, как под снайперским огнём пехота, сидевшая на броне, как желуди с дёрева, посыпалась вниз на землю. Кто-то уже был убит, кто-то искал защиту за катками БМПшки.

Егор услышал, как в машину перед ним и за ним почти одновременно ударили заряды РПГ-7. Этот характерный звук ни с чем нельзя перепутать — как щелчок бичом, коротко и сухо.

Молчун отреагировал интуитивно, а не сознательно. Он потом уже понял, что его “коробочка” будет следующей. На реверсе он дал полный газ. БМП ударила в горящую машину и отодвинула её на полметра в сторону. Затем вперёд подвинулась горящая перед ним “коробочка”. Он уже и сам не соображал, как ему удалось повернуть влево, вырваться из плотной колонны бронетехники, которую боевики расстреливали, как в тире, из окон второго этажа ближайшего дома справа. Не видел, как с верхних этажей бросали гранаты “Ф-1” на парашютиках, как они взрывались ещё в воздухе, над головами пехотинцев. Тем, кто свалился с брони в правую сторону, повезло меньше: они сразу же попали под пулемёты и СВД боевиков, стрелявших по колонне из каждого окна пятиэтажки, стоявшей в пятидесяти метрах от дороги. Те, кто залёг слева от горящих машин, ещё отстреливались, но их взяли на мушку несколько снайперов из домов с противоположной стороны улицы. И это был всего лишь вопрос времени — когда их всех, лежащих к стрелкам спиной, по очереди перестреляют, пока они ведут бой из автоматов по окнам первого ближайшего дома.

БМП Молчуна, растолкав соседей, стремглав выскочила из плена и рванула на бешеной скорости вперёд по улице. В угол дома ударил заряд от гранатомёта — кто-то выстрелил из РПГ, но промахнулся. Егор гнал “коробочку” по узкой улице. Затем метров через триста вдруг дал по тормозам. Да так, что БМП ещё метров пятьдесят тащило на гусеницах по асфальту, выбивая искры.

Егор на мгновение высунулся из люка, затем взялся за управление. Боевая машина пехоты юркнула в переулок и стала набирать скорость.

“Куда уходить? Везде одно и то же, везде смерть”, — пронеслось в голове солдата.

Несколько раз он на полной скорости проскакивал перекрестки, где его машину обстреливали из автоматов. Он не знал, остался кто-то у него на броне или там уже никого не было. Связь молчала.

— Командир, что молчишь? — спросил он по связи. Ответом была тишина.

Через три-четыре улицы Егор сбросил скорость, остановился, вылез из люка и окинул участок темнеющей в ночи улицы быстрым взглядом.

Затем Молчун развернул БМП поперёк улицы и аккуратно выдавил часть забора у ближайшего дома. БМП, пятясь задом, медленно въехала во двор частного дома и продавала сарай, спрятавшись под его крышей, как рак-отшельник в пустой раковине.

— Всё, приехали, — сказал Егор, вылезая из БМПшки. Он вытащил сперва свою сумку санинструктора, затем автомат.

В доме не было света, скорее всего, там никого не было.

“Повезло, — подумал он. — Хоть в этом. За подмогой не побегут... — Егор осмотрел башню, прикрытую настилом крыши. — Люк командира закрыт, может, закрылся о крышу?” — соображал водитель.

— Эй командир, ты здесь?

Молчун зашёл со стороны задних дверей десанта. Одна из них была закрыта, другая открыта и искорежена. На ней чернела кровь и виднелись лоскуты формы.

— Похоже, я кого-то из своих раздавил о вторую БМП, когда сдавал за дом в колонне. Но ведь в десанте никто не сидел, все пересели наверх, на броню.

Заглянув в БМП, Егор увидел, что на командирском месте сидел лейтенант Николай, его голова была насквозь прошита пулей от СВД. “Высунулся и сразу словил, одним из первых. Отвоевался, даже не начав воевать...” — подумал Молчун. Он понял, что за считанные секунды все, кроме командира, покинули машину. Ему повезло остаться в живых. И если бы не предпринял резких маневров и не ушёл бы с поля боя, гореть бы ему сейчас в броне на той злосчастной улице.

— Вот ведь как бывает! Ни одного выстрела не сделали. Тир, да и только, — сказал сам себе тихо, оглядывая чеченский двор.

Егор залез на сиденье водителя и долго там копался. Он поставил “растяжку” у педалей, вторую — со стороны десанта.

— Если полезут, а они полезут утром, своё словят, сволочи...

Егор прошёл крадучись на задворки дома. Там за забором начинался двор соседа.

Где-то вдалеке стихал бой — это заканчивалось уничтожение его колонны.

“А ведь прошло не более десяти минут, быстро уничтожили”, — подумал он и прислушался.

Звучали короткие очереди, сухо щёлкали одиночные выстрелы снайперов. По характеру стрельбы, когда никто уже не отвечал дружным огнём, он понял, что колонну уничтожили.

“Добивают раненых... Сейчас начнут грабить оружие и боеприпасы...”

Молчун был разумным и сообразительным человеком, несмотря на свой молодой возраст. Он понимал, что после боя начнётся “зачистка”: боевики станут обыскивать сначала ближайшие подвалы, потом те, что следуют на второй линии от места боя. Кто-то наверняка запомнил, как его БМПшка ушла от расстрельного огня гранатомётов. Начнут искать машину. Нужно было уходить, и как можно быстрее.

Новогодняя темнота на задворках улицы была ему подмогой.

— Куда идти?

Егор перелез через забор и осторожно подошёл к окну соседнего дома. Там тоже, судя по отсутствию света и каких-либо звуков, никого не было.

“Э, да вы все ушли жечь нашу колонну, — с печалью подумал солдат. — Ну, ладно, тогда я войду”.

Молчун выдавил аккуратно стекло в окошке, открыл створку и забрался в дом. В нём было тепло. И тут только он осознал, что замерзает в эту первую январскую ночь. В пылу боя он и не чувствовал холода, да и в БМПшке было жарко от работающего двигателя. Егор, сжимая в руках снятый с предохранителя автомат, осмотрел дом. Никого не было. На кухне он открыл холодильник. Там были какие-то овощные консервы, копченая ставрида и батон колбасы. Он забрал колбасу. Нашел батон хлеба в хлебнице и три литровых бутылки газированной минералки. Всё это он сложил в пластиковый пакет и уже в туалете, где не было окон, раскрыл свою карту и достал фонарик. Долго соображал, где он находится. Получалось, что он всего в трёх улицах от центральной площади. Если, конечно, Егор не ошибался. Он собрал вещи и так же тихо покинул дом.

Логика подсказывала, что идти назад было нельзя, там повсюду были враги, идти в центр, ко дворцу — тоже. Спрятаться в частном секторе Черноречья было бы лучше всего, но для этого следовало пересечь полгорода, а это было самоубийство. Получалось: куда ни кинь — всё клин.

Молчун прошёл задворками несколько зданий, пока не упёрся в чей-то частный автосервис.

— А ведь это то, что надо: кто будет ремонтировать автомашины, когда в городе идут бои, — здраво рассудил он.

Егор забрался в самый дальний угол двора автосервиса, где были свалены какие-то доски и старые трубы. Сбоку под листом ржавой кровельной жести, приподняв его и поставив на пару коротких обрезков трубы, он оборудовал себе лежанку. Он читал в книгах, что во время Великой Отечественной так поступали снайперы, оборудуя свою точку для стрельбы. Нашёл у станка для шиномонтажа старый промасленный ватник, положил его на землю, предварительно подстелив под него ещё и кусок тепличного целлофана, чтобы ватник не промок. Со стороны выхода замаскировался другим листом железа и парой канистр от масла.

Светало, вставало позднее зимнее солнце. Мороза не было, было влажно и сыро, как часто бывает в Грозном на Новый год.

Егор лежал в норе и думал. Сколько ему придётся так пролежать, пока в город войдут российские части? Он этого не знал, да и в Генштабе этого не знали. То, что войдут, сомнений не было. Сумеет ли солдат продержаться? Всё это, как и его жизнь, было под вопросом. Но будет день, будет и пища. Батона колбасы ему хватит на неделю, может, на две. Его беспокоила вода: три литра, казалось, хватит ненадолго. Надо растянуть...

Вдруг в утренней тишине Егор отчетливо услышал вдалеке приглушённый взрыв.

“Ага, словили “растяжку”. Не думали, что кто-то после такого убийственного уничтожения колонны будет ещё и БМП минировать! — с гордостью подумал водитель. — Я, не сделав ни одного выстрела, уже отомстил. Будете знать, что не все русские — беспечные ребята!”

И тут ему в голову пришла мысль, что чеченцы будут искать водителя, который заминировал БМП. Искать по всем прилегающим дворам. А значит, придут и в автосервис. Егор пододвинул к себе автомат. У него было два рожка — на пять минут боя. В кармане он нащупал гранату РГД.

— Подорвусь на гранате, если найдут. Всё равно расстреляют... — решил он.

Солнце стояло высоко над головой, когда во двор сервиса въехало сразу несколько джипов. Из них вышли люди в камуфляже. На одном, как успел заметить через щель между трубами Егор, была каракулевая папаха с зелёной шариятской полосой. Молчун не знал, что это был Яндарбиев. Не знал, что из второго джипа вышел Басаев. Пять человек прошли в конторку автосервиса.

Территорию двора заполнила охрана — человек пятнадцать в чёрных беретах, с автоматами в руках.

А вскоре во двор вбежали несколько добровольцев, на головах у них уже были каски, снятые с убитых в расстрелянной колонне солдат, а в руках — их автоматы.

Егор не понимал гортанной речи чеченцев, в которой проскакивали русские слова, но догадался, что речь шла о нём.

— Что вам здесь надо?

— Брат, мы ищем русского солдата, который покинул колонну БМП и заминировал свою машину на соседней улице. Молодой доброволец полез в неё и погиб, ещё двое ранены, головы сунули в люк, дураки...

— Здесь идёт совещание командиров, уходите!

— Хорошо, брат, мы пойдём в следующий двор, а вы посмотрите здесь, вдруг он у вас. Он не мог далеко уйти. Найдёте — убейте его на месте! Аллаху акбар!

Добровольцы вышли за ворота. А охранники Яндарбиева и Басаева переглянулись и осмотрели двор автосервиса. Им было лень искать одинокого русского солдата, поднимать для этого металлический хлам. Добровольцы обязательно сделали бы это, они, как ищейки, нашли бы молодого парня под листом жести и расстреляли бы его под улюлюканье толпы. Но Егора спасло совещание, которое проходило в этот момент в конторе автосервиса.

Один охранник подошёл к куче железа и пнул ногой пустую канистру изпод масла. Она брызнула остатками “Кастрола”, который залил ему носок армейского ботинка. Тот беззвучно стёр масло бумажной салфеткой, которую достал из кармана, и выругался по-чеченски.

Сердце Молчуна бешено стучало, казалось, оно сейчас выскочит из груди. Канистрой он прикрыл вход в свою норку. Нужно было только приподнять жестяной лист, чтобы обнаружить солдата. Но охранник не стал этого делать.

Он пошёл к джипу. И правильно сделал, потому что автомат Егора смотрел ему прямо в лоб.

“А может, завалить всех этих важных командиров одной очередью, когда выйдут, — пришло ему вдруг в голову. — Нет, это самоубийство, — трезво решил Молчун”.

Басаев и Яндарбиев быстро покинули автосервис. Охрана побежала следом. Боевик, ближе других подошедший к лежанке Егора, бросил горящую сигарету в масляную лужу. Она потухла с шипением.

Днём Молчун стал замерзать. Необходимо было подвигаться, но под железным листом было мало места. И он двигал пальцами ног в грубых армейских берцах.

Только когда стемнело, он вылез из своего убежища по большой нужде. При помощи куска жести тщательно присыпал всё мокрой, пропитанной маслом землёй, потом прокрался к воротам, выглянул на улицу.

И вдруг началась стрельба. По улице в его сторону бежал безоружный солдат, за ним гналась толпа добровольцев, стреляя трассерами по ногам.

Инстинктивно Егор вскинул автомат и прицелился в догоняющих. Бегущий солдат заметил его и рванул к нему.

Палец Молчуна уже начал плавно давить на спуск, когда где-то на полпути к автосервису солдата срезали очередью, и он упал.

— Не стреляй! — успел он выкрикнуть, падая и умирая на ходу.

Егор так же плавно убрал палец с курка.

Он увидел, как чеченцы окружили тело убитого солдата. Видимо, боец дернулся, его тут же добила короткой очередью. Егор снова услышал такое непривычное для его слуха заклинание: “Аллаху акбар”!

— Убили собаку! Он прятался в подвале!

Молчун вздрогнул, быстро вернулся, заполз в своё убежище и взялся за автомат.

Несколько добровольцев забежали во двор автосервиса. Двое из них были юнцами 14–15 лет. В руках они сжимали автоматы.

— Ваха, может, здесь тоже кто-то прячется? Общем!

— Нет, охранники Шамиля здесь всё осмотрели, пойдёмте в следующий подвал...

Толпа пошла дальше по улице.

— Пронесло, слава Богу, — начал успокаиваться Егор.

Его всё больше беспокоили пальцы на ногах. Он понимал, что не сможет долго лежать под листом железа. Это была смерть — смерть от холода. Два раза в сутки он отрезал от батона по кусочку колбасы, заедал его чёрствым хлебом и запивал большим глотком минералки. Но надо было что-то делать.

И тогда он решился. В конце концов, какая разница, какой будет смерть, — ведь важен только результат!

Молчун ночью зашёл в конторку — маленькую комнату автосервиса, где стоял стол с неработающим телефоном да пара видавших виды диванов. В углу стоял большой газовый баллон и самодельная газовая печка со шлангом. Он зажёл печку, не включая света. На печке согрел чайник, покопался в сумке санинструктора, достал и заварил в стеклянной банке пакетик чая, припасённый ещё в мирные времена, до похода в Чечню. Выпил чаю, согрелся. Затем снял ботинки и носки. Пальцы ног были грязными, он в свете фонарика всматривался в них — нет ли обморожения. Ноги постепенно согрелись у печки. Егор вытащил из воротничка булавку, прожёл её на газовой конфорке, уколол пальцы. Боль от укола чувствовалась во всех пальцах.

— Слава Богу, пальцы не обморожены, — заключил он.

Стала подсыхать и обувь. Так он и просидел в темноте и тепле до самого утра, проваливаясь на несколько минут в тревожный полусон.

Егор осмотрел конторку, сорвал штору из красивой зеленой ткани. Ножом сделал себе портянки. Накрутил их на ноги и надел ботинки. Сразу стало легче.

Убрав все следы своего пребывания, поставив на место старый чайник, он спрятал банку в угол и перекрыл газ. Пошёл обратно в свою нору.

Это было правильное решение: он согрелся, ногам было сухо, а значит, они перестали мерзнуть.

Егор вовремя покинул конторку, так как на рассвете туда вернулись боевики. Скорее всего, они тоже зашли погреться. Покинули они это место через пару часов. Егора перестали искать, полагая, что он ушёл из центра города.

Каждую ночь Молчун грелся в конторке, днём отлеживаясь под листом железа.

Так продолжалось несколько дней, пока стрельба откуда-то издалека не стала приближаться к автосервису. Боевики уже не заходили во двор. Он только видел, как они пробежали по улице то в одну сторону, то в другую.

— Наши близко! — решил водитель БМП.

Он был прав, так как на следующий день бой уже шёл через несколько домов от него. Во двор вбежали несколько добровольцев и заняли оборону внутри автосервиса, прячась за старыми машинами. Их было четыре человека, все молодые ребята, кроме одного, по виду сорокалетнего. У него на голове была каска.

— Наша каска, из сожжённой колонны. А вдруг моя? — почему-то подумал Егор.

Его наполнила такая лютая злость, что, отодвинув жёсть, он вылез из убежища. По крыше конторки ударил наш пулемёт. Чеченцы оказались заперты во дворе автосервиса. Улица явно простреливалась нашими. В открытые ворота Егор увидел, как мимо пролетел БТР.

И тогда Егор встал в полный рост с автоматом в руке. Боевики его не видели, но он видел их спины. Хладнокровно одиночными выстрелами он расстрелял всех четверых.

— Как в тире, как у нашей колонны, — печально ухмыльнулся он.

Затем подошёл и добил двух, которые были ещё живы.

— Ребята, здесь чисто. Не стреляйте, я свой! — хриплым голосом прокричал он.

Во двор осторожно просунулась голова в каске.

Егор стоял с автоматом в руках, ни от кого не прячась.

Бойцы из подразделений Льва Рохлина, освобождавшие перекрёсток за перекрёстком, вошли во двор автосервиса.

— Ты кто такой? — спросил его молодой голубоглазый парень в бронежилете, надетом поверх грязного ватника.

— Я водитель БМП, из расстрелянной колонны... Егор я.

— Ну, бывает же такое, мужики — парень выжил. Девять дней. Из новогодних...

Так Егора спасли наши.

Спасли и передали особистам. Егора долго допрашивали. Он устал отвечать на нелепые вопросы. Видимо, особисты собирали показания выживших и компромат на случай, если когда-нибудь начнётся "разбор полётов" неудавшегося новогоднего штурма Грозного.

Это потом начнут подсчитывать потери новогодней ночи. Картина будет неприглядная. На улицах Грозного мы потеряли убитыми и пропавшими без вести более полутора тысяч человек. В 81-м мотострелковом полку — 63 убитых, 75 пропало без вести, сгорели 13 танков и 7 БМП. 131-й Майкопской бригаде повезло ещё меньше, она потеряла 189 человек убитыми, пленными и пропавшими без вести, 20 танков Т-72 из 26-ти, 102 БМП из 120-ти. Описание потерь можно было бы продолжать, но всё и так ясно. Автор этих строк ещё 7 января 95-го года видел на улицах Грозного многочисленные тела погибших российских солдат. Большая часть из них — это те, кто погиб при новогоднем штурме. Все они, припорошенные снегом, лежали на улицах в позах людей, которые, отстреливаясь, оборонялись, а вовсе не нападали.

Но вернёмся к Егору, который сидел в тесном кунге особиста, держа в руках шапку.

— И почему же ты остался живой? — спросил его пышущий здоровьем майор с жёстким, как будто вырубленным из куска дерева лицом.

— Так получилось. Я выдернул свою БМП из сжавшейся бронекolonны и ушёл переулками от обстрела...

— Значит, в бой ты не участвовал? Сбежал?

— Товарищ майор, мы были, как мясо в тире. Это было бессмысленно. Мне повезло.

— Ты нарушил присягу и убежал, бросив своих товарищей. Получается, что ты трус, — последние слова особист сказал, как будто читал приговор.

— Если бы я начал стрелять, меня бы положили. Там снайпера были и с фронта боя, и с тыла. Вести бой было самоубийством. А вы, наверное, нашли всех тех, кто отстреливался. Они ещё там лежат?

Майор сверлил его тяжёлым взглядом.

— А что другие рассказывают, из тех, кто выжил?

Майор молчал.

По долгому тяжёлому молчанию Егор вдруг понял, что, похоже, уничтожили-то всех или почти всех. Может, он был первым, кого нашли. Может быть, жив ещё кто-то.

— А так ты живой остался, да? — спросил, наконец, майор.

— Да, выжил. И не только выжил, но ещё и убил четверых бандитов!

— Я читал отчёт тех, кто тебя нашёл...

— Я не трус. А что, надо было умереть? Я выжил и могу воевать. Я заминировал машину, на ней подорвались чеченцы. А надо было лечь под их пулями? Всё равно погибнуть?

Майор, который ни разу сам не был в бою, явно не понимал Егора.

— В 41-м был приказ Сталина: “Ни шагу назад”. Тех, кто уходил с поля боя, сдавался в плен, потом ловили и расстреливали, как трусов. Историю читал, наверное?

— Сейчас не 41-й год. И мы воюем не с немцами. И в плену я не был, свой боевой автомат я сохранил и с ним вернулся, — твёрдо ответил Молчун. Он понимал, что разговора с особистом не получится.

Майор вдруг сменил гнев на милость, смягчился и спросил уже другим тоном, без начальственных ноток в голосе.

— Твоя информация подтвердилась. Но как ты продержался целых девять дней?

Егор тяжело вздохнул.

— Могу нору свою показать. Продержался и выжил. Могу воевать дальше.

— Вот ведь какая штука. Почему выжил? Товарищей твоих мёртвых, которых уже собаки поели, вывозят с вертолётной площадки в Андреевской долине пачками...

— А вот выжил! Не надо было? — Егор посмотрел в глаза особисту открытым и спокойным взглядом.

Майор не нашёлся, что ответить, отвёл глаза. Затем взял ручку и что-то написал в сопроводительных бумагах, которые Егору никогда не увидеть. Показал ему на дверь. Разговор был окончен.

Егора комиссовали. Он вернулся домой. Долго родные пытались расспрашивать его о том, как он воевал. Он отмалчивался.

Вся война его длилась недолго, пять минут. И ещё девять дней борьбы за свою жизнь, девять дней существования человека в роли дичи, загнанной охотниками под лист кровельного железа.

“Правильно ли я поступил? А вдруг я трус? — холодок от этой мысли пробежал у него по спине, когда он принимался думать об этом. — Нет, я, повинаясь холодному рассудку и природной сообразительности, правильно всё сделал, я выжил, и этим всё сказано. Я никого не предавал. А ведь мог, поддавшись стадному чувству и слепой вере в правильность идиотского приказа командиров, отстреливаться, как все, из-под гусениц, затем был бы убит снайпером или, того хуже, когда кончились патроны, попал бы в плен. — От этой мысли его покорило. — Нет, я правильно сделал. Война штука не простая”, — заключил про себя Егор. Но эти мысли он никогда так и не высказал никому вслух. Он был молчаливым человеком.

Март 1995 года

ВОЛОДЯ-СНАЙПЕР

У Володи не было рации, не было никаких новых “прибамбасов” в виде сухого спирта, питьевых трубочек и прочего барахла. Не было даже разгрузки, бронежилет он не взял сам. У Володи был только старый дедовский охотничий карабин с трофейной немецкой оптикой, тридцать патронов, фляга с водой и печенье в кармане ватника. Да, была шапка-ушанка, облезлая. Сапоги, правда, были хорошие, он после прошлогоднего промысла купил их на ярмарке в Якутске, прямо на сплаве у Лены у каких-то заезжих торгашей.

Вот так он и воевал уже третий день. Промысловик-соболётник, 18-летний якут из дальнего оленьего стойбища. Надо было так случиться, что пришёл в

Якутск за солью и патронами, случайно увидел в столовой по телевизору груды трупов российских солдат на улицах Грозного, дымящиеся танки и какие-то слова о «снайперах Дудаева». Врезалось Володе это в голову, да так сильно, что вернулся охотник на стойбище, забрал свои заработанные деньги, продал и намытое золотишко. Взял дедовскую винтовку и все патроны, засунул за пазуху иконку Николая-угодника и поехал воевать якут за российское дело.

О том, как ехал, лучше не вспоминать, о том, как три раза сидел в КПЗ, как много раз отбирали винтовку. Но всё-таки через месяц якут Володя прибыл в Грозный.

Слышал Володя только об одном исправно воюющем в Чечне генерале, его и стал искать в февральской распутице. Наконец, якуту повезло, и он добрался до штаба генерала Льва Рохлина. Единственным документом, помимо паспорта, была у него рукописная справка военкома о том, что Владимир Колотов, охотник-промысловик по профессии, направляется на войну, с подписью военкома. Бумажка, которая поистрепалась в дороге, уже не раз спасала ему жизнь.

Рохлин, удивлённый тем, что кто-то сам прибыл на войну по собственному желанию, велел пропустить якута.

Володя, щурясь на мигающие от генератора тусклые лампочки, отчего его раскосые глаза ещё больше расплылись, по-медвежьи, боком зашёл в подвал старого здания, где временно разместился штаб генерала.

— Извини, пожалуйста, вы и есть тот генерал Рохля? — уважительно спросил Володя.

— Да, я Рохлин, — ответил уставший генерал, пытливо всматриваясь в человека маленького роста, одетого в потёртый ватник, с рюкзаком и винтовкой за спиной.

— Чаю хотите, охотник?

— Благодарствуйте, товарищ генерал. Горячего уже три дня не пил. Не откажусь.

Володя достал из рюкзака свою железную кружку и протянул её генералу. Рохлин сам налил ему чаю до краёв.

— Мне сказали, что вы прибыли на войну самостоятельно, с какой целью, Колотов?

— Видел я по телевизору, как чеченцы наших из снайперских ваят. Не могу терпеть это, товарищ генерал. Стыдно, однако. Вот и приехал, чтобы их валить. Денег не надо, ничего не надо. Я, товарищ генерал Рохля, буду сам по ночам на охоту ходить. Пусть мне место покажут, куда патроны и еду будут класть, а остальное я сам делать буду. Устану, через недельку приду, отосплюсь в тепле денёк и снова пойду. Рации и всего такого не надо... тяжело это.

Удивлённый Рохлин закивал головой.

— Возьми, Володя, хоть новую СВДэшку. Дайте ему винтовку!

— Не надо, товарищ генерал, я со своей косой в поле хожу. Только патронов дайте, у меня сейчас всего 30 осталось...

Так Володя начал свою войну, снайперскую.

Он отоспался сутки в штабных кунгах, несмотря на минные обстрелы и жуткую пальбу артиллерии. Взял патроны, еду, воду и ушёл на первую «охоту». В штабе о нём забыли. Только разведка каждые три дня исправно приносила патроны, еду и, главное, воду в условленное место. И каждый раз убеждалась, что посылка исчезла.

Первым о Володе вспомнил на заседании штаба радист-«перехватчик».

— Лев Яковлевич, у «чехов» паника в радиозэфире. Говорят, что у русских, то есть у нас, появился некий *чёрный снайпер*, который работает по ночам, смело ходит по их территории и валит безбожно их личный состав. Масхадов даже назначил 30 тысяч долларов за его голову. Почерк у него такой: бьёт этот *мóлодец* чеченцев akurat в глаз. Почему только в глаз — пёс его знает...

И тут штабные вспомнили про якута Володю.

— Еду и патроны из тайника берёт регулярно, — доложил начальник разведки. — А так мы с ним ни словом не перекинулись, даже и не видели ни разу. Ну, как он от вас тогда ушёл на ту сторону...

Так или иначе, в сводке отметили, что наши снайпера их снайперам тоже прикурить дают. Потому что Володина работа давала такие результаты — от 16 до 30 человек промысловик валил выстрелом в глаз.

Чеченцы раскусили, что появился на площади Минутка русский промысловик. А поскольку на этой площади происходили все события тех страшных дней, то изловить снайпера вышел целый отряд чеченских добровольцев.

Тогда, в феврале 95-го, на Минутке “федералы”, благодаря хитрому замыслу Рохлина, уже перемололи почти три четверти личного состава “абхазского” батальона Шамиля Басаева. Немалую роль сыграл здесь и карабин якута Володи. Басаев обещал золотую чеченскую звезду тому, кто принесёт труп русского снайпера. Но ночи проходили в безуспешных поисках. Пятеро добровольцев ходили по передовой в поисках “лежанок” Володи, ставили растяжки везде, где он только мог появиться, в прямой видимости своих позиций. Однако это было такое время, когда группы и с одной, и с другой стороны прорывали оборону противника и глубоко вклинивались в территорию. Иногда так глубоко, что уже не оставалось никаких шансов вырваться к своим. Но Володя спал днём под крышами и в подвалах домов. Трупы чеченцев — ночную “работу” снайпера — хоронили на следующий день.

Тогда, устав терять еженощно по 20 человек, Басаев вызвал из резервов в горах мастера своего дела, учителя из лагеря по подготовке юных стрелков, снайпера-араба Абубакара.

Володя и Абубакар не могли не встретиться в ночном бою — таковы уж законы снайперской войны!

И они встретились через две недели. Точнее, Абубакар зацепил Володю из буровской винтовки. Мощная пуля, убивавшая когда-то в Афганистане советских десантников наповал на расстоянии в полтора километра, прошла ватник и слегка зацепила руку, чуть ниже плеча. Володя, ощутив прилив горячей волны сочащейся крови, понял, что наконец-то началась охота и на него.

Здания на противоположной стороне площади, а точнее — их развалины сливались в володиной оптике в единую линию. “Что же блеснуло, оптика?” — думал охотник, а он знал случаи, когда соболевидел сверкнувший на солнце прицел и уходил восвояси. Место, которое он выбрал, располагалось под крышей пятиэтажного жилого дома. Снайперы любят находиться наверху, чтобы всё видеть. А лежал он под крышей, так ведь под листом старой жести хоть не мочил мокрый тёплый снежный дождичек, который то шёл, то переставал.

Абубакар выследил Володю лишь на пятую ночь — выследил по штанам. Дело в том, что у якута штаны были обычные, ватные. Это американский камуфляж, который носили чеченцы, пропитывался специальным составом, чтобы форма была невидима в приборах ночного видения, а отечественная светилась ярким салатовым светом. Так Абубакар и “вычислил” якута в мощную ночную оптику своего “Бура”, сделанного на заказ английскими оружейниками ещё в 70-х.

Одной пули было достаточно, Володя выкатился из-под крыши и, падая, больно ударился спиной о ступеньки лестницы. “Главное, винтовку не разбил”, — подумал снайпер.

— Ну, значит, дуэль! — сказал себе мысленно якут без лишних эмоций.

Володя специально прекратил кромсать “чеченские порядки”. Аккуратный рядок 200-х с его снайперским “автографом” в глазу прекратился. “Пусть поверят, что я убит”, — решил Володя.

Сам же только и делал, что высматривал, откуда же до него добрался вражеский снайпер.

Через два дня, уже днём, он нашёл “лежанку” Абубакара. Он также лежал под крышей, под полусогнутым кровельным листом на другой стороне площади. Володя бы и не заметил его, если бы арабского снайпера не выдавала дурная привычка: он покуривал анашу. Раз в два часа Володя улавливал в оптику лёгкую синеватую дымку, поднимавшуюся над кровельным листом, сразу сносимую ветром.

“Вот я и нашёл тебя, абрек! Без наркоты не можешь! Хорошо...” — думал с торжеством якутский охотник. Он не знал, что имеет дело с арабским снайпером, прошедшим и Абхазию, и Карабах. Но убивать его просто так, прострелив кровельный лист, Володя не хотел. У снайперов так не водилось, а у охотников на пушину — и подавно.

— Ну, ладно, куришь ты лежа, но “по малой нужде” придётся тебе встать, — хладнокровно решил Володя и стал ждать. Только через три дня он вычислил, что Абубакар выползает из-под листа в правую сторону, а не в левую, быстро делает дело и возвращается на “лежанку”. Чтобы “достать”

врага, Володе пришлось ночью поменять точку стрельбы. Он не мог ничего сделать заново: любой новый кровельный лист сразу же выдаст новую позицию снайпера. Но Володя нашёл два поваленных бревна от стропил с куском жести чуть правее, метрах в пятидесяти от своей точки. Место было прекрасное для стрельбы, но уж очень неудобное для “лежанки”. Ещё два дня Володя высматривал снайпера, но он не показывался. Володя уже решил, что противник ушёл насовсем, когда на следующее утро вдруг увидел, что он “открылся”. Три секунды на прицеливание и — с лёгким выдохом пуля пошла в цель. Абубакар был сражён наповал в правый глаз. Он упал плашмя с крыши. Большое жирное пятно крови растекалось по грязи на площади.

“Ну вот, я тебя и достал”, — подумал Володя без какой-либо восторженности или радости. Он понял, что должен продолжить свой бой, показав характерный почерк. Доказать тем самым, что жив и что противник не убил его несколько дней назад.

Володя всматривался в оптику в неподвижное тело сражённого противника. Рядом он увидел и “Бур”, который он так и не распознал, так как таких винтовок ранее не видел. Одним словом, охотник из глухой тайги!

И вот тут он удивился: чеченцы стали выползать на открытое место, чтобы забрать тело снайпера. Володя прицелился. Вышли трое, склонились над телом.

Пусть поднимут и понесут, тогда и начну стрелять! — торжествовал Володя. Чеченцы действительно втроем подняли тело. Прозвучали три выстрела. Три тела упали на мёртвого Абубакара.

Ещё четыре чеченских добровольца выскочили из развалин и, отбросив тела товарищей, попытались вытащить снайпера. Со стороны заработал российский пулемёт, но очереди ложились чуть выше, не причиняя вреда сгорбившимся чеченцам.

“Эх, пехота-мабута! Только патроны тратишь цинками...” — подумал Володя.

Прозвучали ещё четыре выстрела, почти слившись в один. Ещё четыре трупа уже образовали кучу.

Володя убил в то утро 16 боевиков. Он не знал, что Басаев отдал приказ во что бы то ни стало достать тело араба до того, как начнёт темнеть. Его нужно было отправить в горы, чтобы захоронить там до восхода солнца, как важного и почтенного моджахеда.

Через день Володя вернулся в штаб Рохлина. Генерал сразу принял его, как дорогого гостя. Весть о дуэли двух снайперов уже облетела армию.

— Ну, как ты, Володя, устал? Домой хочешь?

Володя погрел руки у “буржуйки”.

— Всё, товарищ генерал, работу свою выполнил, домой пора. Начинается весенняя работа на стойбище. Военком отпустил меня только на два месяца. За меня работали всё это время мои два младших брата. Пора и честь знать...

Рохлин понимающе закивал головой.

— Винтовку возьми хорошую, мой начштаба оформит документы...

— Зачем, у меня дедовская. — Володя любовно обнял старый карабин.

Генерал долго не решался задать вопрос. Но любопытство взяло верх.

— Сколько ты сразил врагов, считал ведь? Говорят, более сотни... чеченцы переговаривались.

Володя потупил глаза.

— 362 человека, товарищ генерал.

Рохлин молча похлопал по плечу якута.

— Поезжай домой, мы теперь сами справимся...

— Товарищ генерал, если что — вызывайте меня заново, я с работой разберусь и приеду во второй раз!

Орден мужества нашёл Володю Колотова через шесть месяцев. По этому поводу пили спирт всем колхозом, а военком разрешил снайперу съездить в Якутск купить новые сапоги — старые прохудились ещё в Чечне: наступил охотник на какие-то железяки.

В день, когда вся страна узнала о гибели генерала Льва Рохлина, Володя услышал о случившемся по радио. Он три дня пил спирт на заимке. Его нашли пьяного в избушке-временке другие охотники, вернувшиеся с промысла. Володя всё повторял: “Ничего, товарищ генерал Рохля, если надо, мы приедем, вы только скажите...”

Март 1995 года

АНДРЕЙ УБОГИЙ

ПРИКОСНОВЕНИЕ К АЗИИ

1. АЗИАТСКИЙ СЮЖЕТ

*И за борт её бросает,
В набежавшую волну...*

Из песни

Самую ёмкую формулу отношений России и Азии выражает, пожалуй, та песня, строки которой вынесены в эпиграф. Живой интерес, доходящий до страстной любви, — и, в то же самое время, настороженность и недоверие, доходящие до откровенной вражды. Причём и любовь, и вражда выражаются с крайнею силой — эта стихийная сила и вышвырнула бедную персиянку за борт разинского челна.

В каком-то смысле вся русская история есть перепевание этой песенной темы на разные голоса и лады — есть воплощение странной, умом непостижимой любви-вражды между Россией и Азией.

Сначала нахлынула Азия: почти тысячу лет назад Русь захлестнуло монгольской волной. И вот, начиная с победы на Куликовом поле, Россия упорно отодвигала Азию вспять: и освоением Сибири, и покорением Средней Азии, и великими русскими путешествиями во внутреннюю Монголию, на Тянь-Шань и на Дальний Восток. Но окончательный реванш за нашествие Чингисхана для России наступил лишь в XX веке, когда барон Унгерн со своими головорезами взял Ургу, столицу Монголии.

Но нельзя же сказать, что Россия и Азия лишь враждовали? Тюркская кровь и язык сотни лет подпитывали Россию: без этого ни русские женщины не стали бы первейшими красавицами в мире, ни русский язык не стал бы настолько велик и могуч. Да что говорить — если даже сейчас именно Азия обустроивает и приводит в порядок Россию. Взгляните: кто работает на русских стройках и подметает русские улицы?

Конечно, отношения России и Азии — тема столь же необозримая, как и сама Великая Степь. И мы только коснёмся её — для начала, хотя бы с литературной её стороны.

Интересно, что почти у любого из больших русских писателей был свой азиатский сюжет. Ещё безымянный автор “Слова о полку Игореве” обозначил эту “восточную составляющую” русской литературы: князь Игорь с дружиной движется именно в сторону Азии, в “земли незнаемы”. Покорить-познать эти земли, оставив родину “за шеломянем”, становится важным — трагическим,

но неизбежным — этапом самоопределения России. Пусть до собственно Азии Игорь и не дошёл; но кочевники-половцы, против которых он выступил в свой обречённый на неудачу поход, — дети именно Дикого Поля, которое вскоре накроет Русь тремя сотнями лет азиатского ига.

Прекрасную книгу об Азии оставил купец Афанасий Никитин. “Хожение за три моря” до сих пор интересно читать: о том, например, как “вера с верою не исть, не пиять, не женится”, или о том, как нарядны и дешёвы женщины в Индии.

После купца Афанасия Никитина Азия лет на четыреста выпадает из поля зрения русской литературы — пока в азиатскую сторону не обращается пушкинский взгляд. “Подражания Корану” так выражают поэзию главной книги ислама, что поражаешься: как мог русский поэт столь проникнуться духом Востока? Но Пушкин на то он и Пушкин! У него и Магомет заговорил вдруг по-русски:

*Блаженны павшие в сраженье.
Теперь они вошли в Эдем,
И потонули в наслажденье,
Не омрачаемом ничем!*

А “Бахчисарайский фонтан”? Пожалуй, в реальном гареме хана Гирея было меньше пленительной неги, чем в этих пушкинских строках:

*Однообразен каждый день,
И медленно часов теченье.
В гареме жизнью правит лень,
Мелькает редко наслажденье.
Младые жены, как-нибудь
Желая сердце обмануть,
Меняют пышные уборы,
Заводят игры, разговоры,
Или при шуме вод живых,
Над их прозрачными струями
В прохладе яворов густых
Гуляют легкими роями...*

Есть у Пушкина и “азиатская” проза. Причём “Путешествие в Арзрум” — не просто литературный шедевр. Пушкин, решительно двигаясь в Азию, к турецкому Арзруму, одним этим движением и его описанием как бы расширяет границы России и русского самосознания. Когда читаешь: “Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё ещё находился в России”, — то вдруг понимаешь: расширение русских границ, в каком-то метафизическом смысле, происходило не столько от действия армии графа Паскевича, сколько от одного взгляда Пушкина, который даже и камни Туретчины мистически делал своими! Где был Пушкин — там была и Россия; всё, на что падал его ясный взгляд, уже становилось русским по духу.

И Лермонтов оставил нам азиатскую повесть. Печорин томится по настоящей любви, настоящей, не искажённой безверием, жизни — и думает, что в азиатской красавице Бэле и в своей страсти к ней он эту жизнь и любовь обретёт. Чем кончилась эта история, хорошо известно — примерно тем самым, чем и любовь Разина с персиянкой, — что позволяет считать повесть “Бэла” как бы ещё одним вариантом песни “Из-за острова на стрежень”.

Лев Толстой тоже нередко смотрел в азиатскую сторону. И “Казаки”, вещь сравнительно ранняя, и “Хаджи Мурат”, его поздний шедевр, рисуют нам непростые отношения Азии и России, взаимную их любовь-ненависть, которая разгорается тем сильнее и ярче, чем ближе подходят друг к другу два этих мира. И дело не сводится только к литературе: известно, что свой последний исход Толстой направлял на Кавказ, в гребенские станицы — туда, где он ещё в юности впервые взглянул в лицо Азии.

И XX век не забывал об азиатском сюжете. Вот повесть Андрея Платонова “Джан”: могучее изображение одиночества и нищеты человека в пустыне —

и призыв одиночество это преодолеть. Назар Чагатаев, герой этой повести — одновременно и Моисей, ведущий свой народ джан через пустыню, и Прометей, чью плоть рвут орлы, возмущённые дерзостью человека.

Вообще, эта тема — Азия в русской литературе — очень обширна. Тут и евразиец Леонтьев, влюблённый в Константинополь-Стамбул, и Есенин с его “Персидскими мотивами”, и даже Набоков, который смолodu планировал экспедицию в Центральную Азию, но смог совершить её лишь на страницах романа: едва ли не лучшее в “Даре” — воображаемое путешествие Годунова-Чердынцева по отрогам и перевалам Тянь-Шаня.

А “азиатский рейд” Чехова, его “Остров Сахалин” — и гордость писателя тем, что в его “беллетристическом гардеробе будет отныне висеть и сей грубый арестантский халат”?

А Бунин, чья тяга к руинам Востока заставляла его вновь и вновь подниматься на корабельную палубу и затем жадно, с какой-то надрывною скоростью, оглядывать те азиатские камни, по которым скользила тень птицы Хумай?

Не претендуя на сколько-нибудь обстоятельный, полный разбор азиатских сюжетов российской словесности, не могу не вспомнить о той замечательной прозе, какую оставили нам русские путешественники. Мы так избалованы богатством и разнообразием русской литературы, что почти позабыли о сочинениях наших “землепроходцев”: Пржевальского, Арсеньева, Грума-Гржимайло. А ведь их книги воистину удивительны именно как литературные произведения! И если Владимир Арсеньев и его друг Дерсу Узала ещё более или менее знакомы читающей публике, то другим писателям-путешественникам литературной известности почти не досталось.

Как жаль! Как жаль, что прямая и точная проза русских географов современной России почти неизвестна! Печально, что мы утратили ту отважную радость существования, то доверие к миру и счастье его познавать, которые уводили Пржевальского и Арсеньева, Грума-Гржимайло и Семёнова-Тянь-Шанского из уюта российских усадеб в пустыни, теснины и пропасти Азии...

II. ВРЕМЯ, НАЗАД!

Однажды — значит, навсегда.

Андреас Варилупулос

Самое первое, сильное впечатление от Средней Азии — то, что время там словно бы двинулось вспять, отнесло меня лет на тридцать в прошлое, и я вновь оказался в Советском Союзе 80-х годов. И общий дух жизни, как бы задержавшейся в сонной эпохе застоя, и её, жизни, частности — всё укрепляло меня в этом странном, похожем на сновидение, чувстве.

Вот бреду я, к примеру, по улице Шахрисабза, небольшого узбекского городка, и вижу торговку, а перед нею — те самые разноцветные конусы сока, из которых я утолял свою юную жажду лет тридцать назад. Здесь всё, до последней детали, то самое, что осталось в далёком прошлом: и сами стеклянные конусы с жестяной окантовкой поверху, и трехлитровые банки, из которых толстенная тётка подливает в них сливовый и яблочный сок, и краники, из которых сочатся разноцветные капли, и поднос с гранёными, плохо вымытыми стаканами, и даже, как вдруг показалось, выражение лица продавщицы. Оно было скучающим и недовольным; и я вдруг умилился именно важным её недовольством, которое сразу перенесло меня в прошлое, в недра застойной эпохи, когда почти все продавщицы страны были важно-надменны и всем недовольны.

А цветные клеёнки в любой чайхане-ошхане: разве это не те же клеёнки родного советского общепита, с которых нас некогда просто, но щедро кормила страна? Ведь мы кормились в те годы, по сути, бесплатно, и встретить тогда голодающего человека было сложнее, чем повстречать какого-нибудь саблезубого тигра.

Кстати сказать, и сейчас в Средней Азии — по крайней мере, нас, россиян — дешёвизна еды удивляет и тоже способствует тому ощущению “время, назад!”, о котором идёт речь. Закажешь хороший обед — лагман или плов, тарелку салата, лепёшку тандырного хлеба и неизменный кок-чай в синем

чайнике, крышка которого привязана мокрой веревочкой (видя которую, я всегда вспоминал бунинскую “Жизнь Арсеньева”: “...ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми верёвочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь, — только вот этого подноса, этой мокрой верёвочки!”), неспешно наешься-напёешься почти до обморока (потому что порции здесь раза в два больше наших) — и заплатишь за всё рублей сорок. Чем не сказка?

Острее всего эффект “время, назад!” ощущался в Хиве. Но не в той музейно-декоративной Хиве, где между стен, минаретов и башен Ичан-Калы толпятся французы и немцы, где они фотографируют схему Великого шёлкового пути и примеряют лохматые каракалпакские шапки; а в той, настоящей Хиве, где живут ремесленники и мясники, торговцы и милиционеры.

Впервые я вышел побродить по Хиве ближе к вечеру, после дождя, и поразился: да это же Тим или, скажем, Мосальск! Причём Мосальск или Тим именно давней, застойной эпохи, когда людей на улицах было немного, машин — ещё меньше, и когда ощущение неизменности жизни пробуждало в душе волну острой нежности ко всему, что ты видишь вокруг. И к этим вот лужам на грязной, разбитой дороге, и к лошадёнке, которая тащит телегу с пустыми молочными флягами, а эта телега скрипит и вихляется так, словно ей неохота тащиться за лошадей, и к опустевшим рядам колхозного рынка, который доселе так и называется “декхан-базар”, и к покосившимся ржавым воротам какого-то гаража, за которыми видишь разбитый “зилор”-самосвал, и даже к портрету вождя на стене. Всё выглядит столь потрёпано-древним, что кажется: время забыло об этом затерянном мире, и он коротает свою затрапезную вечность, живёт совершенно особой, герметически-сонную, жизнь...

Да, это Азия — мир, отвергающий новости и перемены, впавший в дрему покоя и погружающий в эту дрему тебя, отрешённо-бесцельно бродящего по кривым переулкам Востока... Вдруг понимаешь, что тридцать лет — это суший пустяк, что машина времени продолжает нести тебя дальше и дальше, в совсем уже древнее прошлое. Разве, к примеру, вот эта бухарская пыльная улица в чём-то существенном переменялась за пятьсот зим и лет? Убрать только столбы с проводами — и ты будешь видеть всё то же самое, что видел какой-нибудь старый бухарский еврей в жарком ватном халате, бредущий в торговый купол менял, или утомлённый погонщик верблюдов, шагающий в баню-хамам. Старый город за пять веков почти не переменялся: такие же бледно-песочные стены домов расходятся от Ляби-Хауза, главного водопоя верблюдов, такие же горлинки нежно гуляют под застрехами старых бухарских домов, и такая же пыль покрывает здесь всё: кувшины и чайники, выставленные на продажу, ковры, расстеленные прямо под ногами прохожих, и россыпи самоцветных камней на лотках ювелиров.

А звуки? Разве не эти же самые звуки раздавались здесь прежде? Часов в пять утра — ещё только светает — я слышу восторженно-плачущий крик муэдзина, потом слышу, как шаркают, что-то бормочут бредущие на намаз аксакалы; потом женщины звякают ведрами, поливая водой глину улиц перед домами; потом трещит хворост в тандырах и сладковато-горчащий дымок расстилается по переулкам; а потом всё слышнее и громче начинает звучать и ремесленная Бухара. Звенят молоточки чеканщиков, завывают кузнечные горны, и удары кувалд начинают отсчитывать собственный ритм — ритм тяжёлой и древней работы...

Два дня мне довелось потрудиться в кузне Закира, известного мастера, одного из немногих, кто доселе куёт дамасскую сталь по тысячелетним рецептам, вручную, не поддаваясь соблазну облегчить тяжёлую и кропотливую эту работу. И вот здесь, в старой кузне Закира, обратный счёт времени шёл уже и не на века: целые тысячелетия мало что переменяли и в самой этой кузне, и в звоне ритмичного молотка кузнеца, направляющего кувалду молотобойца. Двойной наш удар: отчётливо-звонкий Закира и следом — тяжёлая поступь кувалды — напоминал двойной стук неутомимого древнего сердца, которое билось здесь ещё при Авиценне и Аль-Хорезми, при великих эмирах и шахах, в то незапамятно-давнее время, когда Бухара представляла собой главный пункт перевала с Востока на Запад, великий привал на великом пути, место встречи религий, культур и едва ли не главный в то время перекрёсток цивилизаций.

А потом, отдыхая и глядя в кузнечный мерцающий горн, где на розовых углях лежит, раскаляясь, малиновый брус заготовки, ты чувствуешь, как погружа-

ешься в древность совсем уж седую, в то время, когда здесь трудились и жили огнепоклонники-зороастрийцы. Недаром их главный храм — храм Луны — был в какой-нибудь сотне шагов от теперешней кузни Закира. Сейчас там одна из древнейших бухарских мечетей, Магоки-Атари; но огненный дух изначальной религии персов там, несомненно, живёт: если и не в камнях, что остались от храма Луны, то вот в этом кузнечном мерцающем горне, в том чувстве восторга и смутного ужаса, что возникает при виде живого огня. Кузнечное дело несло черты культа, и труд кузнеца был, по сути, священным обрядом.

И как было здесь, в этой кузне, среди брызг и отблесков пламени, не вспомнить о Гераклите, том нелюдимом и мрачном философе, жившем в горах Малой Азии, который стихию огня полагал основной причиной, источником, сутью всего мироздания? “Всё есть огонь, — говорил Гераклит, — мерами возгорающийся и мерами угасающий”. Поэтому даже и нашу людскую короткую жизнь мы можем сравнить с теми искрами, что отлетают, дымясь, от раскалённо-тугой заготовки Вселенной под ударами неутомимой кувалды Творца...

Порой представляется: в Азии времени как такового нет вовсе. Есть только циклы природной и человеческой жизни, есть смены империй, то возникающих, то приходящих в упадок, и есть миражи расцветающих, а потом засыпаемых жадным песком городов. Нам-то, детям Европы, всё кажется: время есть некая улица с односторонним движением или, точнее, река, что несёт нас в одном направлении, из былого в грядущее; и само собой разумеется, что наше “сегодня” непохоже на наше “вчера”, а “завтра”, конечно же, будет иным, чем “сегодня”.

Но в Азии время циклично: оно повторяется, словно узор на ковре или орнамент на пёстром фасаде мечети, или вязь арабесок на полях древнего манускрипта. Новость — это изобретение (или иллюзия?) именно Запада; этим, я думаю, и объясняется тот удивительный факт, что азиатский Восток, изобильный поэзией и философией, почти не оставил нам прозы. Сборник “1001 ночь” считать прозой трудно: это всё-таки свод поэм с фантастическим содержанием, изложенных пышным, но нерифмованным слогом. Ядро прозы — новелла (что и переводится, кстати, как “новость”); но в азиатской циклической жизни новости — стало быть, и новелле — как бы нет места. Там, где нет ощущения времени, и рассказывать не о чем; можно лишь воспевать кого-либо в пышных стихах — ну, скажем, красавицу, избрав для этого форму газели, или властителя, избрав форму оды-касыда, — и вполне можно пересылать эти поэмы от одного адресата к другому, лишь изменяя в них имена, что, кстати, и делали многие из знаменитых поэтов Востока.

Не потому ли — то есть именно из-за отсутствия ощущения времени, приносящего новости и перемены, — мне так трудно рассказывать о своём путешествии в Азию? Связного, выстроенного в сюжет повествования не получается, а выходит лишь некая вязь впечатлений и мыслей, не столько повествующая о чём-то, сколько отражающая тот прихотливо-однообразный узор, на который, в моём восприятии, и похожа цикличная, пёстрая и неизменная азиатская жизнь?

В этот сложный узор, после воспоминаний о кузне Закира, вплетаются и воспоминания о моём, самом первом, прикосновении к Азии.

Это было в Крыму (согласитесь, что Крым для нас — уже Азия; хотя он и относится, говоря строго, к Европе), ранним утром 25 мая 1979 года. Наш “9-Б” тогда ехал на поезде в Севастополь; и я пробудился от крепкого юного сна на верхней полке вагона как раз в тот момент, когда за окном медленно проплывали белые буквы: “Бахчисарай”. Следом за буквами я увидел зелёные ромбы из реек на ослепительно-белой стене, виноградные плети и тени от листьев, которые, выделяясь на свежей побелке стены, казались отчётливей, чем сами листья. И спросонья в моей голове возник ряд волнующих образов. Бахчисарай — фонтан слёз — ханский дворец — гарем — Пушкин, юг, Крым — и всё это прочно связалось в моей восприимчивой юной душе с косыми тенями и рейками виноградных шпалер и с резной зеленью листьев на фоне белой стены...

Поезд уж тронулся, эти зелёные ромбы и виноградные плети уплыли в пространство и времени, сделались прошлым, но для меня их волнующий образ отныне навеки был связан с Бахчисарайским дворцом и с фонтаном, воспетым Пушкиным, с гаремом хана Гирея, с томлением юности и с блаженной негой азиатского юга. И долгие годы я жил, убеждённый, что Бахчисарайский дво-

рец — это и есть тени листьев на белой стене, зелёные ромбы шпалер и тот ослепительный, радостный блеск, что бывает в Крыму майским солнечным утром.

С той поры прошло двадцать лет, и ещё один год и три месяца — то есть, целая жизнь. И вот я снова в Крыму, снова в Бахчисарае, но уже не с одноклассниками, как когда-то, а со своим двенадцатилетним сыном Дмитрием. Мы неспешно бредём по пустому перрону, и я вдруг замираю, поражённый внезапным воспоминанием. Точнее, это не воспоминание, а “дежа вю”, то есть чувство, что я уже это видел. Да, вот эти самые ромбы из реек-шпалер, эти листья и тени от листьев на белой стене мне встречались когда-то... Только теперь-то я вижу, что это стена не дворца, как я думал всю жизнь, а всего лишь сортира на вокзальном перроне! Впору было расхохотаться: никогда ещё я не испытывал столь же резкого противоречия между реальностью жизни и моим представлением о ней. Это надо же было: нести в душе такой запас юных лирических грёз, что в их свете даже вокзальный сортир становился дворцом!

III. БРАТЯ И СЁСТРЫ

— *Откуда, брат?*

— *Из Москвы.*

— *А в Москве из какого города?*

Обычный разговор в Узбекистане

Не знаю, осталось ли где-нибудь в мире такое душевное, тёплое обращение друг к другу, какое бытует в Узбекистане? Там обращаются к незнакомому “брат”, к незнакомке — “сестра”, и уже за одно это можно полюбить народ, напоминающий нам, кто мы, люди, есть, несмотря на различия рас и религий. Да, мы братья и сёстры, мы дети Отца, и мы все образуем единую, хоть и живущую в нескончаемых спорах и ссорах, семью.

Правда, первым приветствием и обращением, что услышал я в Азии, было: “Товарищи!” Только-только светало, за вагонным окном бесконечно тянулись печальные степи казахов, из тамбура веяло стужей, в вагоне все ещё спали, но бодрый толстяк в тюбетейке уже катил по проходу тележку и голосил: “Товарищи! Кому — беляши, пиво, водка?!” Спросонья всем, видно, казалось, что это мираж: кто в здравом уме будет в половине седьмого утра торговать беляшами и водкой? Но настроение утренний этот разносчик оставил хорошее, бодрое; тем более что обращения “товарищи” я не слышал уже лет двадцать пять — и словно сразу на этот же срок помолодел.

В Узбекистане никак не привыкну, что мне все здесь рады: не только таксисты или повара в чайханах, для которых я — вероятный источник дохода, но и просто прохожие люди. Обратишься к любому, о чём-нибудь спросишь, и тебе не просто ответят, но и ответят, куда тебе нужно, и пригласят в дом на чай, и вообще постараются, чтобы тебе стало лучше, чем было доселе. Вот этот живой, непосредственный импульс помочь настолько для нас непривычен, что я как-то раз оплошал. Я предложил деньги Равилю — тому, кто, закрыв свою чайхану и переодевшись, повёл меня на местный базар, чтобы лично передать в руки самых честных менял, сам убедился, что доллары мне поменяли по верному курсу, и потратил на все эти хлопоты около часа. Но когда я спросил, не должен ли я что-нибудь за его услуги, Равиль возмутился:

— Да ты что, брат? У нас помощь не продают...

Если бы не всеобщее это радушие и гостеприимство, разве б я оказался на узбекской свадьбе? Пригласили меня неожиданно. Ехали по серпантину горного перевала, таксист гнал, как бешеный, и я не выдержал:

— Брат, куда гонишь? К Аллаху торопишься?

— Зачем к Аллаху? — удивился водитель. — Я на свадьбу спешу!

— А-а... — понимающе кивнул я. — И много гостей бывает на ваших свадьбах?

— Поедем — посмотришь! — захохотал Кахор (так звали таксиста), обгоняя на повороте тележку с невозмутимо шагающим осликом так, что зеркалом чуть не оторвал тому ухо. Я, признаться, не принял всерьёз этого приглашения, но когда, расплатившись, уже в Самарканде выходил из машины, Кахор придержал меня:

— Ты куда, брат? Мы же едем на свадьбу!

Оказалось, его самого пригласил одноклассник Шариф, а того — однокурсник по ташкентскому институту, который в тот день как раз женил сына. При такой широте приглашающих жестов неудивительно, что на узбекскую свадьбу собирается, в среднем, до тысячи гостей, а на хорошую свадьбу — и до двух тысяч.

Само торжество проходило в какой-то промзоне, в огромном ангаре. Действительно, какой ресторан вместит разом тысячу посетителей? Этот ангар весь гудел, шевелился, кричал, танцевал. Интересно, что женщин почти не было, если не считать танцовщиц в серебрищихся платьях, извивавшихся между столами, да невесты, сидевшей рядом с женихом на возвышении, напоминающем сцену. Было шумно и душно, оркестр жарил узбекскую затейливо-однообразную музыку, гости то выскакивали на середину зала и пускались в пляс, то возвращались к столам, чтоб подкрепить себя пловом, шурпой, колбасой и лепёшками. Еды было много, выпивки — тоже: водка “Русский лес” лилась рекой.

Ощущение всенародного праздника было всеобщим и неподдельным. Народ ликовал оттого, что, коль скоро играется свадьба, он, народ, продолжается! Живым и естественным здесь было чувство, что свадьба — это не столько праздник двоих, сколько именно торжество всего рода и даже народа. И недаром, когда молодая родит мужу сына, будет сыграна ещё одна свадьба, и продолжится общее ликование по поводу неиссякающей жизненной силы узбеков.

Вообще, культ семьи — едва ли не главное в Азии. Легко можно представить себе азиата, более чем прохладно относящегося к своему президенту и даже к Аллаху, но человека, не ставящего интересов семьи выше всех прочих ценностей в мире, в Азии, кажется, не существует. Поэтому там почти нет разводов, нет брошенных детей и забытых стариков — потому что нельзя в жертву лично-му, эгоистическому интересу приносить жизнь близких людей. И вообще личность, по азиатским понятиям, не может быть важнее семьи и, тем более, рода. Это существенное различие между Востоком и Западом — миром, где главным является род и семья, и миром, где главной является всё-таки личность. Но чтоб не впадать в однобокое умиление нравами и традициями Узбекистана, вспомню один эпизод той самой свадьбы, на которой я так неожиданно оказался.

Свадьба гудела, плясала и пела, но “Русский лес” своё дело делал, и пьяных становилось всё больше. Многих из тех, кто уже не стоял на ногах, заботливо уводили под руки сыновья и племянники; но один ослабевший от выпитого мужичок лет сорока, шатаясь и улыбаясь бессмысленной добродушной улыбкой, неприкаянно слонялся между гостями. Он никому ничего плохого не делал, ни малейшей агрессии не проявлял — было видно, что человек он добрый, но просто не знающий меры в питье. Вдруг к нему подошёл осанистый, важный узбек: и живот, и двойной подбородок выдавали в нём начальника средней руки. Он что-то резко сказал захмелевшему, еле стоящему на ногах мужичонке и вдруг, ни с того ни с сего, стал жестоко его избивать! Он бил резко, с ухваткой боксера или бывшего уголовника, — а возможно, и того, и другого, — и когда мужичонка, как куль, рухнул на пол, мордастый, налившийся кровью его истязатель ещё несколько раз пнул его ногой в пах. Я не верил глазам: как такое возможно, да ещё на виду сотен людей?! Но моего изумления, похоже, никто здесь не разделял. Все как-то вскользь пробежали глазами мерзкую эту картину — пьяный, скуля, копошился в пыли, а мордастый мужик вытирал платком руки и жирный, вспотевший затылок — и продолжали галдеть о своём, пить “Русский лес” и зачёрпывать ложками плов. Лишь Кахор, заметив моё изумление, пояснил:

— Не обращай внимания, брат. Это дядя учит племянника: нехорошо напиваться на людях...

О том, хорошо ли избивать человека ни за что, ни про что, да ещё у всех на виду, я, понятно, не спрашивал: Восток — дело тонкое...

Но всего поразительней было то, что избитый племянник сам был, похоже, не против того, чтоб его так жестоко учили: по окровавленному лицу блуждала хмельная улыбка. Ну, как же: ведь род не бросил его, не забыл, не оставил слоняться хмельным, неприкаянным и одиноким; нет, жестоким дядиным кулаком род как бы вернул загулявшего пьяницу в строй, вбил его в свои ряды и приказал: “Будешь с нами! Ты нужен нам, мы тебе; а пока мы друг другу нужны — у нас есть право тебя и учить, и наказывать...”

Култ семьи в Азии расширяется до почитания и уважения не только родных, но соседей, друзей, даже просто знакомых. Человек, которого знаешь, сразу решительно выделяется из числа всех прочих людей, становится как бы

частью твоей собственной жизни. Так, махалля — квартал азиатского города — становится как бы большой семьёй, все члены которой не только знают друг друга, но принимают участие в жизни соседей, помогают, чем могут, и никогда не оставят без внимания и без заботы того, кто нуждается в помощи. Кто сомневается в доброте и радушии городской азиатской общины, пусть вспомнит то, как Ташкент в годы последней великой войны приютил миллионы беженцев из России, как он выкормил их, обогрел, вспомнит то, как узбекский народ поддержал русских братьев и русских сестёр в самое страшное время.

Вообще, люди Азии кажутся много добрее, отзывчивей, чем люди Центральной России: сравнивать нас с азиатами больно и грустно. Утешает лишь то, что узбеки по-прежнему любят нас и уважают, чтят русских как старших и умных, как образованных, щедрых и справедливых, то есть видят в нас то, что мы сами, похоже, уже неспособны увидеть в себе.

Конечно, всему есть причины и объяснения. Несомненно, одной из причин, по которой простые люди в Азии так радушны и гостеприимны, так открыты к общению и готовы помочь, является пресс диктатур и традиций, гнёт жёстких норм шариата, привычка склоняться пред сильным и чтить представителей власти, уверенность в том, что человек — не хозяин, а только игрушка судьбы, и что всё давно предreshено, в том числе и тот тяжкий груз подавляющих личность условий, которые как бы отсекают от человека его социальную “вертикаль”, но зато “расширяют” его по “горизонтали”. Там, где человек ощущает собственную никчёмность, где он обречён прожить жизнь в тех же самых условиях, в которых родился, и где он заранее с этим согласен, там силы души и энергия жизни обращаются на то, что тебя окружает: на семью и соседей, на дом, на твою махаллю, где жили твои дед и отец и будут жить твои дети и внуки.

Мой знакомый Закир, известный бухарский кузнец-оружейник, больше года прожил в Америке: он продавал там — и, кстати, довольно успешно — свои клинки. Так вот, он говорил: “Нет, брат Андрей, я б в Америке никогда не остался. Там же никакой личной жизни: только работа, карьера и деньги. В воскресенье выспался, и опять: работа — карьера — деньги. А жить-то когда?”

В Узбекистане всё наоборот: нет ни работы, ни денег, ни возможности делать карьеру, и остаётся одна только частная жизнь. Можно сказать так: если классическая американская модель жизни оставляет человеку одну социальную “вертикаль”, то есть предлагает ему, забывая себя самого, бесконечно карабкаться по социально-финансовой лестнице, то на Востоке такая “вертикаль” почти уничтожена, и человеку остается лишь расширяться “по горизонтали” — вести скромную частную жизнь, существовать “здесь и теперь”, сознавая, что жизни иной у него уж не будет...

...Вот так едешь-едешь по белому свету, наблюдаешь жизнь разных людей и народов, и всё прочнее убеждение в том, что плохих народов не существует. Народы суть Божьи мысли — и как же они могут быть плохи? Другое дело, что в каждом народе есть нехорошие люди, но они неизбежны, как и сам человеческий грех.

Эту мысль можно развить. Как не существует плохих народов, так же точно нет и плохих людей. Как может быть плох человек, Божий сын, созданный по Его образу и подобию? Есть лишь отдельные плохие поступки (то есть грехи) хорошего, по изначальному замыслу, человека. Согласитесь: если бы мы уяснили себе эту мысль не одним лишь умом, но всем сердцем, насколько бы стала теплее, душевнее наша холодная жизнь...

IV. ВНАЧАЛЕ БЫЛ КАЛАМ*

*Достоинство письма возводит
человека... до степени Ангела,
а дьявола — до степени человека.*

О. Хайам. “Наврузнаме”

В Самарканде, в одной из ниш медресе Улугбека что-то усердно писал каллиграф — сухоощавый таджик в тюбетейке, очках, с аккуратной бородкой и с пальцами, перепачканными тушью. Он, казалось, всецело был погружён

*Калам — тростниковое или бамбуковое писчее перо.

в своё кропотливое дело — плетение вязи словесных узоров большим тростниковым каламом, с которого на бумагу стекала волна синей туши, то широкая, то исчезающе-тонкая, — но когда моя тень упала на стол каллиграфа, он поднял голову, посмотрел на меня и спросил:

— Хотите знать истину?

— Хорошо бы... — пробормотал я, немного опешив.

— Вначале Аллах создал калам, — твёрдо сказал каллиграф. — И только потом сотворил остальной мир.

И, склонившись, мастер пера продолжил плести изощрённую вязь арабских, красиво синеющих, букв.

Слова каллиграфа открыли мне глаза на многое из того, что увидел я в Азии. Я осознал и почувствовал: всё, над чем трудятся руки ткачей, ювелиров, строителей и кузнецов, художников и каллиграфов, даже пекарей, на каждой тандырной лепёшке выбивающих особый рисунок печатей, даже дехкан, что ткут на полях и в садах разноцветные ковры из посадок и всходов, — что всё это, взятое вместе, есть писание книги Творца, которую Он нам диктует и переписывать строки которой есть высшая радость из тех, что дарованы людям.

Мне посчастливилось видеть и самый древний Коран: рукописную книгу громадных размеров, на оленью кожу которой, по приказанию шаха Османа, в седьмом веке были впервые записаны проповеди Пророка. Эту книгу спустя семь веков добыл Тамерлан, и теперь она — едва ли не главное достояние Узбекистана.

Лежит этот Коран под стеклом в центре гулкого зала, на пьедестале из чёрного мрамора, и такого же чёрного цвета те крупные буквы, из которых составлены главные для мусульман всего мира слова. Но поражают не столько размеры и древность Корана Османа, сколько сам дух поклонения слову, царящий в музее: посетители ходят, разувшись, говорят шёпотом, а попытка сфотографировать древний Коран кажется столь же кощунственной, как попытка сфотографировать самого Аллаха. Здесь, в музее Корана сохраняется то ощущение книги и слова как высшей святыни, которое Запад стремительно и безвозвратно теряет. Запад, увы, деградирует к примитивно-наглядным картинкам и клипам, значкам, пиктограммам, то есть, по сути, к наскальным рисункам — стремительно возвращается в мир дописьменный, варварский и первобытный.

Тут очень кстати пришлось одно воспоминание, которым я не могу не поделиться. Как-то в ожидании поезда я коротал ночь на тульском вокзале. Моим соседом и собеседником по привокзальной скамье оказался недавно “откинувшийся”, то есть вышедший из заключения мужичок лет пятидесяти: он получил четырнадцать лет за то, что зарезал любовника своей жены. Тщедушно-невзрачный с виду, он оказался прекрасным рассказчиком: почти всё, что я знаю о нравах тюрьмы, я узнал из ночной беседы с ним. И вот, помню, уже на исходе той ночи — небо над крышами товарняков розовело, флюгарки стрелок выступили из темноты, а рельсы покрылись испариной крупной росы — я спросил собеседника:

— Слушай, а что в зоне самое главное для того, чтобы выжить?

Мужик задумался. Я решил подсказать:

— Может — сила, умение драться?

— Не-ет... — засмеялся мой собеседник. — Всё равно же, каким ты ни будь бугаём, спать когда-нибудь ляжешь...

Он снова задумался: видно, ему хотелось дать мне правдивый и точный ответ. Наконец, он твёрдо сказал:

— Главное — правильно говорить.

Бездна смыслов стояла за этой краткой формулой тюремного выживания. Говорить правильно — значит, говорить правдиво и точно, по делу, без пустой болтовни, говорить, отвечая за то, что сказал, выражая словами ещё и то многое, что не может быть сказано прямо. И тогда правильно произнесённое слово становится тем, что спасает в условиях самых критических, страшных — там, где ни сила, ни деньги, ни власть не защитят человека.

Похоже, что и моего собеседника все четырнадцать лет хранил “ангел слова”, то есть способность к живой, увлекательной, точной и образной речи. Но ведь этот же ангел оберегал ещё и легендарную Шехерезаду: тысячу и одну ночь он вёл её по лезвию ножа, в одном шаге от смерти, храня жизнь

наложнице царя Шахрияра. Вот уж воистину: для Шехерезады речь стала синонимом жизни, а слово — вратами спасения. Как поразительно это сплетение жизни и вымысла, тульского зека — и героини восточных легенд, современной России — и древней Азии...

Но заметна и разница между отношением к слову на Западе и на Востоке. Если упростить эту мысль, то можно сказать: для современного Запада слово есть, главным образом, средство для достижения неких — обычно весьма прагматических — целей. И сильнейший аргумент в пользу этого — обилие глагольных форм в главном языке западной цивилизации, английском: вряд ли какой ещё язык мира включает в себя двенадцать временных форм глаголов. То есть английский — это язык действия, язык достижения цели. В нём слово является средством, которое, чем энергичней, короче и проще, тем лучше.

На Востоке отношение к слову иное. Для араба или перса слово никак не слуга и не средство, но само по себе есть конечная цель. Где западный взгляд увидит многословную витиеватость, избыточно-сложный орнамент ветвящихся фраз и нагромождения лишних эпитетов, человек восточной культуры воспримет всё естественно, как дыхание, ибо словесный узор есть не средство, а цель речи, он существует сам для себя и сам по себе; и читатель, и слушатель ждут от него одного — красоты. Поэтому, кстати, касиды Востока так напоминают газели, и наоборот, ибо главное в них — не предмет восхваления, то есть не очи возлюбленной или мудрость властителя, а восхваление само по себе — тот узор, что сплетён из затейливых слов, та изощрённая пестрота арабесок, что делает рукопись книги похожей на яркий, клубящийся вязью орнаментов восточный ковёр.

Порой кажется: все на Востоке только и заняты тем, что без устали вышивают ковры. И каллиграф, что древним почерком куфи выводит строку за строкой, тянет фразы Корана, как нити на прялке, — разве это не ткач, под диктовку Пророка плетущий узор бытия? Или, скажем, чеканщик, чей молоток мелодично звенит на закате бухарского знойного дня — той порою, как пыль оседает на стены, айваны и улицы старого города, — разве он не вышивальщик по меди, под руками которого кувшин покрывается вязью узоров, превращаясь из простой ёмкости для воды или масла в нечто прекрасное, в то, чему место в музее?

А зодчий, что возводил, например, мавзолей Самани — как он мог, имея в руках только грубый сырцовый кирпич, сплести из него столь затейливо-разнообразный узор, что стена мавзолея кажется именно вытанной?

Я уж не буду подробно расписывать то, что само просится на бумагу: сравнение с работой ткача работы тех зодчих, которые на воротах и стенах медресе, мавзолеев, мечетей Востока соткали ковры неземной красоты. Фасады, к примеру, Шахи-Зинды, мавзолеев на древнем кладбище Самарканда, вызывают не просто восторг, но состояние оглушённости тем, что ты видишь. Этой вот бирюзы, изумрудов и ультрамарина, сплетённых в сложный, клубящийся, сам себя заколдовавший узор, словно вот-вот не выдержат взгляд и рассудок. Того, на что ты сейчас с таким ошеломлением смотришь, кажется, просто-напросто не может существовать; но оно существует, поражая тебя очевидностью невероятного. По замыслу тех, кто выкладывал эти узоры из глазурованной плитки, сама смерть должна была отступить перед натиском красоты. И действительно, здесь о смерти думаешь меньше всего: она представляется не таким уж и важным событием в свете того, что открылось твоим глазам...

Даже простые дехкане, которые трудятся на полях и в садах, и те порой кажутся каллиграфами или ткачами, которые то ли усердно сплетают узоры ковров из зелёных посадок и всходов, то ли выводят на разлинованных грядками полях слова древней рукописи — те слова, что нам, людям, порою невняты, но зато хорошо различимы Аллаху, во славу которого и совершается всё, что происходит под солнцем и под луной.

И если весь мир представлять как бы некою книгой, чьи страницы начертаны были предвечным каламом Творца, то каким же осмысленным, радостным станет любое из дел человека, когда он стремится или прочитать эту книгу, или украсить её, или хотя бы переписать её строки — на бумаге, ковре или камне...

У. ПРОЗРАЧНЫЕ ГОРОДА

Ad clares Asiae volumes urbes...

Katull*

Слова эпитафия всегда мне казались загадочны: почему Катулл, житель Вечного города, назвал азиатские города “прозрачными”? Наоборот, они подавляют теснотой пыльных улиц и переулков, чадом мангалов или тандыров, истощными воплями смуглых детей, которые целыми гроздьями чёрных голов выглядывают из дверей глинобитных жилищ. На первый взгляд, город Азии кажется плотен и тесен, запутан и бестолков, мучительно-однообразен по цвету — саманные стены ничем не хотят отличаться от окружающих город песков — и, если бродить по нему час, другой, третий, то мерещится: ты попал в западню, из которой один выход — в небо. Не с этим ли связано то, что все главные мировые религии — родом из этих пустынь, из тесных, криковых лабиринтов дувалов? Иудаизм, христианство, ислам — не забудем и зороастризм! — все родом из Азии, родом из пыли и зноя, и из той тесноты азиатского города, в которой, как кажется, вовсе нет места душе человека. Необходимость преодолеть этот морок и бред обступившего со всех сторон плотно-материального мира, подняться над ним, превозмочь тесноту бытия — вот, возможно, одна из причин, порождающих тягу людей к трансцендентному, к миру, который невидим.

Так где же “прозрачность”, о которой пишет Катулл? Разгадка, как это часто бывает, лежит на ладони: стоит лишь поменять угол зрения, чтобы всё, чем томит и теснит азиатский запутанный город, обрело бы иное значение. На второй день блуждания по пыльным улицам Бухары я вдруг догадался: да это же просто огромный бивак на большом караванном пути! И он здесь поставлен на время, пока отдохнут ишаки и напьются верблюды, пока караванчики разных стран обменяются новостями, а торговцы — товарами, пока отошавшие на переходе погонщики наедятся досыта плова, а цирюльники выбреют наголо обросшие на пути из Китая и Индии головы правоверных.

Увиденный именно так, город сразу становится и прозрачным, и призрачным. Всё в нем обрывает первоначальный смысл. Что первым делом требуется каравану, прошедшему пекло пустыни? Понятное дело, вода. Поэтому в центре любого из городов, нанизанных, словно бусины, на ветви Великого шёлкового пути, был водоём или “хауз”, но до сегодняшних дней такой пруд сохранился лишь в Бухаре. А поскольку верблюд пьёт очень много — до пятнадцати вёдер за один водопой, — и в большом караване верблюдов могло быть до нескольких сотен, то ясно, насколько вместителен должен быть “хауз”. Правда, сейчас вода Ляби-Хауза, центра сегодняшней Бухары, используется лишь для того, чтобы поливать плиты меж столиками кафе, облепивших пруд с двух сторон, да для фонтанов с цветной подсветкой, которые так украшают и так освещают вечерние трапезы в этих кафе. Пока пьют верблюды, — а они это делают основательно, долго, “в запас”, — что делать купцам и погонщикам, которые привели караван в Бухару? Конечно, идти в баню — смыть пыль и пот путешествия. Там же, при бане, их ждут цирюльники и массажисты, чай и сладости — ждёт долгожданный, заслуженный отдых.

Сходим-ка в баню и мы. Здесь всё то же самое, что было и в XV веке, кроме электрического освещения. Даже печь, от которой нагретый воздух по трубам расходится в помещения бани, — натуральная печка, которую топят дровами.

Горячими лавками после раскаленных песков пустыни здесь никого особенно не удивишь, а вот изобилие горячей воды, действительно, кажется чудом. А уж если вода подаётся не в шайках, как в классической бане Востока, а свободно льётся из душа... Обычно я посещал бухарскую городскую баню, что у Зелёного базара, и не забуду выражения счастья на лицах стариков-аксакалов, стоявших под душем. Вода поливала их лысины, белые по сравнению со смугло-копчёными лицами, — видно, тубетейку старики не снимали всю жизнь! — а беззубые рты расплывались в блаженных улыбках. Может, им грелилось, что они уже в мусульманском раю? Спросишь, бывало: “Якши?” — и старик закивает: “Якши, якши!”

* “К прозрачным Азии стремимся городам...” Катулл.

Помывшись, побрившись и выпивши чаю, идём на базар. Ведь это и есть настоящая цель каравана, который пришёл, наконец, в Бухару. Продать шёлк, пряности, чай, купить ружья и чугунные казаны, сделанные урусами на железных заводах Урала, — ради этого и существовал тот Великий шёлковый путь, который связывал Азию и Европу.

На восточных базарах всегда вспоминаю забавную поговорку, записанную в XIX веке одним из путешественников-европейцев. “На мой вопрос: “Далеко ли до Бухары?” — обыкновенно мне отвечали: “Купец приезжает на седьмой день, а вор — на третий...”

Нам спешить некуда — мы ничего не украли! — поэтому можно, не торопясь, побродить по торговым рядам. Конечно, бухарские рынки сегодня — совсем не то, что когда-то: под знаменитыми торговыми куполами теперь продают, в основном, сувениры. Чтобы почувствовать атмосферу настоящего азиатского рынка, лучше свернуть с туристических троп. Скажем, базар Гиждувана, знаменитый своими вкуснейшими шашлыками и жареной рыбой, — вот это уже настоящий восточный базар, с его толчеей, гвалтом, неразберихой, с удушливым чадом мангалов, выкриками менял, с пестротой женских платьев, мужских тюбетеек, — словом, со всем тем, что так гипнотически втягивает в себя и заставляет бездумно, бесцельно кружиться в его разноцветных и шумных водоворотках. Насколько всегда мне противны мертвенные ряды супермаркетов, настолько же я всегда рад побродить по рядам настоящего, полного жизни базара. Даже то, что, казалось бы, должно отвращать и отталкивать, — всю эту неразбериху и толчею, пыль и чад, гомон и крики, — воспринимаешь, как симфонию жизни, видеть и слышать которую ты готов бесконечно.

Правда, сами товары — горы продуктов, одежды и утвари — интересуют меня только как объект фотосъёмки. То поймашь в видеоискатель пирамиду сияющих казанов, то восхитишься коврами иль платьями, то будешь, меняя ракурсы, снимать разноцветные барханы пряностей, сожалея, что твой “цифровик” не сумеет передать их аромат, то тебя остановит дымящийся тандыр на колесах — полевая кухня Востока — или чарджуйские дыни, висящие над прилавком, как дирижабли в полёте...

Главное, что привлекает на азиатских базарах, — конечно, еда. Она здесь дёшева, очень вкусна, и жалеть приходилось лишь только о том, что желудок вмещает так мало, что нельзя съесть разом плов, шашлык, димламу, шурпу, джиз, лагман, а приходится выбирать что-то одно, и этот выбор всегда непрост. Любое из блюд, какое довелось попробовать в Узбекистане, достойно не то что простой похвалы — достойно оды, написанной в витиевато-торжественной, со множеством восклицательных знаков, манере.

Царь еды в Азии — плов. Как писал о хивинцах Николай Муравьёв ещё в 1822 году: “Любимое их кушанье — плов, или густая каша из сарачинского пшена”. Удивляет разнообразие видов этого самого “сарачинского пшена”. Мы-то знаем рис длинный да круглый; а в Азии его десятки, если не сотни, видов и разновидностей, как, кстати, и разновидностей плова. Но называют его здесь, чаще всего, даже не “плов”, а “ош” — то есть просто “еда”.

Всегда удивляет, как много можно съесть плова — потому что невозможно остановиться, поглощая душистый, рассыпчатый рис, перемешанный с луком, морковью, горохом, изюмом и ещё Бог знает с чем. Ощущенье такое, что ты просто ныряешь в эту гору из риса и плывёшь в ней, забывая про всё на свете... Приходишь в себя, лишь когда пустеет тарелка; но какое-то время ещё не вполне понимаешь: что это было с тобой, и куда подевалась огромная порция плова?

Походив по базару, наевшись-напившись, пора бы подумать о том, где прилечь да поспать. Как известно, гостиницы в Азии назывались караван-сарай — то есть буквально: “города караванов”.

Это опять возвращает нас к мысли о том, что город в Азии — это большая стоянка на караванном пути. Посетите любое из старых жилищ — и вы увидите, в сущности, юрту кочевника: только стены в ней будут не из войлока, а из самана. Пол устелен коврами, на которых лежат ватные одеяла; ни окон, ни мебели нет и в помине. Система зимнего отопления здесь первобытная: сандали, то есть углубление в глинобитном полу, куда насыпаются угли, а поверх них ставится низенький столик, который накрывается одеялом. Хочешь согреться — садись, и просовывай ноги под одеяло: это всё напоминает обогрев путников возле костра, под мерцающим звёздами небом пустыни. То есть

быт горожанина в Азии столь аскетичен, что кажется: собраться и тронуться в путь, оставляя обжитое место, — вопрос двух-трёх часов. И в этом смысле город “прозрачен” настолько, что кажется призрачным, — впрочем, как и сама азиатская жизнь. Память о том, что мы в мире гости, что всем нашим радостям, горестям, хлопотам или заботам отмерен свой срок, что караван скоро снова отправится в путь, к неизведанным нами пределам, — это важнейшая часть азиатского отношения к жизни. Если большинство, скажем, сказок Европы завершаются формулой жизненного благополучия, которого после всех приключений достигают герои — “И стали они жить-поживать да добра наживать”, — то каждая сказка “1001 ночи” имеет такой финал: “И они жили счастливо до тех пор, пока не явилась к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, сокрушающая дворцы и воздвигающая могилы...”

А тюрбан — тот моток полотна, что украшает головы правоверных, — это же саван, призванный ежедневно напоминать о превратностях человеческой жизни и о неизбежности смерти. Согласитесь: носить на голове собственный погребальный костюм, в который тебя когда-нибудь и обернут, — это создаёт особенный тон отношения к жизни. Ощущение призрачности всего мирского, осознание “прозрачности” наших дел и свершений, жилищ, городов — важная, если не основная, составляющая в мировоззрении суфиев, этих аскетов, для которых нет большой разницы: заночевать ли в ханаке, общежитии деревни, или провести ночь у кочевого костра. Реальность для суфия и должна быть прозрачна, он должен душою и мыслями проникать сквозь неё: даже шумный и тесный, дувалами стиснутый город должен ему представляться видением — чем-то вроде тех миражей, что дрожат над песками пустыни...

Вот и нам, только-только мы свыклись со здешнею жизнью, с саманными стенами и минаретами, с которых порой раздаётся восторженный плач мурззина, с дымком из тандыров и запахом свежих лепёшек, только-только мы свыклись с полдневной жарой и с вечерней прохладой азиатского города, пора трогаться дальше. И город, покинутый нами, становится всё более призрачным, зыбким, прозрачным: его контуры тают и расплываются, звуки гаснут, его цвета блекнут, а тени — бледнеют. И от города, как написал современный арабский писатель Амин Маалуф, “остаётся лишь взгляд, брошенный на него полупьяным поэтом...”

VI. В ТЕНИ ПТИЦЫ ХУМАЙ

Пустыня внемлет Богу...

М. Лермонтов

Даже в апреле, и то приходилось выискивать тень — и вздыхать с облегчением, когда ты мог наконец-то прийти в себя, отереть со лба пот и отдохнуть в холодке. В ясные дни, — а таких в Средней Азии большинство, — весь мир чётко делится надвое: пекло — и тень, дурман зноя — и просветление тенистой прохлады.

Ни одной из религий Востока — ни ислама, ни зороастризма, который исламу предшествовал, — нельзя понять и прочувствовать, упуская из виду вот это отчётливо-резкое разделение мира на солнце и тень. Ведь представления человека о мире вырастают из тех непосредственных впечатлений реальности, которые, повторяясь день ото дня, год от года, входят в души, умы и сердца несомненною и изначальною данностью. И если видимый мир так отчётливо делится надвое, если он состоит из враждующих света и тени, то и всё бытие, как считали зороастрийцы, есть арена борьбы Ахримана с Ормаздом — духа зла с духом добра.

Вообще, смысл и значение тени в Азии совершенно иные, чем, скажем, в Европе, где солнечный свет не так резок и жгуч, где тень не так отчётлива и не настолько желанна и где нам привычнее полутона, полутени. Уже в силу оптических этих эффектов, которые нас, европейцев, окружают ежедневно и всюду, нам и в собственных душах сложнее отделить свет от тени и зло — от добра. В нас изначально живёт убеждение, что не бывает людей однозначно плохих или всецело хороших: нет, душа каждого есть сложная смесь тьмы и света.

Ислам же решителен, целен и прост, как кулак или сабля. И в самой беспощадности, резкости вероученья Пророка ощущается резкость деления ми-

ра Востока на солнце и тень: стало быть, на своих и чужих, на тех, кто достоин награды, и на неверных-гяуров, достойных презрения, а порою и смерти.

Но вернёмся к символике тени. Одна из восточных легенд говорит: человек, на которого пала тень птицы Хумай, — считается, что прообразом этой мифической птицы является кондор, — будет счастлив и станет царём. Эта птица помещена на герб Узбекистана: вся страна лежит как бы в тени её царственных крыльев.

Уже из этого видно, что тень на Востоке — священна. Там даже султана, царя, называли порой “тенью Аллаха”. И, действительно, тени Востока настолько отчётливо-резки, что кажутся материальными: они словно рельефнее тех реальных предметов, которые их отбрасывают. Если солнечный мир порой расплывается, тает в глазах, и ты, измученный зноем, начинаешь уже сомневаться в реальности мира, да и самого себя тоже, то тень всегда несомненна, отчётлива, определённа.

И тень здесь — бесценный дар, милость Аллаха: даже без воды человек проживёт летом в Азии дольше, чем он продержится без спасительной тени. И вообще, солнце выжгло бы всё, превратило бы всю землю в пустыню, когда бы не тень и вода — эти две главные составляющие магометанского рая.

Так что можно считать, что мы, русские, живём в мусульманском раю: и тени, и зелени, и воды у нас с вами в избытке; да и красивые женщины, без которых исламский рай также немислим, мы, можно сказать, избалованы. Вот и думай: ценить ли нам нашу Россию, где даже обычная жизнь, благ которой мы уже и не замечаем, есть предел не просто земных, а загробных мечтаний целых народов? Да, полезно расстаться на время с привычной жизнью, увидеть её со стороны, чтобы не забывать, как нам повезло, как мы богаты и счастливы и как мы за это должны, выражаясь высоким слогом, “денно и ночью Господа Бога благодарить”.

То, что Азия — это всё же “чужое”, ощущаешь на каждом шагу. Острее всего чувствуешь это в мечети, где человек обращается к Богу, — там он откровенней всего выражает себя самого. Так вот, в мечети, во время намаза поражает решительность, слаженность, чёткость движений молящихся. Вот все застыли в напряжённой готовности; вот, по слову муллы, разом склонились; вот все, как один, рухнули на колени и прижали лбы к молитвенному коврику, а вот уже, как пружины, все разом выпрямились и вновь напряжённо застыли перед михрабом — узорчатой нишей, обращённой в сторону Мекки. Женщин здесь нет, а все молящиеся мужчины со спины кажутся примерно одного возраста: среднего, то есть самого боеспособного. И поэтому, когда видишь молящихся мусульман, начинает казаться, что оказался на плацу во время строевой подготовки. Ощущение, прямо скажем, тревожное: когда видишь десятки обритых и крепких затылков, широких и разом склоняющихся спин, которые тут же, словно пружины, распрямляются, — понимаешь, что это, по сути, воинская команда, которой лишь крикни приказ — и она, без сомнения и промедления, ринется в бой. Прямо-таки ощущаешь, как Аллах заряжает молящихся силой, как она копится в тех, кто собрался в мечети, в её пустых стенах, тоже чем-то напоминающих стены казармы.

До чего же это всё отличается от нашего православного храма — того, где смиренно мерцают лампы и свечи, где лики святых сокрушённо взирают на ветхих старушек, которым креститься, и то тяжело: их дрожащие руки и скорбные лица принадлежат уже, кажется, миру иному...

И думаешь: как же так получилось, что наша религия слабых, больных, обречённых, несчастных и грешных людей столько раз — даже в этой, земной, уж никак не прощающей слабости, жизни — одолевала и сокрушала ислам, религию силы и воли? Вот и здесь, в песках Средней Азии — множество раз побеждала Россия и её православное воинство.

Не то, чтоб ответ, а намёк на него я ощутил однажды в храме Сергия Радонежского в узбекском городе Навои. Воскресная служба уже завершалась, храм был полупустым — русских в Азии остаётся всё меньше, — но было неизъяснимо отраднo видеть родные мне лица — и те, что смотрели со стен православного храма, и те лица молящихся, что меня окружали. Я вдруг почувствовал — как бы это точнее сказать? — функциональность ислама и “бесполезную” суть христианства. Если исламскому Богу от человека нужна его сила и воля, и готовность погибнуть во имя Аллаха, то есть нужно, как от солдата, какое-то действие или хотя бы готовность к нему, то христианскому Богу нужен сам че-

ловек. Христианство поэтому глубже ислама: как человек всегда и сложнее, и глубже своих поступков, которые могут быть или глупыми, или плохими, но тайна и глубина человека всегда будет больше суммы всех его дел, как хороших, так и дурных. И поэтому христианство бытийно сильнее ислама. Ибо оно опирается на человека, больного и грешного, скорбящего и недостойного, часто почти бессильного — на того человека, каким он является по своей сути. Сила и молодость преходящи и очень непрочны; а вот скорбь, тоска, боль будут жить, пока жив на земле человек.

Ислам, можно сказать, человека не видит, он как бы не принимает его в расчёт; кажется, что в исламе живой человек лишь мешает той дивной гармонии мира, тем формам, узорам, цветам бытия, над которыми вдохновенно трудился Аллах. Поэтому так абсолютен, так строг мусульманский запрет на изображение человеческого лица — того, что, по убеждению христиан, является самым прекрасным на свете.

Как-то раз в Самарканде тёплой звездной ночью я сидел перед фасадом усыпальницы Тамерлана. Весь Гур-Эмир — его арки, ворота и башни — всё было покрыто цветными узорами, украшено надписями из Корана, и всё было очень красиво, особенно рядом со звёздами, что мерцали на небе. Но светлые ниши стены внутри арок, обрамлённые узорами арабесок, были знобюще-пустыми. И я вдруг почувствовал как бы тоску этих ниш: они словно ждали и жаждали человеческих лиц, они будто просили, чтобы кто-нибудь положил на их белизну мучительно-недостающие лики людей... И даже плач мурзидина, что вскоре раздался в ночи над плоскими крышами старого Самарканда, показался мне тоскующим, горестным зовом: "Ищу человека!.."

Вот и те азиатские тени, о которых уже велась речь, — тени, которые так много значат и в жизни, и в мифологии Азии, — имеют важнейшее свойство (точнее, недостаток): у них нет лица. Пусть тень отчётлива, резка, пусть она безупречно рисует нам контур предмета, пусть даже нас к ней влечёт, как к желанной защите от солнца, но тень никогда не заплачет и не засмеется, и мы никогда не увидим её, тени, глаз...

Ислам тоже кажется некой тенью Пророка, который, беседуя с Богом и слыша Его наставления, как бы отбросил на жёлтые, испепелённые солнцем пески аравийских пустынь свой резко очерченный контур и запечатлел на сожжённой земле след своей встречи с Аллахом. И к этой спасительной тени, ища в ней защиты, потянулись сначала арабы, а потом и десятки иных, истомлённых пустыней племён и народов. Ислам дал им эту защиту и научил их, как выжить в пустыне жестокой и скудной реальности жизни.

Но тень — всего только тень; отдыхая в тени, наслаждаясь прохладой и негой этого как бы прообраза магометанского рая, нельзя забывать, что тени всегда порождаются солнцем, и не явись к нам Христос, не озари падший мир светом истинной веры, лучами любви, не возникло бы и ислама — этой тени Пророка на сотворённой единым Богом земле...

г. Калуга

МАРИНА ВОРОПАЕВА

НАРОДНАЯ ПЕВИЦА РОССИИ



К 40-летию творческой деятельности Т. Ю. Петровой

Такое звание присвоил заслуженной артистке России Татьяне Юрьевне Петровой ныне покойный Митрополит Петербургский и Ладужский Иоанн. И здесь же добавил, что своим искусством она “должна не тешить, а утешать людей”. Слова Владыки — и как наставление, и как завет — нашли живой отклик в сердце Татьяны Петровой. Может быть, поэтому, независимо от того, про что она поёт, всегда проникаешься каким-то удивительным чувством доброты, тепла и света, что исходит её душа. Так родилось осознание и самого творчества, его предназначения: “Надо петь так, — говорит певица, — чтобы у человека была радость в душе. Ликование”. Наверное, потому благодарная публика и переполняет всегда концертные залы, в которых она выступает. А поёт Т. Петрова очень красиво и вдохновенно, эмоционально наполненно и всегда глубоко осмысленно. Я не музыковед и поэтому не претендую на детальный анализ её творчества. Мне просто захотелось поделиться теми мыслями и чувствами, что рождаются от соприкосновения с высоким искусством, которым одаривает Татьяна Петрова своих слушателей.

Её творчество неоднородно и развивается как бы в нескольких направлениях: народная и авторская песня, романс и духовные песнопения. И все эти направления в искусстве Т. Петровой равноценны, существуют на равных. Я не имею в виду их количественное соотношение, но, прежде всего, их высокое

художественное качество. И концерты певицы, и записанные ею диски интересны самым подбором работ, раскрывающих и широкий диапазон её вокальных данных, и чистоту стиля каждого исполняемого ею произведения, и многообразие репертуара, в котором А. Гурилёв и А. Варламов, М. Глинка и М. Мусоргский, В. Абаза и П. Булахов, П. Чесноков и С. Прокофьев. А рядом с ними – русская народная песня, которая не только не теряется при таком соседстве, но, благодаря высокой исполнительской культуре певицы, раскрывает их чистоту и подлинную красоту. Заезженные, “запетые” и даже порой опошленные песни в её исполнении начинают обретать свой первоизданный, порой драматический характер и глубокий смысл.

У Т. Петровой очень своеобразные отношения с собственным голосом. Её кредо – “голос не надо жалеть, а то заленится”. Но дело даже не в щадящем режиме. Её голос – это широчайшая палитра разных красок, штрихов, интонаций, приёмов. С лёгкостью и изящной непринуждённостью она снимает их с палитры и мастерски творит тот или иной вокальный образ. Но за этой кажущейся лёгкостью и простотой достаточно ощутим труд, поиск и невероятная требовательность к себе. Однажды найденное решение потом может пересматриваться, уточняться, обретая новые краски и даже новую интерпретацию. В этом смысле репертуар Т. Петровой – не застылый, статичный, а живой, обновляющийся не только новыми работами, но и новизной самой огранки когда-то уже исполненного произведения. Всего два года отделяют, например, друг от друга записи песни “Выхожу один я на дорогу” (сл. М. Лермонтова, муз. Е. Шанина, обр. В. Конакова). И в том, и в другом случае песня спета на высоком профессиональном уровне. С той лишь разницей, что в записи 2006 года певица подчёркивает лирический, созерцательный характер произведения, а в записи 2008 года эта созерцательность приобретает уже драматический настрой.

Сопоставление записей 2006 и 2008 годов уже само по себе интересно, поскольку явно свидетельствует о постоянном поиске, движении, совершенствовании и самой исполнительской культуры певицы. Произведения на диске 2008 года, кроме всего прочего, поражают присущей только большим мастерам строгой художественной дисциплиной, основанной на принципе: всё, что не помогает, – мешает. Но этот принцип не возникает ниоткуда. Его зарождение отчётливо просматривается уже в “Романсах” и “Народных песнях”, записанных двумя годами ранее.

Каждый сотворённый ею художественный образ вдруг захватывает слушателя не только эмоционально, но даже визуально. Своим голосом, исполненным необычайного интонационного богатства и красочного многообразия, она буквально “пишет” вдохновенный пейзажный образ. И вдруг ловишь себя на том, что начинаешь видеть своим внутренним зрением и это “утро туманное”, и “горные вершины”, и “звёзды на небе”. Всего одним лёгким, почти эскизным штрихом она умеет “набросать” даже гриву, что “кудрявится” на ветру.

И совсем другой предстаёт певица в песнях поэта и композитора Владимира Волкова. Как меняется её манера исполнения! Камерность как избранная форма наполняется тем тихим и даже интимным звучанием, в котором раскрывается прикровенный мир души.

А может певица использовать одну и ту же краску для разных произведений и при этом добиться совершенно разных результатов. На одном из своих дисков Татьяна Петрова поёт подряд три произведения: “Выхожу один я на дорогу” (муз. А. Шанина) и два романса А. Варламова: “Горные вершины” и “Белеет парус одинокий”. И в каждом из них на самых верхних нотах голос вдруг неожиданно начинает чуть-чуть дрожать. И первая мысль невольно – слишком высоко взяла! Но на том же самом диске есть запись духовного произведения “Во царствии Твоем помяни нас, Господи” Д. Христова, безупречно исполненного ею самым высоким женским голосом – дискантом. Такая маэстрия не только сразу снимает возникшие было сомнения по поводу исполнения произведений Варламова и Шанина, но, прежде всего, заставляет задуматься: а почему певица идёт на этот риск? После второго, третьего прослушивания записи начинаешь понимать, что всё здесь продуманно, всё сделано совершенно сознательно. Дрогнувший голос оказывается на поверку знаком глубокого душевного переживания, природа которого каждый раз будет иная. В одном случае оно порождено трепетным состоянием души перед огромностью мироздания. В другом – становится удивительно тонким

проводником темы одиночества, а в третьем — раскрывает страдательное состояние мятущейся души.

Татьяна Юрьевна не жалуется лёгкие пути в достижении цели, поскольку это всегда — скольжение по поверхности. Ей интересны сложные задачи, требующие активизации душевной, интеллектуальной, художественной энергии. Это своеобразие её творчества заявило о себе довольно рано. Ещё в середине 1980-х годов она записала песню Марфы из оперы М. П. Мусоргского “Хованщина”. Причём аккомпанирующий ей квинтет играл в очень популярном на рубеже 1970–1980 годов стиле симфоджаз. Такая осовремененная аранжировка классической музыки, не смущавшая тогда никого, открывала возможность и свободного вокального обращения с самим произведением. Но молодая певица не пошла ни по пути модернизации исполнения, ни по пути классического пения, а предложила более интересное, хотя и более сложное образное решение. Она пошла от истоков. Единственное, что себе позволила певица, это несколько угловатый, так сказать, осовремененный ритм, но сама песня звучит в излюбленном ею замедленном темпе. Освободив вокал от оперности, “ариозности”, но не заигрывая при этом и с фольклором, она воссоздала первообраз, исполненный необычайной красоты, чистоты и подлинности народной мелодии, что так восхитило и вдохновило Мусоргского.

Исполнительская манера Т. Петровой, лишённая прозаичности, приземлённости, всегда окрашена сопереживанием, состраданием своим героям. Т. Петрова вообще любит людей, и потому созданные ею образы всегда наполнены проникновенным, глубоким чувством. Оно и определяет особый, задушевный характер её романса, звучащего у неё как потаённое воспоминание его героев о своём прошлом, в котором пережито и упоение счастьем, и печаль расставаний, и горечь отвергнутой любви. Отсюда эта трогательная, доверительная интонация, что рождается от очень деликатного прикосновения к тончайшим струнам души, тому сокровенному, что хранится в её тайниках. Отсюда же и замедленный темп, который поначалу воспринимаешь с трудом — так он диссонирует с сегодняшними сумасшедшими ритмами жизни. Но постепенно, вслушиваясь в её поэтическое пение, понимаешь, как точно найден этот темп, насколько тонко художественное чутьё певицы. Между тем, немногие музыканты рискуют прибегнуть к нему, поскольку, по мнению одного из крупнейших современных музыковедов, доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории В. В. Медушевского, временная протяжённость такого звучания требует своего заполнения: чувствами, размышлениями, ассоциациями и т. д. А если этого нет, то образуется пустота. Вот чего никогда не бывает у Т. Петровой! С большим чувством меры и такта воссоздаёт она то душевное состояние, в которое погружаются её герои в своих воспоминаниях. Воспоминаниях, за которыми — прожитая жизнь, судьба.

Есть в её обширном репертуаре песня “Горница” (муз. А. Морозова, сл. Н. Рубцова). Сюжет, казалось бы, очень простой, незамысловатый. Но за этой внешней ненапрячностью, простотой слога какой-то особой болью отзываются слова поэта о “вымерших пасхальных селах”, о том сне, “что затуманит всё”. Но и композитор Александр Морозов, и сама Татьяна Петрова не усиливают этот драматизм, а воспевают народную одухотворённую красоту русского мира, что созидалась “тысячами безвестных лет”. Сколько поэзии, эстетической выразительности в этих плавных, текучих ритмах, в которых ведёт своё повествование Т. Петрова. Кантилена, протяжная, распевная, исполненная мягкости и нежности, звучит непрерывно, нигде, казалось, не обрываясь. Ощущение целостности, единой музыкальной фразы возникает от того, что уже с первых звуков само исполнение песни, рождённой поэтикой национального мелоса, захватывает тебя всю, целиком. Захватывает своей правдой, своей чистотой и искренностью, настраивая слушателя на какой-то новый, неожиданный лад. И сама песня с её широким дыханием, с удивительно возвышенной интонацией звучит у Т. Петровой уже не как образец народной песни с её спецификой, но как признание в любви к своему, родному — русскому, национальному.

Вот почему хорошо и свободно чувствует она себя, исполняя и собственно народные песни. Но она не растворяется в их фольклорной природе, не стилизует и не иллюстрирует её, но даёт своё видение, предлагает своё прочтение, казалось бы, хорошо известных песен и, по сути, открывает их заново, вдыхая в них новую жизнь, пронизанную каким-то удивительным, ин-

туитивным чутьём истины. А она — в своеобразии особой, неповторимой национальной стихии русского народа, характерные, отличительные свойства которой мягкость, женственность, пассивность, созерцательность. Они-то и определили особенности гармонии, мелодичности народной песни, её ритмики, мягкой, протяжной, её задушевности, в которых и любовь, и страдание, и молитва. Своим тонким, абсолютным слухом и услышала Татьяна Петрова это своеобразие музыкального строя народной песни.

Для певицы, можно сказать, источником вдохновения является, прежде всего, заключённая в песне народная мудрость, облачённая в красоту музыкального гения народа. Может быть, поэтому ей так понятна известная поэтическая строка: «От избытка сердца глаголют уста, такова открытая нам глубина слова». «Глубина», выраженная, переданная в песне интонацией, то есть звучанием, наполненным мыслью. Но для Т. Петровой это всегда мысль высокая, одухотворённая. Вот почему певице оказалась очень близка идея, высказанная замечательным историком музыки В. В. Медушевским, человеком, который в отечественном музыковедении стал первым разрабатывать проблему духовности в музыке. Для Медушевского «интонационность человеческого слова есть отблеск Божьей силы». Полностью разделяя подобный взгляд, Татьяна Юрьевна считает, что «рассудок, отталкиваясь от фонетического слова, с каким бы усердием ни пытался усвоить его, не способен постичь ни «отблеск», ни самую «Божью силу». Лишь любви она доступна, только дух человека, питающийся духом Божиим, обитающим в поющем сердце, раскрыт для Божьей славы. Это своего рода волна в магнитно-силовом поле любви, отдающей сердце небу». Это глубокое убеждение певицы. Вот почему народность её искусства определяется не столько репертуаром, сколько способностью придать каждому исполняемому ею произведению ту духовную полноту, которой живёт и творит душа народа. Именно здесь и рождается национальная природа самого искусства Татьяны Петровой.

Она умеет услышать в песне не вообще страдание, а передать безысходную тоску, что переполняет душу женщины, прожившую жизнь с нелюбимым («Лучинушка»). Певица находит выражение этой тоски в образе русского плача, стенания, но не в его эмоциональной безудержности, а как налёк, ассоциацию, словно памятуя, что искусство — это всегда «чуть-чуть». Именно так известный в прошлом педагог Академии художеств П. П. Чистяков наставлял своих учеников: В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, В. Д. Поленова, В. А. Серова, М. А. Врубеля... А в песне «Матушка, что во поле пыльно», выступая сразу в двух ипостасях: матери и дочери, Т. Петрова поёт смятение, нарастающий страх и одновременно всё ещё сохраняющуюся надежду молодой девушки, и вместе с тем охвативший её ужас, когда оказалось, что уже и «образа снимают». И здесь же — образ матери, которую Т. Петрова поёт грудным, глубоким, насыщенным голосом. Необычайно выразительный, исполненный любви, нежности и успокоения, он заключает в себе и второй план, в котором слышны тревожные ноты. Становясь всё более ощутимым, он раскрывает сложность созданного певицей образа женщины, которая при всём том знает, почему «во поле пыльно», но до последней минуты пытается сохранить душевный покой дочери.

Немного сегодня исполнителей, которые, не боясь, включают в свой репертуар прекрасные, очень трогательные, но «опороченные» грубыми, низменными страстями песни. Одна из них — «Шумел камыш». Т. Петрова не реабилитирует её, а просто, очищая от брутальной накипи, раскрывает и её задушевность, и глубокий смысл. За простотой избранной формы и эмоциональной сдержанностью достаточно ощутима в исполнении певицы нестерпимая душевная боль и за растоптанную любовь, и за поруганную честь.

При этом она никогда не переступает черты дозволенного и не впадает в натурализм. Ей очень присуще чувство меры, которое известный русский художник Александр Головин называл «высшим искусством».

Поражает своей стиливой выдержанностью исполнение ею русской народной песни из времён Куликовской битвы «Что горит-горит». Поднимаясь над событийностью, Татьяна Петрова поёт её как былинное сказание. Не по тексту. По духу! Внешне сдержанное, без ярких эмоциональных всплесков, идущее в размеренном ритме, оно исполнено постепенно нарастающего необычайного внутреннего напряжения. А в самой интонации — какой-то удивительный эпический размах, с которым певица творит образ жертвенной

любви к Родине. При этом не поминальным звоном по “убитым” и “тяжко раненым” звучит у неё сама песня, а рождает образ-ассоциацию с древнерусской фреской, на которой, словно на церковных стенах, запечатлены те, кто “постоял за Святую Русь”. “Что горит-горит” — не просто очередная творческая удача Народной певицы, а подлинная жемчужина в её богатом репертуаре.

Ещё одна особенность искусства этой замечательной певицы. По сути, любое произведение она исполняет как своеобразный вокальный монолог, как исповедь о пережитом. И каждый раз степень её личного присутствия настолько велика, что невольно воспринимаешь его как доверительное откровение, как факт биографии самой певицы.

Татьяна Петрова почти никогда не судит своих героев, не обличает пороков, в которых они сами признаются. Очень тонко найденной интонацией она их утешает, как бы разделяя с ними их тяжкую долю. Такое сердечное сочувствие, понимание — ещё одна причина почитания таланта Т. Петровой. Публика потому и благодарна ей, поскольку созданные ею образы так жизненны, так узнаваемы и так близки. А ещё, наверное, потому, что она умеет для каждой, казалось бы, чисто житейской ситуации, о которой повествует то или иное произведение, найти свою интонацию, свою эмоциональную “ноту”. Потому и романс, и народная песня в исполнении певицы лишены бытовизма, а в точно найденной художественной форме рождается образ-настроение, образ-состояние.

Незаурядный актёрский талант Татьяны Петровой ярко проявился и в народной песне. И комедия, и драма, и трагедия удаются ей в равной мере. Каждая вещь у Петровой, независимо от жанровой принадлежности, — самоценное, законченное художественное произведение, где своя драматургия, выверенная режиссура и великолепное актёрское мастерство. Это своего рода мини-спектакль. “Одна за всех”, она проигрывает все роли, находя для каждой свой рисунок, свою интонацию, свой характер. Она владеет, по сути, всем спектром вокальных красок: от мягкого, тонкого, почти акварельного “письма” до широкого, густого, пастозного мазка. Именно им она пишет, в частности, необычайно красочную картину песни “Ухарь-купец”. Все задействованные персонажи вырисовываются выпукло. Каждый образ дан объёмно, рельефно. Её герои — не схемы, а живые люди, выписанные сочно и даже порой с балаганным озорством. Но за этой лубочностью, за этим внешним ярмарочным комизмом начинает вдруг слышаться совсем другая — драматическая нота, а вместе с ней возникает новая тема — тема судьбы “дочки-красавицы”, что только утром домой пришла и “полный подол серебра принесла”. Снижая темпо-ритм, Т. Петрова словно задерживает наше внимание на этом фрагменте. Поначалу из чисто человеческого сочувствия рождается и жалость к этой девушке, и обида за неё. Но за всем этим поднимается какая-то новая волна чувств, движимая исконным, народным пониманием нравственности, закон которой переступила “девица-красавица”, прельстившись красотой и серебром езжего молодца.

Мне вообще кажется, что тема судьбы — это главная тема одухотворённого искусства Татьяны Петровой, которая всегда поёт сердцем, “открытом горé”. Поэтому обращение к духовным песнопениям — естественное движение её души.

Вообще духовные песнопения в исполнении Татьяны Петровой — это отдельная страница её творческой биографии. В репертуаре певицы их немного, но они, на мой взгляд, играют ключевую роль в её творчестве, приводя нас в него то духовное начало, что так приподнимает созданные ею образы.

Даже сама манера исполнения её при этом претерпевает весьма существенные изменения. Если романс или народную песню Татьяна Петрова поёт, постоянно варьируя тембр, отчего звук обретает и свою динамику, и живость, и красочность, то исполнительская манера духовных песнопений у неё совершенно иная. При сохранении единого тембра меняется лишь высота звука. Как ни странно, но такое пение очень напоминает живописную манеру иконописца, полностью исключая столь характерную для светской живописи светотеневую моделировку. Правило, порождённое евангельским постулатом: “Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы” (1 Ин. 1:5). По той же самой причине это правило остаётся непреложным и для образов Богородицы, святых и вообще для всей церковной иконографии. Но для иконописца во избежание плоскостного изображения, в частности, самого лика важной остаётся необходимость выстроить объём. Только в отличие от светского художника, воссоздающего объём с помощью живописного богатства светотени, иконо-

писец использует лишь один тон. То высветляя, то затемняя его, он и придаёт изображению необходимую объёмность. Когда слушаешь духовные песнопения в исполнении Татьяны Петровой, то возникает полное ощущение, что она интуитивно владеет этим знанием, поскольку единственное, что она допускает, это смену регистрового звучания голоса. Но, как выясняется, пришла певица к этому, сознавая, что петь духовную музыку так же, как светскую, нельзя. Нужен другой подход, что и позволило ей добиться удивительной новизны и в интерпретации произведения, и в самом характере его образного строя.

В этом отношении очень интересна её работа “Мёртвое поле. Песня невесты” из кантаты С. Прокофьева “Александр Невский”. Певица не повторяет ход, однажды найденный ею для песни “Что горит-горит”, хотя тема у них довольно общая, но ищет иную трактовку, иное решение образа. В советский период известные оперные певицы — Л. Авдеева, И. Архипова, Е. Образцова — не раз обращались к этому произведению. И уже тогда в своей интерпретации они, исходя из эпического симфонизма Прокофьева, поднимались над повествовательностью и создавали в той или иной вариации собирательный образ Родины, оплакивающей своих погибших воинов. Иной взгляд на данное произведение в ту пору исключался и даже не предполагался.

Подобное видение получило в исполнении Т. Петровой весьма существенную коррекцию Временем. Не нарушая органики поэтического слога В. Луговского и строгой, эмоционально сдержанной музыки С. Прокофьева, вобравшей в себя характер народного плача-причета, Т. Петрова наполняет “Песню невесты” новым содержанием, открывает в ней новый — духовный смысл. Интонационный строй, столь же сдержанный, вторя строгости музыкального рисунка “Песни”, приобретает уже не только трагический характер. И дело даже не в необычайно высокой степени обобщения. Возвышенно и проникновенно звучит в исполнении певицы “Песня”, звучит как откровение, порождённое религиозным мирозерцанием самой певицы. Отсюда оправданный, сотворённый её вдохновением и верой своеобразный мистериальный характер произведения. А сама невеста вдруг начинает ассоциироваться с образом Богородицы, что идёт “по полю белому, полю мёртвому”, что “целует очи мёртвые”, что, пренебрегая “красотой земной”, которая “скончается”, предпочитает мужество и красоту души, отданной “за други своя”. Так впервые по-новому зазвучало хорошо известное произведение, зазвучало неожиданно, но убедительно, искренно, одухотворенно.

Мы уже упоминали об исполнении Татьяной Петровой произведения Д. Христова “Во царствии Твоем помяни нас, Господи”, которое она поёт на высокой ноте. Обращение к ней продиктовано не желанием показать свои вокальные возможности, но стремлением создать возвышенный образ ангельского пения. И пока слушаешь это необычайно красивое, одухотворённое пение, невольно вспоминаются слова Карла Брюллова, произнесённые им после концерта в Придворной капелле в Петербурге. Потрясённый церковными песнопениями Д. Бортнянского, художник восторженно воскликнул: “Господи! Долго ли ещё мне быть в теле? Когда хотя минутно душа из него вырвется, она в таком блаженстве, так далеко, так высоко... Я слушал Бортнянского, и кругом меня целые сонмы Ангелов и — каких Ангелов!” Нечто подобное или, во всяком случае, очень близкое тому переживаешь, когда слушаешь духовные песнопения в исполнении Татьяны Петровой. Проникаясь её душевным откровением, духовной высотой вокального образа, душа, преисполненная каким-то удивительным светом, — “в таком блаженстве, так далеко, так высоко...”

Именно в духовных песнопениях Т. Петровой начинает особенно явно звучать своего рода исповедальная нота, раскрывая религиозный настрой её собственной души. Поэтому невольно возникает ощущение, что певица как-то по-особому благостно чувствует себя в этой музыке. И слова, которые она поёт, не просто заученный текст, но та самая молитва, что хорошо ей известна, привычно сопутствуя её жизни.

В исполняемом ею сочинении П. Чеснокова “Спаси, Боже, люди Твоя” есть небольшой речитатив, и в том, как пропевает его Татьяна Петрова, слышатся эти нотки её молитвенного чтения на каждый день. Потому её пение и вызывает всегда живой ответный отклик, когда каждое слово, каждая пропетая нота ложатся на душу, творя в ней подлинное чудо просветления. Вот этот чистый — духовный свет и несёт своим искусством Народная певица России Татьяна Петрова.

ВАЛЕНТИНА КОРОСТЕЛЁВА

“КАРЕТУ МНЕ, КАРЕТУ!..”

(Перечитывая Грибоедова)

Вот уже скоро два века, как живёт и здравствует “Горе от ума”, бессмертное творение Александра Сергеевича Грибоедова, целый свод жизненных правил, весьма существенных для общества. До Православия, его нетленных заповедей и ныне, по большому счёту, добираются единицы, а в “Горе от ума” — ответы чуть ли не на все вопросы, волнующие и сегодня как старого, так и малого. К примеру, не один папаша и нынче — то охнет, то воскликнет:

*Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом!*

И есть от чего охнуть! Еду на “Автолайне”, напротив — две школьницы, весёлые такие, и одна громко делится с другой: “Испортил мою кофту, чувак, я ему покажу! Завтра два сока куплю — и оболью так же!” Вот и вся философия “чистойшей прелести чистейшего образца”. Личики ещё почти ангельские, а по душе уже прошёл каток новой “цивилизации”. Героини-то нынче кто? И у кого в доме нет “голубого ящика”? А там — или лови на удочку богатенького (“И золотой мешок, и метит в генералы”), или мсти той, которая более удачлива, чем ты, или примерь на себя роль циничной стервы. Вся Россия сужается до столицы, в которой главное — выжить, и хорошо, если с достатком. Профессий у нас для молодых “леди”, оказывается, раз-два, и обчёлся: конечно, секретарь у солидного босса, официантка в ресторане, бизнес-леди или модель в продвинутом агентстве. Ну, и куда же без древнейшей профессии, пусть даже в платьях от кутюр? К слову, пошлость давно уже захлестнула наш экран, и мы всё это продолжаем проглатывать, а потом удивляемся, откуда же в наших детях столько цинизма, а то и жестокости. Юная леди, и снова на ТВ, преспокойно заявляет, что из-за строгости мамы, наперекор ей, “пойдёт по рукам”. И добрая половина аудитории искренно недовольна такой нехорошей мамой. И нынче — впрямь по Грибоедову:

Как платья, волосы, так и умы коротки!

Ещё меньше задумываются о будущей жизни, в том числе семейной, кавалеры наших леди, пока подростки. Туманные планы на красивую жизнь, желательно не сложную и не очень затратную в смысле усилий (в головах-то —

опять те же бандитские истории с ТВ, где выбор для примера невелик: или удачливый “мент”, что редко соответствует реальности, или умный и решительный бандит), мало способствуют работе собственного ума, особенно если “предки” не могут оплатить последующую учёбу, а уверенности в собственных знаниях нет. Остаются дискотеки, случайные связи с подружками, а при нежелательных обстоятельствах, к примеру, давлении родителей с той или другой стороны, — брак заключается, но надолго ли? Впрочем:

*А чем не муж? Ума в нём только мало;
Но чтоб иметь детей, кому ума недоставало?*

Чтение художественной литературы, развивающей не только ум, но и сердце (оставим в стороне примитивные детективы и дамские повести), уже давно стало не потребностью, а “непосильным” испытанием перед очередным ЕГЭ или другими экзаменами, в том числе после окончания школы. Известно, кто подарил нам всё это “великолепие” нового образа жизни, “новых” мнимых ценностей. Журналы с красочными полуголыми дивами на обложке, культ шоуменов и безголосых, но ловких певцов, которых раскручивают богатые тётки и дяди; столица, где нынче, как никогда, процветает “смешение языков французского с нижегородским”, — тяжёлый каток так называемой массовой культуры продолжает и сегодня мять юные души, отравлять само будущее России.

*Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал всё в обмен на новый лад...*

В том числе и язык наш. А это не так безобидно, как многим кажется. “Учились бы, на старших глядя”? На кого, скажите? В моде литература, где мат то и дело заменяет былую образность — прочную и душевную нить к сердцу читателя. Естественно, эти книги и заполонили развалы, рассчитанные на массовый спрос, они же издаются большими тиражами за счёт крепких фирм. Нормальному писателю, создающему “штучный товар”, соревноваться со всем этим и невозможно, и не стоит. Но именно он поставлен почти в невыносимые условия в плане издания книги и вынужден сам искать средства на неё вместо того, чтобы заниматься своим, творческим делом.

*Дома новы, но предрассудки стары.
Порадуйтесь, не истребят
Ни годы их, ни моды, ни пожары.*

В данном случае имеется в виду взгляд власти на литературу как на средство досуга или, в крутые времена, — инструмент идеологии, но редко вспоминается влияние хорошего художественного произведения на самое важное в человеке — его духовность, иными словами — нравственность. Сегодняшний мощный вал суррогата литературы, в том числе бездумно премированной меценатами от искусства, сметает на обочину не только добротные, с нравственным зарядом произведения, но и сводит саму литературу на уровень средства развлечения. Конечно, никто, слава Богу, не поднимает руку на классику, но вопрос в том, кто её читает. Не случайно каждый год после экзаменов публикуются целые страницы “перлов”, поражающих невежеством будущих строителей... и собственной жизни, и судьбы страны.

На телевидении прочно и, видимо, надолго обосновался культ сериала. Вот где большие возможности говорить о главном и важном, не снижая самой зрелищности и притягательности кино! Но пока первую скрипку играют перипетии той самой сериальной, почти приключенческой любви, или тысяча первая ночь детективных штампованных сюжетов, тяжёлым камнем негатива висят на шее зрителя.

Исключения пока, увы, нечасты. Даже там, где добрый сюжет, прекрасные актёры, всё портит неважный уровень и сценария, и режиссёра. Поневоле вспомнишь уже избитое выражение, что всё делалось “на коленке”, то есть в спешке. Иначе как объяснить, к примеру, что в неплохом фильме “Дом с лилиями” жена главного героя после известия о гибели сына точь-в-точь повто-

ряет знаменитый проход Джульетты Мазины сквозь компанию весёлых людей после настигшей её личной драмы... Такие ляпы просто непростительны. Как тут не вспомнить грибоедовское: *“Послушай! Ври, да знай же меру...”*

И уж, конечно, как же обойти наших рыцарей юмора, что из кожи вон лезут, чтобы и мы с ними заодно смеялись пошлым шуточкам, приевшимся ужимкам и клоунским улыбкам:

Шутить и он горазд, ведь нынче кто не шутит!

А нам почему-то, за редким исключением, — не смешно. Потому что и юмор — примитивный, отчего и смех в огромном зале больше похож на ржание, и жизнь нормального обычного человека как-то не располагает нынче к веселью, тем более такой низкой пробы. Вот и получается, что наше ТВ на наши деньги пытается нас же и оболванить, а в целом — увести подальше от неудобных вопросов в адрес властей всех уровней, выставить на обозрение всему миру, как же мы грешны, неразборчивы в средствах, как жестоки в быту (десятилетиями на экранах смакуются личные драмы известных людей и простых смертных, доведённых порой до отчаяния бедностью и равнодушием тех, от кого не дождалась помощи). Но — пресвятая “свобода слова”! Даже если она “задрав штаны”, бежит за “просвещённой” Европой, которая охотится за русскими детьми, ибо однополые семьи детей не рожают, что грозит вырождением “высокородным” нациям...

Но вернёмся к языку. На радио и ТВ то и дело слышишь обороты, которые невозможно слушать — “ни в какие ворота!” Ударения — и так, и этак, фразы “спотыкаются” и куролесят, как ржавое колесо в поле. И обидно, когда грешат этим люди в самой сфере культуры. Риторике нас давно нигде не учат, но грамотно связывать слова всё-таки сам Бог велел, если мы говорим с людьми. Уже набивший оскомину штамп, в том числе из уст депутатов и министров: “Мы поняли о том...”, “Мы приняли план о том...” и так далее, в том же духе. Перестать чувствовать родной язык, не знать его основных правил — это тоже уже из ряда вон! А чего в таком случае ждать от рядовых сотрудников! Вот почему так вольготно у нас Хлестаковым, откуда бы они ни свалились на нашу голову!

*Приехал — и нашёл, что ласкам нет конца,
Ни звука русского, ни русского лица...*

Когда словарный запас молодого человека ограничивается десятком “крутых” выражений, когда девчонки наши лезут из кожи, чтобы быть похожими на кого угодно, только не на себя, а в общении подростков то и дело мелькают нецензурные слова, то и выходит по Грибоедову: *ни звука русского, ни русского лица...* Особенно это заметно, едва отъедешь от “причёсанной” во всех смыслах столицы. И все ваши байки, товарищи взрослые, о том, что без мата, да ещё без водки в России не прожить — признак малодушия и лени, так как всё это — ядовитая и коварная грязь в нашем общем доме, от которой одни не хотят, а другие из-за слабости не могут избавиться. Если я не права, то откуда же так много больных — и нравственно, и физически — даже среди молодёжи?

*О! если б кто в людей проник:
Что хуже в них? душа или язык?*

“У меня с мамой обалденное взаимопонимание!” — заявляет девчонка в очередном ТВ-шоу и гордо смотрит в зал, потому что так “красиво” выразилась. “Остановите на остановке!” — обращаются почти все пассажиры “Автолайна” к шофёру. И это — наш “великий и могучий”, где у каждого слова — столько “братьев”, то есть схожих по смыслу выражений: “притормозите”, “задержитесь”, “разрешите сойти”, “высадите” и так далее. Но “остановить на остановке” — это пример того самого запаса в десять слов. Да мы же в России живём! И большинство читали не только Гоголя и Грибоедова. А “перлы” эти — всё оттуда, от плохого вкуса и такой же культуры.

“Учились бы, на старших глядя”? Я не поверила своим глазам, когда увидела как-то на странице “МК” крупный заголовок: “Уродина-мать зовёт”. Это

уже слишком даже для жёлтой прессы! И мы снова проглотили очередную осознанную гадость в адрес наших военных святых.

Слава богу, ещё не перевелись люди — подвижники русской культуры, — не щадящие ни времени своего, ни здоровья на то, чтобы вовремя дать в руки другим единственно верный компас. Судя по тому, что в подмосковном Железнодорожном, где я живу, подрастают юные поэты, художники и музыканты, — есть надежда на лучшее будущее. Судьба свела меня с Екатериной Ивановной Локтевой, преподавателем гимназии № 11. Надо сказать, воспитанникам её очень повезло: тут и литературные гостиные, и встречи с творческими людьми, и поездки по святым местам нашей культуры, и постоянная связь с родителями, и многое другое, что сделает учёбу этих детей, может быть, самым светлым и “урожайным” периодом во всей их жизни, станет тем ориентиром, что не даст свернуть с достойной и ясной дороги к истинному человеческому счастью. Не случайно многие из них стали авторами известного уже московского сборника “Подсолнушек”, журнала “Детская роман-газета”, участниками городских литературных мероприятий. И я надеюсь, что в своё время они уверенно повторят вслед за Чацким:

Служить бы рад, прислуживаться тошно, —

в отличие от тех, кто служит вовсе не делу. Тот — шефу, этот — карьере, а третий — собственному карману. “По делам их узнаете их”, — говорит Библия. А служить делу, по большому счёту, — это и есть жить ради людей. В своём селе, городе, а значит, в России.

Кстати, говоря о культуре в наших городах, поневоле задаёшься вопросом: почему мы, творческие люди, так разобщены? Почему идея о полноценном художественном совете, что давно витает в воздухе и у нас, в Железнодорожном, никак не претворится в жизнь? Сколько вопросов можно было бы решать оперативно, в естественном обмене мнениями, предложениями и даже, по-нынешнему, — проектами? Он мог бы стать барьером для грязной волны пошлости, как минимум, в сфере культуры. Даже у Президента есть советники, почему бы не быть такому коллективному помощнику у городской власти?.. И громадный положительный потенциал не востребован, причём на уровне всей страны. Вот вам и гладкая дорожка для Хлестаковых от культуры и политики.

И последнее. Что ни говори, а мысли наши то и дело направляются вверх, туда, откуда идёт не только политическая, но и нравственная погода.

*Где, укажите нам, Отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?*

В отличие от прошлых лет, сегодня любой, дорожащий именем России, может назвать пусть немного, но по-настоящему достойных имён, с кого совсем не грех брать пример молодым. Пусть у каждого они будут свои. Светлее стало и в самом главном российском доме, где время отбивают кремлёвские куранты...

А может, перестать ждать этой самой погоды откуда бы ни было и менять постепенно её у себя дома, в селе, в посёлке, в городе, в организации? Тогда и сама жизнь наша почище да добрей станет — в том самом главном смысле, о чём больше всего болит сегодня душа любого, прикипевшего сердцем к России... Чтобы новый Чацкий, окунувшись в наше Сегодня, не воскликнул с горечью: “Карету мне, карету!”

СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ! ЗАПРЕТИТЬ!*

Лесохимический комплекс мощностью 700 тысяч тонн белёной хвойной и 200 тысяч тонн вискозной целлюлозы в год может появиться на реке Лене, а именно на территории Усть-Кутского района Иркутской области. Идея реализации проекта принадлежит компании “Сибирский лес”. Впечатляет и объём предполагаемых инвестиций – до 60 млрд рублей. Собрание по вопросу передачи в аренду земельного участка и проведения инженерно-изыскательских работ состоялось 25 сентября 2014 года.

Главной своей задачей специалисты “Сибирского леса” посчитали объяснить жителям Усть-Кута, что современное производство в корне отличается от тех технологий, которые сегодня представляют отрасль в той же Иркутской области. Акцент ставился на экологической безопасности проекта, на использовании технологий европейского уровня, не допускающих выбросов и загрязнения стоков. Приводились примеры. Все как один положительные. Правда, не имеющие отношения не то что к нашему региону, но и к России вообще. Так, по словам заместителя генерального директора по социальным вопросам ООО “Сибирский лес” г-жи Уманской, в Скандинавии современные заводы, построенные за последние 20 лет, не имеют запахов – все запахи улавливаются и сжигаются. А негативный опыт работы подобных предприятий в России – всего лишь отголоски прошлого: комбинатов такого уровня в России не строили более 40 лет. А та модернизация, которая проводилась на действующих предприятиях, к сожалению, оказывалась фрагментарной. И руководство компаний, работающих в этом бизнесе, не всегда сдерживало своих обещаний – значительная часть инвестиций в экологию вообще не была реализована. Но в случае начала строительства ЛХК в Усть-Куте всё будет, конечно, иначе. “Мы не просто построим завод по последнему слову техники, мы приложим все усилия для реализации уже начатых в Усть-Куте планов и проектов и обязательно экономически поддержим все социальные нужды устькутян” – заверяли присутствующих представители “Сибирского леса”. Чтобы не быть голословными, устькутянам тут же сообщили, что буквально накануне представителями “Сибирского леса” был подписан договор о социально-экономическом партнёрстве. И после многозначительной паузы озвучили сумму: 20 миллионов рублей в квартал на протяжении последующих 10 кварталов. Присутствующих эта информация убедила... в том, что борьба за свой город, за свою реку предстоит нешуточная, тем более что первые пол-миллиона компания уже перечислила.

Ещё один немаловажный вопрос, которому представители “Сибирского леса” уделили особое внимание – выбор места для строительства. По их словам, Усть-Кут был назван не случайно: таких мест в России мало. А здесь можно построить завод, проект которого выгоден экономически и безопасен с точки зрения экологии, а также привлекателен в плане эффективности. Наличие качественных сырьевых ресурсов – раз. Логистика для рынков сбыта –

* Материал с небольшими изменениями и сокращениями перепечатан из газеты “Ленские вести” (№ 39, 2014 г.).

два. И, как это ни странно прозвучало, — возможность построить предприятие без ущерба для окружающей среды — три. Именно в данной конкретной точке, в Усть-Куте, как оказалось, все эти факторы совпали. Преподносилось это, разумеется, под видом диктуемого обстоятельствами времени перехода от сырьевой, экспортной ориентации на более глубокую переработку древесных ресурсов страны и продажу продукции на экспорт или на внутренний рынок по более высокой стоимости.

Что же касается устькутян, то, по словам представителей “Сибирского леса”, строительство ЛХК ничего, кроме выгоды, не принесёт: сразу будут созданы рабочие места, и не беда, что нужных специалистов в городе нет — на базе устькутских вузов и техникумов будут организованы курсы и открыты новые факультеты. Сразу же решится вопрос и с медициной: “Наши работники должны получать высококачественную медицинскую помощь, а значит, нам выгодно привезти в Усть-Кут специалистов и обеспечить им достойный уровень жизни”. Всех благ, которые обещали устькутянам, и не перечислить. А в качестве основной заманки — обещание отправить в поездку по странам Скандинавии семерых наших земляков, чтобы те собственными глазами увидели: такое производство безопасно. Правда, на резонный вопрос, почему бы не показать, как работают аналогичные предприятия на просторах нашей Родины, ответ был довольно скромный. Во-первых, присутствующим напомнили, что новых производств такого уровня в России нет; хотя, впрочем, есть в Сыктывкаре, но предприятие это — почти режимное, закрытое, да и строили его без “Сибирского леса”. Во-вторых, давайте, говорят, всё же съездим за границу, там, в Финляндии, этих заводов — видимо-невидимо, а для экологов — ноль беспокойства. И в заключение — решающее:

— Мы пришли к вам с открытым забралом. Учитывая обстановку, которая сложилась в вашем районе и соседних Киренском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, завод-утилизатор станет решением множества проблем. В первую очередь, он нужен вам! — сообщил генеральный директор ООО “Сибирский лес” Сергей Юрьевич Малков, под “сложившейся обстановкой” разумея обвальное количество лесных пожаров в 2014 году и избыток в названных районах лесоперерабатывающих предприятий, оставляющих горы ненужных отходов, из которых, по словам С. Ю. Малкова, можно извлечь целлюлозу.

Но оказалось, что устькутяне с таким утверждением были, мягко говоря, не согласны. Первое слово взяла Е. И. Бутачина, фермер, на чьих сенокосных угодьях планируется развернуть грандиозную стройку:

— Что делать мне?! Пустить под нож всё поголовье скота? Оставить свой дом и уйти? Год назад по вашему распоряжению и без каких-либо разрешающих документов изыскательские работы на моей земле уже проводились. Тогда, чтобы добиться справедливости, мне пришлось дойти до мэра, обратиться к журналистам районной газеты, только тогда компания свою деятельность свернула. Вы считаете, именно это мне и нужно? Остаться без своего дома, без фермерского хозяйства?! Если вы, уважаемый директор, хотите получить “вторую Украину” — вы её получите!

Ответ руководства “Сибирского леса” прямо-таки огорошил: “Трудно что-то комментировать, — пожал плечами гендиректор С. Ю. Малков. — Тогда работы проводились несанкционированно”. Вместе с тем заместитель директора по социальным вопросам г-жа Уманская посоветовала “апеллировать доказательства вещами”. Вероятно, долгосрочный договор аренды земель для сельскохозяйственного использования “доказательным” не является.

Большое внимание и одобрение со стороны слушателей получило выступление Натальи Леонидовны Поплевичевой, химика и эколога по образованию, активного участника всех обсуждений строительства ЛХК. Именно она доказательно, спокойно и уверенно опровергла все пункты выступления специалистов компании “Сибирский лес”. Экологическое бедствие в случае начала работы ЛХК — неизбежно. Потому что, несмотря на все заверения “Сибирского леса”, вредные выбросы в атмосферу производиться будут, а значит, над городом будет постоянно висеть смог, а уж о неприятных запахах и говорить не приходится. Что касается использования суперсовременного оборудования и высокотехнологических методов очистки, то и это не станет панацеей.

— Теплового загрязнения никто не отменял, — подчеркнула Наталья Леонидовна. — Мы, безусловно, получим чистую реку. Но реку “чистую” от ценных пород рыб, от прозрачной воды. Мы этого хотим? Всё, о чём говорят

представители “Сибирского леса”, очень заманчиво: новые рабочие места, высокий уровень профессионального образования и медицины, высокие зарплаты и отчисления во все уровни бюджетов... А теперь представьте, что вас закрывают в тюремной камере, максимально обустроенной: обитые кожей стены, роскошная мебель, всё, чего душа пожелает, — и туда же запускают ядовитый газ. Насколько комфортно будет вам там находиться? И так уж ли вам станут нужны все эти блага цивилизации?

Наталья Леонидовна приводила много примеров того, чем чревата работа ЛХК. Так, пять лет назад в Международном суде в Гааге рассматривалось дело об экологической катастрофе в связи с деятельностью целлюлозно-бумажного комбината в Уругвае (Аргентина подала в суд на Уругвай за нарушение своего экологического суверенитета: ЦБК расположен на приграничной территории, и все выбросы напрямую уходят по реке в Аргентину).

Генеральный директор ООО “Сибирский лес” пояснил, что данная ситуация — всего лишь политическая игра. “Я сам лично строил этот комбинат, и никаких нарушений там не было, да и Международный суд иск Аргентины не удовлетворил”, — заявил С. Ю. Малков. А многотысячные акции протеста местного населения Аргентины, перекрытые митингами и шествиями дороги и мосты в Уругвай, как оказалось, не в счёт.

Очень дельное предложение внёс и житель города Усть-Кута Виктор Петрович Баженов, который настоятельно рекомендовал городским властям потребовать у области полную экологическую экспертизу территории.

— Если проанализировать то, что в последние годы происходит в Усть-Куте, то покажется, что у города начался бурный период развития. Строительство лесоперерабатывающего завода ТСЛК, строительство газохимического комплекса, строительство лесохимического комплекса — всё это в отдельно взятом контексте хорошо. Но то, что такие мощные производства расположены на одной территории, не может не нанести урон экологическому состоянию в нашем районе. Поэтому депутатам стоит задуматься и приложить все усилия для того, чтобы такая экспертиза была проведена.

Голосование по вопросу предоставления в аренду земельного участка для компании “Сибирский лес”, а по сути — по вопросу отношения устькутян к угрозе появления на берегу Лены лесохимического производства, расставило всё по своим местам. Устькутяне оказались едины в своём решении: из 170 присутствовавших в зале против выделения площадки проголосовали 165 человек, пятеро воздержались, за — не проголосовал никто.

Это, однако, не означает, что работы “Сибирского леса” на нашей территории остановлены. Как известно, ещё год назад компания “Сибирский лес” начала работу в том направлении, чтобы проекту лесохимического комплекса в Усть-Куте был присвоен статус приоритетного. Что последует за этим — покажет время.

Татьяна Ларионова,
г. Усть-Кут

В №12 за 2014 год в “Поэтической мозаике” на стр. 58 и 59 по вине сотрудников отдела поэзии и технического центра пропущены фамилии авторов стихотворений Сергея Перунова (“Виктору Астафьеву”) и Геннадия Морозова (“Из цикла “Абрамовский угор”).

На стр. 50 вместо Андрей Крестинин следует читать Алексей Крестинин.

Приносим извинения поэтам и читателям.

Редакция

ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ 2014 ГОДА

Премия имени В. В. Кожина за развитие традиций русской реалистической прозы присуждена Захару ПРИЛЕПИНУ.

Премия имени Л. М. Леонова (номинация “Молодые прозаики”) за цикл рассказов “Бегущая через жизнь” (№ 3) присуждена Наталье РОМАНОВОЙ.

Премия имени Ю. П. Кузнецова (номинация “Молодые поэты”) за подборку стихов “Под светлой Полярной звездой” (№ 6) присуждена Марине ВОЛКОВОЙ.

Премия имени А. Г. Кузьмина (номинация “Молодые историки и публицисты”) за очерк “Зачем им жить?” (№ 6) и подборку документальных рассказов “Слава” (№ 3) присуждена Елене ТУЛУШЕВОЙ.

Ежегодные премии за лучшие публикации 2014 года присуждены:

— Владиславу АРТЁМОВУ, поэту и прозаику – за подборку стихов “Я с рождения грезил звездопадом...” (№ 5);

— Владимиру БОНДАРЕНКО, критику – за статьи “Вечный Жид” (№ 7) и “Либеральный бред Кормилова” (№ 12);

— Сергею ГЛАЗЬЕВУ, экономисту и публицисту – за статью “Как не проиграть в войне” (№ 10);

— Михаилу ДЕЛЯГИНУ, экономисту и публицисту – за статью “Либерализм – глобальный убийца” (№ 6);

— Льву КОТЮКОВУ, поэту – за подборку стихов “Я спас свою душу” (№ 2);

— Юрию ПАВЛОВУ, критику – за статью “Чехов как русский человек” (№ 6);

— Александру ПРОХАНОВУ, прозаику – за роман “Крым” (№ 8–9);

— Инне РОСТОВЦЕВОЙ, критику – за статью “Лермонтовский элемент” (№ 10);

— Андрею РУМЯНЦЕВУ, критику и поэту – за статью “Мелькают образы бездушные людей...” (№ 10);

— Евгению САВЧЕНКО, государственному деятелю – за статью “Тезисы развития” (№ 12);

— Валентине СИДОРЕНКО, поэту – за подборки стихов “И дан был путь, и я его прошла” (№ 1) и “Душа пред Богом восстаёт” (№ 9);

— Владимиру СКИФУ, поэту – за подборки стихов “И с неба рухнула весна” (№ 2) и “Я проснулся и вышел к Байкалу” (№ 9);

— Лидии СЫЧЁВОЙ, публицисту – за статьи “Россия: от интернационализма к постгуманизму” (№ 6) и “Без мужчин – народ не народ” (№ 10);

— Андрею ТИМОФЕЕВУ, прозаику – за повесть “Медь звенящая” (№ 10);

— Андрею УБОГОМУ, прозаику и публицисту – за роман “Рукопись” (№ 1).

Поздравляем лауреатов!